А. Л. Гордин.

Интериндивидуализм

МОСКВА.
ИЗДАНИЕ А У. И.
1922.

171
39

Автоорганизация.

1.

Буржуазия провозгласила в своей докртине, названной либерализмом, равенство. Но так как она, сознательно или безсознательно, обманно, или самообманно, отожествляла нормируемую жизнь с нормой, то она подменила равенство фактическое юридическим равенством Умение различать, анализировать есть продукт культуры. Вначале все выступает в смутном, смешанном, слитном виде. И было время, когда отсутствовало отличение символа от символизируемого. На этом слиянии базировалась древняя словесная магия, логомагия, убеждение, что изменение в словах вызывает реакции в предметах, в явлениях, ими обозначаемых. Когда выросло сознание различия этих двух категорий явлений, когда слово стали рассматривать, как специфический об'ект, тогда отмерла магия „заговора", заклинания и проч. видов магического „вербализма", последнее свое укрепление магия слова имела в воспитании, в школе, где царствовало безгранично одно слово, где оно было Богом и царем, началом и концом премудрости, из-за которого совершенно забыли не то, что предметы, явления, им обозначаемые, но и понятия.

Либерализм оперировал с фетишем, нормой, магией легизма. Ему казалось, что равенство перед законом есть и равенство перед фактом. Не то, что ему это казалось, к тому времени еще не созрело сознание различия между фактической жизнью и ее регулирующей нормой. Норма равнялась нормируемому, сумма норм, об'ективное право, равнялось сумме общежительных явлений. Как некоторым поныне кажется, что сумма „законов" природы равняется природе, жизни вселенной. И тут сказывается магизм, но чисто логического, духовного характера, отожествление закона с узаконенным. Как бы то ни было, несколько десятилетий царствовал этот юридический магизм над умами, над лучшими умами людей, мыслителей. Действительность разбила эту иллюзию, ошибку. Действительность показала, что фактизм не адэкватен юридизму, что он гораздо шире, что он, вообще, не однороден. И стало ясно, что мало провозглашать равенство перед законом, если желаешь получить равенство перед действительной жизнью, в действительной жизни.

После этого рассеяния иллюзий юридизма, фетишизма нормы, некоторые, пережив разочарование, ударились с отчаяния в другую крайность: совершенное непризнание закона, нормы, совершенная обесценка закона, юридического фактора, как средства для регулирования отношений и взаимоотношений людей. Эта крайность не менее нелепа, чем первая. От одного преувеличения в другое, от положительного в отрицательное. Оба одинаково пагубны. Первая крайность называлась либерализмом, вторая крайность называется, по недоразумению, анархизмом. Целый ряд либералов, убедившись на деле в тщетности своих великих упований на право, на норму, подняли вопль об иллюзорности, эфемерности, никчемности права и стали себя выдавать за анархистов К этой группе принадлежит, одним углом своих воззрений, маститый анархо-народник П. Кропоткин. Он совершенно обесценивает политические права, ставя их ни во что, требуя в области хозяйства равенства фактического, а не юридического, тем будто совершенно отходя от либерализма. И этот отход он сделал так круто, что ударился в самый крайний социализм, в коммунизм, но это лишь в области хозяйства. Что же касается политики, то он остался тем же юридическим фетишистом, веруя по либеральной наивности и ограниченности, не умевшей отличить фактического от юридического и всегда путавшей эти две категории явлений, что стоит отменить законы, чтобы все люди оказались равными, счастливыми, что стоит уничтожить юридическое

зло, юридическую одностороннюю зависимость, чтобы была уничтожена всякая зависимость, стоит об'явить „анархию", отсутствие законов, как сейчас же, по мановению „волшебного жезла, водворится рай" на земле. Кающиеся либералы—есть вся его школа. Либерализм наизнанку или либерализм доведенный до конца. Если равенство перед законом не дало равенства, то из этого по их пониманию следует, во-первых, что закон вообще ничего не стоит, во-вторых, что все зло и все неравенство заключается в факте существования закона, и потому отмена законов, равенство перед беззаконием создает равенство настоящее.

Как отказ от теизма, усомнение в существовании Бога, вызвало усомнение в существование вообще, создало скептицизм. Отрицание иллюзий вызвало отрицание действительности из за неумения, как раньше, так и позже, отличать действительного от иллюзорного. Так и отказ, вынужденный действительной жизнью, от юридического эгалитаризма, создал юридический скептицизм, утверждающий, что право, вообще, ничего не стоит.

Отказ от магии слова не следует распространять на слово вообще.

Любители нелепостей, а не крайностей. Или слово всемогуще, или слово никчемно, обет молчания, отказ от пользования этим величайшим орудием сношений. Слово не есть Бог, слово не было в начале всех начал.

Слово есть прекрасное орудие, прекрасный инструмент, им пренебрегать только потому, что оно не оправдывает диких, преувеличенных магических требований, более чем бессмысленно.

Так и относительно права, за Кропоткиным пошла писать губерния: декрет, закон, парламент это магия, закон беспомощен, декрет беспомощен, он не имеет влияния на реальную жизнь.

Обратный либерализм. Право, закон, не всемогуще, не адэкватно с жизнью, с действительностью, оно не исчерпает всей сути житейских отношений и взаимоотношений, равенство перед законом никогда не будет равносильно, синонимно равенству перед действительностью. Но из этого сознания нисколько не следует, что право вообще ничего не стоит, что оно только магия.

Такое утверждение есть обратная магия, есть негативный фетишизм, есть отрицание мира на основе отрицания фетиша Бога. Норма обладает громаднейшей силой, но она никогда не будет отожествлена с нормируемой действительностью.

Юридический догматизм вызвал к жизни юридический скептицизм. А создать надо юридический реализм, юридический эмпиризм, критицизм и проч.

За теическим догматизмом выступил вандализм, как его называет Кант, скептицизм, затем создали позитивизм, реализм, материализм, эмпиризм

2.

Юридический реализм, в известном смысле, представляют собой социалистические школы, которые в вопросе о праве, государстве не ударились в такую панику, как, так называемые, анархические школы, которые следовало бы назвать архи-либеральными школами.

Я сказал „в известном смысле", надо было бы сказать „наполовину". Так как и социалистические школы не освободились окончательно от юридического либерального угара, и если они освободились, то только отчасти.

Что такое социализм в области регулирования отношений между капиталистом и пролетарием? Отчасти юридический иллюзиоризм, юридический фетишизм. Социализм, социал-демократизм, вообще, марксизм состоит из двух частей, он дает ответ на два вопроса, которые вместе составляют одно, вопрос об'ема экономического, отдельного хозяйства, и вопрос формы, вопрос организации; один вопрос является внешним, другой внутренним. Один вопрос занят решением междухозяйственных отношений, регулированием коллизий, возникающих в капиталистическом строе между одной самостоятельной, сепаратистской экономической единицей и другой. Второй занят решением, устранением ненормальности отношений, существующих между двумя контр-агентами одного производственного процесса, обнаруживающейся в пределах каждой хозяйственной единицы в отдельности. Можно сказать, что существуют два вопроса; один: рабочий

вопрос, устранение противоречий между работодателем и рабочим. Второй: производственный вопрос, устранение дезорганизации в пределах целого хозяйства. Так как капиталистический строй начал дело организации, но не довел его до логического и фактического завершения Извнутри царит дух планомерности, целесообразности, все высчитано, расчитано, внутренняя организация и внешняя дезорганизация.

Оба вопроса марксизм решает одним ударом, одним приемом, сливает воедино отдельные предприятия, он национализирует производство, он обобществляет, вернее национализирует, этатизирует орудия производства.

И таким образом, он решает фактически вопрос производственный, вместо проклятого феодализма производственного, промышленного и торгового, он вводит, создает производственный абсолютизм, он подводит экономическую базу под национальную идеологию, создавая единое хозяйство Здесь социализм выступает как сила, как реальная мощь, регулирующая, сливающая, соединяющая отдельные разрозненные экономические графства, сеньории под единую эгиду, под единое начало социалистического государства. Здесь социализм выступает, как жестокая, но сильная, действующая, сила. Но что касается первого вопроса, регулирования отношения между капиталистом и пролетарием, между надзирающим, контролирующим и трудящимся, социализм впадает, можно сазать, в фактический столбняк, довольствуясь юридическим фетишизмом, он отменяет право собственности и вместо капиталиста собственника оставит капиталиста-непсобственника, он довольствуется юридическими изменениями, имеющими за собой немного реального.

И поэтому социализм наполовину либерален, т.-е. решает вопросы социальные, экономические в одной плоскости, в плоскости взаимоотношений контр-агентов, чисто юридически.

Тут слабое место социализма. И, на самом деле, он подменяет социализм каким-то жалким юридизмом. Он отменяет право собственности, удаляет собственника и ставит на его место такого же фак ически, но другого юридически.

Я бы сказал, что социализм-марксизм решает только вопрос хаоса производства, но не решает внутреннего больного вопроса, реорганизации внутренних отношений.

3.

Да, социализм-марксизм обещал этот вопрос решить, решить радикальным, коренным образом. Но это только обещание. Он все внимание устремляет на упорядочение внешних неурядиц хозяйства, производства, он смотрит вовне, а не внутрь. И можно сказать, что он правильно, поступает. Он выбрал правильный путь, в известном смысле. с внутренней задачей ему не справиться, не справляясь с внешней. Надо изменить об"ем, надо реорганизовать хозяйство, а внутренние отношения—это дело следующего течения. Но зачем это социализм марксизм маскировал? Зачем он скрывал ту истину, что все его внимание сосредоточено на реорганизации производства в смысле расширения об"ема экономического организма, а не в смысле переставки, переломки внутренней пропорции между трудящимся и капиталистом. Он это скрывал, боясь: если он откроет правду. то пролетариат может не обнаружит той суммы самоотверженности, преданности, боевой готовности, наступательности, того пафоса, того восторга и упоенности будущей жизнью, которая требуется для уничтожения старого порядка, стараго дезорганизованного порядка.

Он боялся пролетариата, самого себя, он самого себя обманывал, обещая полнейшее решение этого вопроса, таким способом, каким его *категорически* не решить. Он скрывал свою организаторскую подоплеку Он это затаил. Прикрывая свою настоящую организаторскую физиономию забралом пролетарским, маской, на которой изображено лицо трудящегося.

„Владыкой мира будет труд"—он распевает на всех перекрестках. Но какой труд чернорабочего, квалифицированного или организатора.

Социализм в силах создать чистого организатора. И весь процесс истории до наших дней можно рассматривать как подготовительную стадию к выхаливанию, к вскормлению чистого организатора, типа, носящего свое могущество в себе, а не во внешнем мире, типа, еще не окончательно разоб"ективированного. В начале этот орга-

низатор выступает в качестве рабовладельца, он владеет человеком, вещью, он владеет, являясь его собственником, а овладеваемый, покоренный им, превращается в инструмент. Затем он абстрагируется, отвлекается, возвышается, он становится лишь землевладельцем и душевладельцем, он владеет не рабами, а крепостными, "душами". Затем он становится собственником-капиталистом Он владеет людьми лишь косвенно, владея вещами. Затем он становится не чистым организатором, он руководит людьми потому, что он их организовывает, он управляет „вещами", но ими не распоряжается на правах собственника. Еще один шаг, и он проведет свою организаторскую, свою чистую кристализованную форму управления и в политику, он станет распоряжаться только вещами, а лишь косвенно, рефлекторно людьми. Это период так называемого анархизма или рабочего социализма.

Социализм питал целую кучу мифов, ибо он чувствовал, что одной трезвой правдой далеко не уйдет, он чувствовал, что если он не прибегнет к помощи социальнай легенды, этой великой волшебницы, любимой детьми младшого возраста, то он не увлечет рабочих.

4.

Социализм особенно распространялся на счет эксплоатации. он так много говорил о прибавочной стоимости, о прибавочном труде. Он будто бы решал этот вопрос. На деле же он был исключительно занят решением другого вопроса, вопроса свободной конкуренции и сепаратизма хозяйства. Кто может это упорядочить. Кто может ввести порядок в хаос производства, обуздать эту „анархию", как это явление любит называть Маркс?

Ясно, что организатор—талант первой величины в этой области. Тут слово за организатором, за организатором-специалистом. Древний мир не знал настоящего организатора, средние века его не знали, и капиталистический мир его не знал. И дело не в том только, что он не выступал в чистом виде, что он всегда маскировался, выступал под чужим именем, то он назывался рабовладельцем, то феодалом, и проч., а дело в том, что под этой маской скрывалась не чистая форма, не достаточно ясно очерченное лицо. Он не был настоящим организатором, так как он соединял в своем лице несколько лиц. Он не был специалистом, дифференциация не достигла еще той ступени, которой она достигает на наших глазах. При социализме, и, главное, во второй стадии он становится организатором и только организатором, в то время, как раньше он был владельцем, собственником земель или капиталов, он выступал в разных ролях

Сбрасывая с себя все ему не нужное, все исторически пройденное, он выступает в чистом, специализированном виде. Не мог же он развить свой организаторский талант, свою организаторскую способность будучи собственником, будучи сепаратистом, слишком мелка была фирма, область, слишком тесны и узки были ее границы, чтобы он мог выявиться до конца, до предела возможности. Конкуренция смерть организаторства. Организатору нужно крупное хозяйство. Собственнику мелкое, но свое, где он царствует, беспрекословно, на правах хозяина. Хозяин с организатором боролись в нем самом. Хозяин требовал *своего* владения, *своего* дела, организатор жаждал синтеза, слияния, соединения разных фирм в одно целое. Как компромисс из этого трагического положения, борьбы между хозяином и организатором получился трест. Но социализм оттуда явиться не мог. Для того, чтобы мог родиться чистый организатор, должен был хозяин уйти, умереть, исчезнуть, пропасть, исторически разложиться на свои два составные элемента: на собственника, капиталиста, копителя денег и богатств, и на организатора, творящего процесс производства, не владельца накопленного, крупного собственника, а творящего, копящего, создающего будущие богатства и еще не окончательно выявившегося. Образовалась брешь между прошлым и будущим капиталиста, между бывшим капиталистом и грядущим, его выявленным „я" и его потенциями. Накопленное требовало от капиталиста только одного хранения и сохранения. И надо сказать, что этим, главным образом, и занимались следующие друг за другом в процессе накопления богатств поколения буржуев, которые не становились миллионерами, а родились ими, по выражению зарвавшегося выскочки, Ротшильда, который, вопреки, чисто бур-

жуазным традициям, стал квалифицировать буржуазность, как благородство, как родовитую аристократию. Эта функция сохранения накопленного настолько проста, настолько упрощена, что ею может справляться каждая совокупность лиц. Вторая же функция, организация производств, требует интенсификации таланта, квалифицирования его, и эта функция вызывает ныне к жизни нового типа социалистического—экономического.

5.

И если раньше в лице организатора был и собственник, и организатор делец, то теперь в лице организатора соединяются два других качества, которые, слившись, во едино, образуют высшую сложную степень единого, экономa и политика Хозяйство становится политическим. Политика становится экономической. И на первом плане выступает организатор, организатор-теоретик Здесь рост, прогресс, создание новых форм, как в области хозяйства, так в области правления Организатор и теперь содержит в своем лице несколько лиц, качеств, залог будущих дифференциаций и разложений после достижения полной зрелости типа, но все эти лица лежат в области суб'ективного, а не об'ективного, внешнего мира, они все зарыты в „я" а не в „не-я", как был случай с рабовладельцем, с собственником: тут множество качеств, функций, но нет уже того разслоения между внутренним и внешним, что было при капитализме, хранитель сущего, настоящего, прошлого, накопленного и множитель - творец новых богатств. Прошлое мешало будущему, прошлые богатства давили, как традиции, как крышка гроба на покойника, на грядущие возможности, на грядущие выявления, на вырисовывающиеся.

И пришлось разойтись, прошлое национализировал восставший пролетариат, конфискуя имущество; будущее, т. е. возможности организационные, заложенные в некоторых лицах, руководящих этим процессом, получит своего носителя в лице грядущего организатора. И будущий организатор не выступает, как буржуазия, сепаратно, а компактно, сплоченно, как класс, как целое, на то же он организатор. Организация соединяет, собственность, по существу, раз'единяет, дробит, создает распри, вражду, ненависть, зависть, соперничание, воплощенное в лицах, в конкретном. Организатор выступит при социализме, как целое, в этом его и сила, в этом его и слабость Его сила—он сплочен, он спаян, он представляет собою органическое единство, он спаян организационно, один сидит на другом, он весь построен в виде пирамиды, он сам, как целое, как тип, внутренно связан, не то что было с буржуазией. В этом его и слабость, так как он носит внутренний антагонизм, но его антагонизм организованный, не тот, что свирепствовал между буржуем и буржуем. Там и антагонизм был хаотический, здесь он определенный, установленный Антагонизм между нисшим и высшим по лестнице организации. Буржуазия допускала, чтобы двое-трое были одинаково богаты, организаторская корпорация этого не допускает. „Два короля не пользуются одним венцом. Два солнца не сияют одним и тем же светом (Мидраш)".

Так что социализм есть эпоха организаторства, при нем организатор получит свое завершение, достигнет своей кульминационной точки.

6.

И спор между марксизмом и анархизмом, традиционным, старым не вращается вокруг организационного, социологического вопроса, а весь лежит в плоскости метода управления и правления.

И не даром, и не случайно называют некоторые классики свое учение „рабочим социализмом", и, тем более, не даром продолжают это твердить и бездарные их ученики Их учение, на самом деле, является „рабочим социализмом".

Социализм-коммунизм надо приравнять к буржуазному абсолютизму. Для преодоления сепаратизма в политике, для изживания и уничтожения феодализма, пришлось создать сильную, но в высшей степени жестокую, форму правления, один абсолютизм был в силах скрепить разрозненные политические единицы средних веков. И он был создан.

Теперь социализм, на первой стадии своей, должен будет создать экономический абсолютизм, т.-е. ему придется создать более жестокую власть, чем та, которою пользовалась буржуазия на второй своей стадии развития. Первая стадия социализма, господства организаторов должна, в известном смысле, совпасть, с первой стадией буржуазного порядка, т.-е. с той стадией, которая ознаменовалась уничтожением отдельных политических единиц, уничтожением мелких князьков. Это не хотят понять противники большевизма, как справа, в виде меньшевизма и эсерствизма, так и слева, так называемого анархизма. Анархизм, я говорю о „классическом" эклектическом анархизме, который сам себя величал рабочим социализмом, есть то же господство организаторов, но он совпадает, или совпадет со второй ступенью буржуазного владычества, он соответствует второму периоду, когда буржуазия загуманничала, стала проповедывать целую уйму свобод. Эти два периода, в сущности, составляют один процесс, уничтожение феодализма, первый шаг находится в усилении власти, в скреплении общежития, в создании единства из множества разрозненных единиц, и поэтому он проходит под знаком гнета, давления. Второй процесс, когда буржуазия стала думать о себе, так как враг уже был сломлен, в известном смысле Тогда буржуазия заговорила о свободе, о свободе для себя. То же самое с социализмом, он имеет две стороны, которые спорят между собой, иногда и враждуют, но, на деле, это зря, так как они оба составляют одно целое. Когда организатор уничтожит буржуазию, то он станет гуманничать, он заговорит о свободе, и надарит „свобод", сколько влезет, путь предначертан уже буржуазией и ее политикой, проделанной ею. Тут только историческое своеобразное повторение.

И, в сущности, когда организатор одолеет своего врага, буржуазию, то разве ему придется прибегнуть к жестоким, юридическим мерам воздействия, для подавления, для понукания жалким, несчастным, беспомощным организуемым, который сравнительно с ним, владеющим всем, составит нуль? нет, он справится с своей задачей и без этих мер, которые отомрут из-за излишности. Но из этого не следует, что тогда воцарится долгожданная свобода. Ничуть не бывало. Дело не в свободе и не в несвободе, а дело в социологическом разрезе, в пропасти противоположности интересов и позиций, зияющей между одним типом и другим.

Но для борьбы с этим парием аристократии, организатору не зачем будет прибегнуть к механическому, юридическому воздействию. Если буржуазия, класс наполовину организаторский, могла справляться и обирать пролетариат, почти не прибегая к помощи юридических скорпионов, довольствуясь своим экономическим преимуществом, и лишь косвенно пользовалась юридической, механической принудительностью, пуская ее в ход против деликтности, в виде наказания за нарушение существующих, освященных отношений, тем более организаторы по преимуществу, им то, наверное, не придется прибегнуть к этой машине, несмотря на то, что в их руках она вся и будет находиться. Достаточно им будет одного экономического давления. И не даром все социалисты признают этого рода „анархизм", признают его народники - социалисты и большевики, признали его и Лавров, и Энгельс, и Маркс. Зачем прямая власть над людьми, когда осуществлена власть над вещами, а с их помощью, косвенно, получится власть над людьми, которая наивным, неглубоким покажется добровольной, *анархией*.

Социализм завершит, как мы сказали, ошлифует, выкристаллизует тип организаторов

7.

Социализм, далее, как мы несколько раз уже сказали, подгоняет отсталую экономику под размер, под величину бывшей политики. Пусть это не нравится марксистам, утверждающим обратное, что всюду гегемонизирует экономика. Размер политический шире размера экономического и не только размер, но и форма политическая сложнее. Отношения политические более развиты, более концентрированы, более планомерны, более целесообразны, более определенны и сознательны. В них меньше случайности и стихийности, в них больше предвиденного, больше нормировки. Здесь в политике, организатор, регулирующий внешнее и внутреннее отношения, выступает более в чистом виде, чем в экономике, где он скрыт собственничеством. И в политике он одно время

выступал в роли собственника, феодал, сюзерен господствовал, реализовал свое преобладание, благодаря тому. что общее пользование землей принадлежало ему, патримониальная форма господства. С ростом политической организации, с усложнением ее формы, с сознанием ее необходимости, с возрастанием ее могущества, ее материальной и духовной силы, господство отвлекалось от земли, от права собственности на землю, оно перестало быть собственническим, от земли оно перенеслось на людей, на народ, который представлял, по их понятиям, целое органическое неделимое. При патримониальном взгляде на господство, когда власть, казалось, реет, главным образом, над вещью, над базой общежития, над основой, содержащей в себе все источники богатства и существования, когда организиция еще не умела автономизироваться, когда политика еще не была в силах оторваться от пуповины экономики, когда преобладали всюду и везде экономические воззрения и экономические, собственнические понятия, при смерти царя, феодала дети унаследовали его достояние, его земли и делили их между собой, как дети капиталиста делили его деньги, как дети крестьянина делили наследство, выражавшееся в получении полоски земли. Наследственное право вместе с правом собственности, внесенное в область государства, в сферу imperium'a совершало дробление могущества, дробление господства, чуть не сведя его на нет. Но господство погоняемо организаторством, организаторство требует большого размера, большого размаха, без этого оно теряет свое право на существование. И господству пришлось отойти от простого понятия собственности, от вотчинности, от патримониальности, создавая учение о чистом господстве над народом, не допускающем, в силу своей органичности, деления на равные куски, на полосы, как не органическая земля Господство кристаллизуется, получает свое преобладание над понятием собственности. Господство укрепляется в политике, политика отделяется, освобождается от тяготеющих над ней экономических предразсудков. Создается учение о престолонаследовании, где господство переходит в руки одного члена, а не всех. Тут полнейший отказ от экономического воззрения на наследство. На этой стадии наследство политическое напоминает экономическое наследство в патриархальной семитской семье, где главная доля наследства доставалась первенцу, перворожденному, старшему сыну. Так как там не было чисто экономического наследства, семья не была экономической единицей, но и политической, семья была государством в миниатюре. Наследство политическое претерпело ряд изменений, но окончательно не отходит в область преданий, пока не отмирает форма монархии. Почти все монархии наследственны. Тут сохраняется еще связь и преобладание понятия собственности над понятием господства. Ясно, что наследство имеет отношение к наследственности, имеющей свои корни в биологии, в родстве, в крови Экономика, будучи более отсталой, чем политика, сохраняет и чтит эту связь больше нежели политика, стоящая выше на лестнице социологии. Политика отказывается совершенно от идеи наследственности, вплетая, как посредствующее звено, как переходное состояние, пожизненность. Затем и отказ от пожизненности, выборность и к тому на время. Создается республика. Господство совершенно отходит от экономических понятий, от понятия собственности. Организаторская функция imperium'a все более выявляется.

8.

Наследство еще долго держится в области хозяйственных отношений, фирмы переходят от рук отцов в руки наследников. Торговые дома дробятся, та же участь постигает и поместья, крупные земледельческие хозяйства, предприятия.

Пока эти хозяйства не представляли собой высоко организованных механизмов или организмов, то их раздробление не отзывалось гибельно на их производительность, прибыльность. Сцепление было чисто механическое Здесь все было вопросом количества, а не качества. Количество понятие чисто математическое, оно подлежит простому делению. Когда величина предприятия перешла из сферы количества в сферу качества, тогда дележ оказался пагубным, нельзя же делить неделимое, целое. Нельзя ведь разрезать ребенка, живой организм, на несколько кусков. И пришлось бороться или с наследством, которое, никоим образом, не вяжется с понятием организаторства, понятие исключительно интериндивидуальное, массовое, биология вступила в резкое

столкновение с социологией. Чем дальше, тем больше выступала роль организатора и в хозяйстве, и стала пробиваться мысль о пагубности наследственных дележей. Но в то время, как imperium справился с этой задачей созданием кодекса о престолонаследовании, собственность, экономические отношения, лежащие на дне социологических отношений, не могла таким образом решить проблемы Ибо такое решение в пределах маленкой семьи, экономической единицы, не возможно. И в то время, как господство, решая этот вопрос, под давлением выявления организаторского элемента, ударяет всей силой на экономическое понятие собственности, отказывается от патримониальности, выдвигает принцип политический, который ведет к концу, к совершенному разрыву между экономической единицей, представляемой господствующей семьей, династией и политикой, создавая новый вид организаторов выборных, так как организаторство, как сказано, не вяжется с идеей наследственности,—то идея собственности, будучи тесно связана с семьей, с наследственностью, не в силах выдвинуть окончательно идею организаторства в производстве и отрешиться от самой себя, ибо это означало бы самоубийство для собственности, для остатков биологии в хозяйстве, в низшем этаже социологии,—ударяет всей силой на биологию и вместе того, чтоб реформировать наследство, отношение собственности между отцем и сыном, формирует биологию, прибегая к помощи искусственных мер, создавая однодетную семью, семью приспособленную к крупному хозяйству, не допускающему раздробления, хозяйству, дробление которого равносильно его уничтожению, разорению.

Однодетная семья говорит о сознании организаторской, связующей роли собственника, хранителя, копителя сокровищ, не как мертвого капитала, который допускает расчленение, а как живого капитала, как размножающегося, плодящегося, возрастающего богатства, дробление которого может (поразить) его репродуктивные органы, может отразиться гибельно на доходность.

Такое решение вопроса, бесспорно, не правильно, есть аномалия. Всякое решение вопроса требует восхождения. Если раздробление хозяйства гибельно, если собственник, дает себя чувствовать, должен уступать и уступит свое место организатору, творцу единого сплоченного хозяйства, и собственность перестает быть одним хранением сокровищ, богатств, доходность которых равномерно распределяется между каждой единицей богатств, а получается как следствие всей суммы, составленной органически из слагаемых. Если это сознают, то требуется делать шаг вперед, оторваться от биологии в социологии, подняться на высшую ступень и понять, что время биологической социологии прошло даже в хозяйстве, не то что в политике, в чистом общении, в общежитии, в регулировании интересов касательно внутренней и внешней охраны и безопасности и благосостояния. На это не был способен старый капиталистический мир. Он решал вопрос по иному. Он решал вопросы экономики, посредством оказания давления на биологию. Он не изменил экономику, а реформировал семью, желая таким образом достигнуть тех же результатов. Но максимум того, чего можно было достигнуть таким образом, это охранение, удержание уровня организаторства, убережение хозяйства от развала, от искусственного раздела. Но такое решение вопроса не могло удовлетворить наростанию важности роли организаторства. Организаторство есть же талант, есть духовная способность, получающая свое применение в социологии. Как духовная функция, как духовная ценность она не укладывается в рамки семьи. Давно минули те времена, когда духовные ценности вращались в пределах семейственных или родовых. Далее, как социологическое явление, как политическое явление оно опять не могло ограничиться семейственным положением.

Политика давно выросла из этих пеленок. — Тем более, что капиталистическая собственность, чем дальше, тем все больше, приближается к господству, к власти над людьми, а не над вещью, над капиталом. Суть не в накопленном, а в накопляющемся, в регулировании отношений, в сознании интериндивидуального экономического государства под названием предприятия. Собственность в примитивном, в чистом виде предполагает непосредственное отношение и воздействие человека на вещь. При капитализме ничего подобного не было. Между вещью, между машиной, фабрикатом и фабрикантом стоит трудящийся и целая иерархия служащих. Тут собственность так и стремится к господству, она само собою, с ростом производства, претерпевая ряд трансформаций, перестает быть собственностью, она становится господством, воплo-

щенным не в чистой организации, а в организационности, замаскированно устаревшей, выдохшейся формы собственности.

И тут происходит их слияние. Собственность отходит от себя, превращается в господство. Экономика становится политикой, последняя, как более совершенная форма, преобладает над первой. Организатор в экономике протягивает свою руку организатору в общении, в политике, они образуют, в пределах бывшего политического организма, одно лицо, одно единство, национально-государственное хозяйство, т.-е „политическую экономику", общественное „хозяйство", т.-е. интериндивидуальное хозяйство, доведшее свою интериндивидуальность до предела бывшего политического могущества. Собственник отмирает, рождается организатор. Организатор социологичен, он ничего общего не имеет с семьей' с наследственностью, он покончил с биологией, он весь социологический массив, хозяйство поднялось, вступило в новую сферу, в сферу политики.

Тут сказывается преобладание политики.

9.

Сперва она сама себя очистила от всех чужеродных элементов, от всего ей чуждого, неподходящего, всех анахронизмов биологических, собственнических. А затем она стала давить, влиять на экономику, чтобы и та пошла по ее пути, по проложенной ею стезе. Этот взгляд противоречит вульгарному пониманию экономического материализма, но зато он находится в полном контакте с действительностью. Обратное развитие. Развитие системы, фактора не происходит только в одном направлении, а по возможности по всем направлениям. Здесь можно сказать есть обратное действие, политический фактор, новые формы трансформируют экономику; организаторство, как таковое стремится к единству. охватывает одновременно все отрасли интериндивидуальной деятельности. Не то же самое ли мы наблюдали при развитии капитала, т.-е. при первоначальном зародышевом выявлении организаторства в хозяйстве. Капитал зародился, выявил себя в торговле, в перемещении готовых продуктов, создалась торговля, которая развилась до международного масштаба. Затем капитал делал еще один шаг вперед.. нет, назад, хотя исследователи этого не заметили, думая, что он двигался вперед. Он опустился, он проник в ремесло. Он зародился в обмене, в торговле и перешел, делая шаг назад, обратно развиваясь, в ремесло, создавая промышленность, т.-е. превратив ремесло, обработку продуктов, которая ограничивалась ремеслом, в обрабатывающую промышленность, Капитал углубился, стал пускать корни в почву хозяйства. Он на этом не остановился. Он шел дальше т.-е. глубже, он стал проникать и в добывающую промышленность, он влез в земледелие и стал эту отсталую отрасль труда, это ветхое занятие, подымать, реформировать, капитализировать Вот как идет его развитие. В двух направлениях, вперед, завоевывая новыя отрасли, создавая новые предприятия, открывая новые сферы обработки, с одной стороны, с другой же стороны, он разрушал старое, пересоздавая его, изменяя, реформируя самое отсталое, даже земледелие и скотоводство, превратив последние в крупные предприятия, примерно, коннозаводство и проч.

Аналогичное явление мы замечаем в политике. Она реформирует хозяйство при социализме. Политика давит на экономику. Политический организатор выравнивает фронт экономики, превратив эконома, капиталиста в организатора. Но в это же время политика подымается на одну ступечь выше. Если экономический организатор национален, то политический организатор интернационален.

10.

Нельзя видеть регресс в этом слиянии обоих видов деятельности. Политика пронизывает все насквозь и нивелирует, выравнивает организаторскую деятельность, подведя ее под одну рубрику.

Прогресс техники сопровождается всегда уничтожением квалификации в низших отраслях и под'емом ее в высшую сравнительно сферу. Машина перекидывает мост

между черным и квалифицированным трудом, она это делает, совершенствуя приемы труда, об'ективируя их, воплотив их в металл, отливая сноровку не в виде ремесла, представленного в лицах, или в руководимых и руководителях, а в железе, в меди, в автоматизме. Если прогресс, с одной стороны, означает переход от однородного к разнородному, то высший шаг прогресса всегда означает создание искусственного однородного из естественно разнородного, разбросанного, посредством внесения периодичности в движения, в манипуляции. То же и в организаторстве. Его рост, его развитие, его прогресс лежит по линии выравнивания политики и экономики. Один и тот же организатор охватывает всю деятельность общежития, ту деятельность, которая поддается плану, вычету, учету, автоматизму, схеме.

Соединив, примирив организатора политика и организатора-экономa, создав из них одно единое единство, одно социологическое целое, покончив с раз'едающим общежитие дуализмом, губившим и хозяйство и правление, политика получит особый блеск, особую ценность. Совершив этот акт, она выигрывает не только в об'еме, тем, что она, покорила области, которые в известном смысле находились вне сферы ее прямого воздействия, вне линии ее прямой компентенции, она крепнет вообще, она извнутри становится интенсивней, сплоченней, шире. Политика от этого становится сильней, могущественней, автономней, более замкнутой, она перестанет прибегать в такой мере, в сфере национально-государственных отношений, к помощи фактических, механических и, главным образом, психологических, воздействий, без которых право не может обходиться Эти меры остаются лишь в сфере интернационального, в сфере чистой политики. Право зиждется на психологическом воздействии, на страхе, на боязни перед наказанием, перед взысканием. Политика, победив экономику, взяв ее в помошницы себе, для организации междуличных отношений в пределах бывшей политики, перестает столько нуждаться в правовом, юридическом факторе. Вместо юридического оно всегда имеет к своим услугам фактическое, которое оно заимствует у экономики

11.

Экономика, как сказано, становится политикой, становится политической. Но в ответ на это политика становится экономической. И обе они сливаются, образуя единство в пределах бывшей политики. Это единство образует социологическое могущество, не нуждающееся для реализации себя в жизни, для проведения своих организаторских задач и планов ни в психологическом воздействии, ни в каком ином принуждении и „насилии", которым оперирует право. Из этого не следует, разумеется, что право упраздняется, как утверждают некоторые утопические социологи, из этого только следует, что и право получает повышение, поднимается на одну степень, отходит от психологии и становится в уровень с экономической деятельностью, оно компенсируется, оно оперирует более с вознаграждением, уменьшением его или увеличением, а не наказанием, оно бросает „страх" и обращается к „любви", а страх оно применяет лишь в сфере интернациональной, там, где осталась одна политика Но эту сторону выясним в другом месте. Главное, что нас здесь интересует, это возвышение, которое от этого получает организатор и организаторство. Если собственник не был, не мог быть настоящим организатором, потому что ему мешала собственность, сепаратизм семейный, наследство и его слишком реальная связь с биологией, с самим собой, и с его продолжением, с его потомством, то политик не мог быть настоящим организатором, ему мешала его слишком тесная связь с психологией и с физически механическим действием, он весь завяз в тине юриспруденции. Свое освобождение он празднует в день своего сочетания с экономом, с хозяйством. Тогда организатор политик становится на ноги, получает свою конкретную силу, мощь.

Организация, как таковая, слишком абстрактна, слишком неуловима: повреждения, погрешения в этой области не так очевидны, их реакции не так (ощутительны), осязательны. Простому, неразвитому человеку вся эта деятельность кажется никчемной, ненужной, паразитической.

Конечно, это наивный социологический реализм, думать, утверждать, что организаторская деятельность лишня, бесполезна. Но этот грубый реализм присущ без-

хитростному человеку, который, не разбираясь, принимает правильное суждение о паразитической деятельности организаторов, по простоте своей, как утверждение, что организаторство, вообще, лишняя работа.

И организатор для проявления себя прибегал к помощи действительных героических мер, как грубое физическое насилие.

Хозяйство и его блага и выгоды реальнее и проще. Хозяйство доступнее среднему сознанию.

Без хозяйственной подпоры политический организатор не мог выступать в чистом виде, в чистом социологическом виде, без помощи насильственных воздействий, имеющих свое отражение в праве. Опираясь на хозяйство, он их бросает, верней, переносит, как сказано, в сферу интернациональных отношений.

Так что от этого слияния оба организатора, если можно так выразится, выигрывают. Эконом организатор становится чистым организатором, перестав быть собственником, свойство, которое ему только мешало, свойство, которое было связано с накоплением и с наследственностью.

Организатор-политик выигрывает, заручившись помощью эконома, в том, что он больше не нуждается в скорпионах грубого принуждения, он укрепляет свое могущество на скале фактического, в конкретном, в реальном, в хозяйственном, в материальных осязательных благах, выгодах. И остается он власть—имущим, не фактическим господином, а юридическим, лишь в области международной.

12.

Исторический материализм, который называют и экономическим материализмом, отвечает известной стадии развития хозяйственных отношений, он снимок с буржуазного мира, в котором господствует капитал, богатство. Буржуазный мир, отраженный в философии, творит учение об экономическом бытии, определяющем всякое сознание. И на самом деле, что за ценность имело сознание в буржуазном порядке, где сознание было товаром, где оно продавалось и покупалось. Буржуазный мир, опошленный до глубин, до нутра, чуть не дошедший до торговли этим бытием, не только сознанием, разве он мог вызвать другие представления в умах мыслителей, исследовавших его.

Экономический материализм отвечает, соответствует капиталистическому хозяйству, но нисколько не соответствует социалистическому, где на первом плане выступает организаторство, политика, где все политизировано, где господствует умственная способность, а не об'ективированный черный или квалифицированный, отлитый в золото или в другие материальные ценности, труд, где первую скрипку будет играть не класс копителей богатств, лежащих вне копителей, а в внешнем мире, а тип, совокупность организаторов, „богатство“ которых заключается в них самих, в их умении.

Этому порядку отвечает другая идеология, не превозносящая *материю*, а форму, организацию, политику, общительные силы. Этому периоду отношений и взаимоотношений отвечает политический *формализм*, исторический формализм, или точней, политический энергетизм, ибо здесь все вращается вокруг *формы*, вокруг организации, вокруг сил, а не материи, верно, и экономический материал был бы гораздо лучше, если бы обозначали его экономическим энергетизмом, так как ведь экономические факторы, производительные силы не *материя* в простом значении этого слова, а энергия, сила. Политика выше всего. Не богатство, не накопление с одной стороны, не труд, с другой стороны, а талант, организаторский талант—вот, кто будет владыкой мира. Изобретение, изобретатель, практик организационный, вот кому принадлежит ближайшее будущее, и он должен пресоздать и формы идеологии. Все дело не в материи, а в форме, не в „чем“, а в „как“, не в материи, а в энергии, в преодолении, в создании формы. К этому сводится все. Форма начинает преобладать. И класс „формалистов“ энергетистов покорит мир. Выведение на широкую дорогу этого класса, верней, типа, есть дело социализма. При социализме этот тип станет чистым и господствующим, он будет господствовать именем организации, организованности, порядка и упорядочения общежития, которое разрастется до небывалых размеров и будет нуждаться в квалифицированном организаторстве.

13.

Утверждение социализма, выраженное неоднократно Марксом, самым глубоким обоснователем социализма, что победа обеспечена за пролетариатом самим ходом истории и предыдущим ее начертанием, насквозь пропитана исторической и логической ошибкой.

Это утверждение, собственно, проходит красной нитью через всю социалистическую литературу. В этой аналогии, проведенной между победой буржуазии и триумфом, ожидающим пролетариат, он, социализм, марксизм черпает всю свою уверенность в торжестве, уверенность в окончательном решении рабочего вопроса. (Смотр. „К критике политической экономии" Маркса в предисловии).

Это суждение, мы сказали, ошибочно.

В чем кроется ошибка? Ошибка, по нашему, в том, что тот факт, то историческое данное, гласящее, что буржуазия в исторической схватке, на арене хозяйства и правления оттеснила, или совсем разбила и победила феодалов, как раз говорит против того, что пролетариат, в социалистическом понимании, как класс трудящихся, что рабочие победят буржуазию. Пролетариат и буржуазия являются двумя контрагентами одного производственного процесса в одной исторической полосе. Им аналогичное место занимали предыдущие два контр агента, лежащие на один исторический шаг назад, помещик феодал и крестьянин Крестьянин сталкивался, боролся с помещиком, допустим. как пролетарий с капиталистом. Землевладелец и хлебороб-земледелец в предыдущей эпохе, фабриковладелец, капиталовладелец и трудящийся в настоящей эре. Если бы мы могли доказать, что в прошлом, в предыдущей эпохе, крестьянин одолел своего господина, своего барина, одолел, оттеснил, перерос его, экспроприировал, и конец, тогда мы бы аналогизировали и сказали: как крестьянин победил своего повелителя, своего угнетателя, так сейчас пролетарий, в социалистическом понимании этого слова, победит своего современного врага, капиталиста. Но ведь ничего подобного утверждать нельзя, ибо это не отвечает действительности. Фактическое исторически говорит нам совершенно о другом. Не крестьянство победило, а буржуазия, старый господствующий класс, точнее, господствующее сословие было бито исторически новым господствующим классом, феодала-помещика сменил буржуй, дворянство было оттеснено восходящим классом, буржуазией. Крестьянство не осталось в стороне. Верно, оно воспользовалось этим переходом, оно выгадало немного лучшие условия жизни, оно устроилось до поры до времени. сравнительно более сносно, оно воспользовалось междуцарствием, междуусобицей этих двух господ и немного, на *время*, пока не подоспела буржуазия своими щупальцами, освободилось из когтей дворянства и в промежуток времени, когда дворянство отошло и буржуазия еще не пришла, не абсолютизировалась, не укрепилась окончательно, оно, крестьянство, вздохнуло свободно.

Более того, крестьянство получило целый ряд льгот за свои жертвы, за свои постоянные бунты, за свою пролитую кровь на алтарь возвеличения буржуазии, своего нового классового повелителя, врага, который сначала дружил с ним и руководил его восстаниями и возглавлял его. Крестьянство от этого выиграло, добившись своего освобождения из-под ига крепостничества. Буржуазии нужны были люди свободные, свободные от всего, от орудий производства, от земли. Крестьянство боролось с дворянством, вело свою „классовую борьбу", вело ее ежедневно, сталкиваясь на каждом шагу со своим угнетателем. Но эта борьба, собственно, в счет не идет. Такую борьбу ведет каждая жертва со своим палачом. Такую борьбу ведет овечка между зубами волка Но были и будут, были и настоящие восстания, были схватки боевые. Наконец, и революции. А тогда, кто получил львиную долю выгод от нового строя? Крестьянство? Ничуть не бывало. Буржуазия. Народился новый класс, создались новые условия жизни, стали зарождаться новые отношения, являющиеся новым отражением нарастания и выявления новых отраслей труда, выдвинулось ремесло, обрабатывающая промышленность, создался город, место обмена и ремесла, развился обмен, создались новые кадры лиц, которые занимались этой новой отраслью деятельности. Эти люди, создавая новые экономические отношения, создали и новые политические отношения, соединяли хотя неорганизованно, зачаточно, не соединенное до них политически, они пе-

реходили через таможни, через рубежи, установленные феодалами, они революционировали, реформировали жизнь, хозяйство, обменивая продукты, создавая торговлю. Они, в конец, использовали недовольство крестьян, их постоянные столкновения с помещиками, с феодалами. Дело кончилось тем, что дворянство было низвергнуто и его место на авансцене истории, политики, экономики, занял новый, свежий, бодрый, полный сил и воли к могуществу, революционный не на словах только, но в делах своих—класс.

Это историческое данное в высшей степени поучительно. Стоит пролетариату над ним задуматься. Крестьянство было исторически использовано, исторически, зне злонамеренно. Было бы ограниченностью и ослепленностью утверждать, что буржуазия злоумышляла, злоупотребляла. Да, все это было, но об'ективно, исторически, а не суб'ективно, не только не лично, но и не классово суб'ективно. Этот процесс от ажался в истории, в сцеплении фактов и событий, а не в сознаниях и психологиях, и идеологиях. Что касается последних, то они были, может, самого гуманного, доброжелательного свойства И это ведь так естественно. Суб'ективизм преобладает. Стать не на свою точку зрении, быть об'ективным нельзя, не дано никому, никакому классу, никакой группе. Это равносильно требованию отказа от своей души, от своего сознания, и перенесения себя в другую душу, в другой класс, в другую эпоху.

Класс, группа, судит об обществе, об общежитии со своей точки. То, что классу выгодно, хорошо, об'является общим благом Тем более это бывает с тем классом, который играет руководящую роль, первую скрипку. Он настраивает весь общежительный, весь исторический оркестр на свой лад. Его счастие, его благосостояние он считает общим благосостоянием, общим счастием, выдает его за прогресс. И ясно, что буржуазия не злоупотребляла сознательно жертвами крестьянства, обманывая его, и живых и мертвых, строя свое счастье на грудах трупов, на горах костей. Это вышло так. Именно вышло. Исторически так вышло, и иначе, как видно, не могло получиться.

14.

„История человечества есть борьба классов"—золотое положение Марксизма. Но оно совершенно, тем более при свете этого простого факта, о котором мы говорили, неясно, требует раз'яснений.

Если этим хотят сказать, что история есть борьба, что канва событий исторической жизни ткется не мирно, не тихо, а куется под ударами молота столкновений, то это философская, описательная или даже об'яснительная формула, которую можно передать словами: жизнь есть борьба. Тогда в ней ничего нормативного нет. Тогда в этой формуле меньше сказано, чем в дарвиновом тезисе о борьбе за существование, и об естественном подборе. Выживание наиспособнейших. Но там борьба не есть цель, не есть предписание, а есть констатирование факта. И если понимать Маркса в этом духе, то из его формулы можно было бы делать чисто буржуазные выводы, что эта борьба, происходящая между классами, естественна, необходима и полезна, так как она ведет к тому, что среди буржуазии останутся в живых лишь наиболее сильные, наиболее способные акулы, и то же самое и среди пролетариата, т.-е .среди трудящихся, как понимает слово пролетариат социалист. Так, приблизительно, толкуют борьбу за существование в ее преломлении в экономике Спенсер, и другие буржуазные идеологи, так рассуждает часто Шарль Жид. Но тогда уместно говорить о конкуренции, но, никоим образом, не о классовой борьбе.

Классовая борьба не есть просто борьба, как жизнь. Это явление, которого нет в животном царстве.

Путать учение Маркса с учением Дарвина значит не понимать ни того, ни другого, хотя оба будто бы сказали одно и то же о развитии. Такую путаницу могли создать только люди не продумавшие, совершенно не вникшие в учение о борьбе классов.

Если бы Маркс понял так свою формулу, как ее толковали те, которые почему то считали своим долгом искать для него защиты у Дарвина, желая воспользоваться этим буржуазным учением, которое одно время овладело всеми умами,—то он был бы буржуазным мыслителем. И не потому в этой формуле, в тезисе о классовой борьбе нет дарвинистской борьбы, потому что последняя не этична, и в социологии нельзя ее при-

менять, как апологизируют Маркса некоторые путаные головы из народнического лагеря. Нисколько. В учении о борьбе классов нет ничего Дарвиновского по существу. Это совершенно другое утверждение. Конкуренция, войны—вот что подходит, подпадает под понятие борьбы за существование. И Спенсер в своей Этике и в своем „Изучении социологии" всей силой своей биологической аргументации защищает конкуренцию, идол буржуазного мира, и нападает на социализм, на коммунизм, как на порядок, идущий вразрез со всеми, установленными самой природой вещей, законами.

История человечества есть борьба классов, надо понимать, что эта борьба классов является двигателем истории, что это она, эта борьба, уничтожает старые порядки и создает новые, что эта борьба влияет на весь прогресс, даже на рост техники, от которого в большей степени зависит под'ем, увеличение коэффициента культуры, производительности. Борьба здесь выдается за двигатель, за стимул, за фактор прогресса, и борьба классовая, не видовая, не родовая, не единоличная, а классовая; и ведет эта борьба к уничтожению классов, к одолению нарождающимся классом, трудовым, производительным непроизводительного, паразитического. Отход паразитического в глубины, в тень истории не происходит исключительно в силу борьбы, но борьба, классовая борьба, играет огромную роль и поэтому классовая борьба предписывается, как средство, как метод, как действо, ведущее к цели, к пересозданию общежития.

Теперь зададим один вопрос: борьба классов—какие классы, лежащие в пространстве историческом, в одной эпохе, находящиеся в сосуществовании, зарождающиеся и расцветающие одновременно, будучи связанные антагонистически и, следовательно логически в известной мере и „солидаристически", или классы, находящиеся в последовательности, классы, арьергарды с авангардом которых встречаются на исторической грани, на обрыве эпохи, какие классы? Вот вопрос, который тут напрашивается.

Рабы боролись, восставали, бунтовали против рабовладельцев. Но ни Греция, ни Рим не были разрушены прямо, непосредственно рабами, взбунтовавшимися, порабощенными пленниками. Грецию одолел Рим. Рим был разрушен вандалами. Да, древний мир был подточен рабством. Но тогда это только отрицательный фактор. Но положительную роль кто сыграл? Кто овладел Римом? Кто овладел Грецией? Разве рабы? Нет. Феодальный мир был разрушен, дворянство, крепостничество было уничтожено, но все это делалось как-то совершенно не по Марксу Боролись классы, боролось крестьянство с дворянством, но сдвиг, этот великий сдвиг уничтожения сословий, уничтожения феодального мира выполнила буржуазия, по крайней мере, она использовала борьбу ведомую крестьянством, и воздвигла свое могущество на развалинах старого мира. Да, и она боролась, но тут же была совершенно другая борьба, тут столкнулась зарождающаяся сила восходящего класса с умирающим, отходящим львом. Буржуазия и дворянство лежат, в известном смысле, во времени. Если же Маркс так и думал о борьбе классов, то тогда нельзя было применить это положение к пролетариату в социалистическом понимании. То-есть нельзя было утверждать, что вследствие этой борьбы пролетариат, т.-е. рабочий класс, освободится. Да, можно было смело утверждать, что раз предыдущие классы боролись, дрались, сталкивались между собой, то и пролетариат в социалистическом понимании, как рабочий класс, с буржуазией столкнутся, будут драться на протяжении известной исторической полосы. Но думать, что из этой борьбы пролетариат, в социалистическом толковании этого слова, выйдет освобожденным, на каком основании это можно утверждать?

15.

История человечества есть борьба классов—но в процессе этой борьбы мы не находим, чтобы классы, в таком или ином виде, перестали существовать. Одно утверждение, что борьба классов есть историческое явление, насчитывающее тысячелетия, должно было внушить изрекателю, основателю этого тезиса, что, как видно, дело это безнадежное... Сколько ни боролись, вот целая „история" прошла и класс не поборот, сколько волн не прошло, а утес все стоит незыблемым и смотрит гордо в небо зла и вражды, и обиды человека человеком.

Маркс утешается: пролетариат в социалистическом понимании,—в нашем понимании, как тип организаторов, он самый высший класс,—есть самый нисший класс и

его освобождение есть освобождение всех. Да, с этим положением, с легким сердцем, мог бы согласиться каждый и всякий. Да, если пролетариат освободится, то он самый низший. Но, Боже детского мышления! Как это наивно! Как такое суждение непристойно мудрому, остроумному Марксу! Пролетариат самый низший. В том-то и беда. Ведь раб был еще ниже И его освобождение, наверно, должно было обозначить освобождение всех, всего человечества Крепостной, кто ниже его? Он же, бесспорно, был последним, самым низшим, он ведь, наверно, лежал „на дне". А его освобождение разве означало конец классовому делению общества! „Буржуазные отношения производства составляют последнюю антагонистическую форму общественного процесса производств"... (Маркс. „К критике политической экономии") Но ведь каждой эпохе могло казаться, что ее формы последние антагонистические.. И не только могло, но неминуемо, неизбежно казалось. Нарастающий класс думал, что он решает одним ударом все вопросы, уничтожает антагонизм, разрубает Гордиевы узлы, восстанавливает братство классов Именно потому, что рабство лежало на самом дне. то его решение, его упразднение не было решением противоречивости общежительных интересов, ибо одно решение самой грубой формы угнетения не есть ведь уничтожение угнетения вообще, утонченных, усложненных видов угнетения.

Именно потому, что пролетариат, в социалистическом толковании, лежит на дне, то его освобождение не есть освобождение всех, всего человечества, верней если скажем, его освобождение от пролетарства, от гнета капитала не есть освобождение от всяких гнетов, его освобождение будет означать перемену угнетения на угнетение, один вид рабства на другой, на более сносный, на более отвечающий новым условиям Что время, то птицы, что птицы то песни—сказал поэт. А я бы сказал: что время, то горе, что горе, то слезы. Новые времена и новый вид угнетения, издевательства над человеком, помыкания человека человеком Пролетариат лежит на дне, в лучшем случае подымут его на одну ступень, но за то, стоящие на верху, подымутся на десять ступеней выше, и расстояние не уменьшится, а увеличится; не потому, что пролетариат при социализме опустят абсолютно ниже его уровня, на котором он находился при капитализме, а потому, что его опустят относительно. Он подымется на одну, на две ступени, стоящие же на верху, занявшие место господствующего класса подымутся на пять ступеней выше, и противоречивость интересов, которую на самом деле надо было бы обозначить расстоянием в благосостоянии, а не противоположностью интересов, возрастет, не смотря на то, что пролетариат, т. е. рабочий класс, получит облегчение, льготы, от перехода его из рук в руки, из-под ярма одного класса под ярмо другого, из одной социологической комбинации в другую.

16.

История человечества есть борьба классов. Зомбарт, цитируя это положение Маркса прибавляет, что история человечества есть и борьба племен, народов. Из этого добавления видно, что он тезис Маркса совершенно не понял. Буржуазная голова! Буржуазный мыслительный аппарат, он этот тезис не может понимать иначе, как в духе Дарвина. Борьба наций равняется борьбе людей, борьба племен, борьба народов равняется дарвинской борьбе, борьбе из-за продуктов, средств к существованию, она равносильна конкуренции, последняя—ослабленная форма первой. Для избежания борьбы, для смягчения ее жестокости, природа, по Дарвину, прибегает к помощи „расхождения признаков". Тут же, если понимать Маркса, происходит совершенно другое явление Оба борящиеся связаны теснейшими узами, их охватывает один процесс, они антагонистичны и все же связаны, прикреплены один к другому, ибо их соединяет одна историческая полоса, одно хозяйство. Признаки их же совершенно разошлись: один обладает орудиями производства, другой ими совершенно не владеет. они совершенно различные типы, они, так сказать, друг друга дополняют. И все-таки они борются. Или именно поэтому, что они так различны, они сталкиваются в процессе производства, в жизни. Тут совершенно другое понятие. Борьба наций есть борьба индивидов, есть дарвиновская борьба, конкуренция есть отражение в социологии, в экономике биологической борьбы. Если исправлять эту формулу, то можно было бы добавить борьбу групп господствующей национальной группы и угнетенной (см. нашу

работу „Космизм“ изд. 1909 г.). Но нам сейчас не до исправления этой формулы, а до ее расшифрования, до ее растолкования.

17.

Процесс происходит вовсе не так просто, как его мыслил и Маркс. Он двухстепенный. Борьба стихийная свирепствует между классом и классом в повседневной жизни, чем дальше, тем больше, она принимает планомерный характер, она ожесточается и организовывается, вовлекая чем больше людей, становясь решительней. Затем происходит генеральное сражение, столкновение, борьба достигает своего апогея, выливается в виде революции. И тогда выступает совершенно новый класс, не тот, который сталкивался постоянно, каждодневно, каждочасно с господствующим классом, а совершенно другой, и он овладевает театром военных действий и добычей.

История человечества не пишется прямыми, а головокружительными кривыми. Классы вырастают из ребра, с боку, как Ева у Адама в раю, так в аду жизни зарождаются новые классы, заменяющие старые. Не крестьянство заняло место дворянства, покончив с ним, со своим вековым угнетателем. Но новый класс появился, который вырос как то своеобразно, вовсе не в борьбе, а в самом процессе развития жизни. Его интересы противоположны интересам предыдущего класса, но лишь как противоположны интересы зарождающихся, сменяющих одно другое поколений... как мы раньше сказали арьегард сталкивается с авангардом. Класс уходит на покой истории, утомленный в боях, и еще более размягченный, разнеженный от наслаждений, так как он уже давно оставил поле победной битвы и расположился почивать на розах благоденствия и благополучия, и о новых завоеваниях в сфере поднятия производительности и помышлять не хочет, так как из области производства его внимание, его „гений“ перешел в область потребления и наслаждения, и он занят тем, что он творит новые формы наслаждения, он расширяет потребление, он занят утонченнем вкусов. Тут он заканчивает свою миссию, доживает свои последние исторические дни. Не думаю, что бы область развития потребления ничего не стоила с точки зрения развития и роста культуры. Я этого бы никогда не сказал. И эта функция нужная. Но в этой деятельности лежит залог смерти. Утончая потребление, вызывая жажду жизни и удовольствий, разжигая целое море потребностей, которое разливается, хотя не равномерно, по всему обществу, но захватывает, задевает всех и все, так как наши потребности являются продуктом общественного подражания, он, этот класс, не оказывается в силах удовлетворить их, он в силах себя, свою кучку, свою группу удовлетворить, но не всех людей, лежащих далеко за пределами его классового могущества. Для удовлетвогения нарастающих, назревающих потребностей, давящих всей тяжестью на массы, на народ, на все слои, зовущих, будящих их, будирующих их, требуются новые завоевания, новые преобразования, которые расчитаны на поднятие производительности и создание огромнейших запасов благ и удовольствий для всех. Таким образом, я бы сказал, что этот класс уходящий выполняет известную функцию, он создает новые стимулы, новые двигатели, он разжигает, раздувает недовольство масс, низов, жажду жизни, жажду удовлетворений. И потому буржуазия, вообще, господствующие классы, пиршествуют, обжираются, потому что они чуют свою погибель, по-библейски Nochal wenischte, ki machar namuth „будем есть и пить, ибо завтра умрем“, а потому ее завтра так быстро наступает, потому она ест и пьет, роскошничает, развращает народ, сказал бы этик, и тем самым форсирует события, вызывает силы, вызывает голод и жажду, которую она не в силах удовлетворить, утолить. И тогда выступает новый класс, полный силы, мощи, молодости, свежести, пуританства, идейности, „аскетизма“, борьбы и берется за решение проблемы удовлетворения всех „аппетитов“, создавая лучшие условия для удовлетворения потребностей, и сулит „довольство“ для всех.

18.

Собственно говоря, иначе процесс развития не мог произойти, как преломляясь в какой-то последовательной двухстепенности, в наростании сил.

Если бы он происходил просто, крестьянство победило дворянство и перевернуло доску шахматной игры экономической и политической жизни, тогда бы мы получили застой, топотание на одном историческом месте. Мы бы не шли вверх по лестнице усложнений людских отношений, мы бы лишь менялись местами. Я не хочу вложить „особый смысл" в ход человеческой истории, вписать какие-то телеологические элементы. Я хочу только сказать, что толковать процесс развития, разуметь его, нам так гораздо удобнее, чем при простом схватывании явлений, чем при допущении простого переворачиваиия социологии. Нам понятнее и логичнее процесс смены, восхождения, утончения различий, конец которых упрется в вечность, в вечное бесконечное усовершенствование наших междуличных отношений и их регулировки, чем метод решения по-марксистки, посредством разрубления узла, геройского уничтожения классов, что является в лучшем случае мифом, в худшем самообманом и обманом народных масс и использованием их в своих типовых интересах, использованием, как пушечное мясо, как жертвы всесожжения на алтарь благополучия своего нового класса, чтоб запахом их мяса задобрить разгневанного бога истории, любящего человеческое мясо и человеческую кровь. Но и это идеологическая мифология творится совершенно об'ективно.

Правда, истина, действительное, верное освещение событий, никогда никому не вредила, тем более низам. Как Маркс приблизительно сказал Вейтлингу в споре: невежество никогда никого не спасло.

Если бы процесс исторический не так двигался, а по простой формуле, низший класс сменяет высший. Тогда бы мы в каждом томе эпохи имели бы две части. И роман и повесть истории была бы закончена второй частью. При смене получается вечное возрастание, выростание, произрастание новых сил, неожиданные исторические эпизоды появляются в виде сюрпризов, в некотором смысле. История творит, а не просто переворачивает лестницы, как пьяный мужичок в известной басне.

Стояла лестница. В лестнице много ступенек. Верхние и нижние. Верхние возгордились, помыкали низшими. Пьяный мужичек прошел мимо. Расслышал разговор верхних ступенек. Рассердился—взял, да перевернул, и верхние оказались внизу, а нижние оказались наверху.

Гений истории, вопреки вульгарному суждению, не переворачивает лестницы, а творит новые комбинации социальные, исходя из предыдущих, цепляясь за прошлое, в котором засеяны семена грядущих процессов. И так мы двигаемся все вперед и вперед.

19.

Если бы процесс произошел иначе, то мы бы имели постоянные обрывы. Да и вся Марксова концепция наростания сил пролетариата не выдерживает никакой критики, шита белыми нитками. Мы к ней вернемся в специальных работах. Рост капитализма есть его могила. Верно, но как? Концентрация капитала, уменьшение числа капиталистов и пролетаризация с другой стороны. Но разве вопрос экономического, социологического господства это вопрос перевеса сил в смысле физиологическом, разве преобладает численное превосходство, разве в этом суть, что буржуев станет мало, а пролетариев много. Главное ведь в том, что буржуи возрастут в силе, станут крупными. Пролетариат и буржуазия, вот две противоположные силы, перевес в начале капитализма, при его зарождении, как при пышном расцвете, при развертывании его тенденции, перевес сил на стороне буржуазного класса. При росте капитализма растет и перевес, или он остается в прежнем размере. Сила пролетариата возрастает, пролетариев становится все больше и больше, буржуев все меньше и меньше—допустим, что это так, хотя все это оспаривают, и сама действительность это отвергла, рост капитализма не есть, не равняется росту пролетаризации, так как машина пролетаризуется, начинает заменять пролетария, при том еще капитал начинает акционизироваться, своеобразно коллективизироваться, но это не существенно, что схема не отвечает действительности,—буржуи становятся меньше количественно, но сильнее, могущественнее качественно, у них происходит выживание наиспособнейших, так как конкуренция делает опустошения в их рядах, унося, вырывая из их среды все недостаточно сильное, здоровое в смысле предпринимательском, все наименее богатые

Библиотека О...

уступают свои места, капитал концентрируется, значит становится интенсивнее, могучее, сложнее, это же есть рост капитализма, воплощенной идеи, идеологии, мощи капиталистов. Пролетариат возрастает в величине, в численности, в количестве, но не в качестве, так как рост количественный не говорит о подборе, а, наоборот, что туда общество валит всех негодных, всех некудышних, всех промотавшихся, всех законкурированных, разбитых на поле брани, всех потерпевших крушения в своем плавании по морю жизни, все идут туда. Образуется, по Марксу, два лагеря. С одной стороны кучка капиталистов, напротив их многомиллионные массы. Если исходить с точки зрения моральной, применяя начало большинства, как синоним добра, блага, справедливости, тогда вся мораль будет на стороне пролетариата. Но Маркс ведь далеко не моралист, не идиолог. Он ведь „Материалист", все дело в производительных силах в производственных отношениях. А если так, то ведь, наоборот, чем производство становится крупнее, тем дальше оно отходит от пролетария, от его кругозора, от его умения охватить весь процесс и ориентироваться в его деталях. Рост пролетариев, то, что они скапливаются на одном месте, в одном предприятии, усиливает позицию капиталиста. Чем меньше хозяйство, чем капитал менее концентрирован, тем ближе оно к мелкому, частно-хозяйственному, мелко-буржуазному типу хозяйства, которым руководить не так уж трудно, с регулированием которого может справиться любой из сметливых рабочих. Но когда капитал вырастает, пролетарские массы возрастают в числе, производство становится сложным, рынки разбрасываются по всему миру, сбыт становится сложнейшей, запутаннейшей проблемой, решение которой становится не по плечу частному лицу, частной фирме, за решение такой проблемы может взяться нация, как таковая, организованная в виде государства; регулирование интересов пролетариев в связи с ростом производства и усложнением его функций становится все труднее и сложнее, они, пролетарии, не выступают больше в виде отдельных лиц раздробленных, разрозненных единиц, они, представлены союзами, политическими партиями, их требования возрастают Для приведения всего этого в порядок, в гармонию, для отправления этой сложнейшей политико-экономической функции требуются новые силы, более могучие, чем те, которыми располагал капитал, и капиталист, частное, хотя сильное, ловкое, предприимчивое лицо. Эта задача становится не под силу буржуазии, и на авансцену должен выступить новый класс .. Так надо было сказать Тут социализм сворачивает, начинает путаться, заговариваться и договаривается до того, что в виду того, что процесс производства возрастает, что капиталист растет и набухает, жиреет, пролетарий чахнет, вырождается, поэтому вдруг катастрофически случится чудо и толстый жирный буржуй свалится в бездну истории, и на его месте сядет чахлый, хилый пролетарий.

Как случится это чудо? Как произойдет это превращение? Раз все время в буржуазном мире перевес сил и знания и опыта на стороне буржуазии, то как он вдруг перейдет справа налево и окажется, ни стого ни с сего, на стороне пролетариата.

20.

Далее, как возможно, что ростом капитализма увеличатся силы пролетариата в смысле нарастания шансов на овладение экономическим сложнейшим механизмом и пускание его в ход. Если буржуазия не в силах справиться с этой задачей, то как же с нею справится пролетариат, который менее развит. Энгельс выражается, что буржуазия напоминает того кудесника, который вызвал духа и после не мог сам с ним сладить. Прекрасно следовательно, родится новая сила, более могучая, чем старая, одряхлевшая, буржуазия, которую процесс производства обогнал, опередил. Но этого сказать социалист боится, в этом признаться он боится. Ибо тогда рассеются как дым все его посулы пролетариату. И как буржуазия не могла, психологически не могла признаться, что она создает новый класс, что она творит новое могущество, что она кует новые сцепления отношений, а говорила, клялась в том, что она несет свободу всем страждущим, так ныне социализм не может признаться в той горькой истине, что он создает новый класс, точнее новый тип, что создает новое могущество новому восходящему типу, типу чистого крупного организатора, а сулит, клянется в

том, что владыкой мира будет труд, что он готовит рай всем обиженным старым миром.

Отчасти это верно, как и посулы буржуазии содержали в себе крупицы (с горчичное зерно) правды. Потому что при перемещении центра тяжести в экономике с буржуазии, с господствующего класса, к господствующему типу, к типу организаторов, назовем его „бюрократией", пролетариат, т.-е. рабочий класс, низы, получит исторический подкуп или вознаграждение за свои труды, „на чай" дадут ему восходящие властелины, идущие к трону. Но и этот процесс, как все явления производства и правления, подвержен тем же законам, действующим между высшим и низшим в социологии, в нашем иерархическом общежитии. Максимум жертв со стороны организуемых, минимум благ и выгод, минимум жертв со стороны организующих и максимум благ. Сколько ни возмущайся против этого этически—тебе ничего не поможет, это неизбежно, как рок, как падение. Не сердиться, не возмущаться, а понимать.

21.

Буржуазия выросла не на почве земледельческой деятельности, а на почве обмена, почве новой деятельности, которая вначале не играла никакой роли, ибо она никому не нужна была. Разделение труда, средства сообщения, рост связи, создали, развили эту деятельность до небывалых размеров. И эта деятельность стала своеобразным производством, совершала перемещения продуктов; обмен стал одолевать расстояние, получился торговый капитал. Вот где стоит колыбель буржуазии, не в произведении продуктов, а в обмене.

Обмен, и самый развитой, есть неорганизованная деятельность, он устанавливает связки между людьми и сейчас же их разрушает, он весь подвергнут случаю спроса и предложения. Буржуазия не остановилась, не ограничилась одной этой деятельностью, она пошла вглубь, захватила производство в свои руки. Это рост планомерности. Тот, кто менял, перемещал продукты, продавал, заинтересовывался самими продуктами, самим производством. Не тот в смысле лица, а в смысле класса. Капитал овладел еще одной отраслью, взял еще одну крепость хозяйства. Но колыбель буржуазии стоит в меновой деятельности. Сам же обмен, как таковой, есть дезорганизация, в нем нет постоянства, он соединяет людей и сейчас же разъединяет, он не устанавливает постоянной перманентной связи. Это может сделать организованное распределение, одолевшее торговлю и обмен. И в этом упорядочении связи, в этой организованности стоит новая колыбель нового класса, нового типа.

Распределение, когда оно развивается, бросает форму обмена, бесформенную форму, хаотическую регулировку, и переходит в планомерную раздачу по учету, принимая во внимание потребление и производство, возможность удовлетворения, наличие богатств, благ, труда, производительности и суммы необходимых потребностей в данной среде. Производство не было связано с потреблением, виновато было в этом не упорядоченное распределение. Ибо не распределяли, а продовали и покупали. Раздача благ приняла вид обмена, обмен развился, перешел в торговлю. Покупал тот, кто с точки зрения общежития, в продукте не нуждался а кто имел возможность покупать. Был хаос. Надо привести хозяйство в порядок, надо овладеть хозяйством и общежитием. Для овладевания нам надо их упорядочить, надо создать организационный аппарат, действующий планомерно, нужен производственный аппарат, нужен и распределительный. Чувствуется нужда в организаторе. Не из самого процесса производства, не из производственной среды он выйдет, а из среды тех, которые заняты регулировкой производства, распределения и, вообще, междуличных отношений, из правления он выйдет. Но как было бы нелепо полагать, что „торговлю" в ее сложнейшем виде, создаст первобытный „обмениватель", так нелепо предполагать, что старый правительственный муж справится с этой задачей. Здесь вырастет, вырастает новый тип, организатор по существу. С торговлей, с торговой функцией не справлялся старый класс феодалов, он к этому был совершенно не приспособлен. Этим не занималось крестьянство. Оно, будучи занято земледелием, не имело ни талантов, ни навыков, требуемых для этого, ни возможности социально-экономической. Из ничего нет создания в социологии. Новый класс рождается из разных осколков,

разных социальных групп, он цементируется из разных лиц. Составляясь, образуясь, он представляет собой новые образования. Он не адэкватен ни одному из существовавших до него социологических образований.

22.

Как торговый класс не удовлетворился одним обменом, а развил свою деятельность вглубь и вширь, так как создавая специальные аппараты для обмена, создавая возможность переброски многих товаров, надо же было их иметь, чтобы было что перемещать. Создавая торговлю, куплю-продажу, надо было создать покупателя, покупательную способность, надо было, в известной мере, создать благосостояние, без этого не было бы покупателя. А продажа предполагает наличие товаров. Их же надо производить. Принцип разделения труда надо было включить везде и повсюду и с его помощью разрыхлить почву производительности, поднять ее уровень. Ведь немыслима развитая торговля без развитой промышленности. И раз развился обмен, стал торговлей и им занялась особая группа лиц, то пришлось ремесло, промысел превратить в промышленность, сначала в мануфактуру, а потом в машинное, крупное производство. Я говорю, пришлось, на самом деле это произошло одновременно, параллельно, это отдельные зубчики того же колеса роста культуры, роста хозяйства.

То же самое сейчас. Урегулирование распределения, равномерность, более или менее целесообразная раздача благ для удовлетворения потребностей—первоначальный социализм, потребительский, *распределительский* поневоле переходит в производительский—требует создания благ, увеличения их суммы. Того, чего нет, нельзя же распределять. Сейчас фактически нечего распределять, не хватает благ, если сравнить их с нуждой, с потребностями. Если можно спорить с Мальтусом относительно роста населения и роста накопления и их пропорциональной зависимости, то бесспорно, что рост потребностей превышает рост производительности. Потребности быстрее растут, чем возможность их удовлетворения, как мечтания, чаяния опережают, обгоняют всегда действительные достижения, завоевания. Удовлетворение потребностей, даже минимальных, требует напряжения, доведения производительности до максимума. И поднятие благосостояния есть вопрос производства, а не одного распределения. Таким образом новый тип должен будет овладеть консеквентности, практической последовательности ради, всем общежитием, производством и правлением. Но он, этот новый класс, этот тип организаторов никак не равен существовавшим классам. Как ни один из существовавших классов, возникших при зарождении капитализма, не был равен ни одному из существовавших сословий. Каждая полоса образует новые формации, аналогизирующие с предыдущими, но не совпадающие с ними.

Поэтому утверждение марксистов, социалистов всяких рангов, что пролетариат займет место буржуазии, не заслуживает никакого доверия, есть миф, созданный для рабочих масс, ради создания жертвоготовности и, пренебрегающего всякими препятствиями, восторга, увлеченности, веры огненной, пламенной, двигающей горами и презирающей помехи, или, в лучшем случае, ослепленность, кроющаяся в крайнем типовом суб'ективизме, неумении подняться выше себя, своих типовых интересов, которое имеет свое оправдание в том, что интересы этого нового типа лежат по пути прогресса, по линии поступательного человеческого прогресса и, в этом смысле, можно утверждать, что интересы пролетариата совпадают с интересами нового нарождающегося типа, так как от перехода от капитализма, от собственничества к национализации, к социализму, пролетарий т.-е. рабочий, если не потеряет совсем своих цепей, то он их, во всяком случае, переменит на цепи более совершенной системы, более отвечающие духу времени. Пролетариат, в понимании социалистов, как рабочий класс, вместе с буржуазией, как класс капиталистов, отойдет в область истории, он превратится из наемника в организуемого, он переживет глубокую трансформацию.

23.

Вернемся к уже затронутому нами выше, к основному утверждению марксистов, к их исторической аналогии, на которой базируется почти вся их аргументация.

„Подобно тому, как буржуазный класс сменил феодальное государство, так и рабочий класс достигнет господства, когда минует пора капиталистического производства (к „Критике политической экономики" К. Маркса. Предисловие)".

Тут рабочий класс приравнивается к буржуазному классу. Тут берется аналогия недопустимая, компроментирующая Маркса и весь марксизм. Рабочий класс достигнет господства так, как буржуазный класс добился этого, сменив феодальное государство.

Но ведь между положением рабочего класса по отношению к буржуазии, к тому классу, который он будто призван заменить, и положением буржуазии к феодальному порядку лежит разница величиной в пропасть. Вот Ахиллесова пята марксизма. Как смешон и мелок Бернштейн со всем его ревизионизмом,—слона-то он не приметил. Марксизм строит свое здание на песке мифа о рабочем классе, строит воздушные замки самообольщения.

Над марксизмом капризница-история сшутит горькую шутку. Он наполовину верен и наполовину ложен. Буржуазия будет сменена—это для нас бесспорно. Не вековать же ей на самом деле. Ничего нет вечного под луной, нет ничего более хрупкого и исторического, чем господство, тем более, что есть такие исторические факты, как смена феодалов. Кто же ее заменит? Рабочий класс — ответит марксист и Маркс. А кто сменил феодалов, первое и второе сословие? Третье, что ли? Нет, их сменил класс, господствующее сословие. Ну... что из этого следует? Что и буржуазию сменит не рабочий класс, а новый господствующий тип, тип организаторов.

Выразим это математически. Мы прибегаем к помощи формулы математической не потому, что мы так наивны, что думаем, на самом деле, вложить бесконечное разнообразие социальных, точнее, интериндивидуальных отношений в простоту числа и отношений простых, безхитростных величин. Век веры в гегемонию числа давно миновал. Мы хотим воспользоваться математической пропорцией для иллюстрации ошибочности суждений, которая бросается ярче, выпуклее в глаза.

Ф : К = Б : П. Это означает, что Феодал относится к Крестьянину, как Буржуй к Пролетарию. Отношение зависимости, подчинения крестьянина к феодалу равняется,— разумеется исторически, принимая во внимание огромнейшей дистанции различие, отделяющее крепостничество от наемничества, характеризующего капиталистический строй—отношению экономической зависимости пролетариата от буржуазии.

Марксизм рассуждает же так: в виду того, что Б сменил Ф, следовательно П сменит Б; это воистину логический прыжок в безконечность. Если бы К сменил Ф, тогда мы бы имели все данные на утверждение, что точно также П сменит Б. Но ведь ничего подобного никем не утверждается. Маркс в цитированном месте утверждает именно, что как Б сменил Ф, так П сменит Б, а следовало сказать, так О сменит Б.

Теперь получится правильное суждение.

Ф : К = Б : П = О : М, где О будет означать тип организатора и М — масса, организуемые, трудящиеся.

24.

Тогда получим три стадии, три смены: феодализм, капитализм, социализм.

При феодализме господствует помещик, дворянин. Господство связано не только с правом собственности, но и с рядом, с происхождением, вопрос господства есть вопрос благодарства, именитости, то-есть господство воплощено, освящено кровью. При капитализме господство связано с собственностью. При социализме господство является чистым господством, организацией. Антагонизм при социализме существует между организующим и организуемым,

Социализм превозглашает равенство перед владением. Но не владением, не собственностью исчерпывается сущность преимущества в хозяйстве Это примитивно. В простом несложном хозяйстве, при примитивных отношениях, возникающих на почве производства, все сводится к собственности. При сложном колоссальном хозяйстве собственность является анахронизмом. На сцену выступает организованность. Владеть надо не вещами, не предметами, не материей, а духом, силами производства. Организатор есть, если можно так выразиться, собственник „души" производства, энергии, сущности хозяйства, Конечно тут слово „собственность" не подходит, ибо „организа-

торство" лежит не вне организатора, а в нем. Он выполняет функции. Организатор есть длящаяся, действующая функция, он равен копителю богатства, а не капиталисту. Капиталист получается тогда, когда потенция уже выявлена, когда она уже об'ективировалась, когда способность уже воплотилась в материи, в вещи. Организатор может, в известном смысле, сказать „все, чем владею, ношу с собой". Организаторство есть способность, есть талант.

Капиталист пользуется, злоупотребляет культурой, человеческим гением, создавшим возможность получения добавочного труда, создавшим возможность приближения к формуле „минимум затрат и максимум результатов", которую надо тут толковать: меньше тратим энергии, воплощенной в продуктах, употребляемых нами для восстановления израсходованной силы, чем получаем в виде результатов продуктов, приход превышает расход, актив человеческого хозяйства превышает его пассив и, подведя баланс в народном, в мировом хозяйстве, констатируем наличие прибыли, т.-е. наростание богатств, то, что называется прогрессом, культурой, и этим мы, собственно, платим наш долг грядущим поколениям, возвращаем, передаем им с процентами капитал, полученный нами от предыдущих. Не разоряем достояние, а увеличиваем. Мы прогрессируем, а не деградируем.

Капиталист берет наш „прогресс", рост культуры и кладет себе его в карман, называя прогресс материальной культуры прибылью, и сбращаясь с этим, как со своим достоянием. Тут мы констатируем грабеж мира, грабеж человечества, грабеж культуры.

То же самое делает организатор. Он пользуется и в конец по изжитии себя исторически будет злоупотреблять теми сигами, которые таятся в недрах нашего общежития, он будет доить, как собственную корову, неиссякаемый источник интериндивидуальности, связи и отношений людей и их взаимную всеобщую нужду одного в другом, будет использовывать, так называемое социологическое тяготение.

25.

И организаторство недопустимо не только потому, что он, организатор, будет эксплоатировать организуемых. Не только из-за этого.

Вообще учение об эксплоатации требует очищения от вульгарности, от опошления, в которое оно впало.

Чтобы получить прибавочную стоимость, прибавочный труд, требуется целый ряд работ, затрат, усилий предыдущих поколений, взятых в целом, требуется взять весь процесс производства, как таковой, нельзя его расчленить по-марксистки, и показать пальцем: вот здесь, в переменном капитале зарыта собака эксплоатации. Это хитрая наивность, или научная агитация, или просто профанация

Результат превышает затраченный труд при нынешних условиях труда, чем лучше условия, тем выше эта пропорция, чем выше техника, тем меньше затрат и тем больше результатов Человеческий труд в благоустроенном технизированном предприятии творит богатства, то есть он создает больше, чем он потребляет, чем он вынужден потреблять Конечно, можно роскошничать, мотовствовать и тогда затраты превысят труд, тогда общество разоряется. Бывают и такие эпохи, времена великих пертурбаций, когда пассив превышает актив и общежитие идет к банкротству, к краху, к вырождению. Такие эпохи бывают во время упадка общежительного, при вырождении. Но и тогда труд не при чем, мотовство не связано с трудом, ибо те затраты были не производительны, они не шли на восстановление сил, а на издержание, истребление их. Такое восстановление есть растрата, но это растрата потребления, которая не имеет возврата. это равносильно тому безумному акту, когда человек стоит на берегу моря и бросает куски золота на дно. Это превышающее норму полезности для организма, для суммы сил, находящихся в общежитии, потребление, излишество, расшатывающее его более, чем изнурительный труд.

Таких явлений было много и в капиталистическом строе, часть вырождается из-за обжорства, другая часть из-за недоедания, так что с двух сторон подтачивают организм. В то время, когда стоило это урегулировать, и оба конца выиграли бы. Некоторые вырождаются от чрезмерного труда, а некоторые от недостатка труда. Тут одно из проявлений хаотичности, дезорганизации общежития, хозяйства. В капи-

тализме было много таких явлений, но не в такой степени, чтобы они повели общежитие и бездне розвала.

В воздухе сейчас запахло дуновением социалистической революции. Разразится буря — и освежится воздух общежития. Но в древнем обществе эти явления, умножаясь, развалили не одно общество, разорили, опустошили не одну древнюю культуру.

Результат превышает затраты, это закон культуры. Если упростим схему и представим себе, что затраты идут на добывание с'естных припасов, то можно было бы сказать, что человек производит больше в единицу времени, чем он с'едает за эту единицу времени с целью восстановления затраченной энергии.

Эксплоатация не есть единичное явление. Не данный трудящийся эксплоатируется, а вся совокупность рабочих, все трудящееся, изобретающее, работающее человечество. Работающее умственно, физически человечество производит, творит богатства, накопляет их, чтобы передать их как фонд будущим поколениям, а некоторые суб'екты не только не участвуют в этом процессе создания благ, умножения богатств, а, наоборот, остаются в долгу у человечества, они расходуют на себя больше, чем производят, так как их единица труда мизерна, а единица расходов, затрат огромна, сумма же их результатов равняется их ничтожному труду. Тогда получается паразитство, эксплоататорство.

26.

Эксплоататорство не есть явление производственное, а потребительское. Если бы буржуй не стал тратить на себя, а все свои богатства, накопленные им, вложил бы в производство, он бы никогда не был эксплоататором, несмотря на то, что он мало, допустим, платил рабочим. Если бы норма уплаты рабочим была бы ниже среднего уровня, то хозяйство, общество, как целое осталось в долгу у этих рабочих, так как они больше дают, чем получают, больше за вычетом той суммы, которая уходит на скопление общечеловеческого фонда, на фонд прогресса.

Исходя из этого получается эксплоатация, то есть может получиться эксплоатация не только при крупном производстве, но и в мелком, при мелко буржуазном хозяйстве, если последний, мелкий собственник, больше тратит на себя, чем производит, если он не делает никаких сбережений. Так как он эксплоатирует человеческие запасы, знание, умение, всем пользуется, а сам ничего не вносит. Конечно, при кустарничестве, при мелком крестьянском хозяйстве получается, если вообще получается, мелкая сумма эксплоатации. Он ведь не имеет возможности затратить того, чего он не заработал, того, чего он не получает. А получать то он получает результаты в очень мизерном количестве. Еще более, обыкновенно наши расходы, даже наша роскошь не совершенно пропадает, скажем, постройка дворцов, ведь они входят в фонд человечества. Пользование ими входит в сумму эксплоатации человеческого богатства. Крупное производство дает великие возможности крупной буржуазии к эксплоатации. Но эта эксплоатация реализуется при потреблении. Поэтому, если упорядочить распределение, то не было бы никакой эксплоатации. Но одно упорядочение распределения не означает решения всех хозяйственных вопросов, не значит устранение всех дефектов. Так как эксплоатация не является чем то самостоятельным, как это вульгарно рисовали социалисты — агитаторы, а представляет собой одно из звеньев в цепи хаоса, самостийности, сепаратизма, неупорядоченности производственного процесса.

И можно сказать без обиняков, что сумма эксплоатации не увеличивается от роста и концентрации капитала, а, наоборот, сумма уменьшается, но она скапливается, собирается в одни руки, давая некоторым магнатам, сатрапам желтого дьявола, возможность злоупотреблять их возможностями,

Этим об'ясняется рост богатств при машинном крупном производстве. Если бы взяли сумму капитала, хранящуюся в одной руке, и роздали бы ее тысяче рук, то последние израсходовали бы из нее больше на себя, чем этот один, у которого она хранится. Кроме того, машинное производство ускоряет темп накопления, увеличивает коэффициент культуры, увеличивает расстояние между затратой и результатом, давая возможность богатству быстро возрастать.

Как сказано, эксплоатация есть продукт неорганизованности хозяйства. И потому можно сказать, что мелкобуржуазия не то, что менее эксплоататор, чем крупная, но даже более. Так как мелкая собственность более паразитична, чем крупная. Мелкое хозяйство носит в себе больше хаоса, чем крупное. Мелкое хозяйство более эксплоатационного характера, чем крупное. Если капиталист эксплоататор, то мелкий собственник подавно им является.

Эксплоатация реализуется, как мы раньше сказали, при потреблении. Но эта специфическая эксплоатация, превышение расходов на себя своих же трудов и результатов, внесение в общую сокровищницу человечества меньшее, чем получение оттуда.

Эксплоатацию в более широком понимании получаем каждый раз, когда грабится человечество, когда грабится культура, если не активно, то пассивно, отказом от участия в собирании богатств, воздержанием от этого процесса.

Если при тракторе работают плугом, сошником, или, скажем, ковыряют землю голыми руками, то это самый худший вид эксплоатации, отрицательной эксплоатации, неиспользования человеческих благ, возможностей, и тем получают косвенное понижение, то-есть не возрастание культуры.

28.

Каждый стоящий, становящийся поперек дороги развитию культуры есть эксплоататор.

Как глубоко наивны рассуждения старых социалистов и сколько элементов ненаучности, старья, утопизма, непродуманья осталось даже в марксизме, в этой лучшей из концепций социалистов.

Как блаженно наивен „последовательный социалист“, по недоразумению, названный мирным анархистом.

Конечно, если понимать эксплоатацию так детски наивно, как это рисовалось благодушным социалистам, то единственный исход из этого проклятого положения вернуться назад, к мелкой собственности.

Не даром вся социалистическая литература полна этими химерами, планами воссоздания мощи кустаря и крестьянина, идиллии мелкого владения.

Если этим грезили отчасти старые традиционные анархисты, то это не их вина, это общая вина социалистов с их глупейшим пониманием эксплоатации.

Мир—хижинам, война—дворцам. Как это слащаво, юродиво и реакционно. Война должна быть об'явлена хижинам, хижины надо снести, стереть с лица земли, а дворцам надо об'явить мир, в них надо вселить новых жильцов. Надо стремиться к тому, чтобы было побольше дворцов и поменьше хижин.

Войну надо об'явить не дворцам, а жителям, обитателям дворцов. Мир и проповедь жителям хижин, чтобы их оттуда вывести и посадить в дворцы.

Вот нормальные отношения к мелкой буржуазии. С ней нельзя бороться физически, физиологически, как с буржуазией, которая сильна экономически, но слаба физически. С мелкобуржуазией, наоборот, борьбу надо вести экономически. И это очень легко повести, если буржуазия ее чуть-чуть не доканала, что уже говорит о ее участи, о ее сопротивляемости, если борьбу поведет государство, национально-крупное хозяйство, если ее поведет тип организаторов.

Мелкобуржуазия по существу эксплотационна, то-есть губит производство, растрачивает все силы общежития втуне, зря, даром.

И на каждом шагу мы встречаем в мелкобуржуазном, в домашнем хозяйстве непростительное мотовство, безрасчетно произведенные растраты, если не продуктов, то труда, который мог бы при современном состоянии техники, при современных производительных эффектах произвести громадные количества благ. И, таким образом, она имеет возможность пускать в ход созданные производительные силы, созданные всем ходом предыдущей культуры, и не пускает из-за своих личных мелкохозяйственных расчетов, из-за своей ограниченности, отсталости, сепаратизма.

29.

Древнее замкнутое хозяйство было хозяйством, не ведающим эксплоатации внешней, оно могло иметь эксплоатацию внутреннюю. Если кто-либо из членов общежития трудился на благо, шел на самопожертвование. Внешней эксплоатации там не было, так как замкнутость исключает человечество и связи с внешним социальным миром.

Современное же мелкобуржуазное хозяйство, если допустить, что оно чисто от скверны прямой и внутренней эксплоатации, то оно все зиждется на внешней эксплоатации, т.-е. на порче общечеловеческих ценностей, порче от неупотребления.

У буржуазии не было внутренней эксплоатации членов, занятых в предприятии. Если бы дело обстояло, как Маркс рисует — в другом месте дадим обстоятельную критику учения Маркса о прибавочной стоимости,—то ни один рабочий не пошел бы на фабрику. И если он утверждает, что они идут потому, что их лишили земли, то как об'яснится факт существования полупролетариев, имеющих землю и работающих и на фабрике. Землей занята жена, подростки. Если сказать, что на этого полукрестьянина давит малоземелье и рост потребностей, значит ввести его в круговорот экономических событий, делать его членом, соучастником процесса наростания населения и культуры, значит ввести его в струю общего течения увеличения обрабатывающей промышленности с ее превосходством над добывающей. Это явление нормальное, неизбежное, прогрессивное.

У буржуазии, при крупном производстве, при переходе от деревенского труда к машинному, не может быть внутренней эксплоатации, потому что пролетарий в каждую единицу времени труда получает больше, чем он раньше получал, работая голыми руками в деревне и тратя ту же энергию. Не энергия его создает ему излишек, добавок, а культура, общий рост производительности. Если же проклятый капиталист, ограниченный об'являет, монополизируя культуру, этот излишек „своим", называя его прибылью, то он грабит культуру, человечество, мир, а не бедного, парня, несчастного пролетария, который без него, т.-е. без культуры, без машинного метода, а в данном случае он, буржуй, является представителем этого нового способа работы, более производительного — он, пролетарий, еще больше трудился и меньше получал выгод, результатов от своего труда. Ведь не одна затрата энергии создает, дает результаты, а энергия, примененная, как следует, принимая во внимание технические или ремесленные приемы и элементы творчества. Когда он был в деревне, то он был еще более эксплоатирован. Кто его эксплоатировал? Он сам. Как это возможно? Очень просто. Ведь не его эксплоатируют, а эксплоатируют человеческую культуру, рост культуры. Когда он не работает, он еще больше эксплоатирует, так как он вовсе не пользуется благами культуры. Он жертва эксплоатации, он саможертва, жертва неупорядоченности хозяйства.

30.

Стать детерминистом и бросить говорить нормативно, а исключительно описательно, утверждая, раз оно так, то, следовательно, оно иным быть не может, и, следовательно, это и есть уровень культуры и нельзя подняться выше его при современном состоянии—это можно, но это ошибочно. Таким способом можно легко оправдать и буржуазный строй и всякий, если оставлять точку зрения нормативную и становиться на чисто описательную позицию.

И если буржуазия виновата в том, что она эксплоатирует, т.-е. злоупотребляет человеческим прогрессом, наростанием культуры, то мелкая буржуазия повинна в худшем грехе, который косвенно является худшей формой эксплоатации, так как она прозябает, она простаивает прогресс, не пользуется великими богатствами, не умея их множить.

Тут некоторые, может, вспомнят про сказку о вырождении рабочего класса, о теории обнищания. Но, думаю, что эту дребедень все уже забыли. От вырождения класса не получилось бы новое хозяйство, возвеличение производительности. Вырождающиеся не делают революции, не идут на баррикады, а ложатся и помирают.

История человечества достаточно безжалостна и достаточно безнравственна, чтобы такими пустяками не очень беспокоиться. Хоронила она достаточно культур, народов, не остановилась бы она перед тем, чтобы проделать то же самое над рабочим классом и над Европой.

Раз проповедуют социалистическую революцию, то это наростание сил, а не вырождение.

И если откинуть чистые моральные взгляды, которые, в конечном счете, внушены непониманием проблемы эксплоатации, то всякому станет ясно, что мелкое хозяйство ниже, преступнее, аморальнее, пагубнее, эксплоатационнее, регрессивнее, акультурнее, хаотичнее крупного и мелкая буржуазия, наверно, должна быть уничтожена, если проповедуют уничтожение крупной буржуазии.

Пролетарий не тем только ценен, что он лишен собственности, но тем, что он занят в индустрии, что он технизируется, что он индустриализируется, что он идет к великому, крупному, к колоссальному, что он кует новую жизнь, новое хозяйство, что он отошел от мелкого хозяйства и дышет предчувствием, предвидением новых отношений, он тем ценен, что он создает новые соединения, новые союзы, он тем ценен, что он интериндивидуальнее, чем кто бы то ни было.

Если же рассматривать хозяйство с точки зрения упорядоченности, учета, урегулирования отношений, то мелкое опять ниже крупного, между мелкими хозяйчиками еще больше вражды, конкуренции, соперничания.

31.

Вернемся к организатору. Базируясь на всем сказанном, мы должны приветствовать появление организатора, ибо он делает шаг вперед к упорядочению общежития. Он лучше буржуазии. У него получится больше интеграции хозяйства, больше интенсификации сил, больше культуры. Но и он является типом дезорганизаторским. Ибо сам процесс организации является интериндивидуальным, и не допустимо, чтобы такой процесс был выполнен индивидуально, т.-е частно, частными силами. И насколько крупное хозяйство лучше во всех отношениях—все вопли против крупного хозяйства есть плод или невежества, или радения „социалистического“ не по разуму, есть следствие непонимания исторического хода развития и реакционности, по существу дела, несмотря на то, что они прикрывались самыми гуманными фиговыми листами—мелкого, настолько и еще больше национальное территориальное хозяйство лучше частного. И тип организаторов есть в настоящее время новый класс, верней, новый тип, идущий к трону, с которого брошена буржуазия. Он идет в России торжественно, шагая по трупам старого строя, обагряя свои шаги, так ступает восходящее солнце нового господства, нового господствующего типа.

Но из этого не следует, что надо обманываться насчет его настоящей сущности, следует разуметь, что это он, новый организаторский тип, миссия которого состоит в сколачивании национально-государственного хозяйства, идет к конечной победе.

Так понимать значит понимать происходящее кругом

Организатор, тип организующий и тип организуемый Организуемые—все, организующие—горсточка, господствующий тип.

Буржуазный строй. В чем его дефекты, основные, капитальные? В том' что функция, долженствующая по существу быть исполняема интериндивидуально, сообща, совместно, исполняется частно. В этом лежит возможность ужаснейших злоупотреблений. В этом зияет бездна хаоса, дезорганизации. Далее, сам капиталист, как тип, не чист, он состоит из двух элементов, которые не могут ужиться вместе, из собственника и из зачаточного организатора.

Последний выявляется при социализме,

Но социализм содержит в себе почти все дефекты капитализма, функция долженствующая быть выполняема сообща, интериндивидуально, исполняется индивидуально, но он получает как бы „делегацию“. Если первый октроировал, концессировал пролетария, представляя собою патримониального царька, рассматривающего свою фабрику, как свою вотчину, то последний, организатор, является делегированным, свой суверенитет он черпает не в себе самом, а в пролетариях. Но, насколько сейчас всем

известно, конституция не есть свобода, а конституционализм далек, весьма далек от полнейшей свободы, настолько далеко организаторство от полного освобождения пролетариев, трудящихся.

Если первый, буржуй, царствовал милостью собственности, так сказать, божьей илостью, то последний „именем народа",—т.-е. он будто бы черпает свою силу, мощь, как сказано, в делегации, в выборах, в назначении Далее, он не стоит один, одинок, вне связи, он вплетается отдельным звеном в целую иерархическую цепь, этим самым свидетельствуя о росте организационности.

А что касается конкуренции,—то она поднялась на одну ступень выше, она перестала быть внутренней и стала совершенно внешней, конкуренция между целыми хозяйствами.

32.

Раньше, в предыдущих главах было выяснено, что социализм сливает, так сказать, воедино политику с экономикой, что он кладет конец буржуазной двойственности. И поэтому равенство перед владением, получившееся вследствие отмены частной собственности, вследствие экспроприации экспроприаторов, не дает тех ожидаемых результатов. При буржуазном, порядке, когда хозяйство было, в известной мере, самостоятельной областью, когда вся хозяйственная деятельность вращалась вокруг оси владения, тогда отмена собственности, уравнение в этом отношении вызывало бы, можно сказать, как следствие, уравнение по всему экономическому фронту. Владение в хозяйстве равнялось тогда, при буржуазных взаимоотношениях, воплощению целиком всей сути экономической в матриальных вещах, в богатстве, во владении,—господству, власти в правлении. И уравнение во владении означало бы уравнение во всем. Равенство перед владением означало бы равенство перед действительной, реальной жизнью. Но это чудодейственное влияние могла иметь отмена частной собственности лишь при капитализме. С отменой частной собственности на орудия производства мы вступаем в новую полосу хозяйственных отношений, мы открываем первую страницу социализма, мы вступаем в сферу действий совершенно новых, социалистических отношений, где частного хозяйства нет, и тогда, при тех новых изменившихся условиях, уравнение во владении ничего не стоит в смысле проведения принципа равенства, ибо владение при социализме отступает на задний план, отходит в область истории

Иллюзия равенства, возможности проведения, осуществления этого начала с помощью обобществления орудий производства коренится в том заблуждении, что, изучая капитализм и усматривая его коренные дефекты в собственности, приходят к выводу, что удар по собственности есть умерщвление капитализма, из этого поверхностное суждение делает вывод, следовательно, все дефекты будут устранены, и не только „все", но и всевозможные дефекты. Тут, собственно, оставляется почва хладнокровного кропотливого, детального исследования и делается прыжок в воздушное пространство догадок, фантазмов, этических чаяний.

Само собой разумеется, что я не хочу недооценить действенность, влиятельность отмены частной собственности. Она производит переворот, она, эта отмена есть уничтожение капиталистического образа производства. С этой отменой наступает новая эра социалистическая, где в качестве хозяина выступает государство, где нет работодателей и трудящихся, где нет наемного труда, и нет отдельных экономических князьков, капиталистов.

Эта отмена производит целый ряд колоссальнейших преобразований, вызывает, обусловливает реорганизацию всего.

Но из этого нисколько не следует, что она реализует начало равенства. Да, если бы возможно было соединить конец капитализма и начало социализма в один процесс, если бы капитализм остался нетронутым, если бы владение осталось в силе и в красе, если бы оно осталось тем фокусом экономики, чем оно было при капитализме, и тем не менее оно было бы отменено, верней, было бы провозглашено уравнение перед владением, тогда получилось бы равенство. Но ведь это значит сказать да и нет в одно и то же время. При капитализме владение есть начало и конец, хозяйственных отношений, при капитализме уравнение во владении, следовательно,

есть уравнение вообще. Если бы можно было сохранить капитализм, сохранить вино, разбив его сосуд, уничтожив совершенно формы хозяйства. Тогда.. Но ведь это явная нелепость.

С отменой частной собственности мы вступаем в новые отношения, при которых, разумеется, собственность, как таковая, ничего не стоит, она никакой роли не играет, ее не принимают в расчет, ибо ее нет, она же упразднена И при таких отношениях, при социалистическом образе производства равенство перед владением ничего не значит.

Во всех суждениях марксистов, социалистов сквозит это логическое заблуждение, соединение несоединимых, следующих друг за другом эпох.

Все их суждения, все их посулы напоминают известный анекдотический ответ на вопрос: чем хочешь быть — солнцем или луной? — Я хочу быть луной, так как солнце бесполезно, ведь днем и без того светло, к чему светить напрасно!

В каждом социалистическом уверении на счет будущего лежит эта ошибка он берет, сам себе отчета не отдавая в этом, социализм и мыслит его, как капитализм, и утверждает, что отмена собственности, что равенство перед владением есть равенство перед социалистической жизнью.

Но собака скрыта вот в чем. Социализм означает сведение на нет, на ничто владение и собственность. При социализме это анахронизм. И равенство перед отмершей формой равняется нулю в смысле положительном, социальном.

Равенство перед владением при прудонизме, при оставлении мелкого хозяйства, создало бы действительное, фактическое равенство. Равенство же перед владением при социализме, при национально-государственном производстве, когда владения частного нет, есть иллюзия самой чистейшей воды, есть издевательство над невежественностью, легковерием широких слоев народа.

33.

Штирнер, поругивая коммунизм, говорит, что при коммунизме все станут нищими. Он неправ, потому что понятие богатства и нищенства суть корелаты, соотносительны. Там, где есть свет богатства, там есть тень бедности и нищеты. При социализме, коммунизме нет богатых, как нет нищих, ибо эти понятия отсутствуют. Богат может быть народ, богато может быть хозяйство, укладывающееся в границы, в пределы известной территории, оно и может быть бедным, сравнительно, мелким, необширным, неизобилующим, неизбыточествующим. Отдельные же люди не могут быть ни богатыми, ни бедными.

И тогда, когда богатства нет, как частной категории, социализм об'являет равенство перед богатством.

Нет, скажет тающий оппонент: социализм коммунизм хочет осуществить равенство в распределении.

Но так может рассуждать одна наивность. Так она и рассуждала исторически. Разговоры про коммунизм у древних сводятся всегда к коммунизму потребления. Первые христиане не требовали, не додумались до коммунистического, социалистического производства, а всегда проповедывали и провели в их общинную жизнь коммунистическое потребление, то-есть совместное потребление. Отцы церкви, доказывая коммунизм, доказывают его в области потребления. Их слова остались пустыми словами, потому что равенство перед потреблением без равенства перед производством есть верх неправильности, несправедливости.

От потребления перейдем к распределению. Нельзя говорить о равенстве в распределении. Ибо распределение есть ведь конец хозяйственного процесса, та сторона, которая близко связана с потреблением. Прежде чем распределять поровну предметы потребления, продукты, надо раньше распределять поровну труд и орудия труда.

Нельзя начать с конца, надо начать с начала, с процесса, создающего продукты, которые надо распределять.

Коммунизм потребления есть химера. Потребление есть та область, где больше всего сказывается, если не индивидуальность, то сепаратность, так как оно близко к физиологии человека, являющейся сепаратической, у каждого свой рот, свой желудок, свои нервы, свои кровяные сосуды.

Приготовление пищи, питание должно и может быть интериндивидуальным. Но ведь это не потребление, а отрасль производства, обработка сырых продуктов, приготовление их. Это одна из самых отсталых отраслей, так как продукты в вареном виде быстро портятся, и их обработка, готовка стремится к потреблению, поэтому и из-за целого ряда других причин и условий в этой сфере царствовала домашняя замкнутая форма производства, хотя не совсем, если вспомним *рестораны*. Но можно сказать, что здесь она преобладала, так как этой деятельностью занималась женщина, раб современных условий жизни.

Исходить из потребностей, не принимая во внимание производства, не принимая доли участия, формы, способа участия в производстве, невозможно. Для того, чтобы иметь, что распределять, надо производить „по потребностям". Я уже несколько раз раскритиковал эту формулу. Но здесь достаточно указать, что придется ведь принимать во внимание наличие богатств данной страны уровень производительности, способность воссоздать, восстановить затраченные материалы, предметы и время, требующиеся к восстановлению, к пополнению фонда, запасов. Вообще нельзя говорить о распределении, игнорируя производство. Когда будет равенство перед производством, тогда возможно будет говорить о равенстве перед распределением, в распределении. Равенство перед производством,— но спрашивается, в чем суть производства? Если все определяется владением, если у нас капиталистическое хозяйство, тогда для достижения равенства перед производством надо провозгласить равенство перед владением. Если же у нас производство организовано социалистически, то-есть оно синтезировано, оно представляет собой политико-экономическое явление. Тогда потребуется равенство перед политическим элементом, преобладающим в хозяйстве, в производстве. Христианство об'явило равенство перед Богом Почему это мероприятие, уравнение в Боге, не дало желаемых результатов? Очень просто, потому что, как только об'явили равенство перед Богом, то Бог перестал быть тем, чем он был до тех пор.

34.

Древний мир стоял под знаком Бога, все было в Боге. И если так, то ясно было, что у бедных, у нищих, у несчастных нет Бога, нет защитника, нет у них ни Бога, ни души. Бог была сила, мощь, могущество, богатство—у рабов ничего подобного не было, они были без Бога.

Христианство об'явило равенство перед Богом. У христиан Бог перестал быть Богом богатых, сильных, власть имущих, а стал Богом нищих, обиженных, страждущих. Бог у христиан перестал быть тем, чем он был в древней Греции, в древнем Риме. Бог отошел от мира, от людских мирских отношений, и равенство перед Богом не дало нищим того, чего от этого равенства ожидали, того, чего оно, это равенство, могло дать, если бы сохранились прежние языческие отношения. Бог есть все. Равенство перед Богом тогда означает равенство перед всем, перед всей жизнью. Но когда Бог перестает быть миром, а становится духом, покидает землю, уходит и переселяется в недосягаемые высоты небес, тогда равенство перед Богом сводится, в известном смысле, к фикции, к иллюзии.

Это возвышение Бога, бесспорно, означает новую фазу в развитии человеческой культуры. Этого никто не станет отрицать. Навряд ли можно отрицать, что понимание Бога христианское выше языческого, эллинского. Но из этого нисколько не следует, что равенство перед Богом будет означать равенство в жизни.

Если бы весь мир был бы один храм, как рисовали мистики-богословы, что все люди, все твари—священники, все горы,—алтари и проч.; тогда получились бы другие отношения. Но мир остался миром. Церковь церковью. Древний мир, почему он скупился на подачу души бедным, нищим, убогим, страждущим? Разве потому он их лишил Бога, что ему жалко было подарить им частицы его Святого Духа?. Нисколько. Лишение Бога у древних было следствием, а не причиной. Потому что они были бедны, несчастны, поэтому древние утверждали, что у них нет Бога. Ведь не отсутствие Бога влекло за собой отсутствие могущества, имущества, богатства, а как раз наоборот. В виду того, что они были лишены имущества, то из этого древнее мышление, древний мир дедуцировал лишенность Бога. Иначе в древнем мире рассуждать нельзя было.

Неимение имущества равнялось неимению Бога. Имение Бога означало имение богатства. Христианство, провозгласив равенство перед Богом, оперировало самого Бога, создало из него что-то совершенно новое, неязыческое.

Равенство перед Богом совпадает с отходом Бога от мира, со смертью Бога, с ликвидацией материальной, физической религии.

То же самое сейчас. Владение есть Бог, языческий Бог буржуазного мира. Но при социализме он претерпевает ряд трансформаций. И владение ничего не стоит. И равенство перед владением есть равенство перед мертвым Богом, перед бывшим Богом, экс-теосом.

35.

Либерализм с его равенством перед законом делал почти то же самое. Он видел, что все неравенства воплощены в старом обществе в законах, в привиллегиях. Он рассуждал, и в известном смысле правильно, если отменить привиллегии, то будут отменены все неравенства. Да. Но неравенства старого мира, старого покроя, воплощенные в законах, в привиллегиях, в титулах, в званиях. Если сохранить старый мир с его примитивными формами и отменить в нем привиллегии, то эта отмена вызовет, в известной мере, равенство. Но в том то ведь и дело, что новый мир с его новыми отношениями не укладывался в старые формы, поэтому он их беспощадно разбил. Отмена привиллегий означает, что новые силы, новое развитое общежитие чувствует себя слишком стесненным в старом укладе. Новые силы требуют новых форм, новых отношений, и новые неравенства не исчерпываются одними такими привиллегиями. Буржуазное неравенство фундаментировано на фактическом, а не на юридическом, не на нормативном, а на действительном. Отмена привиллегий не создала равенства, потому что привиллегия, раз она была отменена, то перестала играть роль в фактической реальной жизни. И ее отмена могла означать переход к новым формам, но не более. Но ее отмена никогда не могла гарантировать равенства. Если бы привиллегия *доминировала*, тогда получилось бы равенство *привиллегий*. Но это внутреннее противоречие.

Это заблуждение, которое берется оттого, что берут две эпохи разом, эпохи, находящиеся в последовательности, присуще почти всему человеческому суждению. Тут берется будущее и прошлое разом, и суждение о будущем строится на основании прошлых отношений, несмотря на то, что само суждение утверждает, что будущее оно понимает, как отказ от прошлого. Следовательно, мероприятия, исходящие из прошлого, годные для искоренения зла в прошлом, вовсе не подходящи для будущего.

Здесь не место, а то можно было указать на целый ряд систем, пораженных этим недугом.

Вся об'яснительность, экспликативность науки базируется на той неправильности, что она схватывает две ступени мыслительной цивилизации и мыслит себя находящейся в промежутке. Но окончательное выяснение этой мысли потребует от нас больших уклонений, которых мы сейчас себе позволить не можем.

Ошибка социалистов в том, что они мыслят себя находящимися в капиталистическом строе и утверждают, что меры действительные против дефектов капиталистического производства и создающие социалистическое действительны и против дефектов социалистического. Или в том, что некоторые из них настолько наивны, что они думают, что социалистический образ производства лишен, вообще, всяких дефектов, есть полное совершенство.

36.

Но это не присуще одним социалистам-государственникам, в равной мере повинны в этой путанице понятий и „рабочие социалисты", как они любят себя величать, так называемые традиционные анархисты, т.-е. либертаристы, новые либералы.

Как социалист мыслит себя одновременно в капитализме и вне его: отмена частной собственности, значит нет капитализма. Сейчас же он утверждает экономическое равенство. На каком основании? На том, что сущностью хозяйства является

собственность, раз ее нет, следовательно, все равны. В этом утверждении есть допущение капитализма Такие же логические прыжки делает традиционный анархист. Но то, что социалист делает с экономикой, „анархист“ проделывает с политикой Суть буржуазной политики это господство. Голое владычество, власть, юридическое воздействие. Следовательно, отмена власти, уничтожение ее создаст политическое равенство

Да, он был бы вполне прав, если бы после отмены власти мыслимо бы было ее сохранение. Но ведь дело в том, что отмену власти мыслит себе традиционный анархист, являющийся в большинстве случаев анархистом-коммунистом, после отмены частной собственности. Политика как, в известной мере, самостоятельная область, существовала лишь при сохранении частной собственности, когда господствовал в общежитии пресловутый дуализм. При уничтожении капитализма уничтожается и „империализм“, т.-есть, голое господство, и содается единство, синтезирующее и хозяйство и правление. При таком же строе уничтожение власти не означает, не равняется, не вызывает политического равенства.

Как социалист не может дать экономического равенства, потому что при социализме нет чистой экономики, так „анархист“ не может дать политического равенства, ибо там нет и чистой политике. При социализме, когда он будет осуществлен, не будет чистой власти над людьми, а будет власть над вещами. Если отбросим эти туманные посулы, которые служат свою службу, главным образом, в агитационном периоде, то надо сказать, что при социализме, который следовало бы обозначить термином „национальный экономизм“, будет полнейший отход от юридической зависимости, ее место займет фактическая зависимость. А при фактической зависимости, при зависимости от организатора что за ценность представляет собой отмена закона, власти и проч.

В старом анархизме-коммунизме лежит то же заблуждение, что в социализме. Его надо так понимать: отмена власти, уничтожение власти невозможно при капитализме, при имущественном неравенстве, так как власть есть воплощенное неравенство, получившее свое отражение в политике. Такая отмена неизбежно поведет к упразднению неравенства, иначе хозяйство функционирозать не сможет.

Но вот в том-то ведь и дело, что социалистический порядок держится на совершенно новом фундаменте, на организаторстве. Неужели организатору для удержания своего владычества потребуется применение юридических мер, когда к его услугам весь общежительный аппарат. И неужели при таком порядке отмена законов, власти что-нибудь да стоит. Неужели можно, на самом деле, определить анархию буквально этимологически, дословно, безвластием. Социализму для проведения, для сохранения господства вовсе не нужна власть, вовсе не нужен Бог закона, механического насилия. В ход будет пущена фактическая жизнь, фактическая зависимость, фактическая беспомощность, невозможность обойтись без этих новых господ, организующих производство.

Да, этот „анархизм“, вернее этот „рабочий социализм“ действителен для буржуазного строя, при бужуазном порядке отмена законов, отмена, уничтожение власти есть на самом деле, удар в сердце порядку, основанному на господстве человека над человеком. Но это действительные меры для старых, отживших форм общежития, но совершенно негодны, совершенно недействительны для новых, возникших, возникающих на новой почве.

37.

Как естественны эти заблуждения.

Принимается во внимание прошлое. Создается критическое отношение к прошлому, которое вот лежит перед нами, и которое исследовано в известном смысле. Отсутствует всякое критическое отношение к тому будущему, которое планируется обыкновенно на основе некоторых отрицаний. И не чувствуют, что эти отрицания достаточны, чтобы отменить старый строй, чтобы создать новые формы, но недостаточны, чтобы решить проблему, выдвинутую старой жизнью, окончательно, кардинально. Но тут действует одна наивная доверчивость. Капитализма не будет, следовательно будет новый строй. Больше из этого не следует. Из этого вытекает еще одно утверждение,

что будущие порядки будут в известном смысле, в известном отношении, если судить о них, сравнивая их с прошлыми формами, лучше, совершеннее. Но нисколько не следует, что они устранят те основные дефекты, которые не являются характерными для одного предыдущего порядка, а для предыдущих, следовательно, эти дефекты будут и в будущем, если не принять против них специальные меры. И если допустим, что этого сделать нельзя, то по крайней мере нечего их замалчивать. Это ведь страусовая политика.

Социалист уловил одну сторону старой буржуазной жизни, старый анархист другую сторону, один взял, сосредоточил все свое внимание на хозяйстве, другой на политике, но оба стоят обеими ногами в капитализме. Их меры действительны против капитализма, но не против неравенства, имеющего гораздо более глубокие корни. Неравенство не началось с капитализмом и не кончится, разумеется, с капитализмом.

Для искоренения этого дефекта надо подняться выше, перенестись в сферу социалистических взаимоотношений, с одной стороны, и надо опуститься ниже, докопаться до первых источников этих неравенств, углубиться в это явление, вникнуть, тем более, что при социализме это явление получает свое завершение, обнаруживается во-всю и проливает свет понимания на всю пройденную историю человечества.

Различия во владении существуют при капитализме. Но ведь эти различия имеют известные причины. Для искоренения этих имущественных различий вовсе не требуется, верно, доискивание их первой причины. Но для иссушения источника, откуда эти неравенства и различия вытекали, требуется допытывание их истоков. Тут не философское искание причин, не имеющее ни конца, ни начала, а социологическое, практическое.

Различия в господстве, во власти—говорит анархист-либертарист И эти различия не изначальны. Социализм указывает нам, что все дело в организаторстве. Следовательно, одна отмена власти ни к чему существенному не приведет, если не будет уничтожено различие между организуемым и организующим.

38.

Эксплоатация. В предыдущем мы подвергли рассмотрению ходячие взгляды насчет эксплоатации, но мы вопроса не развернули во всю ширь социологии, совместной общественной жизни. Почему до сих пор вопрос рассматривался, главным образом, в экономике, в той отрасли, где царствует нераздельно, беспредельно сепаратизм, разбивающий область хозяйства на маленькие клетки, обстоятельство, затушевывающее эксплоатацию, во всяком случае мешающее истинному выяснению этого явления, так как этот сепаратизм путает, наводит на мысль, что эксплоатация есть единичное индивидуальное явление: капиталист живет на счет рабочего, когда, на деле, она является явлением общим, пронизывающим, охватывающим все общение, эксплоатация категория общежительная, социологическая, а не чисто экономическая. Отчасти мы это уже раньше выяснили.

Дело в том что эксплоатацию можно найти гораздо легче, чем в сфере производства во всех областях человеческой деятельности, функционирующих при разделе на организующих и организуемых.

Идет война. Падают жертвы. Разорение невероятное. Низы, организуемые, дают девять десятых доль в жертвах, в тяготах. Верхи участвуют во всем этом, как организаторы, то-есть косвенно.

Победа. Добыча. Трофеи Рост, под'ем, расцвет промышленности. Низы получают ничтожную долю благ. Верхи. то-есть организаторы, огромную львиную долю.

Революция. Гражданская война. Максимальное напряжение сил Поражение. Кто дает больше жертв? Низы, руководимые.

Победа Кто получает большую сумму выгод? Верхи, руководители. И это выходит так естественно. Я бы сказал, иначе не может быть, пока будет сохранение деления на организаторов и организуемых.

Разрез. Общежитие расколото на два типа. Вернее, точнее было бы сказать, что из всей серой массы организуемых выделяется группа организаторов, особый тип. Организуемые, собственно говоря, не тип, это все, имя им легион, это масса, материя, которую обрабатывает „сила", тип организаторов.

Допустим, что делят, распределяют блага данного общежития?

Как это делить? Исходя из атомизма? Деля наличие богатств на число членов данного общежития?

Ведь это неправильно, какой тут атомизм, когда мы имеем дело с разнородными элементами, какое может быть равенство распределения, когда само общежитие не построено на принципе равенства.

Если рассматривать массы и организаторов, как две равные группы и делить наличие богатств на две равные части, тогда в силу того, что „массы" не в пример многочисленнее группы организаторов, получится, что на долю организуемого выйдет гораздо меньшее количество благ, чем получится на долю организатора.

Разумеется, что вычесть в точности долю „эксплоатации" невозможно математически. Тем более, что никакому учету не поддается доля массы в общем социологическом труде, затем долю организаторов, как типа. Все это не поддается математике Вообще эти явления слишком сложны, чтобы их могли выражать простые математические числа.

39.

Положение осложняется еще тем, что, как раньше было выяснено, мы не всегда, не на всех длиннотах и широтах исторического развития находим одинакового организатора Не во все времена он сохраняется, как постоянная величина. Организатор— бывает, что он на самом деле творит чудеса самопожертвования, творчества, изобретательности и т. п.

Но это нас нисколько не должно смущать. Дело в том, что учение об эксплоатации есть агитационное учение, учение, посредством которого выпукло выставляется вся ненормальность положения, при котором существует этот своеобразный тип.

Буржуазия—не всегда она была лишняя, не всегда она только ожиралась, было время, когда она шла впереди человечества и несла огненный факел, зовя на завоевание новых областей хозяйства и правления. Этих заслуг никто не отвергает, даже самые буйные революционеры. Бакунин и тот восхваляет буржуазию исторически. Но после она пошла на убыль, стала вырождаться.

Так что, когда речь идет об эксплоатации, то если понимать это явление гимназически—ученически, то эксплоатация всегда была. Если же вникнуть в это явление, то надо сказать, что эксплоатация появилась тогда, когда этот класс стал разлагаться.

Но и без всякой эксплоатации факт существования буржуазии, факт существования такого класса есть аномалия с точки зрения хорошего, более или менее совершенного упорядочения общежития.

Сказанное относится ко всякому организаторству. Суть не в том, что он эксплоатирует или эксплоатируем, главное, что существование этого типа говорит о дефективном, болезненном, неправильном, функционировании общежития.

Пока существует особый тип организаторов, то мы неизбежно в известном периоде попадем в когти эксплоататоров, получим дегенерирующие слои общежития, верхушки станут разлагаться. Придется их оперировать. Все это говорит об изъянах нашего общежительного организма или механизма.

Если же для лучшего выявления недостатков нашего устройства создать и развить учение об эксплоатации, то надо учение укрепить во всех областях социологии, а не ограничиться одной областью производства.

И вообще нельзя выделить одну сторону жизни и указать в ней на элементы эксплоатационные, так как это указание чревато огромнейшими неточностями и ошибками. Создается иллюзия, будто класс капиталистов и земледельцев, как хозяйственные субъекты, реализуют эксплоатацию, в то время, как, на деле, в сб асти политики больше эксплоатации, чем в экономике. И дело не в дефектах хозяйства, как хотела нам внушить идеология организаторов, марксистская концепция, с целью отклонить, отвести наше внимание от основного явления, деления общежития на типы. Если понимать эксплоатацию шире, тогда нельзя будет ограничиться легкими реформами, предложенными марксистами, а придется плугу опуститься глубже и ковырнуть глыбу социологически более черноземную.

Надо коснуться основного деления на организаторов и организуемых, если хотят пересоздать общежитие на новых началах, если хотят уничтожить „эксплоатацию."

40.

Равенство, бесспорно, понятие не естественное, а искусственное, техническое. В природе нет равенства. Там, где есть предметы, там неравенство, там есть зачатки разнообразия. Равенство абсолютное, насколько вообще абсолютное существует в реальной жизни, мы находим в технике.

Утверждение французских деклараций, что „рождаются... разными по праву (декларация, статья 1) или„ все люди разны по природе и перед законом" (декларация 1793 года, ст, 2 и 3), бесспорно, наивно. Люди не рождаются равными. Вообще в природе нет равенства. Но XVIII век был веком увлечения природой, естеством, и мысля все хорошее, все что им нравилось, естеством, приписали природе, все то, что им хотелось, чтобы после требовать этого, ссылаясь на великий авторитет природы, как раньше ссылались на Бога, все приписывали божественности.

Слишком беспомощен был человек, чтобы он смел говорить от своего имени, не хватило мужества заявить о своих желаниях, о своих целях. И пришлось опираться на великий авторитет. В праве господствовала естественная школа, в педагогике естественная школа, естественные методы, даже в социологии заявила свои права естественная школа, стали говорить о социальных „естественных процессах".

Как раньше человек творил своего бога по образу и подобию своему и, желая это маскировать, выразил обратное: Бог сотворил человека по образу и т. д., так и относительно естества. В естественном состоянии все были равны, все были свободны —то, что желалось, страстно хотелось, приписывалось естеству. Теперь уж эти школы давно покоятся на дне моря истории, где они братаются с перлами морскими, с давно почиющими на лоне вечности доктринами.

Равенства нет, равенство надо создать, но собственно не равенство, а здоровые, нормальные различия.

„Равенство" нельзя смешивать, как делают это все противники прогресса, с нивеллировкой. Равенство социологическое есть противоположность нивеллировке, есть нормальные различия. Тут речь не идет о том, чтобы подгонять всех под одну рубрику, а, наоборот, о том, чтобы предоставить людям возможность развить свои своеобразные способности, свои задачи, не быть загнанными в тупик нации, класса, типа.

Сколько лжи в придирках наших врагов и противников. Мы будто нивеллируем. Жизнь, они утверждают, полна разнообразия, а мы хотим ее ообразить. Нации образуют богатство человечества, мы их будто хотим нивеллировать.

Сколько непонимания. Если бы мы взяли нации и свели бы их к одной, то, может-быть, был бы здесь акт нивеллировки. Но ведь мы идем как раз обратным путем Мы разбиваем нивеллировку наций, мы хотим снять однообразный отпечаток, наложенный на людей, принадлежащих к одной нации. Наш путь денивеллизации. Мы вносим как можно больше разнообразия. Мы не можем мириться с тем, что на человека кладут штамп до его появления на свет божий, он, мол, немец, он русский. Без его ведома, без его сознания, без его согласия, без его волевого акта он становится экземпляром известной нации. Ведь это самый вопиющий акт нивеллировки.

Далее, идут сословия, классы, типы. Везде человек, как таковой, пропадает, вместо него выступают коллективы. Как бы разнообразен, как бы одарен ни был отдельный, ему не вырваться из цепких лап класса, сословия или типа. Из темницы сословия ужасно трудно было освободиться. Оно доминировало над волей отдельного. Одному из тысячи удавалось перескочить через пропасть, отделяющую сословие от сословия. Вот какая система штамповки существовала

Верхи и низы. Допустим, что верхи были более способны, более талантливы и более нравственны. Но это было только на известной исторической стадии Потом— все переменилось. Низы дифференцировались, стали выделять много элементов здоровых, сильных, могучих, волевых, способных на подвиг, решительных. Верхи стали разлагаться, получилось по истечении некоторого исторического периода накопление шваля, скопище трусов, тунеядцев, негодяев, лежащих, как медведи зимой, и сосущих лапу величия предков

Пока процентное отношение не изменилось, пока большинство верхов не выродилось и многие из низов не возродились, переродились, отдельные как здесь и там томятся в темнице сословия, класса, типа. Вот где нивеллировка, лишение возможности отдельному развернуться, трактовка его не как человека, а как члена известной однородной корпорации, участь которой он делит.

„Равенство" есть разнообразие, есть отрицание нивеллировки, отрицание деления людей на касты, которые сводят своих отдельных на-нет, представляя им одно кастовое, национальное классовое или типовое существование.

„Равенство" есть раскрепощение человека, значит дать ему возможность быть тем, чем он может, должен, призван быть.

„Равенство" есть, собственно говоря, отрицание старых равенств, классовых, коллективных, означает создание социологического атомизма, создание отдельных людей, пока ведь их нет, вместо них на арене истории выступают коллективы. Верно, новейшие коллективы лучше, совершенее, свободнее древних. Ибо древние совершенно поглотили отдельного, сводя его на-нет, таков коллектив, нация, сословие, семья. Класс не так деспотичен. Он допускает, хотя бы юридически, выступление, расторжение связи, переход из одного в другой.

Мы хотим создать интератомизм, коллектив, который весь в зависимости от его составных частей. И мы собственно не равенство людей проповедуем, а, равноценность людей, провозглашение их индивидуумами абсолютно различными, разнородными, но социологически равнозначущими.

Не нивеллировка, а деливеллировка современного общежития, мы восстаем против дезиндивидуализации современных условий жизни.

41.

Индивидуализация

Не равенство *людей*, а равенство *отношений*, равенство *интересов*.

Равенство школы Руссо выродилось в тиранию. Оно, впрочем, и не выродилось, сначала оно содержало в себе все зародыши тирании. Если утверждают, что люди равны перед природой, то этим отрицают все человеческое, все самобытное, что в них думая на самом деле, что мы имеем дело с однородным материалом. Что же и разнообразит? Одни плохие законы. Отмена законов, равенство перед законом, вытекает из равенства перед природой. Действительность надглумилась над этим учением которое ложно с двух сторон, со стороны основания, причины и со стороны последствия. Люди не равны перед природой. Равенство перед законом дедуцированное на основании предыдущей предпосылки, не дает никаких существенных, удовлетворительных результатов.

Но это одна сторона. Другая—порождение тираннии, деспотизма, которым чревато учение о равенстве перед природой. Конвент и его безобразия черпали свое оправдание в этом ложном понимании равенства.

Здесь повторялось то, свидетелями чего мы были при реализации равенства перед Богом.

Равенство перед Богом диктует следующую повелевающую норму поведения: люби ближнего, как самого себя. Здесь скрыто лежит полнейшее отрицание своеобразия человека, ибо он равен перед Богом. Следовательно, люди абсолютно равны. Они все равны мне или, верней, должны быть равны мне.

Кошмары средних веков здесь получили свое освещение и обоснование.

Как равенство перед Богом, так и равенство перед Природой перешло в свое противоречие в смысле цели. Цель была осчастливление людей, освобождение их, а получилось порабощение, закабаление. Это одно. Другое—не принималось никаких солидных мер к созданию равных условий, а сделалось все, чтобы создавать неравные условия, гоняясь за призраком равенства людей, даже не гоняясь за ним, а по наивности, предпосылая его, базируясь на нем.

Борьба за равноценность должна вестись планомерно, целесообразно, сознательно и к тому же положительно, то есть должны быть созданы, по мере возможности, однородные, одинаковые условия, при которых получится почва к реализации равноценности социологической.

Отрицательно, одним устранением мнимо единственных помех к осуществлению социологической равноценности нельзя этого достигнуть. Так как „природа" против нас, а не за нас „Естественно" всегда получится неравенство условий, так как люди не равны ни по характеру, ни по интеллектуальным способностям, ни по желаниям.

Наша точка исхода есть неравенство, наша точка стремления—равноценность. Как достигнуть этого? Задача в высшей степени сложная. Как осуществить равноценность людей? Ведь недостаточно это декларировать. Как принцип мы можем это установить на основе этических философских суждений, доктрин. Но ведь это мало. Надо придать этому принципу реальность, надо его осуществить, реализовать, одеть в плоть реальных отношений, влить в него кровь фактических взаимных отношений и столкновений.

Те, которые тешили себя, как сказано и выяснено, мнимым естественным равенством, надеялись достигнуть этого одними отрицательными методами, отменой законов, т. е. привилегий, тем убаюкивали себя и других, тем прикрыли факт естественного неравенства, который сейчас же обнаружился, создавая классы вместо сословий.

Гони природу в дверь, она войдет через окно. И когда были уничтожены, отменены сословия, дали о себе знать *классы*. Но никто не был заинтересован указать на них, наоборот, „верхи" были заинтересованы замолчать этот факт, внушить народу, третьему сословию, что проблема легко разрешима, чтобы оно не взялось за более кардинальные меры, за более действительные, более решительные, более глубокие мероприятия.

За ними, по их стопам, пошли социалисты, не желающие вглядеться во всю глубину пропасти неравенства, зияющей, глядящей на нас многозначительно из далей и туманов прошлых веков, всей истории.

Ныне, будучи научены опытом истории, мы должны сказать, что эта проблема самая трудная, самая сложная, почти неразрешимая. Эта проблема—идеал. Мы идем к равенству условий, мы стремимся к этому, как мы стремимся к совершенству, равенство условий при неравенстве, при полной индивидуализации людей отдельных членов общежития, при равноценности индивидов есть совершенство нашей социологии, нашей интериндивидуальной архитектоники.

К этому мы стремимся. Это предел. Каждая новая революция вскрывает новые противоречия, которые являются элементами оставшегося неравенства, которое не удалось нам удалить с корнем.

Мы идем к равенству, к равенству условий, или, скажем, к интериндивидуальному равенству при индивидуальном полнейшем неравенстве.

По пути мы делаем стоянки, исторические передышки. Достигнем ли мы конца? Бесспорно, мы даже перешагнем ту черту, которая нам сейчас кажется недалекой. Доведем дело до того, что неравенство социологическое совершенно испарится, улетучится, перенесется в область индивидуальных различий, где оно так желательно.

И надо бы сказать, что борьба с неравенством ведется за перемещение его места, за выдворение его из сферы интериндивидуального, социологического и вселения его туда, где оно должно быть, где оно обогащает, приносит пользу, является плюсом, в сферу индивидуальную.

42.

Мы настаиваем на трудности решения проблемы, мы подчеркиваем всю неестественность решения задачи, чтобы покончить с тем доверием тем детским наивным доверием, которое многие, главным образом, обиженные, угнетенные, питают к будущему. Это огромное зло, с которым надо бороться. Это зло черпает свой источник в наивности, в самоутешении, в неотдаче себе отчета в трудностях и вытекающем отсюда несоразмерении своих сил, неучитывании возможности реального фактического решения вопроса. Было время, когда все наше доверие, всю нашу детскую наивную веру мы отдали прошлому. В прошлом мы сажали сады рая, там нежились пруды, там были фонтаны блаженства и счастья. Золотой век, век рая, век сказки и легенды. Где он был? Он был весь в прошлом. В прошлом, по преданию, жили долго, были старцы, была мудрость, было откровение, бог говорил со своими пророками, как говорит человек с человеком.

Нашу жажду к счастью, к блаженству, к совершенству мы утоляли грезами, сказками росы предутренней истории, о великом прошлом Наши недостатки, наши дефекты, наши неурядицы мы мыслили, как плод продукт падения

Вера в прошлое—этим характеризуется древность. Неудивительно. Пришлось жить, следуя по стопам, по тропинкам, проложенным старцами, предками. Традиция, вот где стояла колыбель нашей мудрости, источник норм для нашего планомерного поведения Мы были беспомощны одни, мы опирались на прошлые века, на их накопленный опыт, на их знания. Мы жили духовно на их счет. Благоговение росло, боготочитание достигало апогея. Нужно было боготворить предков, чтобы усилить их влияние, чтобы сделать невозможным всякое уклонение, всякое ослушание, чреватое в то время ужасными дурными последствиями. Создалось учение о том, что кладезь мудрости лежит на дне истории, что кладезь блага и счастья был в руках древних эпох, что итти к счастью, к совершенству, значит итти назад, близиться к образцам, классикам, к тем недосягаемым глубинам пройденного, далекого, лежащего сзади. Культ подражания, накопления, хранения традиций должен был для своего завершения создать счастье, как творение прошлого. Все религии содержат в себе эти элементы. И огромная часть наших научных учений, разумеется, главным образом, в области социологии не чиста от этих элементов, от счастья творения прошлого. Учение о вырождении рабочего класса, вопль против капитала и восхваление ремесленничества Идеализация древних отношений власти в некоторых работах Кропоткина, идеализация средних веков, крестьянского быта. Рекорд побил в этом отношении Руссо и Толстой, читая которых хочется, на самом деле, стать дикарем первобытным, бежать от напастей культуры. Все это козни культа прошлого, культа предков, культа преданий. Детство человечества.

За детством идет юношество. Веру в прошлое сменяет вера в грядущее. Оставлена няня, пр йден и изжит отец. Великие надежды, великие сны, великие мечтания наполняют грудь юноши, верующего в свое грядущее, рисующего себе золотые горы и над ними серебряные звезды.

Доверчивость к прошлому сменяет, вытесняет доверчивость к грядущему.

Но тут спешит учитель опыт, учитель-разочарование, несбыточность, обман.

Человечество создало учение о прогрессе. Это учение заменяет древний, предыдущий культ прошлого. Толстой был поэтому против этого учения. Но в корне учение о прогрессе правильное учение. Богатство, накопление возрастает не только в области материальной культуры, но и в области духовной. Ценности увеличиваются в числе, создаются, как бы само собой, новые условия жизни, лучшие, ибо худших создавать ведь не стоит, а стремятся к лучшему. Нельзя верить в регресс, ибо бессмысленно предполагать, что люди стараются устроить свою жизнь хуже, а не лучше. Для того, чтобы верить в регресс, надо создать какой-то фатализм, который действует помимо нашей воли, помимо нашего сознания, помимо наших устремлений. Фатализм мы исключаем, слишком устарел он. Он говорит о беспомощности человека. Мы стоим за мелиоризм, за улучшение. Само собой разумеется, что все силы устремлены на то, чтобы улучшить, а не ухудшить. И можно смело надеяться, и правильна, и основательна наша надежда на лучшее будущее. Но, к сожалению, в этой вере осталось много элементов культа прошлого.

Слишком доверчиво человечество к ближайшему грядущему, к наступающему будущему.

Я тут не думаю оспаривать принцип прогресса, наоборот, хочу его утвердить Но хотелось бы, чтобы тут действовала меньше слепая вера, а было бы критическое отношение.

К сожалению этого нет.

Все элементы сказок, легенд, грез золотого века перенесены с прошлого в будущее. И насколько это переносится в будущее вообще, то, если не полезно, то уж во всяком случае не вредно. Но когда эту сказочность, эту легендарность приписывают наступающему будущему, за которое ведется в настоящем борьба, то это в высшей степени вредно. Ибо оно, чрезмерное доверие, вызванное демагогическим враньем, вызывает разочарование и создает отход и безверие в будущее, в грядущее. Не надо вызвать слишком больших надежд, и нечего будет впасть в совершенное отчаяние.

Тут сказывается юношество человечества. Социализм надо было обрисовать настоящим красками, но не говорить о нем, как о рае. Если бы не было этой сказочности, то не было бы этого вопля об обмане. Социализм дает, даст то, что он сможет дать. Больше от него нечего требовать. И не только с социализмом. То же самое было и с либерализмом. Чего чего от него не ожидали, всего, он был трубным зовом, возвещающим наступление конца дней и начало новых дней, нового человека, словом мессия родился, мессия идет—и рай воцарится на земле. Как естественны после этого мрачные картины, набросанные критиками капитализма. На одно увеличение дали другое в виде ответа. Одни перехватили направо, другие налево. Одни воспевали капитализм, другие скрежетали зубами. И то и другое отношение было неправильным

То же самое сейчас на наших глазах происходит с социализмом. Ожидали рая-рая нет. Давно кричат, что это ад, что это кошмар, что это казарма. Капризы направо, капризы налево. Несбыточные мечтания. Отказ от них и наброски новых грез. Часть не признает этого „социализма". Это не то, чего мы ожидали. Часть проклинает этот социализм. Часть проклинает всякий „изм", зовет к отказу от всего, ударяется в панику. И все это плод чрезмерной веры, чрезмерного накопления „мифов".

Учение о мифах принадлежит отчасти Сорелю. Но если так, то должно хватить мужества, чтобы отказаться от них и начать судить о будущем с большей осторожностью.

Мифы, не надо их, они только вредны. Они создают религиозность, запальчивость там, где требуется хладнокровное обдуманное поведение.

Картины будущего пусть украшают далекое будущее, но близкое грядущее требует к себе реального, солидного, взвешенного отношения.

Раньше не было опыта.

Мы не были обмануты историей. Теперь мы уже можем составить целый список разбитых исторических надежд. И пора относиться реально к действительности.

Мелиоризм. Но думать, что одним прыжком можно очутиться из царства рабства в царстве свободы—пора бросить эти химеры.

Ведь научил же нас горький опыт не возлагать чрезмерных надежд на социальные заплаты, в виде реформ. Ведь было время, когда мы и от них ожидали чуть ли не превращения юдоли плача в гору радости и ликования.

Пора и к революциям, к революционным партиям относиться здраво, зрело, а не юношески пылко.

Пора возлагать надежды на наступающее ровно столько, сколько оно в силах дать.

Но без мифов не возможно, без чрезмерных обещаний невозможно, не увлечешь народные массы.

Да, в начале это будто дает плюсы, увлекает, но зато как все дурные, нецелесообразные методы, в конце они обнаруживают все дурные последствия.

Пора бросить кормление народа баиками.

Пора народу стать зрелым, тем более, что мы уже имеем громадный опыт. Мы можем подвести итоги посулам и достижениям, взвесить плюсы и минусы этого метода.

Бесспорно, что пользование методом преувеличений, вранья насчет будущего произошло не сознательно, а бессознательно, от излишней доверчивости к грядущему.

Опыт, наша возмужалость историческая должна положить этому конец.

Грядущее надо мыслить, как лестницу, по ступенькам которой мы восходим, ступенек много. И нечего уговаривать себя, что мы стоим перед последней ступенькой, и стоит нам сделать один под'ем и мы уже в царстве желанного. Нет, путь восхождения слишком длинен, чтобы верить в такую наивную социологическую ложь.

Настоящий анархизм этой ложью пользоваться не должен. Мы слишком уверены в торжестве нашей идеи, великой идеи, чтобы она нуждалась в посулах, несбыточных химерах.

Как выразился Бакунин, „а потом... мы вновь разрушим... Путь. Анархизм есть путь.

И когда мы подходим к проблеме равенства, то мы должны быть откровенны с самим собой и сказать, что решение, окончательное решение этой проблемы есть де-

ло историческое. Мы должны „неравенство" подымать, подымать, пока оно не очутится в области индивидуального, пока оно сузится, возвысится и перенесется в другие сферы, и здесь в мире реальных интериндивидуальных отношений останется одно разделение труда. Мы должны не врать митингово, демагогически, а ускорить этапы нашего восхождения, нашего лазания вверх по лестнице социологии. В этом наша задача.

43.

ГДЕ БЛИЖАЙШИЙ ЭТАП.

Первый этап это уничтожение отделенности организуемого от организатора Должна быть провозглашена самоорганизация, и не только провозглашена, но и осуществлена. Только тогда будет уничтожено типовое деление общежития. При социализме главную роль играет организация. Она есть все, начало и конец нашей общежительной жизни.

При социализме организация — ее об'ем, ее форма определяет весь характер жизни.

Но только при социализме.

Когда будет проведена в жизнь великая анархическая революция, ликвидация типов, когда пробьет час взятия бастилии организации, тогда наше общежитие вступит в анархическую голосу.

Мы не говорим, мы не утверждаем, что тогда будет завершен цикл развития общежития. Нет. Тогда только обнаружатся новые дефекты, новые виды неурядиц.

Тогда всплывает неравенство перед знанием, перед умением, перед творчеством, перед талантом, перед гениальностью. Но это все следующие этапы развития, которые лежат уже внутри страны анархии, это будут высшие ступени самой Анархии До уничтожения типов, до проведения автоорганизации мы находимся в пути к стране Анархии.

Уничтожение типов, упразднение деления на организуемых и организующих самоорганизация— не ударяет ли это по башке культуры, не подкапывается ли это под основу разделения труда?

Раздел на организуемых и организующих есть проявление разделения общественного труда, все это выяснено в достаточной степени.

Как достигнуть того, чтобы каждый организуемый мог быть организующим?

Здесь один ответ. Организация должна возрастать в об'еме, в сложности, в колоссальности, в своей усовершенствованности, и тогда только мы получим ее общедоступность. Общедоступность, простота применения всегда совпадает со сложностью самого механизма.

Мы освободились от физической среды, мы ее одолели, покорили. Мы владеем миром, а не мир нами. Бог физического мира развенчан. Религия — в упадке. Пока господствовал мир, физические условия, то это господство имело свое воплощение в религии, являющейся идеологией преклонения перед миром, перед вселенной, перед явлениями космоса.

Освобождение из-под ига мира означает уничтожение религии, победа над миром есть атеизм.

Место физического мира, физической среды занимает социальная среда, общежитие, общество; ибо оно нас освободило

И освободило оно нас, рабов мира, физических условий, не затем, чтобы даровать нам вольную, а чтобы перевести нас с одного режима рабства на другой, с физического на социальный.

Мы рабы социального бога, социального режима, власти государства

Государство — вот фетиш социологии.

Общество — вот наш кумир.

Мы не овладели нашим общежитием Организация владеет нами, а не мы ею Овладение организацией есть уничтожение, упразднение социальности, религиозности социологии, есть асоциологизм, создание вместо него интериндивидуализма.

44.

Интериндивидуализм есть социальный атеизм.

Как этого достигнуть, как приручить разделение труда общественного таким образом, чтобы получить все его плюсы и освободиться от его минусов?

Разделение труда царствует в производстве, в труде, в деятельности. Он совершенно отсутствует в потреблении.

Производитель есть специалист. Потребитель есть аспециалист. Организаторство должно опуститься из области производства и перейти в область потребления, где царит одна общедоступность.

Этого можно достигнуть увеличением, усложнением организации, а не уменьшением ее, как думают, по наивности, некоторые.

Современное организаторство недостаточно деспециализировано.

Организатор состоит из двух лиц, он и изобретатель и применитель. Выражаясь просто, я бы сказал, он соединяет, в известном смысле, в своем лице, то-есть не он, как индивид, но как тип, иерархизирующий своих членов и держащий их вместе, образуя из них целый механизм,—и портного и лакея. При том надо еще добавить, что клиент его не то, что сам себе сшить костюма не умеет, что весьма естественно, но и сам одеваться не может. Представьте себе зависимость клиента от его портного Разумеется, что этот пример вульгарен до невозможности. Здесь надо ждать дифференциации, которая недолго застанет себя ждать.

Изобретатель должен отделиться от применителя. Применитель, являющийся сейчас особым специально обученным типом, должен опроститься и раствориться в массе

Не применитель должен опроститься, а само применение. Применение должно стать в такой степени общедоступным, чтобы оно не потребовало специальных познаний

Мы раньше сказали, что организаторство должно возвыситься до простоты потребления.

Этот предел есть конечная грань стремления усовершенствованности аппарата.

„Всякий новый аппарат вызывает, выделяет кадры жрецов", священников своих Велосипед—создает велосипедиста. Автомобиль создает шоффера, корпорацию шофферов. Политика, организация, когда она создает свои сложные „аппараты", она выдвигает „священство", корпорацию прислужников социологического бога. Но развитие аппарата, механизма ведет к тому, что он становится общедоступным. Общедоступным становится не его усовершенствование, не его изобретение, наоборот, его структура становится с каждым его прогрессом все сложнее и сложнее, его структура требует все больше специализированного, квалифицированного труда и умения.

Простота применения находится в прямой пропорциональности со сложностью системы. Чем выше, сложнее аппарат, тем проще, доступнее его применение.

Предел его, максимум усовершенствованности—это сведение применения к потреблению, совершенное выведение его из области специализации в сферу полнейшей деспециализации.

Вот путь развития.

Тогда „священство" применения упраздняется, сложность его перерастает.

Священство, сумма знаний, требуемых для пускания в ход данный аппарат получает свое воплощение в самом аппарате, „священство", „жречество" автоматизируется, вкладывается в сам аппарат. Получается автокультус, самосвященство. Служение отделяется от служителей. Служитель сливается с предметом службы.

Потребности, потребление не подлежат специализации. В потреблении нет разделения труда. Это в принципе, вообще. Но, в частности, частично мы находим и в потреблении, так сказать, некоторую специальность. „Потребление" музыки тоже требует некоторой подготовки. Есть блюда, которых низшие слои не потребляют из-за недостатка утонченности вкуса. Потребности не имеют прямого разделения труда, а лишь рефлекторное, рикошетное, разделение труда ударяет и по потреблению. Требуется некоторая школа, некоторый навык к тому, чтобы пользоваться хорошей мебелью, хорошими квартирами и проч.

Эта школа дается слишком легко. Это не то, что не противоречит принципу разделения труда, но, наоборот, способствует ему. Организаторство, когда оно разбух-

нет и разделится на две части, тогда выделится изобретатель и производитель. Изобретатель это творец совершенствователь новых политических, общежительных форм. Производитель это механический исполнитель, это технический персонал не играющий никакой юридической, руководящей роли. Затем отпадает применитель. Применительство станет общедоступным, как потребление. Конечно потребуется некоторая доля „воли", усилий, устремлений, воспитания со стороны организуемых. Но, вообще, это процесс культуры. Рост культуры означает уничтожение применительства, как специальности.

Так что упорядочение общежития не явится следствием простого, „опрощения" аппарата регулирования интересов, а следствием осложнения, из которого вытекает применительное опрощение. Рост культуры, рост сложности системы, сложности, колоссальности механизмов правительных и управительных поведет к слиянию организующего с организуемым, к созданию самоорганизации.

Не раздробление, не уменьшение, ибо мелкота не может создать и применять крупных аппаратов.

Колоссолизация культуры вот наш путь

45.

Сейчас в организаторе, что касается, преимущественно, политической стороны, три, четыре лица. Он и изобретатель. Ведь так часто великие изобретатели в этой области становятся во главе организации и управления общежитием. Таким образом организаторский тип опирается на изобретательство, опирается непосредственно, последнее звено в цепи организаторов ничтожных мелких исполнителей, восходит к первому звену, которое представляет собой организационное изобретение.

Изобретательство может быть чистым, может быть примесным, отчасти подражательным.

Слово изобретательство, разумеется, употребляется здесь в заимствованном значении.

Далее, идет осуществитель, проводитель. При осуществлении идет борьба. Само осуществление есть акт творчества, акт колоссального напряжения всех сил.

Осуществитель есть такой же творец, как „изобретатель", как идеолог. Если последний есть теоретик, то первый практик. Если в последнем преобладает разум, интеллект, то в первом — воля.

Бывает, что осуществитель сам является и творцом — идеологом, но в виду сложности и трудности задачи, он приписывает свое „изобретение" другому, тем облегчая себе свою задачу, если тот, другой „известнее" и пользуется большим политическим весом, является авторитетом, движущей политической силой.

Наконец, идет просто производитель, исполнитель, применитель, виртуоз. В виду того, что системы правления, системы организации недостаточно об'ективированы, недостаточно автоматизированы, технизированы, то здесь играет огромнейшую роль личность применителя, если не личная, индивидуальная, то коллективная, типовая личность.

Изобретательство, верней, создание идеологий, планов, проэктов, новой системы регулирования людских отношений — есть дело специалиста или гения. Трудно себе представить, и не нужно вовсе, чтобы все этим занимались. Если все займутся теоретической политикой, то эти „все" не смогут заниматься специально другими делами А общежитие, основанное на специализации, не может нормально функционировать, если все силы, все творческие силы устремятся в одну точку, тем вызывая вынужденное, результатированное пренебрежение другими отраслями.

Занятие специально теорией политики не создает типа, в смысле социологическом, а в смысле профессиональном, политик подойдет под обыкновенное профессиональное разделение труда.

Осуществитель, как творец, не может быть сейчас заменен. Отчасти он подходит под понятие специализации, необходимой, полезной, неизбежной. Осуществить, в виду того, что в социологии нет экспериментальной части, в виду того, что здесь нельзя, невозможно почти делать опыты, создавая искусственную среду, в виду того, что мы имеем

здесь дело с такими материалами, как люди, их интересы, их соединения, в виду этого, что мы здесь в области автики, а осуществление, проведенное некоторыми, надо рассматривать, как ненормальное явление, неправильный вид действа социологического— есть в настоящее время труднейшая, сложнейшая задача. Мы не начнем с упразднения осуществителя, который во многом схож с изобретателем, а начнем с уничтожения применителя, производителя.

Что такое депутат в обыкновенное время, время посвященное не созиданию новых форм, новых методов, а обыкновенному шаблону, регулированию, если не самый обыкновенный организатор—производитель, простой, более или менее виртуозный применитель.

46.

Когда произойдет дифференциация, тогда возникнет целый ряд противоречий между этими подвидами организатора. Один подвид будет мешать другому. Вернее, организаторство настолько разовьется, как дисциплина, как сложнейшее искусство, что специализация, успешность действий потребует несовмещения их в одном лице.

Подвид изобретателей, будучи более специализированным, вступит в столкновение с теми, которые соединяют, смешивают несколько функций. Применительство перейдет в руки всех. Само применение станет усовершенствованным. Его усовершенствованию будет содействовать организатор—изобретатель, он создаст лучшие приемы применения и лучшие системы организации.

Применение, пускание в ход политических, правительных систем станет всеобщим делом. И этот тип уйдет на покой истории. Из него выделится осуществитель и изобретатель.

Осуществитель, как сказано, есть наполовину изобретатель. Так как для осуществления социологического плана, для уловления момента созревания перелома и успешного проведения этой социологической операции требуется особая одаренность особые познания, которые у нас не систематизированы. И он дольше будет держаться чем применитель.

Но и он скоро отойдет в область истории. Тем более, что осуществление есть временное явление, пока идет ломка, пока царят сумерки, отделяющие один порядок от другого.

Осуществление есть революция, есть переворот. Требовать, чтобы революция совершилась, признавая и применяя основной принцип самоорганизации, значит говорить нелепость. Если этот принцип осуществлен, то не должно больше быть никаких революций, то общежитие вступает в полосу мирного, тихого, целесообразного строительства, оно выходит из полосы „техники", и входит в сферу автики и полнейшей самодеятельности. Революция предполагает революционера, профессионала, специалиста. Следовательно, революция, по существу, авторитарна. Да, с одной стороны, выступают массы, действуют непосредственно, разрушают непосредственно.

Но непосредственно действовать не есть отличительный признак отсутствия авторитарности. На войне солдат действует непосредственно, но над ним стоит командующий. Мы несколько раз уже выясняли, что низшие, организуемые вступают в непосредственные отношения с тем материалом, над которым они работают. Наоборот, командующие вступают в посредственные отношения, скажем, с неприятелем или другим материалом.

Революция авторитарна, ибо она руководима.

Революция есть осуществление, и осуществление требует своего осуществителя Но революция есть же, по существу, явление переходного состояния и не беда в том, что она не автоорганизована, а беда в том, что наша нормальная жизнь, наступающая на завтра после революции, не автоорганизована. Думать же, как некоторые наивные анархические агитаторы, что революция, по существу, явление самодеятельное, ибо она взрочает, всколыхивает целые нетронутые глыбы народной толщи, наивно до смешного. Таким образом мы могли бы утверждать, что и война есть явление самодеятельное, так как на войне умирает ведь народ, народные массы, он непосредственно умирает, а не только сводки читает.

В революции есть стихийность, она вспыхивает как искра, но тогда надо утверждать, что она самопроизвольна. И это не точно. Революция подготовляется. Без подготовки, без плана, без учения, без партии может быть бунт, восстание, но не успешная революция. Революция есть осуществление, осуществление требует своего подвида организатора, осуществителя. Когда мы покончим и с этим подвидом организаторства, тогда революций больше не будет.

В период переходного состояния нельзя предполагать, что можно обходиться без организаторов, осуществителей.

Разумеется, что речь идет здесь о творческой революции, создающей новые формы, новые отношения.

Такие революции носят всегда характер диктаторства.

Когда покончим и с этим типом, тогда уцелеет один „изобретатель", идеолог, один планодатель или исследователь.

Осуществление, которое будет в будущем лишь применением, перейдет в руки всех, все займутся этим.

Как прекрасна библейская легенда. Моисей, который вывел из Египта, он не ввел народ в обетованную землю, и сам туда не вступил. Здесь намек на отделение, дифференциацию между идеологом и применителем, осуществителем.

Изобретатель как бы попал в отставку. Мое дело изобретать, указать путь, но итти по этому пути это дело всех. Итти без водителей и без ведомых. Но проложение пути дело творческое, гениальное.

47.

Требование и утверждение творчества масс в анархической литературе есть плод отсутствия анализа этих явлений.

Примитивные формы, самые простые, сотворенные, совершенные в тот период, когда не было отдельного человека или отдельных классов, типов были верно продуктом всех. Творца не отделили, может его и не было. Но это анахронизм. Библия написана неизвестно кем, легенда приписывает право авторства богу, то-есть народному гению, всем, сверхестественной, безымянной силе. Гомер, возможно, тоже был легендарное лицо И его творения являются творениями эллина, духа эллинского, всего народа. Кто создал наш язык? Неизвестно. Все. Ибо не было того, „отдельного," он еще не успел отделиться. И творец, и массы были, составляли одно целое. Он, творец, был частью массы.

Но за этим массовым творчеством идет индивидуальное творчество. Творец заявляет свои права на свои продукты. Массовое творчество это первобытный коммунизм в области созидания, произведения новых форм или социологических продуктов, или орудий.

За этим периодом идет частное творчество.

За индивидуальным творчеством должно пойти интериндивидуальное творчество

Но интериндивидуальное творчество, в какой области мы его ни возьмем, не есть революция, а исключение, отрицание революции и революционера, ставя вместо него сумму личностей, а вместо нее органический, нарастающий процесс.

Думать, что массы в силах в наше время, когда социологическая область специализировалась, творить, создавать новые формы есть новый демофетишизм.

Такое утверждение равносильно утверждению, что массы изваяют лучшие памятники, чем те, которые мы имеем, которые являются творением рук гениальных скульпторов, что массы напишут лучшие картины, чем наши, лучшие этюды музыкальные, чем Скрябин, Шопен и др. Это наивно и путанно.

Если же вложить в творчество масс голое отрицание роли личности в истории и в творчестве, сказав, что он, отдельный творец, является выразителем, то ведь это ни к чему доброму не приведет.

Он посредник, он выразитель народных творческих сил.

Мы ведь все время заняты тем, чтобы одолеть это посредничество. Главным образом, в социологии. Следовательно, творчество масс тут ни к чему. Вместо творчества масс надо поставить интериндивидуальную самодеятельность, интериндивидуальное применение интериндивидуальных аппаратов.

Тогда получится автоорганизация. И человечество станет перед задачей осуществления самоучительства и самоумения, синтезирования умственного и физического труда, далее, встанет во весь рост проблема труда и творчества, изобретения.

Автоорганизация есть восхождение по лестнице интериндивидуальности.

48.

Равенство перед управлением. Равенство перед управлением есть требование, которое, можно сказать, что им исчерпывается старый анархизм, если мы его будем толковать в самом широком смысле. Это требование не удовлетворительно, потому что оно не докапывается до корней, до дна, до сущности, до истоков общежития, а возится только с последствиями. Культура мысли, умственной работы, это нисхождение или восхождение к причинам к первопричинам не в смысле метафизическом, а в смысле реальном. фактическом, умение об'единить, охватить целое.

Поверхностное мышление занято всегда последствияли, результатами. Результат— это конец, а не начало. Следствие дает себя чувствовать, если оно дурного качества, то создается желание, желание переходить в действо, к освобождению, к устранению его. Рост цивилизации это умение двигаться все дальше и дальше, встречать врага последствия не при его реализации, у своих ворот, а далеко от момента его реализации и причинения неудовольства, зла. Итти навстречу последствию, не дожидаясь его наступления—вот истинная культура.

Так из медицины, занятой устранением болезней, хвори, облегчением ее последствий, создается гигиена, занятая предупреждением болезней, занятая уходом за здоровым телом. Первоначальная мысль, как мы уже сказали, занята только следствием, а не причиной. Умение забегать вперед предполагает известный рост ума, мыслительной деятельности. Это своего рода предвидение будущего. Хотя, верно, это будущее есть, в данном случае, и прошлое, и настоящее, ибо оно реализуется постоянно, это как налеты волн, одна, другая уже дошла, но многие еще в пути, и те многие являются „будущим".

Все видят последствия, но не все видят причины. Все чувствуют дурные последствия, но не все умеют чувствовать их вызывателей, их причины. Богатый и бедный все видели, замечали их различия, всем бросалась в глаза ненормальность этого положения. Один владеет всем, другой ничем.

Не менее разительны различия в области политики. Угнетенный и угнетатель, властвующий и подчиняющийся—все видели ненормальность, неправильность этого явления. Но дальше этого пункта первоначальная социологическая мысль отказывалась итти.

Один богат, другой беден. Неправильное распределение богатства, надо это урегулировать. Требуется передел. Так планировал закон Моисея. Чем занят первоначальный коммунизм, христианский коммунизм? Он занят распределением. Кто хочет спасти свою душу, тот должен отдать свое имущество бедным. Далее, потребление должно быть коммунистическим, сообща. Коммунистическое потребление уничтожит роскошь.

Здесь, как видно, вращаются в области последствий. Кто имеет богатства, тот должен их раздать нищим. Прекрасно. Но здесь нет анализа богатства. Где, откуда он взял богатства? Где источник богатства? Ведь если хотят решить проблему бедных и богатых, то надо решить проблему богатства, проблему труда. Да, эта проблема лежит слишком глубоко. До нее не докопалась наивная мысль. Ведь дело не в результатах, а в причинах. Дело ведь в производстве. И этой проблемы слегка касается христианская мысль. Но лишь слегка и между прочим. Отрицается рабство. Но вместо него не создается ничего положительного. Чем заменить эту форму производства? Этот вопрос их, первых христиан, не занимал.

Устранить последствия, не устранив причин—вот весь христианский коммунизм. Мог ли он достигнуть своей цели? Разумеется, что нет. И его отказ от рабства есть легкомысленное отношение к производству, к грешному миру, он относится весь за „период агитации". Полного отказа от рабства нельзя требовать от христианства, которое не создало нового учения о производстве Поэтому отцы церкви после и отказались от этого поспешного, необоснованного отказа. Отказаться от рабства—как же

создать производство? На этот вопрос не было ответа. И Августии и проч. мирились с институтом рабства.

Путь неудачи христианского коммунизма был предначертан, он лежит в непродуманности концепции. в желании устранить последствия, не затрогивая причины. А это никому не дано. Их коммунизм взошел на почве этики, на по ве учения о равенстве перед Богом Это плод наивной социологии. Социология в примигиве содержит в себе равенство. Раз люди об'единяются, создают свои общины, борются за что то общее, то они должны быть равными. Равенство здесь вытекает из первоначального социологизма, из этизма.

Такое равенство не могло получить своего осуществления. Раз речь идет об этике, то самое большее, чего можно было достигнуть, это отказ богатого от ничтожной доли его богатства, самообложения или обложения в пользу своих несчастных братьев. Богатые платили налог в пользу неимущих. Так возникла филантропия И больше этого христианство дать не могло. Благосклонное отношение к бедным Отчасти здесь сказывается и страхование от бедности. Вслучае если и я разорюсь, то получу мою долю, хотя ничтожную.

И каждому богатому стоит платить „на случай". Но так как возможность разорения невероятная, то и „платеж" не регулярный. Страхование от бедности не равняется страхованию от огня. Перед огнем, перед крушением на море, от бури все равны, ибо там действует капризный случай. Разорение же зависит в огромной мере от воли, от усилий. И чем больше б гатство, тем меньше шансов на разорение. Но некоторый элемент и „страховки". Наконец, сочувствие, словом этика.

От этики ожидать полнейшего решения вопроса немыслимо. И получилась филантропия вместо обещанного коммунизма потребления.

49.

И филантропия представляет собой шаг вперед. Так как языческий мир стоял на той точке зрения, что нельзя оказать никакой помощи тому, кого Бог преследует. И на самом деле это сложенийшая пробле а, как и для теологии, так и для социологии.

„Если ваш Бог любит бедных, почему он их не кормит? (Талмуд)". Этот вопрос был задан языческим сановником еврейскому раввину.

Еще одно любопытное место:

Римский император, рассуждая с точки зрения права и государства, утверждает, что нельзя оказать помощи бедным, убогим, как лицам, преследуемым царем Богом. Он говорит, „если я наказываю, преследую преступника и его станут укрывать, помогать избегать моей кары, разве укрыватель не подвергнется, не заслужит кары и гнева.—Он Язычник, бесспорно, прав.

Если Бог правит миром, если нищета есть кара, есть порок, т.-е. есть следствие, наказание за порок, то разве мы имеем право вмешиваться в дела Божьи, в Промысл, и тормозить его работу.

Оказать убежище, помощь преступнику считалось преступлением, ответ, который дает ему равви, заслуживает не меньше внимания, чем вопрос. Он это сводит к оказанию помощи причцу, престолонаследнику, попавшему в немилость, ведь и сам император благодарен тем, которые облегчают муки изгнания его родному сыну.

Тут мысль ясна, она половинчата. Б г карает, но хочет, чтобы мы оказывали помощь тому, к го он карает. Так как он разгневан, но не совсем. Тут половинчатая ясность. Все что Бог делает, хорошо, но все таки могло быть, должно быть лучше.

Здесь религия стоит на той точке зрения, на которой мы стоим в социологии, в войнах. С одной стороны, раним, убиваем наших врагов, после боев мы подбираем раненных и лечим, ухаживаем за ними. Слишком большого внимания им оказать нельзя. Но совсем без внимания оставить преступно, слишком жестоко. Словом, половинчатость, невыдержанность линии.

Так и политически.

Власть арестовывает. Мы основываем красный или черный крест и оказываем им помощь. Эта помощь считается легальной, допустимой, она даже поощряется. Ежели

этот крест, Черный или Красный Крест, устроит побег из тюрьмы—это будет рассматриваться как преступление, но ничтожную помощь оказывать это не то, что допустимо, даже желательно.

Кресты помощи пользуются в тюрьмах известными привилегиям. Бесспорно, что в этом акте сказывается надломленность, двойственность. С одной стороны, кара, наказание за преступление, с другой стороны, желание войти в его положение, допущение помощи.

Это отношение реализовалось в древнем мире не только по отношению к бедным, но и по отношению к больным, к тем, кто бедны, нищи телом или духом, одержимым, душевнобольным.

Допускалось лечение, уход за больными вменяется в обязанность. И тут можно задать тот же самый вопрос: если Бог любит больных, пусть он лечит, врачует, пусть он их не поражает болезнью. Если Бог карает, какое право мы имеем вмешиваться в его дела, пугаться между ног и мешать ему провести его высшие неисповедимые планы. Ведь всякая хворь есть наказание. Всякий больной есть грешник, преступник—какое право мы имеем устроить ему побег из темницы болезни. И тут будет тот же самый ответ. Это делается сведома Бога, с его согласия, с его благословения. Даже более, он предписывает лечение. Тут точка зрения, выражаясь образно, заимствуя наши новые понятия, Красного Креста.

И как не прав Ру со, Фенелон, когда они на тезис Павла „Всякая власть от Бога" возражают: и всякая хворь от Бога", разве поэтому мы откажемся от лечения.

Дело в том, что древние язычники так-таки и не лечили. Лечить значить идти против Бога, против его намерения, как поучительно изречение Талмуда: „и пусть он лечит его (Исход)", отсюда мы знаем, что дано право лечить больных".

И не даром Евангелие уделяет так много места врачеванию, что с виду кажется, что это книга для медиков; Христос то и делал, что лечил, врачевал. И проблема врачевания настолько занимает фокус его внимания, что он пользуется изречением „Врач, исцелись сам", далее, на вопрос, почему он возится с мытарями, он отвечает, что врач нужен больным, а не здоровым. Он весь занят проблемой врачевания от недугов.

Приходите все страждующие, все недужные, обремененные.... Христос лечит больных, под больных подходят и настоящие больные.—безрукие, безногие, слепые, и преступный элемент, как блудницы, мытари и проч. Эти последние, которые должны стать первыми, больные социально-политические, и бедные, экономические больные.

И не даром христианство стало религией любви и милости. Все христианство это религия больных.

50.

Напрасно утверждают, что Иегова есть Бог мести, а Христос Бог любви. Бесспорно, что сын лучше своего отца, и, выражаясь языком Ницше, сын не есть сын своего Отца, в известном смысле. Но только в известном смысле. Так как зачатки милости, этой всепокрывающей, распростертой, дарящей руки мы находим и в законе Моисея, где постоянно упоминается о том, что нельзя забыть бедных и, главным образом, сирот и вдов, которые находятся на особом попечении. За законом пошли пророки, которые всегда проповедуют в пользу вдов и сирот, тогдашних париев и пролетариев.

И если Ницше ругается, обзывая и еврейство и христианство моралью рабов, то он прав, что он связал обе религии, так как вторая является лишь последовательным выводом из первой, но он не прав ругая их моралью рабов. Дело не в рабах, а в страждущих.

Я бы сказал, что евангелие это религия больных. Конечно, и еврейство является тем же, но там это еще не видно. В Евангелии это выступает наружу. Бог у христиан стал Спасителем. Это его специальная миссия, он социальный и психологический врач, он спасает гибнущих, он врачует больных, бедных, преступных и патологических типов. И как многие из врачевателей подвергаются той же болезни, от которой они лечат, так и он весь трагедия, трагическая фигура, которая кончает

свое существование на Голгофе. Крест становится символом спасения. Это религия „преступников", понимая под преступлением всякую физиологическую, моральную, экономическую, политическую хворь, религия последних, отверженных, забытых Богом и людьми.

И Евангелие видело весь свой фокус в этом пункте, в походе к забытым и обиженным, к одержимым и больным т. е., точней, в желании использовать больных и проч. в борьбе с сильными мира сего.

Сильной дифференциации тогда не было. И больной был и беден, и преступен, и патологичен.

Рим. В здоровом теле здоровый дух. И обратно. Таким образом создался синтез

Язычество религия здоровья, пышности, мощи,—христианство религия болезни, немощи, исхудалости, бедных.

И на самом деле, кто хворает больше всех? бедные. Кто беднее всех? больные, тщедушные.

Христианство исходило из еврейства, из тех основ, которые были заложены в библии, в пятикнижии и, еще более, в пророках.

Помни, что ты был рабом в Египте.. Религия угнетения, от еврейства к христианству рукой истории достать. Последовательность, вывод и только.

31.

И в наш, и в предыдущий век стоит тот же самый вопрос. Спенсер в его этике высказывается категорически против филантропии, с одной стороны, и против коммунизма, с другой стороны. Его доводы напоминают доводы язычника, спорящего с тем талмудическим равви. Филантропия мешает, тормозит, путает результаты естественного подбора, не дает планомерно совершаться процессу выживания наиспособнейших. Нищие, несчастные должны погибнуть. Мы нашей филантропией мешаем зарождению новой расы, здоровой, сильной, могучей, предприимчивой. Мы поддерживаем тех, которые должны уйти на смарку, мы плодим упадочных типов, нездоровых элементов, чем отравляем нашу биологическую, материальную и затем духовную культуру. Сильные должны жить, слабые должны стать слабее, умереть и уступить свое место сильным и здоровым.

В этом пункте дарвинизм, спенсеризм совпадает с Ницшеанством. Они говорят одним языком, если не касательно формы, то касательно сущности, содержания.

Ницше ругает христианство. Спенсер ругает коммунизм. Спенсер, вообще, против всякого вмешательства. Против рабочего законодательства, дающего перевес не сильным, а слабым.

Ницше часто повторяет, что надо быть жестоким, как природа, что означает, как Бог. Его природа есть природа мести, которая не прощает, она даже более жестока, чем Иегова, она языческий Бог.

Раз природа, физическая или социальная, все равно, бьет слабого, недужного, грешного, антисоциального, то нам нечего руку подставлять, как делает мать по отношению к своим детям, когда их хочет бить отец, чтобы спасти виновного и виноватого. Пусть умрет все слабое, да здравствует живое, цветущее, сильное. Вот мировоззрение здоровое „языческое".

Антихрист Ницше выражает эту мысль точно, ясно, выпукло, определенно. Он воспевает древний языческий мир, мир силы и мощи, торжества жизни и сильного над слабым.

В чем же нашло христианство свое оправдание? Оно имело один путь в экономике, одно средство: об'явить богатство пороком. Богатых оно в рай не пускало. Оно перефразировало языческую поговорку: бедность есть порок, и вместо бедности поставило „богатство", и получилось „богатство есть порок". Но для этого пришлось предать анафеме наш грешный мир „весь мир". Пришлось выдвинуть аскезию экономическую, социальную и даже физиологическую, и психиологическую, выдержанности ради.

Блажены нищие духом. . .

Тем хуже для здоровых, для сильных, для нормальных. . . . они об'явились преступниками.

Но так как путь аскетизма не долгий путь, и его средства не долгосрочны, то пришлось, после того, как христианство стало силой и его Бог хотя был Богом правды, но правда его стала огромной силой, и, таким образом, стал Богом силы, мощи, могущества, пойти на компримисс, на филантропию, на смягчение различия между богатым и бедным. И этим довольствовалось христианство.

52.

И другого выхода не было.

Игнорируя производство, источник благ и богатств, держась за распределение, оно, христианство, вынуждено было бичевать богатство и роскошь, видя в этом различие между богатым и бедным не видя, что один трудится на другого, что нищета создает богатство, христианство вначале, проповедуя отказ от мира, захваченного язычниками, ударилось в аскетизм, оно ушло от шумных городов, от богатства, от всего греховного, предало анафеме богатство, требуя его уничтожения, раздачи, разделения между бедными Это было вначале. Потом же, отказываясь от аскетизма, оно отказалось и от решения проблемы и удовлетворилось филантропией. Оно занялось врачеванием недужных и опеканием ниших. И монастыри были переполнены калеками. И теперь еще у врат храма толпятся калеки, увечные и нищие. Богатые и здоровые дают им подаяние. И баста. Большего не удалось достигнуть.

Раз проблема бедности не ставилась в связь с проблемой труда, с проблемой производства, то бедность свидетельствовала о порочности, о слабости Бедный ненормален, бедность есть болезнь, есть слабость, создать апофеоз слабости, хилости, нищеты можно временно, такой апофеоз долго держаться не может. Одно создание его говорит о силе, о новой силе, о правде, об идеологии, которая воплотится, оденется в постоянную силу.

И апофеоз слабости есть сила, скрытая сила Этот апофеоз создают не те „слабые", которые на деле слабы, недужны, а те здоровые и сильные, которые случайно, по вине внешних сил, а не внутренних дефектов попали в стан слабых. Эту идеологию создают сильные средь слабых. Они побеждают. И апофеоз слабости переходит поневоле в апофеоз силы и мощи и торжества, а не надломленности и хилости, убогости. От прошлого остаются одни символы: крест, распятие. Действительность преломляется в идеологии и получается компромисс: филантропия. Милостыня, подаяние вот удел нищих, вот что им платят те, которые вышли из их среды

Если бы проблема бедности ставилась в связи с проблемой производства, тогда она была бы не проблемой бедности, а проблемой богатства, проблемой производства, создания благ в большем количестве, хватающем на всех.

Тогда бедность не рассматривалась бы, как аномалия, как слабость, а как естественное проявление нашего уклада, нашего хозяйственного порядка. И для решения ее не пришлось бы идти ни по пути аскетизма, ни по пути сверхестественного „чудесного", превращения, верней, провозглашения слабости силой, идеализации нищеты во всех ее проявлениях. Христианство же производства не заметила, и не удивительно, производство было тогда в зародыше, оно не было видно, оно еще ютилось в полях, в лесах, ему мало кто придавал значения. Бросалось в глаза потребление, роскошничание.

Далее, богатство того времени было связано, главным образом, с завоеванием, а не с промышленностью. И для того времени слова, как „нет Эллина нет Иудея" означали реорганизацию всего уклада жизни.

Как бы то ни было. Производство, промышленность игнорировались. При таких суждениях, при таком подходе к проблеме больше чем филантропии нельзя было ожидать. Экономическая проблема нищеты приравнивалась к проблеме нищеты тела и духа.

Евангелие врачевало. Врачевать значит облегчать муки больного. Лечить. Лечить значит не убить хворь, болезнь, как таковую в корне, а заниматься паллиативами, облегчениями.

И проблему бедности ставило христианство, как проблему болезни, как социологическую, экономическую терапию или патологию.

53.

Как видно, и Спенсер так понимает проблему бедности, проблему коммунизма. Он восстает против филантропии и против коммунизма.

Характерно, что коммунизм он рассматривает в этике, как проблему нравственности.

И на самом деле те, которые подходят к этой проблеме из одних этических мотивов, проповедуют альтруизм и этим удовлетворяются. Раз не ставится вопрос производства, вопрос исправления хозяйственного аппарата, а вертятся в области распределения, роскоши, то поневоле доходят до христианства, до аскетизма, до проповеди воздержания от соблазнов мира и до проповеди любви, которая максимально может дать филантропию. Вот путь Толстого. Вопросы экономические он ставит чисто этически, точно также он обращается и с вопросами политическими. От такой постановки вопроса чего можно ожидать? Одной филантропии, любви. Верно он хочет, чтобы филантропия охватывала всю нашу жизнь, чтобы мы вечно даровали направо и налево, чтобы вся наша жизнь была одно самопожертвование во имя ближнего. Толстовство в экономике, в социологии есть филантропизм.

И Спенсер также ставит проблему нашего хозяйства с точки зрения не об'ективной, с точки зрения экономической, а с точки зрения нравственности. И он находит, что наш порядок нравственный. Ибо такова воля природы, чтобы гибли слабые, выживали сильные.

Но таким способом можно было отрицать всю культуру, ибо вся культура это борьба против жестокости этого начала. Культура не идет в разрез с этим выживанием, но культура есть создание силы из слабого, из слабости.

Выживание наиспособнейших—пусть зимой останемся без топлива, тогда выживут наисильнейшие, останутся в живых только те, которые одарены здоровыми легкими и закалены против простуды. Пусть живут без крова, останутся те, которые окажутся наиболее сильными.

Ясно, что эти идеи нелепы.

Выйдет идеализация смертности. Ибо она создает нам подбор. Одни Ахиллесы, Геркулесы должны жить. Культура значит создать лучшие условия, облегчить борьбу за существование, свести ее почти на нет, чтобы выживали и более слабые, чтобы не видно было разницы между слабым и сильным, чтобы слабый стал сильным.

В этом пункте Спенсер чистый язычник, утверждающий, что Бог суров и не знает жалости, что Бог—природа милует только победителей.

Вопрос хозяйства, а не вопрос бедных. Вопрос производства, а не вопрос пролетариев. Наше производство не годится, оно обрекает людей на муки, на страдания, на нищету.

Настолько идеализировать наши недостатки, чтобы в них всегда видеть только плюсы только из-за того, что чистых минусов нет, и даже зло, если желают, можно истолковывать, как добро, так как оно служит фильтром для сильных.

Таким образом, эпидемии хороши, так как они уносят слабых, оставляя в живых сильных, здоровых, создавая таким образом естественную евгенику.

До такого язычества и Спенсер не договорится с эпидемией, с грязью, с источниками болезней он советует бороться, он стоит за оздоровление наших городов, за осушение болот и не утешается мыслью, что от этого выживут наиболее сильные.

Если он договаривается до таких нелепостей в области хозяйства, то это по вине тех, которые ставят вопросы хозяйства, как вопросы попечения о бедных, ставят вопросы так, что они напоминают филантропию, и тут строгий язычник нашел к чему придраться.

Мы ставим не вопрос бедных и богатых, а вопрос производства, налаживания хозяйства, вопрос создания новых условий преуспеяния наиспособнейших. Однородности нет. Наиспособнейшество не есть одна величина, она и не постоянная величина. Если остаются в живых и не наиспособнейшие, тогда создается поле для особого успеха для наиспособнейших. При суровости условий, при скудости пищи все гибнут. И если выживает наиспособнейший, то он только спасает свое жалкое существование. Выживание наиспособнейших это максимум затрат.

54.

Обратимся к фауне, к флоре. На севере суровом, диком что растет? Одна ель да сосна. Вот тебе выживание наиспособнейших. А на юге? На тропиках? Какая богатая флора и какая богатая фауна. Не следует ли из этого, что лучшие условия способствуют расцвету наиспособнейших, способствуют культуре. Но и при всякой культуре, при наилучших условиях преуспевают те, которые наиболее способны.

Отказ от коммунизма, отказ даже от филантропии не потому, что последняя недействительна, нерезультатна, а потому, что она грешит против подбора, есть непродуманность.

Когда низшие получают возможность существовать, тогда высшие получают возможность блаженствовать. Там, где есть богатая флора, там растут вечные легендарные деревья, там растут гиганты растительного царства. Мешает ли им то, что у их ног растут маленькие растеньица? Нисколько. Можно ли опасаться, что слабые при поддержке со стороны сильных окажутся помехой для сильных.

Тут явно противоречивая мысль и суждение. Опасения Спенсера лишены всякого основания и грешат против его же подбора и выживания.

Не бывают ли такие суровые условия, когда никто не выживает? не бывают ли такие суровые зимы, когда целые селения эскимосов вымирают. Не бывают ли такие условия социальные, когда целые цивилизации рушатся, гибнут, разлагаются.

Вопрос бедных и богатых надо свести, надо поставить, надо формулировать, как вопрос производства. И тогда такие возражения в роде ницшеанских или спенсеровских потеряют всякую силу и всякое значение. Выживает ель на далеком севере, но какая она сравнительно тщедушная, хилая, бедная, жалкая.

Выживает—но при каких условиях и при каких запасах энергии и при каком напряжении сил? Спенсера и Ницше сбили с толку христианские, этические нотки, которые звучат у некоторых недалеких, неглубоких проповедников социализма.

Многие были шокированы тоном мощи, силы, могущества, звучащим в речах и в обоснованиях лучших из социалистов. Они хотели свести эту проблему к нравственной мольбе, к сочувствию, и проч. разрыхленности, в то же время, когда здесь говорилось о борьбе и о силе. Не о милости шла речь, не о нравственности, не о любви, а о силе, о борьбе, об об'ективных условиях, о создании новых условий производства, рожденных в столкновении двух миров. Эти новые условия облегчают жизнь, облегчают борьбу за существование, создадут возможность умилостивить суровость, жестокость социальной природы, социальной среды, при этих новых, условиях можно сказать, человек одолеет свою экономическую среду, как он одолел свою физическую среду, в известном смысле. Эти условия дадут возможность выживать и менее способным, и менее сильным, они превратят слабых в сильных, а сильные станут еще сильнее. В то время, когда предыдущие условия, бывшие слишком суровыми, губили человечество, как в смысле биологической культуры, калечили, увечили часть населения неимоверным трудом и делали из наиспособных неспособных, больных, хилых, еле живущих.

И как мы боремся с эпидемией, которая уносит очень часто наиспособнейших, наисильнейших, так и наши неурядицы экономические губили весьма часто наиспособнейших, наигордейших, наипредприимчивейших, наисмелейших.

Я не думаю сравнивать наши экономические неурядицы, являющиеся нормальными и неслучайными явлениями, с эпидемией, с болезнью. Я хочу этим сказать лишь то, что эти неурядицы иногда задевают именно наиспособнейших.

55.

Как бы то ни было, но христианство в своем примитивном коммунизме так вопроса не поставило. Оно начало с аскетизма экономического и кончила, мирясь с жизнью, с действительностью, филантропизмом, сочувствием. Такая неудовлетворительная постановка об'ясняется неумением восходить к первопричинам всех экономических невзгод, к производству, к созданию лучших, более нормальных условий (произведения) богатств. Оставляя старые, прежние условия создания богатств, оставляя нетронутым

производство, планировать изменения в распределении можно при альтернативе аскетизма или филантропизма. Оба эти пути никчемны. Аскетизм отдается смертью, пахнет пессимизмом, говорит о жизненном малокровии. Филантропизм вообще никчемен, так как он паллиатив. Он сам чувствует, что он бессилен, что он не может справиться с выдвинутой проблемой. Когда слабый слишком слаб, чтобы мечтать о том, что он станет силой, то он прибегает к мольбе о пощаде. Когда зияет пропасть между нищетой и богатством и нет моста годного, чтобы быть перекинутым, тогда простирают руки над пропастью, бедный и богатый, богатый дарит излишества, крохи с его стола. Филантропизм это банкрот идеи, неумение решить. Религия дальше этого не могла пойти. Она начала с этого в еврействе. Она делала попытку с негодными средствами к решению проблемы при христианстве, проповедуя отказ от богатства, желая об'явить его злом, желая стать совершенно сверх естественным, но оно этого делать не могло. Оно содержало внутреннее противоречие. Бог есть Бог слабых, хилых, несчастных, нищих духом, последних, больных, калек и бедных, больных экономически. Раз идет аскетизм, отказ от всего, от тела, от здоровья, от знания, от богатства, то нечего было врачевать больных и одержимых. Пусть они останутся при своих недугах. Нечего было заниматься спасением, раз страдание есть символ всего хорошего, славного, образцового. Раз проповедуют спасение, то этим утверждают заодно, что падение не хорошо, что оно требует спасения, что недуг требует врачевания. И таким образом создать апофеоз недужества, греховности нельзя. И косвенным образом, создается, восстанавливается в правах здоровье, сила, мощь, могущество, знание, и против недужных, нищих духом, телом применяется врачевание, уход, филантропия.

В том-то и несчастье, что аскетизм до конца нельзя довести, ибо тогда идеал достигнут, или почти достигнут. Блажены нищие духом. И прекрасно. Нищих духом много на белом свете, недужных, одержимых достаточно. Чего же тут спасать! Но это признается одновременно и образцовым, и ненормальным. В этом противоречие. И начало и конец христианства есть врачевание—филантропия, т. е. смягчение последствий без изменений условий.

56.

В тот же тупик безуспешности попадает народнический анархизм, классический анархизм с его политическим равенством, с его равенством перед распределением общественной силы, социальных благ, перед управлением. Он вертится в низинах последствий, не подымаясь к высотам причин.

Он игнорирует вопрос общения, вопрос связи людей, размер, об'ем этой связи, формы этой связи, а занят исключительно вопросом управления планомерного, равномерного, справедливого распределения „общественной силы".

Его интересуют вопросы управления, и он, по наивности, думает, что можно ввести равенство перед управлением, не преобразовывая все общение на новых началах.

Управление тесно связано с общением. Принцип общения, средства общения, размер общения, формы общения—вот что является первостепенным в общежитии, а не вопросы управления. Как распределение тесно связано с производством, так управление общежитием связано и вытекает из самого общения.

Оставить размер, формы, принцип общения, выдвигая новое начало для управления, нелепо. Так же нелепо, как игнорируя производство, проповедывать коммунизм потребления и распределения.

Старый анархизм есть анархизм управления общежития, а не анархизм общения.

И поэтому его начало знаменуется аскетизмом в теории, социологическим аскетизмом, развалом общения, раздроблением его, попадая в тон красивых, но далеко не экономических слов: „вон лилии полевые, не ткут, не прядут, а одеваются краще Соломона", что на языке анархизма, занятого не экономикой, а управлением, означает: вон бобры, вон пчелы, вон муравьи не имеют ни власти, ни начальства, а управляются лучше всякого государства на основе взаимопомощи. Сначала идет аскетизм социальный, а сзади, в конец пойдет, неизбежно пойдет филантропизм, если не экономический, то политический: всепрощение как в области хозяйства, экономики, так и в области

общения, прощение лодырям, прощение преступникам, ибо преступление не порок. Кто хочет идти за мной, пусть раздаст нищим духом все свои добродетели. Прощение преступникам, отказ от наказания, что это такое, если не филантропия политическая? Раз начинают с аскетизма, то по неволе кончают филантропией, сводя все к филантропии, ибо долго и неуклонно стоять на принципе: „грешно быть безгрешным" довольно трудно и не практично, и такого рода проповеди кончаются лишь смягчением участи преступника, не вызывая, не будучи в силах вызвать более глубокие изменения в строе, в укладе жизни. Аскетизм, как раньше было указано, не любит последовательности, не терпит доведения до последней черты. и он упирается одним концом в смерть, в уничтожение. Как ни раздробишь общежитие, до последнего атома, до Робинзониады, разыгрываемой на необитаемом острове, не доведешь. Общежитие станет мельче, но все дефекты сохранит, удержит в себе. А предыдущие высокопарные обещания о создании рая на земле общежития сводятся, после ряда отступлений, к филантропии, к некоторому реформизму.

57.

Толстой же, который не только игнорирует вопрос общения при управлении, но делал больше, пошел назад касательно всей культуры, отказался от всего, от науки к религии, от техники к опрощению, от разделенного труда к неразделенному, от государства к семье, от специализированного воспитания к семейному, домашнему, словом, ко всем пунктам обратно, назад, проповедывал и аскетизм, и филантропизм, хотел построить все общежитие на законе жертвы, на христианском символе, на агнечестве.

Толстой и Штирнер вот два корифея классического анархизма. Оба выдержаны. Оба договорились черт знает до чего. Оба отошли от общежития, оба аскета, один филантроп, другой эгоист.

Оба доказывают прекрасно, что проблему управления, общежития нельзя решить без предварительного решения вопроса общения.

Что общежитие, общение людей связано, в известной мере и степени, таким или другим образом, с производством не подлежит никакому сомнению Спор всегда шел о характере этой связи. Что же касается взаимоотношений, существующих между производством и распределением, потреблением, то они никогда не подвергались оспариванию. То же относительно управления и общения, являющегося, так сказать, социологическим производством, созданием общежительной, публичной силы и социологическим распределением, уделением каждому доли публичной силы.

Нельзя выдвинуть новый принцип в распределении, когда его нет в производстве.

Нельзя предполагать ,что замкнутое хозяйство будет оперировать с тем же распределением, что товарное хозяйство, тем более, что капиталистическое хозяйство.

Нельзя допускать, что в управлении будет царствовать принцип индивидуализма-интериндивидуализма, а в общении останется старый принцип национализма или корпоратизма или классизма. Признавая учение о классах или признавая нацию в общении, нельзя требовать, чтобы управление руководилось началом личности. Такие противоречия не допустимы.

Если в общении скрыто начало общности национального происхождения, то не может быть и речи в управлении о принципе интериндивидуальном.

Когда царствует родство, связь крови, биологизм, то не может быть речи о другом методе и принципе управления, чем тот, который царствовал, — старейшинство, геронтократия, патриархия или матриархия.

Старый анархизм, который игнорировал эту связь между общением и управлением, думая реформировать управление, оставляя в нетронутости общение, впадал, как уже было выяснено, в политическую филантропию или аскетизм, вот две стороны, охватывающие его и губящие, душащие его и сводящие его на нет.

Интериндивидуализм в управлении должен иметь своей предпосылкой универсализм, т.-е. тот же интериндивидуализм в общении. С точки зрения общения этот принцип называется универсализмом, указывая на об'ем, на охват мира и человечества, с точки зрения правления его удобно обозначить термином интериндивидуализм.

Национализм в общении неизбежно связан с этатизмом, и не только национализм, но и классизм, неминуемо, должен принимать вид этатизма.

Поэтому мы, выдвигая решение социальной политической проблемы, не можем остановиться на управлении, а должны добраться до общения. И мы провозгласили принцип самоорганизации, активность творения, созидания общения, а не равенство перед управлением. И не только в политике, но и в экономике. Мы требуем создания автоорганизации производства и, само собой, получится правильное распределение и потребление. Мы требуем равенства осуществления самоорганизации общения, и само собой получим от этого нормальное управление, т.-е. самоуправление и политическое благосостояние.

58.

В конце этюда хотелось добавить, что если глубже вникнем в проблему, то увидим, что все виды равенства, которые мы пересчитали, и которые мы подвергли жестокой критике, если будем смотреть в корень дела, суть лишь равенство перед Богом. Но каждая эпоха меняет своего Бога. Христианство провозгласившее равенство перед Богом делало все, что могло делать в ту эпоху. Его коммунизм хромал, но его „психологизм" был правилен и выдержан. Из этих камней оно творило сынов Авраамовых..... Оно подошло к человеку, к его убеждению, взяв отдельного и, по-неволе, церковь должна была стать универсальной, перед которой нет эллина, нет иудея. Далее, равенство перед природой, естественно правовая школа хотела творить всеобщую мораль, всеобщее право, она была насквозь рациональна и космополитична Да, она была преждевременна. Это своего рода александрийский период христианства, период предшествующий христианству. Языческий мир, языческие боги были племенные, христианство поднялось выше всего этого, оно было универсальным. Средневековый мир, средневековое право было областным, краевым,— что город, то норов, естественная школа, учившая о равенстве перед Природой, перед Богом своего времени, хотела, пыталась создать универсальное право. Их ошибка была, главным образом, в том, что они утверждали, что есть то, что они собирались создать. Универсальное, всеобщее право надо создать, надо создать единый всемирный, всечеловеческий кодекс.; они же думали, что он есть, за ними пошла школа историков, эта школа состояла сплошь из националистов, это школа была создана в годы реакции, в годы отлива и разочарований, после первых неудачных попыток естественников. Историческая школа, национальная школа клеймила космополитизм безтелесным абстракизмом и рационализмом. Историческая школа не ограничилась одним правом, она взялась за хозяйство, создавая учение о своеобразии национального быта. Далее. Равенство перед природой получило свою конкретизацию, свое воплощение в равенстве перед законом. Закон привилегия—вот Бог той эпохи. За ним, за законом пошло хозяйство, собственность, мамона. Было создано учение, что вся суть в собственности, в хозяйстве, в капитале. И социализм можно обозначить, как учение о равенстве перед капиталом, перед мамонной. И он, борясь с частным хозяйством, говорит об универсальном, но не ему выполнить эту миссию, он может быть в лучшем случае интернациональным. За ним пойдет универсализм с его провозглашением принципа самоорганизации. Так как по нашему вся суть, начало и конец общежития это организация, то организация должна быть одолена. Власть есть организованный социальный труд, власть есть организованное насилие, т.-е. социологический политический капитал. Мы должны одолеть организацию, т.-е. создать самоорганизацию, автоорганизацию.

59.

Теология, сказал Фейербах, это антропология, надо сказать это социология.

И, на самом деле, всю нашу социологию мы можем проследить на нашей теологии. Все то, что делается общественно, совместно, то делается религиозно. Напрасны все придирки к социализму, что он, мол, религиозен, что это религиозное движение. Он не может быть другим, пока он социален. Истинная теология это социология. Фейербах указывает на то, что еда была культом. Да, она была культом, пока ели обще-

ственно. Пиршество, празднество, общие трапезы, общие игры, общие омовения. Все общественное религиозно.

Пока человек в своей ограниченности думал, что мир и его община это одно и то же, пока он их отожествлял, то его религия была физической, т.-е. физический мир был социальным. Физической религии не было и не будет, не может быть. Религия есть общение в примитиве. Пока земля, небо, звезды жили матриархально и патриархально, словом социально, общинами, ордами или семьями, то религия была земной, небесной и проч. Когда человек разочаровался в имманентой общественности мира, в его сознании и воле, когда социология стала претерпевать ряд трансформаций, когда общежитие стало организованным, он перенес этот дуализм, эту *организацию* и в мир. Не даром мир (вселенная) называется миром (покоем, упорядоченностью), космосом. Для того, чтобы при дифференциации общественной был мир, не было столкновений, нужен организатор, для того, чтобы в мире был порядок, чтобы вселенная, бытье стало миром, нужен Бог.

При патриархате или матриархате Бог был родитель, отец или мать мира. Социология была биологическая, родовая, союз происхождения. Между Богом и миром, была отеческая связь. После этого он стал творцем, делателем, создателем мира, царем мира, завоевателем мира Здесь усыновление и рабство, мир — раб, Бог рабовладелец; затем мир—предмет, Бог — ремесленник. Здесь патримониальные понятия. Бог собственник мира, право собственности его основано на труде. Он стал творцем, мир творение рук его.

Бог растет, как и наша социология. В начале он был семейственным, общинным, локальным, ограниченным в населении и в пространстве. Он стал национальным, племенным, он стал Богом целой территории. У Бога есть своя земля, обетованная и свой народ, хотя он создал весь мир и все народы, все человеческое население. Тут старые с новыми понятиями в столкновении. От племенного национального он становится всеобщим, он охватывает мир. ему надо поклоняться на всем земном шаре. Он переносит свой Иерусалим на небо. Небо охватывает весь мир. Единство. Универсальность. Пока был племенный божок, то было много богов, столько, сколько племен, столько, сколько языков, наречий, стран. Когда он стал Богом мира, он стал одним. Политеизм, плюралтеизм перешел в монотеизм. Монотеизм содержит в себе основной дуализм: мир, организуемый, Бог—организующее начало. Раньше, пока было много божков, то этого дуализма не было, ибо Бог не был Богом, а божком, куском природы, куском вселенной, одной из многочисленных сил, действующих в бытье, во вселенной. Не было еще иерархии. Бог не был выше мира, он был миром, он был в мире, и вне его не имел места существования. Но Бог возрос в силе, в могуществе, в мощи, он стал примерять противоречия вселенной, войну всех против всех, царствующую во вселенной, а в этой вечной схватке разных сил и стихий, во вечной борьбе света и тьмы, тепла и холода, суши и воды, грозы и тиши, огня и воды, и проч. он стал замечать единство, гармонию, высшую дисциплинированность, он возвел на высшую степень разделение космического труда, из хаоса он создал Космос, из вечной войны он создал мир. он стал „судьей мира", он примирял антагонизмы. Мир полон противоречий и все таки он единен. Его единство лежит вне его. Бог не мог быть в мире, ибо он не мог быть в одно и то же время и жизнью, и смертью, и летом и зимой, и огнем и водой, и пришлось ему стать над миром, стать душой живой, духом мира, организатором мира.

60.

Этот дуализм причинял немало хлопот человеческому мышлению. Бог заключил договор с миром, с народом, его договор это законы, данные лучшими законодателями. Раз есть организатор и организуемый, то есть налицо юридическое отношение. Был заключен завет. После потопа Бог клялся, что вода больше не посмеет воевать с сушей, что будет мир между этими изначальными врагами. Был заключен договор между Богом и его народом. Эта космическая теологическая драма имеет два проявления и в мире, и в обществе, в квази-обществе и в настоящем общежитии.

Но этот договор не долго мог удовлетворять человеческое мышление. Жажда единства. Раз создано единство богов, единство сил, противоречивых, борющихся между собой, раз создана одна единая система, монотеизм, то стала ребром, назрела задача примирения последнего противоречия, последних двух противоречивых сил: мира и Бога, находящихся в вечном споре, ибо везде была ересь, отступление от нормы, от правды, от божественного. Монотеизм переходит в монизм, как переходная стадия, создает пантеизм, как мостик, соединяющий натуризм с теизмом. Бог, как творец, как организатор, и как творение, как организуемый, сливаются воедино. Создается учение о природе, о натуре. В общем верховном принципе царствует единство. Наука победила религию, монизм совершеннее монотеизма, содержащего в себе глубокое противоречие мира и Бога. Создалось сознание, что организатор есть дезорганизатор, что связь между Богом и миром недостаточно крепка, не достаточно спаяна, не достаточно слияна. Выдвинули идею о природе. Природа это мир, который сам собой управляется, который сам себя организовывает, который сам себя рождает, собственно, не рождает, а развивается бесконечно. Природа, наука это автоорганизация в Космосе, это слияние организуемого с организующим в общем управлении, в общем мировом общении, в общем верховном руководстве. Что касается частностей, отдельных явлений, то здесь осталась еще двойственность, остались материя и сила в физике. Энергетика пополнила и этот пробел. Суверенитет явлений мира, суверенитет космоса и его отдельных явлений. Унитаризм явлений, слиянность их, новое высшее единство, но без единителей, без руководителей, ни назначаемых, ни выборных. Словом организуемость, упорядоченность без упорядочителей.

Я не хочу сослаться на мир, чтобы с него взять пример, свести его порядки на наше общежитие. Это было бы обратный фетишизм, или преломленный фетишизм, Мир понятий, как общежитие, влияет на общежитие рикошетом, рефлекторно, обратно. тем изменяя общежитие.

Я хочу лишь сказать, что путь нашей социологии предначертан. Она пойдет по тем извилистым, но стремящимся к одной точке, к монизму, дорожкам. Наша социология изжила себя уже в теологии, она дошла до своего самоотрицания, до своего преодоления, до своего превзойдения.

Семья, община, клан, орда, племя, народ, человечество. От семьи, от замкнутой ячейки до универсализма. От простого к сложному, от слитной, аморфной массы к полнейшей дифференциации, дележу на организуемых и организующих, от плоскости к пирамиде. Человек, организуемый, вверх до самого высшего организатора. Предмет, дух, ангел, архангел, до Бога, до Всевышнего. Полисоциологизм, поликапитализм, полиполитизм к монополитизму, к универсализму, от архизма, иерархизма к анархизму, к слиянию организующих с организуемыми, к созданию социального пантеизма. При универсализме обнаружится, самым ярким образом, пропасть между индивидологией и социологией, между миром и Богом, она, эта пропасть, достигнет своей глубочайшей бездонности, и разом с универсализмом будет провозглашен и анархизм, самоорганизация, самоорганизацией социология будет развенчена, противоречие между обществом и личностью выявится во-всю, общество занимает положение Бога, личность займет положение мира, последний победит, и мир станет миробогом, самоорганизующимся началом, самотворящимся, самовозникающим, т.-е. развивающимся. Социология уступит свое место, как теология натурологии, теософия — натурософии, интериндивидологии, содержащей в себе синтез двух начал и социологии, и индивидологии, и организующего, и организуемого. При интериндивидологии получит свое осуществление идея слияния организуемого и организующего в одном лице. Вместо организации получим самоорганизацию.

Москва. 1920.

ИНТЕРИНДИВИДУАЛИЗМ

VI. Насилие.

Насилие.

I.

Непротивленство.

Вопрос о насилии один из вопросов, которые могут получить премию изобилия трактовок. Вопрос богат своей литературой, как Крез и запутан, как Гордиев узел.

Особенно усердствовал Толстой в его борьбе против насилия. Он отрицал насилие везде и всегда, не то что в теории, в формулировке идеала, но и в средствах, в тактике. Он метал громы и молнии против социалистов, против анархистов, словом, против всех тех, которые применяют насилие. Ибо он отрицает его везде и безоговорочно. Он категорически отходит, открещивается от насильственных методов. Он выдавал себя за апостола мира и любви. Свое учение он вложил в уста Христа, втолковывал в Евангелие. Наконец он нашел семена его идеала во всех религиях, и стал он поборником религии против науки. Но больше чем другими верованиями он дорожил Христианством, которое по его разумению строит все на „не противься злу насилием и кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему другую"... и пр. Толстой и его последователи назвали это учение „христианской моралью".

Является ли Толстой и толстовство на самом деле выдержанными до конца противниками насилия?

На этот вопрос приходится ответить громким отчетливым: Нет. Толстой только против активного насилия, против активной борьбы, но не против пассивной. Толстой признает лишь пассивные приемы. Является ли пассивный способ борьбы не насильственным. На это надо ответить нет, он насильственный.

Таким образом, Толстой расчленил насилие, раздвоил на две половинки, одну половинку он отбросил, другую половинку взял себе и стал ее развивать, культивировать настолько, чтобы она могла заменить собой и пренебрегаемую им, откинутую первую половинку.

1.

Пассивный метод. Но разве пассивный метод борьбы не есть борьба? А борьба ведь есть насилие, борьба оказывает давление, действует, влияет, насилует, но не прямо, не действием, не актом, а недействием. Тем более, что в социальной борьбе речь идет всегда о разрушении, а для разрушения достаточно недействие. Для смерти организма вовсе не требуется прием известной дозы яду, достаточно *неприем*, голодовка.

Толстовский способ борьбы с социальным организмом это не катастрофическое, революционное уничтожение его, а истощение, смерть от собственного худосочия, разложение его посредством пассивности.

Жизнь есть действие, актуальность, согласованность приемов, функций. Если члены организма откажутся от своих функций, от исполнения своих задач, то ясно, как день, как аксиома, что организм развалится, расстроится, помрет. Все знают басню, рассказанную Агриппой Менением плебеям, когда они хотели переселиться на святую гору.

Почему-то Толстой утверждает, что пассивный метод есть не насильственный. На самом же деле это насильственный метод. Разве забастовки, бойкот, локаут не есть насилие? Фабриканты устраивают локаут, рабочие умирают с голоду. Разве потому, что фабриканты причинили вред рабочим будто бы пассивно, то вред от этого стал меньше. Присудили человека к смертной казни. Подана просьба о помиловании. Тот, кто не удовлетворяет этой просьбы, разве не убивает того человека, осужденного, активно, нет, только пассивно.

Тут ужасная невыдержанность, половинчатость. Бороться надо, нужно, необходимо, но бороться не насильственно, не активно, а пассивно.

Мне как-то приходилось читать письмо одного толстовца, осужденного за отказ от воинской повинности. Военный начальник или комендант ему все доказывал, что он своим отказом совершает над ним насилие, ибо он ставит его в такие условия, что он, по существующим законам, вынужден его преследовать, причинять неприятности, лишить свободы, несмотря на то, что это ему, начальнику, неприятно, он вынужден, ибо, откажись он от исполнения своих обязанностей, его постигнет такая же кара.

Известная доля правды есть в этом утверждении. Бесспорно, что пассивное сопротивление есть противление, всякое противление есть насилие, прямое или косвенное, активное или пассивное.

2.

Что значит пассивное сопротивление. Что за разница между активным или пассивным способом борьбы?

С точки зрения состояния борющегося, сопротивляющегося, наверно, нет глубокой разницы, так как воздержание, удержание, одоление желания сопротивляться, реагировать активно требует больше напряжения воли, чем активное действие. Так что в пассивном методе есть больше волевых элементов, есть больше, в конечном счете, активности, чем в активном методе.

Отругнуться гораздо легче, требует меньше напряжения воли, чем замолчать обиду. Изнутри, суб'ективно, это сложный вопрос, он весь находится в зависимости, где рефлекс и где напряжение извне, об'ективно, с точки зрения того, с кем вы боретесь, все зависит от размера, от суммы вредных последствий, причиненных вашим активным или пассивным поступком. Если активно вы причиняете маленький вред, а пассивно большой, громадный, то борющийся с вами предпочтет активное пассивному. Сколько бед может человек натворить одним молчанием, невмешательством, нежеланием действовать.

На ваших глазах человек умирает, утопает, вы его не спасаете, хотя вам стоило лишь протянуть руку, и он был бы спасен.

Человек убивается горем от выдуманного или неправильно сообщенного известия, вы знаете правду, вы бы могли утешить его, но вы молчите, вы пассивны Неужели на самом деле пассивное или „ненасильственное" равняется нравственному, этическому? Неужели эти понятия совпадают? Нисколько.

Можно совершить активно величайшее преступление, можно его совершить пассивно, попустительством, непринятием мер, молчаливым бездейственным подтакиванием

3.

Одно из двух, или нет сознания того, что борьба со злом, в виду того, что здесь фигурирует зло, с которым борются, есть само по себе уже зло, ибо отрицание зла, борьба со злом творит зло, зло можно только игнорировать, не замечать, или же есть такое сознание, что борьба сама по себе уже есть зло и потому борьба со злом есть такое же зло, как-то, которое борьба, с помощью борьбы хочет уничтожить. При первом случае борьба со злом есть добро, при втором случае борьба со злом есть зло, творит зло. Делать же различие между способами, методами, приемами борьбы есть безнадежный эклекизм, который ни к чему доброму привести не может

Пассивно бороться значит бороться, пассивно сопротивляться, значит сопротивляться, если сопротивление есть зло, то всякое сопротивление. Тут Толстой делает раздел, нет, мол, только насилием противиться нельзя, без насилия же сопротивляться есть не то, что не порок, но прямо-таки добродетель. И все учение Толстого есть проповедь, призыв к сопротивлению, к борьбе, следовательно, к насилию, но особого вида. Нет, если уж быть этиком, то до конца, отказаться от всякого сопротивления. Но Толстой боится дойти до этой точки, до этой грани, смешивающей зло с добром, до точки застывания status quo. Долой борьбу, долой противление. Ибо один мир, одна любовь есть истинная нравственность.

И разве можно на самом деле проповедывать любовь к людям и в то же время требовать завзятости, фанатизма, религиозной закаленности в боях. Если любить людей, то их надо любить черными, беленькими их каждый полюбит.

Любовь есть всепрощение. Надо простить их грехам и не противляться. Вот это и есть верх этики, выдержанность. У Толстого не хватило мужества этического, чтобы пойти на эту голгофу совести и собственного, ограниченного понимания добра и зла. Ему хотелось быть учителем, проповедником, реформатором. И таким образом он стал борцом, насильником, революционером.

4.

Берите все разсуждения Толстого, порой очень остроумные, прямо глубокомысленные, порой дышащие житейской благоразумной мудростью, о том, что противление злу насилием творит лишь насилие и не более, следовательно, дает всегда обратные результаты. Существует зло, известная сумма. Вы для искоренения этого зла прибегаете к помощи насилия, ко злу. Таким образом вы не уменьшаете зла, а увеличиваете его, творите его, добавляете к нему в надежде, что вы его уничтожите. Человек убил человека. Значит есть один убитый. Вы осудили убийцу. Значит у нас уже два убитых. Тут, бесспорно, прав Толстой. Метод, применяемый им здесь очень простой, уже черезчур простой. Он берет поступок „правосудия" и рассматривает его, как такового, не входя в обсуждение последствий, к которым он приведет. И тогда ясно, что этот поступок бессмыслен.—Разумеется, что я не берусь защищать смертную казнь, как институт, содействующий благоустроению жизни. Я хочу на этих примерах лишь выяснить точку зрения Толстого.—Такой поступок сам по себе бесмыслен, так как он весь рассчитан на окружающую среду, которая должна реагировать на него воздержанием от совершения безнаказанно убийств, далее, он расчитан на будущее, если его, преступника, не уничтожат, то он, как рассуждает правосудие, совершит еще целый ряд убийств. Вот мысль древнего законодателя, утверждающего: „проливающий человеческую кровь—его кровь да будет пролита" (закон Моисея) В законе Моисея часто повторяются слова: „чтобы они услышали и убоялись" Тут акт возмездия расчитан на окружающих, на предупреждение могущих возникнуть преступлений, а не как акт мести, который делу не пособит. Толстой же, выхватывающий один момент из всей суммы, из всей системы действий указывает победоносно на бессмысленность его. С таким же успехом он мог указать на пахаря, как на безумца, у него так мало семян, и он бросает последние в землю, засевает ими поле. Конечно, если взять один посев без жатвы, то нет расточительней, раззорительней этого акта. Если же принимать во внимание, что это только одно звено в цепи действий и поступков, тогда этот поступок получает свое оправдание.

Не было бы ничего бессмысленней наказания, если прегрешение, преступление было бы закончено и не находилось бы ни в какой связи ни с окружающей жизнью, полной зародышами этих преступлений, полной соблазнов, ни с совершившим этот поступок, скажем, если бы он оказался совершенно лишенным возможности повторять свой гнусный поступок.

5.

Но это не существенно, не с этой стороны хотим уязвить толстовство и Толстого. Я допускаю, что он прав, что борьба со злом творит зло, увеличивает зло и никаких результатов не дает.

Исходя из этой точки зрения, возьмем рекомендованный им метод борьбы, пассивный способ, непротивленство насилием. Он дает те же отрицательные результаты. Он вместо того, чтобы уменьшить зло, увеличивает.

Но войдем в то, что суждение Толстого о том, что не надо заботиться о последствиях своих поступков, а надо иметь в виду лишь свой поступок и данный момент, не заботясь о том, к чему он приведет, есть самое беспросветное варварство Культурный человек всегда думает о последствиях своих поступков. Возьмем вторично нашего пахаря. Если не принять во внимание последствия этого поступка, то это непростительная расточительность и бессмыслица. Далее, предупреждение всякой болезни, причинение себе боли ради будущих благ, прививка, причинение себе страданий ради избавления в будущем от худших страданий. Жертва мгновенным наслаждением ради будущих благ, выгод—все это основано на умении предвидеть последствия своих поступков.

И бесспорно, что поступок сам по себе безразличен. Вся суть его, вся ценность его в последствиях, которые он вызывает. И Толстой это прекрасно знает, но почему то, когда речь заходит об особом разряде поступков, он совершенно забывает о последствиях, а берет сам поступок, как стоящий одиноко в поле жизни, без всякой связи ни с прошлым, ни с предыдущим.

И на этом возражении не задержимся. А возьмем метод Толстого: непротивление насилием, но противление пассивное. Каковы результаты его метода? Его результаты обратны ожидаемым им. Ибо всякая борьба, это закон „природы", дает сначала отрицательные результаты, как всякий расход, лишь увеличивая издержки, а дает приход через некоторое время. И поэтому не всякий способен на борьбу, на выдержку, на страдание, на отказ от настоящего ради будущего. Доказать такие истины значит доказать с апломбом, что летом тепло, а зимой холодно, доказать, что путь не есть место назначения, что средство не есть цель. Расход приносит в первый момент лишь раззорение. Приход же, прибыль, прирост заставляет себя ждать, и Толстой доказывает это в общежитейских делах с таким видом, как будто он нашел новую Америку социологии

Такие отрицательные результаты дает всякая борьба, а не только борьба с помощью насилия.

Меня мобилизуют. Я отказываюсь. Ясно, что меня по головке не погладят. Ведь наказание должно наступить. А наказание выше по степени, по рангу того зла, которому я подвергся раньше, будучи лишь мобилизованным.

Остановимся, и сейчас сделаем наш бухгалтерский подсчет, баланс. Совершили зло. Меня мобилизовали. Я оказал сопротивление. Что получилось? Зло увеличилось. Во-первых я сижу в тюрьме, или сослан. Значит зло уже возросло Раньше люди меня только мобилизовали, заставили насильно совершать известные поступки, но я не был лишен свободы, теперь они меня и свободы лишили, заковали в кандалы. Это одно. Второе, я и им причинил много хлопот, они от этого стали злей, раздражительней. Если же случаи отказа станут учащаться, тогда еще хуже станет, примут против них более крутые меры. А что касается фронта или солдатчины, то я разве моим отказом изменил там хоть на иоту от заведенного, установленного? Нет. Каковы результаты моего поступка? Они сплошь отрицательные. Почему? Да потому, что зло увеличилось.

Я сижу в заключении. Меня зовут на допрос. Я не иду. Меня берут насильно. Каков результат? Отрицательный.

И удивляться этому нечего. Всякая борьба не доведенная до конца, до победы, полна поражений без побед, полна расходов без приходов, полна минусов без плюсов.

Но доведем поступок до конца. Представим себе, что все отказываются, но тогда, значит, заглянуть далеко, рассматривать поступок в целой системе будущих ожидаемых действий, которые все вместе, в конечном счете, уменьшат зло, но если так рассуждать, то и противление насилием, если оно расчитано на реформирование общежития, на создание лучших условий жизни, приведет в конечном счете, по одержании победы, после торжества и увенчания успехом, к уменьшению зла.

Все то, что Толстой приводит против насильнического метода, то-есть против активного метода, действительно с тем же весом и правом, против всякого метода борьбы и противленства.

6.

И как он невыдержан, когда он говорит о любви и о борьбе, об отказах от воинской повинности, ссылаясь еще к тому на Евангелие Христа.

Там ничего подобного нет.

Если толковать места, известные стихи Евангелия, на которые ссылается Толстой, буквально, то там есть полнейшее непротивление, там есть отказ от всякой борьбы, как пассивной, так и активной.

Вы слышали, что сказано: „око за око, зуб за зуб" (Исход, 21, 24). А я говорю вам: не противься злу. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два (Евангелие от Матфея, 5, 38—41)".

Какой же тут пассивный метод борьбы.

Если сказать, что здесь квинтэссенция христианского учения, то здесь сказано одно: не борись вовсе. Прощай. Не то, чтобы не бороться, не сопротивляться, но здесь прямо рекомендуется обратное сопротивлению: иди навстречу злу.

Ударили по щеке. Если пользоваться методом насилия, то на удар надо отвечать ударом, насилием на насилие Ударить ударяющего так, чтобы у него пропала охота ударить во второй раз меня или другого. Если оказать сопротивление, то ударяющий увидит, что бить по щекам дело далеко не безрискованное и легкое. Это один метод. Второй метод — не противление злу насилием, а словом, жестом, уходом, вкратце, пассивно. Надо его увещевать, доказать ему, что он поступил неправильно, и внушить ему мысль, что если не ввязываются с ним в драку, то только потому, что считают это ниже собственного или, просто, человеческого достоинства, так как человек должен жить по закону любви, а не закону насилия. Или же уйти, не противляться насильно, а пассивно. Третий метод, это метод евангельский. Не то, что не сопротивляться, а прямо идти навстречу тому безобразию, которое насильник совершает. Он ударил по щеке, подставь ему и другую. Ударь и по второй, милости просим. Он снял верхнее, отдать ему и нижнее. Не то что не бороться с ним; а помогать ему безобразничать.

Если пользоваться этим методом в применении к солдатчине, то если тебя мобилизовали на три года службы, то ты служи шесть лет, если тебя заключили на шесть месяцев, сиди двенадцать месяцев.

7.

Такой метод явная бессмыслица в смысле житейском, зато он выдержан в смысле этическом.

Люби своего врага, молись за него, благослови проклинающего тебя. Тут нет помину ни о какой борьбе, тут вечный мир, тут кротость, тут смирение, тут долготерпение.

Смотри на своего Отца, который и праведным и неправедным дает свет и солнце. Отказ от борьбы, от возмездия, от воздаяния. Это ужасно нереально, ужасно „непрактично“, но зато выдержано, хотя пример, который Евангелие рекомендует взять с солнца, не очень то походит. Над всеми восходит солнце, но есть же слепые, над которыми оно не восходит. А эти слепые это те грешные, преступные элементы, которых и отец лишает своей благодати.

Но, как видно, евангелист отошел от той мысли наивной, полагающей, что болезни отвечают грехам. Если он стоял на этой точке зрения, он бы не так увлекался врачеванием. Итак. нет ни праведных, ни грешных, все равны перед благодатью. И нет борьбы со злым. Не противься злому.

Толстой боялся довести свою мысль до евангелического абсурда. Но этот абсурд есть абсурд всякой этики; этика есть отказ от права, от должного, этика есть прощение, этика есть социальный мир, полнейший отказ от борьбы.

И если мы находим отказ от насилия, то разве только в этих и им подобных стихах Евангелия, и в других назидательных книгах, нравственных учениях В этом понимании этика есть роскошь социологическая. Можно себе позволить эту роскошь в известной мере, в известной степени. Иначе это дойдет до полнейшего мотовства и общежитие разорится, все устои разрушатся, общежитие не сведет концы с концами. Прощать врагам в общежитии это все равно, что в хозяйстве не взыскать долгов, оставить преступление без наказания это все равно, что иметь пассив без актива, такое хозяйство существовать не может.

Итак отказ от насилия есть этическое, чисто этическое требование.

Его мы не находим у Толстого, который признает борьбу, сопротивление. Всякая борьба, всякое сопротивление есть насилие. Разницы существенной, касательно насильственности, между активным и пассивным нет.

Евангелие, если его толковать буквально, стоит на точке зрения отказа от насилия. Но оно из этого не делает общего руководства в жизни, оно лишь выдвигает это, как этическое начало. Всякое этическое начало есть роскошь, которое общежитие может позволить себе лишь в ограниченном размере.

8.

Можно эти стихи Евангелия толковать и иносказательно, но тогда это значит отчасти насиловать текст. Можно было эти указания свести к системе, можно в них вложить учение о колоссализации, об увеличении в об'еме, которое уменьшает Он хочет совершить насилие. Он и совершает это насилие. Я иду ему навстречу в его насилии, следовательно, оно перестает быть насилием. Тут единичный акт. Если же взять совокупность актов и всегда увеличивать их и систематизировать, то они из отрицательного состояния перейдут в положительное. Это означает овладеть ими.

Государство берет подати, налоги. Увеличьте налоги, отдайте все государству создастся посредством этого новый вид хозяйства и новый вид государства.

Капитализм есть зло. Конкуренция. Наемничество. Хаос спроса и предложения. Увеличьте капитализм, создайте вместо поликапитализма монокапитализм, одно единое национальное хозяйство, и огромное число дефектов хозяйства вы уже устранили.

Но, как сказано, это натяжка, так толковать Евангелие нельзя. Стихи, цитированные нами, достигают апогея этики и учат, просто, не бороться, прощать. Бесспорно, что и евангелист их думал применять лишь к частным случаям, к частному, случайному злу и злому, а не к неурядицам, основным беспорядкам нашего общежитейского уклада

9.

Нас, собственно, интересует одно, что Толстой не мог, не умел, не отказался от насилия, а лишь проповедывал пассивное насилие, раз он признавал борьбу и противленство, хотя бы пассивную.

И Толстой не мог иначе поступить. Откажись он совершенно от насилия, бесповоротно, от всякого вида и рода насилия, он вынужден был бы отказаться от идеи пересоздания, усовершенствования общежития. И хотя его интересует лишь личное самосовершенствова́ние, но борьба за личное самоусовершенствование принимает у Толстого социальный характер. Ведь он не просто этик. У него этика панацея против всех зол .. Он с помощью этики хочет решать все назревшие, все больные вопросы и хозяйства, и политики.

Тут и половинчатость Толстого. Он настоящим этиком не мог быть, так как он был или силился быть и политиком, и экономом, и эдукатом (педагогом), он решал все вопросы и ставил их довольно широко. Он занимался не только вопросами личного поведения, предполагающего общественное и трактующего лишь о налаживании своих частных поступков, которые должны находиться в унисон с общим поведением, с общей системой жизни, с общим порядком. Он ставил вопросы *общественно*. И поэтому он не мог быть настоящим этиком. Он хотел пересоздать общественную жизнь, уничтожить государство, капиталистическое хозяйство, создать или возродить и очистить семью. А все это требует громадных затрат, социальной и личной энергии, все это требует максимального напряжения сил, все это требует борьбы, сопротивленства. И Толстой принес не пальму, а меч, он борец, он социальный вояка, он реформатор, тут его основное противоречие. Он политик и этик одновременно. Методы, приемы одной системы не отвечают другой. Этический метод—полнейшее непротивленство, социальное бездействие, в смысле незадевания ничьей воли, непреодоления ничьего сопротивления. Политика же есть борьба.

Разве можно пересоздать уклад жизни без усилий, без напряжений, без борьбы, без сломления чужих, враждебных, упорствующих воль.

II.

„Анархическое“ общежитие.

1.

От Толстого перейдем к его антиподу, и от этого альтруиста к беспредельному эгоисту, к Штирнеру.

Штирнер в его „Единственный и его достояние“ мечет громы и молнии против общества, против государства, против всего коллективного, против всех творений социальных, как право, мораль, общие идеи. Он хочет быть самим собой, быть само-

бытным. Он разбивает все цепи, он все ругает святым, религиозным. Он хочет свободы от человечества. Он хочет выскочить из своей общественной шкуры, он всюду видит насилие над его личностью, во всяком законе, во всяком праве.

Он бесспорно прав в его критике общежития, в его сокрушающей критике общества. Он хочет, чтобы его дело было „его" делом, не божеским делом, не общественным делом, не делом истины, правды и справедливости, а личным эгоистическим делом.

Он восстает против всякого насилия, но в конце он признается, что он оснует „союз эгоистов".

Ясно и понятно, что союз эгоистов не есть государство, не есть общество, а есть союз личностей, мы называем наше будущее об'единение Интериндивидуалом, союз эгоистов это что-то вроде этого.

Хорошо. Союз эгоистов. А этот союз не будет чинить насилия над тем, кто к нему будет принадлежать? Будет. Ибо всякое общение содержит в себе элементы насилия. Разница между этим союзом и обществом может быть лишь в том, что степень насилия будет отвечать выгодам данного союза, каждого отдельного, в союзе будет равный обмен насилий, обмен услуг.

Раз Штирнер не мог, не хотел отправить своего единственного на необитаемый остров, а заставил его об'единиться с другими себе равными, то он, собственно, поступил в известном смысле по предписанию „договорной теории", об'единился с себе равными во имя эгоистических выгод.

Хорошо. Но разве эти выгоды „общества" союз дает даром, ведь все они эгоисты; нет, они даром ничего не дадут. За каждую услугу потребуют от меня услугу, значит окажут на меня давление, будут чинить против меня насилие. Верно, я принимаю эту меру насилия. Но разве от этого оно перестает быть насилием. Допустим, что кто-то ударил меня по щеке, за это я его щипнул, мы в расчете, верно, но разве я не чувствовал боли от удара.

Каждое общение насилует, давит, требует насилия, хотя мы можем допускать, что вместо мною стерпленного насилия я получу вознаграждение. Но разве мне бы не хотелось получить все выгоды общежития без его минусов, разве не каждый из нас любит кататься с гор общежития, но не любит салазки общественные таскать.

Права требуют или предпосылают обязанности, это все понятно, но ведь каждый хочет права и не любит обязанностей.

2.

Отойдем от Штирнера к другим конструкциям анархического общества. Мы всюду и везде находим насилие. Мы не можем мыслить себе ни одно общежитие, в котором бы не царил закон насилия.

Насилие, как Бог, там где собираются двое, там уже есть насилие, как третье, как цемент, связующий их, соединяющий.

Любовь, любовь, ворчит беззубый старик из Ясной Поляны. И он не понимает, что верх тирании, верх насилия творит любовь. Любовь это насилие, ставшее добровольным, это цепи, в'евшиеся в тело, в мясо, это ярмо, ставшее вторым горбом.

Закон любви,—есть закон насилия, взятого в n-ую степень. Любить Бога, этого „тирана", этого символа общежития и командования, значит отказаться от себя совершенно, а при полном отказе ведь нет насилия, ибо некого больше насиловать.

Если я исполняю волю пославшего меня, то меня более нет, и меня не насилуют, ибо считаю благом быть насилуемым. Толстой довел мысль о насилии до полнейшего абсурда. У него полнейшее преобладание общества над личностью, но общество он почему-то обозначает религиозным термином „ближнего", и ему кажется, что в его обществе нет насилия, в то время, когда у него кроме насилия ничего нет. Но это насилие он выдает за любовь.

3.

Насилие не есть принуждение. Принуждение есть механическое сломление моей воли. Насилие лежит и в добровольном соглашении. Допустим, что последний акт, совершенный мной, доброволен, но я насилуем, я вынужден обстоятельствами, всем ходом событий к нему, хотя он сам добровольный акт, так как я мог выбрать худшее.

В общежитии, в общении нет свободы. Возможна ли одна свобода, свобода от общества, от общежития? Свобода есть какая-то взбалмошная фикция. Если со свободой воли уже покончено, то почему не покончить с социологической юридической свободой, которая является худшей несуразностью.

Общежительные результаты требуют от каждого известные затраты. Грезить же о результатах без затрат—возможно, но не надо забывать, что это лишь грезы

4.

Возьмем идеал Кропоткина, его идеальное общество, построенное на взаимопомощи. Разве там нет насилия? Есть, да еще какое.

а) *Взаимопомощь.* Но ведь это такой широкий принцип, такая широчайшая база, под которую все подходит. Всякое общежитие построено на этом начале. Всякое единение предполагает взаимность услуг, обмен услуг. Вопрос лишь в том, равняется ли услуга услуге, не помогают ли *одни* всегда, которым никто не помогает, или вернее не помогают ли одни больше, а другие меньше. Чем государство не построено на взаимопомощи. Стоит городовой на посту, он мне помогает: если на меня набросятся грабители посреди улицы ночью, то он меня защитит. Неужели взаимная помощь является помощью лишь тогда, когда она не организована, не планомерно конструирована. Но это замечание между прочим.

б) Исключение признается Кропоткиным Мы исключаем из коммуны те элементы, которые злоупотребляют, которые лодырничают. А если они не хотят уйти из коммуны, то их придется выдворить оттуда насильно. А сам акт исключения разве это не насилие, самое грубое насилие, какое себе представить можно

в) Далее. Общественный выговор, общественное порицание. Вот вам зачатки криминалистики, которые набросал Кропоткин в некоторых из его работ Разве это не насилие! Это насилие, но более мягкого вида и свойства, чем заключение в Бутырку, чем изоляция.

Но разве изоляция не мягкое наказание сравнительно с телесным, практиковавшимся. Бесспорно, что это более мягкий вид, более культурный, но разве мы можем сказать, что это, вообще, не насилие.

И разве выговор не есть насилие над личностью.

г) Вместо права поставим обычай.

Ну, что, разве обычай меньше насилует. Нисколько не меньше.

5.

Возьмем другие конструкции общежития. Мы везде и повсюду находим насилие. Не буду говорить о том, что и старые анархисты рекомендуют насильственные способы борьбы. Что касается действительности, реальной жизни, то они чувствовали, что без насилия тут ничего не сделаешь. Они видали, изучая современную жизнь, что весь уклад нашего общежития базируется на *насилии.* И в своей тактике они рекомендовали насильственные перевороты, насильственные выступления, словом борьбу.

Но, откинув современную жизнь, рисуя грядущую жизнь, будущие формы жизни, они рисовали их, как вольные, как свободные. Благословенная наивность, как будто формы жизни, уклад общения может жить, существовать, реализоваться, отправлять свои функции без насилия.

III.

Сила и слабость классического анархизма.

1.

Критика уклада жизни, предпринятая и ведомая анархистами классической школы, не отразима. Когда анархист бросает жизни, общественному укладу упрек и осуждение: всякая власть есть насилие, всякое государство творит насилие, всякое правительство чинит насилие. То никто не может не согласиться с ним. Воистину так. Насилие есть зло, против которого человек возмущается до глубины души, до сокровенных корней своей психики. Против этого спорить никак нельзя. Все это азбучно верно, азбучно истинно. За этими словами лежит такая сильная, высокая

и глубокая истина, заставляющая замолчать и самого жестокого, самого дерзновенного юриста. Нельзя не согласиться с его положением, нельзя не сознаться, что да, здесь он нащупал один из самых злокачественных дефектов нашего общежития.

Он, классический анархизм, не прав только в том, что он слишком ограничивает сферу своей критики. Напрасно он изощряет острие своей критики о государство, о власть. Он мог утверждать и большее: всякое общение, всякое общество, всякое единение цементируется насилием. Он между прочим это и делает в лице своих лучших идеологов, своих лучших наиболее ярких, беззаветных, бесстрашных выразителей,—рыцарей. В этом отношении отличался Штирнер. И надо признать, что ему удалось вскрыть все дефекты, все из'яны нашего общежития. И он не ограничивается одним отрицанием государства, он подымает свой меч разрушения и осуждения на общество, как таковое, он не щадит и такое с виду безобидное об'единение, как партия. Он ругает все наши соединения и все технические подкладки, все орудия об'единения, как общие идеи, как религиозные. Он прав. Это все религиозно. Истинная религиозность это общественность. Истинная общественность это настоящая религиозность. Основной догмат это солидарность, общность интересов, взаимная помощь. Те религии, которые у нас на обиходном языке называются религиями, это, на самом деле, умершие религии, больные религии. Настоящая религия это та, о которой адепты и не подозревают, что она религия. Истинный культ это тот, где служение слито с самослужением, где нет специального культа, где есть полезная, необходимая работа. И если Гидингс утверждает, возражая против Спенсеровского понимания религии, что нет религии без культа, то он прав, поскольку речь идет о тех религиях, которые слывут таковыми, на которые все смотрят, как на религии. На самом деле это квази-религии, это дисциплины, бывшие религиями, не переставшие быть таковыми. Это выродившиеся религии. Это общественность, это общественные средства, которые перестали быть средствами, перестали служить цели, а стали самоцелью, стали „игрой“, социальной забавой. Конечно, они продолжают исполнять некоторую резервную социальную службу, но лишь резервную, несут службу социальную, но не строевую.

Прав, тысячекратно прав Штирнер, когда он нас ругает религиозными, одержимыми. Насколько мы общественны, настолько мы не самобытны. Насколько мы не „единственные“, настолько мы бесспорно религиозны, настолько мы насилуемы.

2.

Против этой истины трудно спорить, невозможно спорить.

Но *слабость* анархизма классического в том, что как только он переходит к формулированию того общества, о котором он мечтает, которое он планирует и за которое он борется, он сейчас же впускает через окно то, что он прогонял через дверь. Конструируя свое общежитие, он вкладывает туда насилие, ибо без этого элемента, без этого цемента ни одно общественное здание держаться не может. Верно, он смягчает насилие, он сводит его, насколько может, к минимуму, но все же оставляет его. А с принципиальной точки зрения не все ли равно, сколько насилия, раз допускается насилие. Тут слабость анархизма. Человек убил человека. Современное общество его судит, осуждает, приговаривает к каторжным работам или предает смертной казни. Анархическое общежитие его будет рассматривать как больного, нуждающегося в уходе, в лечении. Прекрасно. А если он не хочет, чтобы его лечили. Он хочет нас лечить, он считает себя нормальным, здоровым, а нас, этических людей, нас, утверждающих, что нельзя убивать и тому, кто может убивать, он считает больными. Что тогда будет? Как мы будем реагировать? Оставим его в покое—он убьет еще одного и еще. Ясно, что придется лечить его насильно, вопреки его желанию и его воле, которую мы будем считать ненормальной, нездоровой. Лечить насильно значит употреблять всем нам ненавистное насилие. А ведь человек не переносит этого проклятия, тяготеющего над нашим общежитием.

Тут самое больное место старого анархизма. Как видно, он не отдает себе ясного отчета в его требованиях, в формулировке идеала и в понимании его.

На самом деле, что можно возражать против того тезиса, что насилие есть проклятие, есть зло, от которого каждый человек, сын воли, хотел бы избавиться.

Но, к сожалению, нам не дано при наших современных условиях, при нашем современном уровне культуры, не дано нам избавиться.

3.

Старый анархист с его проповедью против насилия похож на того критика хозяйства, который указал бы на основной дефект нашего хозяйства: на труд.

Как тут не крути, как тут не реформируй, как тут не изменяй, как не мудри, строй социалистический, буржуазное, мелкое—частное, анархическое, коммунальное, какого угодно типа хозяйство—все равно придется при хозяйстве трудиться. А труд есть проклятие. Труд есть зло. Труд ниже человеческого достоинства. Венец природы любит досуг, любит наслаждаться жизнью, любит наблюдать, созерцать природу и играть, но не трудиться. Не потому человек не любит трудиться, что он ленив, нет. Эта проблема разработана. Никто не ленив. Даже дикари, даже дети не ленивы. Наоборот, они очень работолюбивы. Они любят возиться, работать, действовать, двигаться, тратить, расходовать энергию. Животные играют, возятся, суетятся. Покой, бездействие, самое ненормальное состояние человеческого организма. Вынужденное бездействие убивает человека. Заключение разлагает человека, главным образом, этой стороной. Не только животные, даже насекомые и те постоянно играют. Все любят играть, совершать произвольные и непроизвольные действия. Но трудиться планомерно, целесообразно, имея в виду известные задачи, которые трудящийся себе ставит, повторять монотонно целый ряд манипуляций, повторять периодически, подражательно, подражая себе или другим—себе в случае собственного творчества, тогда первые действия творчески, но остальные все равно являются черным, монотонным, однообразным трудом—этого никто не любит, этого никто не переносит. Люди бежали от труда и будут бежать от труда. Ибо труд проклятие.

Если бы перед нами выступал реформатор, критик хозяйства, который указал бы нам на этот основной дефект нашей хозяйственной деятельности, что она деятельность, а не забава, не игра, не спорт, и рисовал бы нам то райское житье, в котором трудиться не будут, а все будут, как птицы небесные, которые не пашут, не сеют, не жнут, а лишь клюют, то он бы чувствовал за собой ту же меру силы и неотразимости, которую чувствует за собой анархист—классик, анархист-ортодокс.

4.

Труд зло Труд ниже венца. Не трудятся птицы. А вы разве хуже их. В изречениях Евангелия, в сказании библейском о грехопадении сквозит одна единая мысль: труд есть проклятие.

Бог разгневался на Адама и Еву. Бог изгнал их из рая. Бог проклял землю. Бог создал труд и страдание, муки родов и власть, олицетворенную во власти мужчины над женщиной. Вот вам вся история всех наших бед и неурядиц. Все три рода труда представлены в этой древней сказке.

Было райское житие. Не было ни труда в производстве физическом, ни труда в производстве биологическом (в рождении), ни труда социального, насилия и власти.

Кто устоит против соблазнов райского жития. Кого не манит эта сказка. Как падок народ грешный к сказкам райским.

Анархист—классик рассказывает эту сказку,—сказку, в которой нет социального труда, насилия, а есть одна воля. Он хочет уничтожить грехопадение.

Кто мог составить такую сказку? Или верхи, или самые низы, к ней непричастна одна средина. В этой сказке презрение к труду. Кто его презирал? Верхи, сибариты, белоручки, и низы, отторгнутые от лона труда, лишенные и этой опоры.

Верхи и низы живут одной идеологией презрительного отношения к несчастному труженику, тянущему лямку, изгибающемуся под тяжестью ярма труда. Нет ли в этой сказке доли истины, доли устремления к новым формам жизни? Известная доля есть, но эту долю можно принимать с большими оговорками.

Труд проклятие. Идеал техники минимум труда, минимум затрат, максимум результатов. Идеал техники взвалить труд на широкие мощные плечи автомата, машины, железа, меди. А человеку предоставить одно творчество. Это, повторяю, дело техники, регулирующей отношение человека к внешнему миру.

Два подхода могут быть к решению этой проблемы. Можно исходить с материала, можно исходить с труженика. Можно улучшить, во всяком случае, можно мечтать о таком материале, который не потребует для своего приспособления к нашим нуждам никакого труда, дерево само распилится, само влезет в печь. Можно допускать такое развитие орудий труда, что всю черную, нудную, утомляющую, грязную, притупляющую работу, которую приходится выполнять при борьбе с природой, выполнят орудия, машины без человека, можно довести нашу технику до того, что наши действия будут отделены от действующего, телетехника, что наши средства будут совершенно об'ективированы, их выполнят машинообразно. Есть ли это социальный идеал? Нисколько. Это имеет отношение к нашей социологии, к нашему укладу жизни, так как наша общественная среда охватывает все кругом. Но прямого отношения к нашим общественным идеалам этот идеал не имеет. Это идеал технический. Конечно, чем выше человек подымается в своем сознании, в своем самомнении, в своей ценности, тем ниже опускается окружающий мир. И вместо человека, вместо себя человек запряжет природу, силы внешнего мира, заставит их служить себе, вместо того, что раньше он заставлял служить себе равного себе человека.

Древний мир не знал машин, потому что он знал раба, этого дивного автомата, лучше которого никто не придумает. Когда труд человека ценится ни во что, когда человеческий материал очень дешев, тогда не стоит, не выгодно заменять его медью, железом.

Картина меняется, как только человек начинает бунтовать, возмущаться своей долей труженика, своим положением вечного животного.

Когда общежитие, главным образом, хозяйство, будет налажено, будет урегулировано, когда не будет рабов, ни настоящих, ни наемных, то человеческий гений устремит все свое внимание на то, чтобы избавиться от труда не социального, а *технического*. Пока же существует избавление от труда социальное, то верхи, наиболее сознательная часть населения, являющаяся, верно, сознательной именно благодаря тому, что она избавилась от изнуряющего, высасывающего все соки и способности, труда, не занята, не достаточно увлечена техническим идеалом освобождения человека от труда.

Социология подвинет вперед технику, она ее толкнет вперед. Тут есть связь. Но путать эти два вопроса преступно. Это значит совершенно не разобраться в проблеме.

Социализм не ставит вопроса труда ребром, вопрос труда вообще. Так формулировать вопрос может только техник. Как социализм не ставит вопроса вечной жизни, или проблему омолаживания. Социализм может лишь сказать, что если человеческая жизнь возрастет в ценности, то будут о ней больше заботиться, если не будет изнурительного чрезмерного труда, то люди не так скоро изведутся, не так скоро, не так часто выродятся, если они будут работать в лучших гигиенических условиях, то будет меньше случаев заболеваний, изувечий и проч. Сказать, что это прямо входит в задачи социализма или анархизма значит не иметь верного представления об об'еме своего идеала и его сущности. Вечная жизнь это может быть проблемой медицины, но не социализма, не анархизма. Получать блага, богатства без труда—идеал техники. Совершенно без труда обойтись немыслимо, если мы даже взвалим всю нашу черную работу на машины, то все равно придется за этими машинами наблюдать, или же придется затратить силы на делание машины. Но мы сделаем еще один шаг, что уже, в известной мере, осуществлено, мы заставим машины рождать машины, делать машины, тогда придется затратить часть труда на сложение машины, на составление ее из частей, на испытание ее. Нетруд есть наш технический предел, есть точка устремления. Абсолютно уйти от труда никак нельзя. Ведь и потребление предполагает труд. Если нет труда при производстве, то есть труд, хотя минимальный, при добывании, затем при потреблении. Сорвать яблоко с дерева тоже есть труд, такой же труд, как сажать деревья. Различие тут, главным образом, в количестве. Без труда совершенно нельзя.

5.

То же самое относительно анархической проповеди.

Общежитие без насилия! Насилие есть зло. Человек жаждет свободы. Но свобода может быть одна, отказ от общения, отказ от насилия.

Насилие это обратная сторона социального труда Обратная сторона физического труда есть тоже насилие. Если мы станем на точку зрения материала, то вместо производительного труда будем говорить об производительном насилии. На точку зрения материала нам трудно, невозможно стать в физике, где мы имеем дело с ничтожной вещью, с которой никто не считается.

На самом деле, кто сочувствует дереву, плачущему меж зубами пилы. Разве один Андерсон в своих сказках умел слышать стон дерева, надломленного бурей, сраженного молнией Бедное парализованное дерево. Дайте миру, дарите миру сознание и волю. И он станет социальным об'ектом. И ваши отношения к нему примут социальную окраску Дерево будет говорить о насилии, совершенном над ним со стороны дровосека

Игра в куклы Куклы у детей живут. Создается исскуственная социальнаая среда. Первобытный человек стоял на точке зрения мира окружающего, и потому он обращался с ним социально. Он старался влиять на него, как он влияет на социальную среду, он пользовался словом, заклинанием и проч. Не было различия между физической и социальной средой. Тогда жила мечта о добровольном соглашении, договоре с миром, который человек заключил непосредственно с ним, с миром, или с его уполномоченным.

Если они будут выполнять условия договора, то и мир выполнит свои условия, это двусторонний юридический акт, мир даст дожди во-время, даст траву для скота, даст хлеб для человека, даст и виноград и проч.

Словом, тут условия, соблюдение условия. Социальные, правовые отношения Тогда жила греза о добровольном соглашении с миром, чтобы он сам согласился на служение человеку, услуга за услугу, обмен прав и обязанностей с миром.

Но время это прошло безвозвратно. Мир десоциализировался, перестал быть социальным суб'ектом, стал физическим. Вещи стали простыми вещами. И появился голый труд. Труд без насилия, так как некого насиловать, насилуемый не чувствителен, несознателен Упадок мира. Грехопадение с его идеей труда, есть, собственно, мысль об упадке мира, о потере его ценности, его важности и значимости.

6.

Социальная среда. Педагогика. Психологически—социальная среда. Выдвигается Руссо впервые точка зрения ребенка. То-есть, не точка зрения учителя, трудящегося на ниве воспитания, а точка зрения ребенка. Точка зрения педагогизируемого материала. И тут пошел естественный метод. Желание отказаться от насилия, стремление к добровольному, к свободному. Но идея о свободе исключает, если быть выдержанным, всякое право на воспитание подрастающего поколения. Раз инициатива исходит от нас, мы отшлифовываем подрастающее поколение, и пусть мы шлифуем его, как драгоценный камень, который от шлифовки выигрывает в ценности, в значимости, но это наша точка зрения, и наши требования, и наща оценка камня, но спросите его, когда он блистал лучше.

Руссо говорит о точке зрения ребенка в его Эмиле, но на деле он не стал на эту точку зрения, если бы он стал, он должен был бы сжечь весь его Эмиль. Гербер хочет найти компромисс между воспитывающим и воспитываемым. Он хочет, чтобы ни интересы одного, ни интересы другого не пострадали Чтобы ребенок не приносился в жертву учителю, и чтобы учитель не приносился в жертву ребенку. Он не прав, ибо он ставит и решает вопрос слишком индивидуально. Он, как психолог, как педагог, совершенно не замечает, что здесь речь идет не об учителе, в единственном числе, и не о ребенке в единственном числе, тут фигурируют не единственные, а *коллективы*, целые поколения, тут грань, межа, в которой сливаются два следующих друг за другом поколения. Подрастающее поколение подвергается обработке, подвергается отшлифовке, которую совершает предыдущее поколение в лице учительства, т.-е. учительство представляет в данном случае господствующее, старое поколение Проблема сложнейшая. Мы пытались ее решить в нашем труде „Репродуктика или педагогика молодежи“ (Бр. Гордины). Но и там решение компромиссное Мы оставили приспособление вместо обучения и образования, оставили воспитание физическое и социальное, исключили интеллектуальное, которое осталось вне влияния школы. Тут

компромисс. Ибо если стать целиком и безоговорочно на точку зрения материала, то не может быть речи ни о какой обработке, разве о самообработке, находящейся вне всякого влияния и воздействия со стороны.

7.

Перейдем к социологии. Если стать на точку зрения отрицания всякого насилия, то ясно, что придется отказаться от всякого общения. Как нет хозяйства без труда, так нет общения без общительного труда, рассматривая это с точки зрения выполняющего этой функции, и без общительного насилия, рассматривая с точки зрения социального материала. Мы будем требовать, чтобы насилуемый и насилующий совпадали в одном лице, т.-е. чтобы произошло равное распределение насилий, чтобы попеременно произошло это общежительное насилование. Но все равно и обмен насилий остается обменом насилий. Как труд не становится нетрудом оттого, что он распределен, разверстан поровну, так насилие не перейдет в свободу оттого, что все подчинены общему регламенту.

Регламент, распорядок выработан, я сам в нем участвовал. Но все-таки приходится ведь ему подчиняться и он считается обязательным. Если так, то здесь есть насилие. Общение в первоначальном виде это не война всех против всех, ибо это не общение, но насилие всех против всех. На этом начале держится всякое общение Как всякое производство держится на труде. Конечно, труд может быть смягчен, облегчен. Можно ввести машинный способ обработки, тогда часть труда взвалится на машины. Без насилия же совершенно не обойдешься. Это воздух, которым дышит общение..

Стремление же к тому, чтобы все совершалось по доброй воле, и чтобы эта добрая воля держалась довольно долго, от решения до исполнения, есть идеал, равносильный идеалу техническому, горящему над трудом, это идеал социально-технический. Стремление и чаяние о слиянии всех воль, о совпадении всех воль, о слиянии всех ручейков желаний и хотений в одно русло, в одну реку. В социологии нет техники. Как назвать этот идеал? Этот идеал должен назваться этическим.

8.

И он имеет две стороны, как идеал о нетрудовом существовании человечества. Можно грезить об улучшении материала, о самоусовершенствовании, о том времени, когда кругом не будет зла, не будет преступления, а будет одна любовь. Всюду и везде царит закон любви. Кроме любви и самопожертвования ничего нет. Ясно, что при таких людях ангелах насилия не будет. Раз все воли сливаются воедино, действуют в вечном унисоне, в вечной *гармонии* Это греза о лучшем материале, о преображении человека. Другая сторона это мечта о совершенных способах регулирования отношений, регулирования общения. О взваливании социального труда на машины. На об'ективированные порядки, тогда, мол, не будет насилия.

Эта точка зрения, поддержанная в большинстве случаев и социалистами требует об'яснения. Энгельс, за ним Лавров и другие добрые социалисты, повторяют фразу о власти над вещами, этим они думают совершенно решить вопрос о насилии в общении.

Но власть над вещами, что означает весь социальный труд взвалить на установленный, об'ективированный, лежащий вне человеческой воли порядок, решает одну половину вопроса.

Без труда, если труд переложен на машину, может хозяйство, производство существовать. Улучшение здесь достигнуто с точки зрения трудящегося, но не с точки зрения материала. Дерево ведь все равно рубят, пилят, колют. Но это делается не неумелой человеческой рукой, а умелой, чудотворной машиной. Но материал ведь насилуем.

То же самое в общежитии. Я подошел к трамваю. Я жду его. Меня насилует трамвай, он заставляет меня ждать его. Но это насилие переложено на расписание, на холодный об'ективированный кусок общежитейских отношений, на расписание курсирования трамваев. С моей стороны возмущение, может, этот акт вызовет меньше. И то на-вряд ли. Я стану сейчас же думать о том, что надо учащать ход трамваев,

что надо выпускать из парка больше трамваев и проч., и проч. Тут нет социального труда для того, чтобы заставить меня ждать. Но здесь есть насилие. Верно, меньше, так как раз то насилие об'ективировано, то оно и меньше стало, оно усовершенствовано. Меня заставляют ждать деликатным образом. Но меня это возмущает и беспокоит, особенно, если я спешу по крайне нужному делу.

9.

Таким образом, мы выяснили, что вопрос о насилии есть чисто технический вопрос, чисто этический вопрос. Вернее, это технический идеал, это этический идеал. Мы можем его формулировать как медицинский идеал, рождение без родовых мук и даже без труда со стороны матери и без насилия со стороны новорожденного.

Недаром легенда о грехопадении связала эти три явления нашей грешной жизни, жизни на грешной земле, жизни, сопряженной со страданиями, лишениями, усилиями.

Производство требует труда, связь с внешним миром устанавливается с помощью усилий. Внешний мир не стоит к услугам, приходится бороться, напрягать свою волю, делать усилия, работать, трудиться над покорением природы

Воспроизводство требует громаднейших усилий. Легенда это рисует, что выражает напоминанием о муках родовых. Человек на воспроизведение, на воспроизводство, на это первоначальнейшее производство, на производство в области биологии, тратит неизмеримые силы. Эта функция пожирает человека, главным образом, женщину.

В этом „производстве" есть труд, усилие, верно, сопряженное со страстью, величайшим, самым интенсивнейшим наслаждением, и насилие с другой стороны, насилие над новорожденным.

Я бы сказал, что тут в этом акте закладка насилия. Конечно, такие рассуждения отдаются метафизической туманностью. Рождение есть акт насилия Как мудро выражались древние, „насильно рождаются, насильно умирают". Эти два конца линии жизни ознаменованы насилием. Последняя точка, смерть, не есть, собственно говоря, насилие, так как это не дело человеческое, ведь речь идет о смерти, а не об убийстве, иное положение занимает рождение. Тут начинает устанавливаться связь между рождением и родителем, эта связь есть насильственная.

Затем идет „социальное производство", общение. Рождение, появление на свет, родство связано с социальным трудом, „с социальным производством", со властью.

Легенда все три элемента соединила. И правильно. Так как, в конце-концов, это проявление одной силы, три части одного целого производства, понятно, в очень широком смысле.

Это зло. Бесспорно. Хотелось бы это преодолеть раз навсегда, хотелось бы, но это не так легко совершить, как легко об этом сказку сказать.

Преодоление труда есть стремление, есть идеал, в производстве это идеал технический. В биологии это идеал биокультурный, идеал вечной жизни, идеал, которым увлекались и древние пророки и современные, одаренные творческой фантазией, *медики*. В социологии это идеал этический, общение без насилий, без усилий, без социального труда, без борьбы с социальной природой. Борьба с природой физической есть заимствование. Это слово намекает нам, что было время, когда мы природу физическую, внешний мир рассматривали как общество себе равных, и мы с ними вступали в бой. Это слово нам говорит, что, хотя мы в рассуждениях и понятиях наших далеко отошли от этого примитивного мирпонимания, тем не менее в нашем сознании еще уцелели элементы, рудименты „допотопного" образа мышления. Борьба с социальной природой, с социальной средой есть термин, более отвечающий своему назначению, более точный. Тут, на самом деле, есть борьба, ибо существует сломление воли, одоление воли, столкновение воли и сознания. Борьба с физической природой есть, собственно, работа, обработка внешней природы, приспособление ее к нашим запросам, к нашим желаниям, хотениям.

Желание, чтобы эта обработка произошла без труда, без усилий, без насилий, есть техническая мечта.

В социологии, как сказано, это желание представляет собой этический идеал, мечта о том времени, когда воли сольются и создастся общий интерес, общая заинтересованность, общая воля, совпадающая с волями всех, с интересами всех, с заинте-

ресованностью всех, не только исключая раскола, раздвоения на меньшинство и большинство, но и выделения отдельной воли, не идушей в унисон со всеми.

10.

Кто мог больше всех очароваться этой мечтой, желая выдавать ее за реальное требование, за назревшую к разрешению задачу? Два полюса общежитейского мира. Тут повторяется то, что мы наблюдали при отношении к физическому труду. Ведь, в конце-концов, тут перед нами труд, только более сложного характера, более совершенного вида, тут физический труд, который, взятый, освещенный с точки зрения материала, называется насилием. Кто ненавидел труд? Верх и низ. Крайности соприкасаются всегда в социологии. Они даже об'единяются в известные периоды истории и от этого незаконного союза рождаются перевороты, революции и новые „порядки".

Сибарит и преступник—вот кто ненавидит социальный труд, вот кто скрежещет зубами при одном воспоминании о социальном труде. Сибарит исходит с точки зрения благородной лени, не охота марать руки и творить насилие над человеческой подлой расой, преступник ненавидит, главным образом, социальный труд, как насилие, так как он больше всех от этого насилия и страдал, терпел. И в проповеди старого анархизма эти два типа подали друг-другу руку.

Как метко называют этот вид анархизма по немецки—Adel-Anarchismus, к благородным анархистам принадлежал и Ибсен. Читайте его письмо к Брандесу. Наконец, читайте его драмы, и вы убедитесь, что там за анархизм.Белоручка в области Социологии. К этим типам применимы слова Талмуда, сказанные таким же белоручкой-равви: зачем тебе вырывать тернии из вертограда, пусть вертоградарь это делает, дословно: „пусть придет владелец вертограда и уничтожит свои тернии".

Желание, чтобы эта грязная, эта тяжелая, эта самая ответственная работа исполнялась сама собой.

В России самым ярким представителем, самым лучшим идеологом этого типа является Толстой. Какое дело этому человеку к общему уровню страны, к степени сознания народных широких слоев, к возможности или невозможности жить, существовать без социального труда. Я соединяю воедино и борьбу с преступлением и, вообще, борьбу с социальной природой, ибо никак нельзя выделить юрисдикционную деятельность особо, тем более, карательную, репрессивную деятельность. Это все связано вместе и составляет собой формы нашего общения, не допускающего отказа от судебной и карательной деятельности.

Как он ненавидит насилие. Неужели он пойдет марать свою совесть в борьбе за право, в борьбе с преступлением. Он не выдаст преступника властям, он не выдаст вора, не только потому, что он сознает, что тот ворует по нужде, из-за неупорядоченности хозяйства. Нет. Он считает это ниже своего достоинства. Ему, как таковому, это небрежное отношение к социальным, общественным долгам не угрожает ничем. А обществу? Какое ему до него дело. Он живет в глуши, вдали от питомников социологической заразы, от „заводов" разврата и преступления. Он чист, как снег его седой бороды. А дальше? Какое ему дело. Он создает учение о непротивленстве.

Толстой проливает свет на весь сибаритский анархизм, гнушающийся социального труда.

Но как существовать без социального труда? Возможно ли обойтись без насилия?

Чувствуют теоретики старого этического анархизма, что здесь их Ахиллесова пята и они спешат сломить, разрушить общежитие, раздробить его, тогда, разумеется, потребуется меньше социального труда, меньше насилия, так как социологии, связи между людьми станет меньше.

Толстой доводит эту мысль до абсурда, до отказа от города, отказа от культуры, ухода в деревню, до опрощения. Чем больше „естества", тем меньше социологии и политических мер, являющихся все сравнительно искусственными.

А преступник мечтает о том порядке, когда все будет дозволено, когда общение, общежитие будет раем без запретов, когда все всем простится, когда можно будет быть „единственным" средь множественных, средь этих многих. Какая дивная пер-

спектива, какая чарующая картина. Быть единственным! На острове, на необитаемом месте, это не так уж прельщает. Но быть „единственным“, то есть поступать, как хочешь, совершать все ненаказуемо в общежитии. Это выгодное для преступника положение. Социальный тунеядец и социальный преступник—вот носители утопического анархизма, этического анархизма, вот его контингент. Эта сторона старого анархизма бросалась всем в глаза. Всех поражала пестрота, разношерстность публики, его адептов, какое разнообразие: от тонкого крайнего этика до головореза, до бандита.

11.

И кто такой Штирнер, если не крайнейший этик. И пусть он скрывает это от нас, пусть он наряжается эгоистом. Ему ничего не поможет, мы его узнаем. Он нас не собьет с толку его сарказмом. Он великий этик. Он величайший этик. Он жертвует всем, даже этикой, ради своего конечного этического идеала. Так жертвует Христос законами Моисея и отчасти пророками ради великой идеи христианства и спасительства, на которой он сосредоточил все свое религиозное внимание. Так Штирнер, увлеченный величайшим идеалом, этическим идеалом, конечной точкой этики жертвует всем ради этого, даже повседневной этикой. Как редко мы называем вещь своим именем. Как часто мы обозначаем противоположным термином наши понятия и наши поступки.

Эгоизм Штирнера это его высшая мера альтруизма, это его Голгофа, это его сверхестественная любовь и преданность. Он жертвует всем ради единственного, он готов жертвовать всяким идеалом, он губит свою душу ради ее спасения Ибо кто не погубит ее, тот не спасется Как великий сподвижник идет на преступление ради добродетели, так Штирнер идет на полнейшее самопожертвование, отказ от всего, от всего дорогого, от всего культурного ради варвара—единственного, отказ от общих идей. Дальше итти некуда! Такой альтруизм не знает меры, такой альтруизм должен выдать себя за эгоизм, иначе за ним никто не последует. Тут требуется тщательная маскировка. И эта маскировка совершается. Альтруист с милостью личности выдается за эгоиста. Так социальный, безумнейший идеалист, социолог этик, социолог-метафизик выдает себя за материалиста, создает материалистическое экономическое обществопонимание, чтобы прикрыть истинные идеалистические замыслы. Каков материализм Маркса, таков эгоизм Штирнера.

Перед нами ловкий, дипломатический ход в истории человеческой мысли и социального действа. Ведь дипломатствуют, хитрят, надувают себя и других не только в международной политике. Хитрят и в области идеологии.

Штирнер величайший этик, безумнейший этик, величайший „одержимый“, ругает всех и все одержимыми, религиозными.

Он носится со своим идеалом, когда перекуют все социальные мечи на орала эгоизма, когда социология умрет естественной или насильственной смертью и на авансцену выступит „единственный“, когда будет царствовать чистая сила. „чистая мораль“ без примеси лживых идей, без примеси внушения общественного.

И этот человек останется одним из величайших мечтателей. Читая его так и стоят перед глазами мечтания пророка Исаи.

Штирнер это пророк Исая в общежитии.

Не совершат зла и погибели во всей святой горе. Не совершится насилия во всем общении, ибо все будет основано на чистом, кристаллизованном эгоизме.

Фантазер-этик.

И что удивительного, что все попытки к насаждению этого учения, что все попытки следования его учению дали отрицательнейше результаты. Это летний, легкий костюм в жгучий, трескучий мороз. Кто выдает конец за начало, кто принимает самую высшую ступеньку за самую низшую, идет поневоле вниз, даже головой вниз.

12.

То же самое случилось с Толстым. Его учение о непротивленстве, будучи этическим концом, является антиэтическим началом. Конец, последовательность есть почти всегда отрицание начала. Борьба за право –вот задача современного общества. Благородный, здоровый, честный человек в современном обществе, тем более, если

наше общество станет „общественным“, станет социальным, обязан бороться за право, за восстановление права, должен преследовать всеми доступными мерами зло, должен рисковать своей жизнью, своим достоянием, чтобы защитить слабого от сильного, обиженного от обидчика, должен бороться за восстановление попранного права, им замеченного в какой нибудь области, а не отмахиваться от этого долга, от этой задачи под предлогом всепрощения; в настоящее время такое отношение к общественности заслуживает полнейшего отрицания. Это значит от излишней этики попасть в вне-этику, в аморальность. На самом деле это проповедь политического, общественного разгильдяйства, это проповедь лодырничания общественного.

Такая проповедь как нельзя лучше отвечает высшим классам, сибаритам, белоручкам, взвалившим на протяжении всей истории черный труд на плечи тех, которые созданы из черной кости.

И даром, что Толстой проповедует физический труд. Это, вернее, не проповедь труда, а проповедь спорта физического, проповедь гимнастики. И эта проповедь, как нельзя лучше, отвечает состоянию высших классов. Они вырождаются от бездействия, их с'едает потребление без производительного труда. Ведь известно, что потребительский труд, то-есть наслаждения, страсти изнашивают организм больше, чем производительный труд. Ибо потребление входит во внутрь. Производственная же работа есть, так сказать, внешняя работа, обработка внешнего мира с помощью напряжения мускулов, отчасти нервов и проч. „Потребительский труд“ есть же внутренняя, внутриорганическая работа, не обработка внешнего мира, а „ассимиляция“ внешнего мира. Вино, женщины, еда—вот, что с'едало, растравляло высшие слои населения. Толстой проповедывал им труд для спасения их тела. И, на самом деле, ведь большинство его работ рассчитано на высшие классы, чувствуется желание внушить верхам, что их спасение в труде, в физическом спорте. Рассуждение о том, что лакеи вредны, что окруженный слугами не знает истинного счастья. Самообман насчет того, что нет более нормальной жизни, чем жизнь крестьянина. Идеализация их труда. И, главное, проповедь социальной лени, социального „ничегонеделания“, обращенная к борцам—революционерам и к вешателям—Столыпиным—выдает с головой этого пророка социального барства и тунеядства. Созерцайте социальную природу и самоусовершенствуйтесь, но не боритесь с ней, не работайте над ней.

Его тяга к естеству, разве это не отказ от труда, от работы, от напряжения. Естество—значит оставить все, как есть, чтобы все шло своим естественным чередом, своим естественным ходом. Учение о невмешательстве в дела природы, в дела Божьи есть проповедь лени.

Он доказывает, что отдельному бывает выгоднее не связываться с „негодяем“, с преступником. Бесспорно, выгоднее. Ибо социальный труд, как всякий труд, не оплачивается. Он имеет ценность, дает результаты, если бросить свой узкий, личный кругозор, если бросить чисто сепаратистический взгляд. и рассматривать общественную жизнь как целое, взяв момент борьбы, как один из эпизодов, из которых складывается вся наша жизнь И если эта „борьба“ дает мне сейчас, в данный момент, в известном смысле, отрицательные результаты, то она даст в будущем, в дальнейшем, более солидные, более положительные результаты. Ибо акт сопротивления подействует задерживающе на „преступника“; он себе столько не позволит, если он будет знать, что ему придется одолеть сопротивление.

13.

Но это учение, как сказано, содержит в себе великий этический идеал, идеал о совпадении всех воль, о слиянности интересов, об уничтожении общественного зла, общественных неурядиц. Но тогда, нечего говорить о непротивленстве злу, а о несуществовании, о несовершении зла. Нечего брать второй член человеческой схватки, людского столкновения. „Если тебя ударят по щеке“, лучше формулировать или говорить о том времени, когда никто не ударит по щёке ближнего.

В этом отношении ближе к этическому идеалу пророк Исая, который не пророчествовал о том времени, когда волки будут пожирать овец, а овцы не будут брыгать при этом ногами и не будут даже блеять жалобно, а примут свою судьбу с покорностью всепрощающего и благословляющего, а говорил о том времени, когда волки перестанут драть овец. Надо начать с первого члена этого людского отношения.

Картинка пророка говорит о том, что насильники переведутся, что змеи перестанут кусать, а не о том, что укушенный примирится со своим положением укушенного.

Евангелие как и Толстой хотели придать своей мысли больше яркости и больше крайности, и не удовлетворились проповедью о прекращении совершения зла, а взяли обратную, взяли реакцию и произнесли над ней приговор. Не то, что не надо совершать насилия, нельзя ударять, но даже отвечать ударом на уже совершенный удар и то нельзя, не то, что грызть нельзя, кусать нельзя, но даже отгрызываться, откусываться и то считается предосудительными. Тут усиление идеи отказа от совершения насилия. Но тут переход в свое противоречие. Перегиб этической идеи, формулировки идеала. Но эта гипертрофия сводит идеал на-нет. Значит, будет насилие, будут насильники, но не будет отвечающих, реагирующих на насилие. Ясно, что тут картина далеко не совершенна

С этой картиной, с этой проповедью произошло то же самое, что с проповедью отказа от труда, гнушения трудом.

В проповеди лежит далекая идея об излишности труда, о преодолении труда. Но только с одной стороны. Если примем, признаем, что число богатств возрастает и будет беспрестанно расти, и все это совершится без труда. Да. Тогда это идеал, техническая мечта. Если же просто отказаться от труда, оставляя неудовлетворенность потребностей, оставляя лишения, тогда это не идеал, а отражение развращенных сознаний, могущих возникнуть в двух слоях, занимающих самые крайние позиции в общежитии. Это сладкая греза „высей“ и „низов“, не причастных к производству.

Можно сказать, что идея летания в общественном эфире, вернее отказ от ходьбы принадлежит хромоножкам, которые не умеют ходить и тем, которых всегда носят на руках, или тем, которые всегда ездят.

Я бы сказал, что Толстой и Штирнер выразили одну и ту же идею, но только с двух сторон. Штирнер, главным образом *активен*, он хочет свободу действий, свободу поступков и проступков. Толстой же пассивен. Та же ненаказуемость, но один говорит о действиях, об активе антисоциальном, Толстой же о пассиве, об безделии, бездействии, о нереактивности.

IV.

Политическая наука.

1.

Чем занята экономическая наука? Она занята исследованием хозяйственной деятельности, но не с точки зрения отношения человека к внешнему миру, а с социальной стороны. Если бы хозяйство было исключительно индивидуально-замкнутое, то экономике нечего было бы делать. Робинзону, обитающему на диком заброшенном острове, нечего создавать экономику. Его интересует его отношение к окружающей среде, к фауне, к флоре, его обработка их, тут место для техники касательно физического мира, касательно добывания и обработки физических веществ, приспособленных трудом к потребностям человека, и для культуры, когда речь идет об органических созданиях, как растения и животные. К ним применительна культура, смягченная обработка, не повреждающая воспроизводительные органы. Но для экономики, для исследования социальных отношений, возникших на почве борьбы с внешним миром, с внешней, физической, вегетационной и зоологической природой, нет места, ибо здесь нет людей, нет рабов, нет господ, нет ничего социального.

Экономическая наука есть социальная дисциплина, она входит как единица в общую сумму социальных доктрин, образующих в совокупности систему социальных наук, или социологию. Чем же занята политическая наука? Она занята не отношением человека к человеку, возникшим на почве хозяйственной деятельности, ибо это дело экономики. А занята исследованием отношения человека к человеку, возникшего на почве социальной деятельности, на почве борьбы с социальной природой. Политика есть, таким образом, не социальная наука, а сверхсоциальная наука. Если социология есть, как ее называет Спенсер, надорганическая наука, то политика—надсоциальная. И поэтому она доминирует над всем социальным. Она возникла позже, она совершеннее, прогрессивнее, и от нее, в конечном счете, все зависит. Противоположн оутвер-

ждению марксиста, думающего, что если экономика возникла, развилась раньше, то она и доминирует, превалирует, задает тон. По-нашему, наоборот, именно *политика* хозяйничает, распоряжается всем, всем социальным организмом или механизмом. Социальные растения растут корнями вверх. Верх господствует над низом, хотя он берет свое начало в низе. Рассуждения марксиста противны политике. Он напоминает в своей философии государствоведа, утверждающего: в виду того, что народ, население без царя мыслимо, а царь без подданных немыслим, следовательно, царь всегда находился во власти, в подчинении, в повиновении у народа. В том то и дело, что в социологии есть обратная причинность. Если в биологии Спенсер указал, что существует размножающаяся причинность, плодотворящая причинность, причинность возрастающая в геометрической прогрессии, то в социологии есть совершенно другое явление. Здесь последствия властвуют над своими причинами и превращают их в своего рода последствия, ибо в социологии, в сознательной деятельности конец предшествует началу, так как последнее принимается во внимание сначала.

Физический мир есть мир слепых сил, слепых бессознательных стихий, факторов, причин и следствий.

Социальный мир есть мир сознательных действий, здесь предвидение, здесь постановка цели, здесь *телеология*, а не каузальность.

2.

И разница огромная. Социальный мир обратно противоположен физическому. Там, в физическом мире господство причины, здесь в социальном господство цели, господство конца над началом, господство *идеала*. Там, где есть телеология, там нет каузальности, там есть обратная каузальность, идущая головой вниз. Принимается во внимание цель, эта принятая во внимание цель становится причиной, вызывательницей всех последующих действий и результатов. И она, последняя, становится первой. В социологии реализуются слова евангелиста: кто был последним, будет первым. И политика, являющаяся последней, надсоциальной дисциплиной, доминирует над всем социальным. Но, к сожалению, изучение политики, превращение ее в дисциплину, в науку наступает за последнее время. Финансовый капитал самый совершенный, самый последний вид капитала. И этот последний вид является доминирующим над всеми прочими видами. Раньше его господствует в хозяйстве промышленный капитал, хотя и он является лишь надстройкой.

Политика очень важна, ибо она родилась позже, ибо она возникла после того, как уже была социальная среда. Она является надстройкой над социальным базисом. Там, где есть отношение человека к человеку, там еще нет политики, там есть просто социальные отношения. Политика получается там, где рождается отношение к социальной среде, социальная среда же складывается из отношений людских, там, где получается отношение к отношениям, там стоит колыбель политики. Политика есть под'ем в социологии. Отношение человека к человеку, возникшее на почве отношения к внешнему миру, к внешним явлениям, создает социальное. Отношение человека к человеку, возникшее на почве социальных отношений, то-есть социальное преломление в социальном,—вот поле деятельности политики, как мы сказали, политика есть надсоциальная, сверхсоциальная дисциплина.

Это определение, надеемся, внесет пучек света в темную ночь путанных понятий, царствующих в этой области.

3.

Отношение человека к миру исследуется целым рядом отдельных дисциплин. Его целесообразные действия, направленные к тому, чтобы достать известные продукты для удовлетворения своих потребностей, главным образом, в еде, в питье и одежде изучаются по преимуществу техникой, технологией. Какое огромное расстояние от первой дубины, с помощью которой человек сорвал дикий плод, растущий на диком дереве в диком лесу, до машинного производства, от того орудия, от той простой палицы, приспособленной импровизированно к срыванию плода, к нашим сложнейшим механизмам, созданным специально с целью служения определенной, заранее установленной, цели. Там ничтожная импровизация, здесь планомерная профессиональность орудий. Техника, технология занимается, собственно говоря, не нашим целесообразным

трудом, как функции человеческого тела, а нашими орудиями, с помощью которых мы реализуем наш труд.

Когда речь заходит о насилии, то мы должны исследовать его *политически*, сверх-социально, а не социально-этически. Насилие необходимо, без насилия, то-есть без известной дисциплины, без социального труда немыслимо никакое общение. Немыслимо пока, при нашем уровне этического развития, никакое общение, никакое общежитие. Исследование же наше должно лежать в области политики, то-есть мы должны исследовать, каковы отношения человека к человеку, возникающие на почве борьбы с социальной природой, на почве насилия, на почве социальной деятельности.

Как экономическая наука не занята исследованием отношения человека к миру, к внешней природе, а интересуется социальной стороной этого явления, так мы в политической науке должны интересоваться надсоциальной стороной этого дела. Нас не интересует факт наличия насилия, факт наличия социального труда. Конечно, было бы лучше, если бы не было никакого социального труда, если бы, просто, не нуждались ни в каком давлении. Но это этические мечтания, этические проблемы, социально-технические проблемы. Нас должно интересовать, как распределяется, как происходит социальный труд. Мы должны интересоваться вопросом, кто трудится социально, кто совершает насилия и кто получает выгоды от этого совершенного насилия, то-есть от социального труда. Политические вопросы самые сложные вопросы в области социальных дисциплин. Сложность получается от того, что они образуют крышу общества, самую верхнюю часть социального здания. Для их разбора требуется большая доза умения пользоваться абстрактным мышлением.

4

Дело в том, что все тут, в этой области, составляется из однородных элементов, из человеческого материала. И социальное и надсоциальное составляется из тех же лиц, и одно и то же лицо может фигурировать и как социальный материал, и как социально трудящийся. Но с этой путаницей надо мириться. Это та же сложность, которую мы наблюдаем при переходе к социальным дисциплинам, то мы имеем явление биологическое, то оно становится социальным. И тот же человек, как отдельное лицо он организм, как член общества—он часть чего то большого целого, ту же степень сложности и трудности мы преодолеваем, переходя от физических дисциплин к биологическим. Человеческое тело целое, организм, с точки зрения физики и химии это совокупность отдельных клеток.

Холодно. Надо одолеть этот холод. Совершается ряд действий с помощью особых приспособлений, который называем топкой. Когда мы изучаем „буржуазный" порядок, то мы наблюдаем, скажем примерно, такое странное явление, что труд по топке выпадает на долю одного, или целой группы, целого класса лиц, а удовольствие пользования теплом выпадает на долю другого лица или группы, или класса. Это явление вызывает в нас возмущение. Мы сознаем, что оно требует устранения. Мы восстаем не против того, что, вообще, существует холод и такой сравнительно примитивный способ одоления его, с помощью центральной топки. А против того, что один топит, а другой греется. Греется тот, кто не топит, топит тот, кто не греется. Мы восстаем против социальной стороны этого явления. Вообще же отношение наше к холоду подлежит ведению „техники", понятой весьма широко. Это ее задача избавить нас от дурного действия холода без нашего труда. Пусть преобразует климат, пусть направит сюда, на север, теплый ток воды и проч.

То же самое и здесь. Мы заняты надсоциальным отношением. Вопрос не о том, что, вообще, не надо социального труда. а о том, что один трудится социально и ничего от общежития не получает или почти ничего, а другой не трудится и получает. Когда мы присматриваемся к насилию, то мы замечаем почти те же явления, наблюдаемые нами в производстве, при труде.

Вот на что следовало обращать внимание.

Надо дать генезис отношений, возникающих на почве социального насилия, на почве общения. Каковы те отношения? Каковы те отношения на разных ступенях развития общения?

Они не одинаковы для всех времен. Имеется схема развития общения, схема развития общежития. Ведь ясно, что отношения человека к человеку, возникшие на почве общительной, социальной деятельности, различны в период господства мелкой группы, общины или семьи, клана, или в эпоху господства народа, или целой суммы наций, об'единенных в союз, названный государством.

5.

Государствоведение или общее учение о государстве.

Эти слова, эти термины достаточно ясно и определенно говорят нам, что в этой науке мы находимся еще, как видно, в периоде образования туманных масс, тут кроме туманностей. неясностей. неопределенностей мы не встречаем. Все эти термины говорят о том, что здесь не берется политика, как таковая, а лишь государство, вокруг этой оси вертится все внимание ученых исследователей. Что бы мы сказали, если вместо общей науки о хозяйстве, вместо экономической науки мы преподнесли бы фабриковедение или общее учение о фабрике. В экономической науке никто этого не сделает. Фабриковедение—не мешало бы, если бы существовал такой отдел. Но назвать всю дисциплину фабриковедением или общим учением о фабрике более чем нелепо. Если такая терминология сохранилась в той области, которая должна была заняться исследованием нашего общения, то это свидетельствует о скудости и убогости состояния этой отрасли знания. Верно, существует термин „политика", но он имеет у государствоведов особое специфическое значение. Политика это прикладная наука. Практическая дисциплина, не более.

Возьмем определение государства, данное почти всеми государствоведами и мы убедимся, что на самом деле это понятие совпадает, в известном смысле, с понятием фабрики. Государство как социальная фабрика, фабрика капитализированного социального производства, состоит из трех элементов: население, территория и верховная власть А из чего состоит фабрика, простая „физическая?" Из трех элементов: из рабочих (вместо населения), из локала (вместо территории) и из капитала (вместо власти).

То, что в исследовании экономической деятельности мы имеем определенную дисциплину, названную экономической наукой, а здесь в сфере политической деятельности этого не имеем, говорить о том, что эта сфера, сфера политической деятельности, как надсоциальной лежит выше, требует для исследования больше напряжения, внимания и глубокомыслия, проникновения. Кроме этого государство выделяется более рельефно на фоне общежительной деятельности, чем фабрика на фоне хозяйственной деятельности. Государство крупиее, важней, значительней, охватывает болшее количество людей, лучше организовано, поэтому государствоведение отождествлялось в глазах исследователей с политической наукой, Далее, большинство исследователей или почти все утверждают, что государствоведение есть социальная наука, в то время, как мы утверждаем, что это надсоциальная дисциплина.

6.

Начало государство берет в судоводстве и воеводстве. Оба явления надсоциальные. Ссора, спор, тяжьба явление социальное. Разбор ссоры, тяжьбы, спора, акт примирения, совершенного определенным, к тому назначенным человеком, авторитет которого охраняется дурным общежитием есть явление *сверхсоциальное.*

Отношение человека к человеку, возникшее на почве войны, ведомой с другими племенами, или ведомых промеж себя в смягченном виде тяжбы, спора.

Войны являются социальными явлениями, но отношения человека к человеку, членов общежития, возникшие на почве войны, являюгся политическим явлением. Мы замечаем при войнах, что часть общежития воюет, а другая часть получа т все выгоды от войны, поражения терпит один, а трофеи берет другой, низы воюе а верхи пируют, торжествуют победы. Пока это явление будет, войны продолжатсят, ибо они выгодны.

Социальное имеет во многих случаях над собой „политическое". Не все социальное разумеется. Примерно, язык. Нет особых отношений, возникших на почве сношений устных или письменных. Это явление психо - социальное. Здесь нет волевого единства.

7.

Являются ли международные отношения политическими отношениями, как таковые? Нет. Они только национально-коллективно-социальные. Отношения нации, народа к народу, не регулируются планомерно социально, силами, стоящими над ними. Они социальны. Если бы на почве международных отношений возникли новые учреждения, образования, ставящие своей целью регулировку этих отношений, тогда возникли бы политические отношения. Интернационал, когда он получит свою реализацию, опираясь на целом ряде социалистических государств, вот образование политическое. Он возник бы как надстройка на почве международных отношений.

Международное право, утверждает Иеллинек, есть анархическое право. На самом деле это, можно и следует сказать, вовсе не право, раз нет ничего политического между ними, то там и нет ничего правового. Международное право старше всякого права, ибо оно было в самом начале, когда отношения человека к человеку, отношения членов общежития не были заметны из за того, что, вообще, отдельных людей не видно было из-за племени, из-за семьи, из за рода. Но оно не развилось, оно всегда поглощалось внутренним правом, то есть оно стало внутренним правом. И внешнее международное право так и осталось не-правом. Оно станет правом тогда, когда создастся мировое общение, когда будет создан единый орган общения и правления, единый кодекс. Но тогда ничего международного не будет, так как народов не станет, они сольются. Международное расцветет пышным цветом в период, лежащий по пути к мировому общежитию. Когда будет создан мощный Интернационал, тогда возникнет настоящее международное право, интернациональные нормы. регулирующие отношения нации к нации, государства к государству. Тогда возникнут отношения нации к нации, возникшие на почве международных отношений.

V.

Деморализация.

1.

Физический труд при хозяйственной деятельности исследован. Все знают, что существуют в экономике классы: класс трудящихся и класс капиталистов. Последний организовывает первый и заставляет его работать, последний лишь наблюдает, координирует, в конце лишь финансирует предприятия, в которых трудится в седьмом поте первый класс. На первых стадиях капитализма положение трудящихся было такое ужасное, такое невыносимо тяжелое, что часть их вырождалась, деморализировалась, изнашивалась и преждевременно уходила на тот свет, на отдых после нечеловеческого труда, что было создано учение об обнищании масс, о железном законе заработной платы, что была пущена поговорка в виде тезиса „чем хуже, тем лучше“, все это говорит о беспросветном положении, в котором находился класс трудящихся, класс пролетариев, класс людей, лишенных своих орудий производства, орудий труда. Эта сторона нашей жизни, нашего хозяйства исследована в известной мере и не будем распространяться. Даже буржуазная экономия и та сдает позицию за позицией, и близок день полного краха буржуазного порядка, зиждущегося на частной собственности и на частной конкуренции.

Совершенно другую картину мы замечаем в области социального труда. Здесь положение трудящихся совершенно почти не освещено, не исследовано. К ним относятся с презрением, с ненавистью, на них, как некогда на труженников на ниве физического труда, смотрят как на отбросов общества. И, на самом деле, этот взгляд отвечает действительности. Они почти все выродки и преступники.

Но это нас не должно смущать. Было время, когда трудящийся был синоним: пьяница, негодяй, вор, бандит, выродок, отброс, изверг, головорез, каторжник. Ведь было время, когда весь черный физический труд выполняли рабы, затем преступники. И, на самом деле, эти два контигента были один контигент. Преступники вербовались из среды народа, из низов, и трудящиеся оттуда же вербовались. Положение рабочих, работников производства давно улучшилось. В Европе мы стоим перед моментом овладения властью типом организаторов, что обозначит новый шаг вперед в смысле

поднятия уровня трудящихся, так как и из их рядов вербуется новый тип. И выходит, что камень, заброшенный строителями, стал краеугольным камнем нового здания, нового мира, новои культуры. То же самое было и с буржуазией, которая тоже состояла из людей сомнительных, живших на счет обмана. А потом они заняли авансцену истории и культуры.

Что же касается тружеников на ниве социальной, то они в действительности так низки, так упадочны, что речь о том, чтобы их поднять, чтобы их идеализировать вызовет улыбку не у одного недоброжелательного читателя.

Относительно физического труда была создана идеализация, апофеоз труда. То же самое следует сделать и делается и невольно сделается при социализме и относительно социального труда.

2.

Рост производства, скопление трудящихся творило из них силу, главным образом, политическую. При социализме случится с социальным трудом то, что при капитализме совершилось с физическим трудом. Он стал чуть ли не владыкой мира. Он стал непризнанным гением хозяйства. Производство возросло до небывалых размеров, возросла его интенсификация И роль трудящегося обнаружилась, о нем заговорили, его замечали, им заинтересовались, была создана так называемая пролетарская точка зрения и идеология, что следовало называть организаторской идеологией, но все это говорит и свидетельствует—что близок час улучшения его положения, если не полного преобразования его.

Социализм с его громадными хозяйственными и политическими механизмами выдвинет социального труженика.

Там, где есть мелкое хозяйство, там не может быть злоупотреблений, ибо человек самому себе пакостить не будет, не станет же он обворовывать самого себя. Мелкие предприятия не имели даже бухгалтерии. Мелкое селение не нуждается в охране, в полиции, в милиции, там все люди на учете у самих себя, сами себя охраняют, все друг другу известны, возможности преступления довольно ограничены. Крупный центр, как Лондон, не может охраняться так примитивно, как какая-то маленькая деревушка. Крупное предприятие требует бухгалтерии, требует отчетов, учетов, так как там возможны злоупотребления, там приходится посматривать, так как все исполняется чужими руками, а чужие руки не всегда добросовестны. Если хозяину у самого себя воровать не стоит, невозможно, то служащим, если это возможно, это весьма выгодно. И необходимость контроля в виде точной бухгалтерии становится ощутимой.

Далее, представьте себе, что хозяина вовсе нет. Что все хозяйство стало общественным. Тогда, на самом деле, выходит, как обыватель говорит—ВОРУЙ СКОРЕЙ, НЕТ ХОЗЯИНА, так он читает инициалы Высшего Совета Народного Хозяйства (В. С. Н. Х.). И нельзя сказать, чтобы это была лишь теоретическая максима. Нет. Так поступают, так действуют, И социализм должен принимать целый ряд мер к преодолению этого зла, к борьбе с этим злом. Репрессивные органы, существущие в России, в Советской, разумеется, для борьбы с преступлением по должности являются не только продуктом переходного времени. Социализм вызывает потребность, острую потребность в охране общественного имущества, общественного добра, так как он допускает больший простор для преступлений на почве хозяйства. Надо быть наивным идеалистом-этиком, чтобы думать, что достаточно одно сознание того, что все общественно, следовательно, в конечном счете, принадлежит и совершающему преступление и присвоение части общественного добра и растраты его, чтоб он воздержался от злоупотреблений.

Там, где есть самозащита на каждом шагу, где каждый ходит вооруженным, как горцы на Кавказе, там нет потребности в общественно организованной охране. У нас же, где никто не носит оружия, существует потребность в общей охране. Если некоторые утописты-анархисты говорят о самозащите, то это варварство, желание вернуться к тем временам, когда без оружия опасно было показаться на улице.

Потребность в общественно-организованной охране создает кадры лиц, занимающихся исполнением, удовлетворением этой функции. Пока наша общественная жизнь настолько вопиюще не упорядочена, что хранитель не охраняет обиженного от обижающего, а наоборот, всегда обидчика от обиженного, чтобы последний не выместил свою злобу на нем, не отомстил ему, то эта функция антисоциальная, или имеет ви-

димо—поверхностно такой характер и носители ее являются сплошь преступниками. Когда же наша жизнь социализируется, становится, более или менее, упорядоченной, тогда эта функция становится общественно-необходимой, важной, ценной, и ею займутся люди более высшего уровня развития, сознания.

Если буржуазное хозяйство требует бухгалтерии, счетоводства, то социалистическое хозяйство требует общественного контроля и органов такого или иного репрессивного характера, стоящих на страже защиты интересов общества от некоторых лиц, желающих злоупотреблять своим положением, своей службой. Место бухгалтерии займет контроль и репрессивный орган. Тогда создастся настоящее солидное отношение к этим функциям и создастся правильное отношение к выполняющим всю тяжелую работу по охране общежития и не только охране, но по созданию всех общительных ценностей, к тем, которые творят непосредственно всю социальную общительную культуру, то-есть политику Тогда станет ясно, что и в области политики, как в области экономики, мы замечаем невероятнейшую неправильность. Вся тяжесть социального труда ложится невыносимым бременем на плечи низов, под которым они гнутся в три погибели. Кто выполняет самые тяжелые, самые опасные роли в охране и гарантировании безопасности общества? Ясно, те серые, имя которым легион, то-есть которым никто не знает счета, та громадная масса, которую составляют все общественные труженики. Выгодами от упорядоченности, от улегулирования общества получает общежитие в целом, а эти несчастные парии, которым ничто и никто не угрожает, естественно, получают наименьшую долю их.

3.

Цари являются в той же степени насильниками, палачами, в которой великие полководцы являются убийцами. Какие же они убийцы, когда они сидят над стратегической картой и изощряют свой мозг и только; цари являются ненасильниками. Все насилие выполняют другие. Между царем и палачем, выполняющим смертный приговор, лежит целая иерархия, целая лестница ступенек, нисходящих. Насилие и царство это две противоположные стороны. Кто совершает насилие? Городовой, полицейский, милицейский. Цари, высшие сановники насилия не совершают, как капиталисты не занимаются физическим трудом по производству, так они не занимаются социальным трудом по общежитию, пообщению. Это делают другие. Выгоды от выполнения этого труда, естественно, получают верхи, так как они представляют собой все общежитие.

Тут самая ужасная неправильность, так как здесь „продается" не тело, не простая рабочая сила, а душа, своя „совесть". Низы деморализуются, изнашиваются морально, портятся оттого, что они всегда выполняют аморальные действия, то-есть всегда соприкасаются с аморальными явлениями, борьба с преступлением роднит вас с преступлением и с преступником.

Вот где лежит корень упадка низов в буржуазном обществе. Их эксплоатируют, изнашивают, портят, деморализуют политики не меньше, чем подрывают их здоровье в экономике физическим трудом. Войны и их деморализаторские тенденции, народ, низы, грубеют, вырождаются духовно и морально. Верхи, естественно социально, ничего не теряя, все приобретают. Низы, все теряя, ничего не получают, кроме запачканных кровью рук и загрязненной совести, черной, как уголь на алтаре греха и преступлений.

4.

Если в экономике чрезмерный физический труд косвенно ведет к духовному вырождению, к отупению, к лишенности просвещения от неимения досуга и проч., то здесь развращенность, обессовещенность является прямым следствием своей деятельности. Низы, та часть, которая вербуется на борьбу с преступлением или на охрану общежития от внутренних или внешних врагов, вырождается духовно и не может не вырождаться.

В политике от чрезмерного социального труда, наваленного на низы больше моральной пагубы, чем в экономике, но здесь труднее это было заметить, так как здесь вообще высшая область, куда не каждый заглядывает, здесь ведь имеем дело не с созданием материальных благ, а социальных ценностей и благ.

Здесь чрезмерный труд непосредственно связан с деморализацией. Мы можем сказать, что все зло нашего общежития, все неурядицы или 99 из ста надо отнести насчет этого несуразного явления, что в области социального труда свирепствует самая вопиющая, самая ужасная, самая голая неприглядная беспощадная, бесчеловечная неупорядоченность. Из-за этого борба за искоренение преступления превращается в борьбу за насаждение преступления, так как выходит у нас, что большие воры вешают малых, и то с помощью чужих рук.

Пока не найдено средство против этого зла, против деморализации, изнашивания духовных сил в области социального труда, деморализации и надрыва совести, возникшего на почве общения, не может быть речи об упорядочении нашего общежития, нашего общества.

Преступление и преступность доминирует, горит огненными буквами над нашим обществом.

И как физический труд в начале был в большом пренебрежении, так и „политический" труд, являющийся физико-социальным трудом, трудом по борьбе с социальной природой.

5.

История человеческого варварства однообразна до тошноты. Все самые сложные функции, самые необходимые, от успешности, планомерности отправления которых зависит, в буквальном смысле слова, благосостояние всего человеческого общежития, передаются первоначально в руки наиболее негодных к исполнению их. Дело в том, что эти функции именно потому, что они слишком сложны, слишком ценны, они кажутся архипростыми и бесценными. И так как сначала они плохо оплачиваются, то-есть общество, считая их не существенными, не хочет тратиться на них, то они, естественно, попадают к тем, которые наименее требовательны, к подонкам.

Возмем пример с воспитания. История педагогики нам рассказывает (см. Шмидта „История воспитания", том. I-ый), что педагогами в Греции и в Риме были рабы, и наиболее никчемные рабы. Воспитанием подрастающего поколения и у нас занимаются няньки, безграмотные полудикие бабушки, вот кто няньчится с нашими детьми, теми, которым принадлежит будущность, которым мы отдаем все накопленное, приобретенное нами. Ту же участь делила медицина на более ранней стадии развития. Потом именно благодаря тому, что она проще, она высвободилась раньше и стала серьезной наукой, которой заняты серьезные люди. Педагогика дольше держалась в черном теле, чем медицина, потому что она сложнее. Медицина имеет дело с нашим телом, педагогика с нашим духом, с духом подрастающего поколения. И медицина стала раньше специальностью, которой посвящают свою жизнь известные кадры лиц, чем педагогика. Никакая мать, наиболее неразвитая не позволит себе лечить своего сына, опираясь на свою любовь и привязанность к своему детищу, а всегда обратится в случае болезни к врачу, что же касается воспитания, то большинство матерей еще позволяет себе воспитывать своих детей. Чем это об'ясняется? Это об'ясняется тем, что ошибки, сделанные в этой области не так заметны, не так скоро сказываются, как в медицине. Пока она дело темное, дело сложное, и поэтому она кажется вульгарному мышлению чем-то очень и весьма простым.

Когда мы поднимаемся еще выше, подходим к политическому труду, к исполнению функции политической педагогики, тут мы всю работу взваливаем на плечи тех, которые абсолютно неспособны даже оценить по достоинству всю важность, всю сложность выполняемой ими деятельности. И нечего говорить о том, что здесь царит ужасное запущение, хаос.

6.

И от непорядка, царящего в этой отрасли, в этой огромной сфере „политического производства" страдает не только тот класс несчастных париев, но все человечество, ибо они, парии, исполняющие этот труд, вырождаются, падая под тяжестью этой

задачи, ложатся обратно тяжелым бременем на все общежитие. И как тупеющий, все ниже и ниже спускающийся рабочий не мог поднять производительность физического труда, так и вырождающийся политический труженик не может поднять успешность, результатность политического труда. И падение этих париев есть падение и вырождение всего классового общежития. Их деморализация есть гибель общежития, есть его развал, есть его обреченность на прозябание. Не может быть серьезной речи ни о каком прогрессе, ни о каком упорядочении нашего уклада, если не будет обращено серьезное внимание на эту сферу деятельности. Ибо тут в борьбе с преступлением, в борьбе с социальной природой открыт грязный источник преступления. Эта борьба, ведомая таким способом, порождает косвенным, окружным путем свой об'ект борьбы Борющиеся с преступлением, исполняющие функции охраны общежития, сами становятся, по истечении некоторого времени в исполнении ими их обязанностей, преступниками. И, таким способом, преступник держит за пятки своего искоренителя, последний занимает место первого, и так до без конца. Применительно к нашим способам борьбы с социальной природой или с преступлением можно привести отрывок из Абот „Я видел череп, плавающий по воде. За то, что ты топил, тебя утопили и конец твоего утопителя — быть утопленным".

Вот черед. Первый—преступник. Второй—агент по борьбе с преступлением. Второй всегда становится на место первого.

И при этом положении политического труда нечего ждать лучшего. Основное зло политического труда это деморализация, безбожная деморализация, царящая в этой области, степень и меры которой превосходят все то, что мы видели в сфере физического труда

7.

Наивное мышление рассуждало приблизительно таким образом: бороться с преступлением способен тот, кто стоит на грани преступления. И, на самом деле, в капиталистическом обществе в органы борьбы с преступлением вербовались и вербуются отбросы. Государство, о чем свидетельствует его филологический корень, имеет дело с судом, исходит из суда, из разбора и улаживания конфликтов. Деятельность эта расширяется. Его путь от постцендента к прецеденту, от совершенного, случившегося конфликта к избежанию конфликтов, от совершенного преступления, проступка к предохранению от подобных проступков. Узел всех нанизанных на шнурок общежительности интериндивидуальных социологических ценностей это борьба с нарушением правил установленного общительного поведения или недопущение к нарушению оных правил, пресечение их. Это самый жизненный нерв общежития И наивно рассуждать так, как рассуждает в данное время большинство социальных мыслителей. Регулировка отношений принадлежит этике. Мораль должна справиться с этой задачей. Нарушение нормального хода тканья взаимных отношений людских представляет исключение, на это исключение, то-есть аморальное поведение, способны только нравственные идиоты, следовательно, борьба с ним лежит на последнем плане и является неблагодарным и неблагородным занятием, и им пусть займутся полупреступники.

И не только взяв так узко, охватив деятельность, посвященную исключительно борьбе с преступлением, что аналогизирует в физическом мире с борьбой с аномалиями, несуразностями материального мира, с болезнями биологическими или „физическими", то-есть явлениями, выходящими из ряда вон—но обнимая широко всю общественную деятельность, имея в виду весь труд по общению, по сколачиванию общежития, по управлению им, по отправлению нормальных функций, мы должны констатировать, что этим на протяжении истории до последних веков и отчасти в наше время, занимаются, этому посвящают себя отбросы общества, не лучшие люди, а худшие. Кто такие наши цари, президенты, если не потомки бандитов, рыцарей, разбойников с большой дороги.

Воеводство было связано с политической деятельностью. Каждый король, монарх, царь считался и военным начальником, как Вильгельм. А чем отличается воеводство от простого предводительства шайки разбойников, атаманства?

Вся эта отрасль человеческой деятельности берет свое начало в разбое, ее открыли, ее основали злодеи, лиходеи, разбойники.

Но политика гуманизируется, становится на наших глазах научной дисциплиной, переходит в ведение теоретиков, вожаков, политических деятелей. Гуманизация, утончение политики происходит параллельно с ростом деморализации масс, имеющей место в этой области.

Как первоначальное накопление есть грабеж, пиратство, захватничество, так первоначальное господство есть разбой. Господствуют злодеи с их бандами, люди, выброшенные, исключенные из общежития, группируют вокруг себя им подобных, беглецов и другие антисоциальные элементы, образуют силу, и в случаях удачи овладевают общежитием.

8.

Но с введением иерархии растет цивилизованность политики, можно выразиться, формулировать в обратном порядке, с ростом политики вплелось звено иерархии, звено приманило другое звено, и создалась целая серия передаточных элементов. Политика очистилась, стала возвышеннее, гуманнее.

В начале предводитель шайки был самым отчаянным сорви голова. Самым жестоким средь жестоких, самым грубым и озверевшим. Он сам чинил расправу, а не только произносил приговоры. И царь Давид собственноручно, по библейским рассказам, рубил головы, исполняя должность палача. То же самое делал Петр Великий. Сам, собственноручно срубал головы стрельцов в пыточном застенке. (Ключевский. Курс русской истории. Часть IV). С ростом культуры низшие, грубые функции, физическая сторона отделилась, политика кристаллизовалась, черная работа была возложена на одних, чистую работу монополизировали себе другие.

Если бы не вплелась иерархия,—без которой на известной стадии развития немыслим никакой прогресс,—то случилось бы одно из двух, или „политика" не стала бы развиваться, если же она бы развилась, то пришлось бы ей отказаться от ее низших диких рудиментов. Но, на самом деле, развитие иначе не могло произойти. И иерархизация труда, бывшая в начале рычагом прогресса, фактором поступательного хода вперед, становится впоследствии тормазом, задерживающим развитие. Не будь иерархизации социального или политического труда, не было бы такого тяжелого труда, не было бы давно черных, грязных сторон его. Это было бы пройдено, преодолено. Имея к своим услугам столько дешевых рук, столько ничего нестоящих суб'ектов, берущих на себя всю тяжесть этой деморализующей работы, нечего заботиться о том, чтобы изыскать новые способы лучшего качества, более гуманного характера регулировки людских отношений и охраны общежития.

Машины появились тогда, главное, были тогда пущены в ход, когда говорящий инструмент, человек, наемный, трудящийся, стал возмущаться против того порядка, повине которого он попал в положение раба и машины.

То же относительно применения социальных машин, проведения в жизнь об'ективированных, установленных, как бы самим собой, регулировок отношений и взаимоотношений.

Когда социальный раб, раб социального или политического труда придет к сознанию всей важности, с одной стороны, его функций для целости и благосостояния общежития, с другой стороны, всей пагубности и деморализации исполнения этой функции для себя, тогда настанет век упорядоченного „машинного" общения. тогда вся „черная" работа отойдет в область истории и прошлого.

VI.

Иерархизация труда.

1.

Многие смешивают понятие иерархизации труда с разделением труда. Эти понятия совершенно различны. Разделение труда усиливает солидарность, сплачивает, спаивает людей, создавая из них одно целое, части специализируются, дифференцируются, с одной стороны, они интегрируются с другой стороны. Корень солидарности лежит в корпорации, в простой и тем более в сложной. Создается взаимная помощь, взаимная зависимость, первая низшая ступень которой лежит в детских играх, кото-

рые выполняются сообща, совместно, задружно, содружно, а верхняя — в отправлении самых сложных функций человеческого общества. Разделение труда связывает людей, создает из этих отдельных камешек мозаику, создает из отдельных штрихов картину божественной красоты. Я солидаризуюсь с ближним, с товарищем, мои интересы совпадают с его интересами, ибо он работает на меня, я на него, мы взаимно друг друга обслуживаем.

Буржуазный порядок, на последней стадии своего развития, губил эту солидарность, не дал ей обнаружиться во-всю, ставя ей препоны на каждом шагу, создавая видимость сепаратистического существования, самостоятельности хозяйственных субъектов, которые, на деле взаимно сплетены и переплетены.

Буржуазный порядок, таким образом, сводил на-нет, стушевал влияние симпатетических чувств, симпатетического положения, создавая, выискивая антагонизмы там, где их, глубже вникая, не было. На чисто-солидаристическом фундаменте буржуазный мир с его субъективным правом собственности, фокус, в котором концентрировалось все сепаратистическое товарного хозяйства, возвел стены раздора и вражды, куплю-продажу, обмен, предполагающий две самостоятельные, противоположные стороны. *Товар*, как таковой полон противоречий, есть неоформленный продукт, есть что-то неполное, нецелое. Товар—явление социальное, иначе данный продукт не стал бы товаром, не будь к его услугам рынка, потребности неудовлетворенной, ждущей его с нетерпением, имеющей в нем нужду для своего удовлетворения. Он социален, с одной стороны, и индивидуален, с другой стороны.

И этот порядок „вынужден" уступить свое место более совершенному, более выдержанному порядку, в котором „социальное" есть социально, порядок, который покончит с доброй частью столкновений между отдельным и обществом, главным образом, с той частью, которая сосредоточена в сфере хозяйственной деятельности.

2.

Древний мир знал культ труда. Древний мир мыслил свой труд, как общественную, т.-е. религиозную функцию. Но общественность он устанавливал прямо, непосредственно, между работающим и материалом, над которым он работает. Таким образом, у древнего мира не было физического, частного труда, всякий труд был общественен, ибо мир, природа, вселенная была общественна и отношения человека к миру, к отдельным явлениям, к отдельным предметам в этом мире, регулировались *религией*, этикой, ибо отношение человека к вещи было равносильно отношению к ближнему, не было ничего ближе, чем окружающие вещи, чем окружающие животные, чем флора, фауна, география, климатология, „бог земли". И физические, технические отношения были на той стадии этическими отношениями, социальными отношениями, т.-е. религиозными. Отношения регулировались своеобразным договором сводящим регулировку к модусу: Я даю тебе, ты даешь мне; тут были молитвы, просьбы, повеления, мольбы и приказы, отношения равенства и отношения подчинения и послушания, тут был и подкуп, верней, наемничество, вознаграждение за исполненную услугу. Если исполнялись известные условия договора, своеобразного соглашения или найма, то другая сторона, вещь, мир, земля, ветер, небо соблюдали, исполняли обещанное, ожидаемое, требуемое с них. Тут нет физики, тут сплошная социология, тут царство социологических отношений и взаимоотношений. Завет с Богом, с господином мира—это продукты более позднего происхождения, сначала шествуют договоры, молчаливые соглашения, заключенные непосредственно с окружающей природой, с вещами, с реками, с горами, с землей, с небом, с дождем и проч.

Труд падает в своей ценности и важности. Ибо материал начинает терять свою общественность, он низводится на степень мертвых несоциальных вещей и предметов.

Труд перестает быть культом, он становится обыкновенной работой, мирской, светской, несвященной. Тогда наступает презрение к труду. Тогда берутся примеры с птиц, которые не пашут, не сеют, не жнут, а клюют. Как кощунственно звучали бы такие речи для уха глубоко-религиозного труженика хлебороба древнего, седого времени Не пахать, не сеять, ведь все это самое настоящее богослужение, т.-е. обществослужение.

Труд возрождается, растет в своей ценности и значимости, он перерождается благодаря пережившему им разделению. В начале труд общественен, религиозен со

стороны материала и со стороны труженика, работа исполняется совместно, сообща Труд свят.

Затем мир становится мирским, перестает быть общественным, а с ним и труд становится мирским, простым, не требует ничего общественного, ни общих усилий, ни общих празднеств, ни общих жертвоприношений и прочих видов культа.

Труд опять подымается, он становится вновь общественным, но не со стороны материала, который, упав с высот общественности, больше не поднимается, а со стороны работающего, создается связь *сотрудящихся*. Физический труд становится общественной функцией Его общественность получается от того, что он исполняется хотя индивидуалистически, но имея в виду общественные нужды. Далее, идет производство, развитое, крупное, где труд собирается, локализируется, становится сызнова общественным. Его физическая сторона начинает отступать на задний план. Различия физического свойства скрашивает, скрадывает машина. Во весь рост выступает его общественность. Буржуазный порядок есть экономическая общественность, не доведенная до конца, до завершенности, до законченности, до полнейшей выявленности.

3.

Буржуазный порядок есть какой-то эклектизм. Труд по существу общественен, по форме индивидуален, труд по существу связан, спаян, каждая функция входит как составная часть в общую систему национального или даже мирового хозяйства. Но это не досказано, ибо национальное хозяйство, общественное хозяйство не организовано планомерно, сознательно, телеологически, а причинно, стихийно, естественно. Можно сказать, и это правильно будет сказано, что буржуазный порядок, насколько речь касается экономических отношений, есть бессознательная, естественная общественность, тут физическая социальность. Так как социальный характер социально-экономических отношений не доведен до осознанности, до преодоленности. Поэтому буржуазные мыслители так часто называли социологию общественной физикой, общественной физиологией.

Социализм хочет провозгласить социальность, как принцип, как сознательно регулирующую дисциплину он хочет овладеть всем социальным, внести сознание, планомерность, целесообразность в происходящие общественные процессы.

Социализм создает вновь, воссоздает культ труда, так как последний стал общественным, благодаря сотруду, благодаря разделению труда. Таким образом, труд становится вновь священным, в песнях поется: владыкой мира будет труд. Труд есть богослужение, т. е. обществослужение. Труд стал священной обязанностью, ибо он стал сознательно-общественным, т. е. религиозным.

Этим об'ясняется факт проведения в России, стране претендующей, и с правом, на звание классической страны социализма, целого ряда трудовых праздников. Ибо фокус религии при социализме лежит в обобществлении, т. е. доведении этого процесса до логического и практического выявления, труда и экономики, орудий труда.

4.

Мы уже несколько раз сказали, что теос есть социос. Нельзя остановиться на экономике, выдвигая производство и орудия производства, как таковые, в то время, как суть дела не в производстве а в общественном характере производста, т. е. дело вовсе не в производстве, а в общественности.

Верно, марксисты всегда выставляли *общественный характер* производства, кто лучше их высмеивал робинзониады буржуазной экономики. Маркс и к вопросам ценности и к товару подошел исходя из общественности. Никто лучше его не вскрыл фетишистическое нутро товара. Но в их споре с буржуазными экономистами они были правы лишь наполовину. Производство общественно, а не индивидуально. Но доминирующим фактором является не производство, как таковое, а ее общественный характер, ее общественная сущность. И из этого философски следует, что преобладающим фактором является общественный фактор. „Общественность"—вот что выше всего. На нашем языке и по нашему учению должно преобладать и над всем должно возвышаться интериндивидуальное—универсальное. Но не исключительно *экономика*.

Марксизм же создал учение о преобладании экономического фактора, назвав свое учение экономическим материализмом, или экономическим или монистическим пониманием истории, сводя все к хозяйству, к производству.

Но в самом производстве, что преобладает, физическое или социальное? На это придется ответить, даже исходя из марксистской концепции, социальное. Кто создает прибыль, прибавочную стоимость по Марксу. Рабочая сила, а не машина, следовательно, социальное. И если понимать под экономическим то социальное, что в нем заложено, то против этого нечего будет спорить. Ежели же формулировать, что современный теос есть экономос, то это ошибочно. Дело не в экономике, а в соотношениях возникших между человеком и человеком на почве борьбы с физической природой. В противном случае, в случае понимания хозяйства и производства, как акта деятельности расчитанного на удовлетворение потребностей и только, получится, что географический фактор должен преобладать на низшей стадии культуры, где все зависимы от матушки земли, которая не поддается тщательной обработке, культивировке или технического, технологического фактора. Или физические условия, или технические условия, или естество, или искусство. Но и то и другое неправильно. Ибо суть дела в „социальном", в интериндивуальном, в универсальном, что лежит в хозяйстве. И все техническое стало возможным и есть лишь олицетворенная интериндивидуальность, как мы выше уже выяснили. Ведь почти нет ни одной машины, которая не была бы расчитана на совместное применение, и даже более, которая не являлась бы следствием—результатом разделения труда.

5.

И если под „экономическим" понимать социальное, то все сведется к степени социального. Преобладает социальное. Социальное состоит из нескольких ступеней и видов. Есть примитивное социальное, которое по проверке оказывается анти-социальным, недостаточно социальным, есть сверх-социальное превалирующее, гегемонизирующее над всем социальным, это политическое, *интериндивидуальное.*

Социализм—это наивизм и примитивизм в социологии.

Интериндивидуализм—это политицизм, это сверхсоциальное. И настоящий теос это политос, а не просто социос. Но уж во всяком случае не один экономос.

Над всем доменирует политический фактор, он вскрывает не социальную природу социальных явлений, их недостаточность, их примитивность их загрязненность, он требует их кристаллизации.

Не достаточно овладеть „социальным", что в нашем общежитии, надо его возвысить, надо его очистить, надо его делать по настоящему „социальным", т. е. надо его превратить в интериндивидуальное. То, что слыло за „социальное" пока оно происходило стихийно, бессознательно, механически не может им слыть, когда оно переходит из бессознательного состояния в сознательное, телеологическое, интериндивидуальное. Оно должно пережить преодоление самого себя, оно должно стать социально-социальным, социальным во второй степени, т. е. интериндивидуальным. Ведь и овладевание социальным процессом есть акт не иидивидуальный, не частное дело, а социально-общественное. Таким образом все социальное становится политическим, сверхсоциальным, раньше оно физико-социальным, теперь оно социо-социальным, так как социальное обрабатывается, трактуется социально, т. е. социальное становится *политическим.*

Социализм--это первая стадия мышления, это наивное мышление, примитивное понимание социального мира. Для социализма об'ектом является социальная среда, но он упускает из виду, что его обработка социального есть социальное во второй степени, что следует относиться критически, весьма критически к овладеванию социальным, к превращению его из бессознательного процесса в сознательный планомерный процесс.

Политицизм—это вторая стадия. Это критическое мышление в области социоогии.

Социализм вырастает на почве разделения труда. Рост разделения труда—вот рост, увеличение солидарности.

Но если разделение труда, органическое сотрудничанье, сложная корпорация есть то божественное, что в хозяйстве, то иерархизация труда есть демонический, сатанинский элемент, что во всем нашем общежитии.

Иерархизация труда есть то поганое, что губит, хулит священное „общественное", что во всей нашей деятельности, как в хозяйстве, так в обществе, словом, во всем укладе жизни.

Иерархизация труда и разделение труда—это две взятые с точки зрения социального, противоположности. Разделение труда творит солидарность, взаимную помощь, простую или сложную. Это дивергенция, расхождение признаков, которое уменьшает число поводов к борьбе, и вместо соперничанья и взаимной вражды ставит содружество и задружество. Разделение труда есть та дифференциация, которая творит мир, множит, увеличивает совместность, сообщность, оно уничтожает, выметает сепаратизм, самостийность, противоположность или отсутствие, отрицание сотрудничества и сообщества.

Иерархизация труда, как раз наоборот, она творит вражду, зло, разобщенность, она творит не взаимозависимость, а одностороннюю зависимость, соподчиненность.

Иерархизация труда выросла из разделения труда. Многие и почти все отождествляют их. Но социально иерархизация труда есть противоположность разделению труда.

Разделение труда есть разрез труда, разделение его на разные, более или менее самостоятельные отрасли, из которых каждый труженик выбирает себе одну и специализируется в ней.

Иерархизация труда есть дифференциация, состоящая в расчленении его, в возведении над фундаментом надстройки.

Иерархизация труда—вот основной источник раздоров, антагонизмов. Буржуазный мир был с'едаем антагонизмами.

Ту же участь ждет и социалистический мир. Социалистически мышление, по наивности своей, не задумалось над проблемой социализации.

Социалистический мир возводит, возвышает, увеличивает иерархизацию и тем роет себе свою могилу. Буржуазный мир представляет собой поле битвы, где косила свои жертвы конкуренция, т.-е. борьба равных, естественная биологическая борьба, я бы назвал такую борьбу Дарвиновской, так как это борьба за осуществление, ведомая с себе равными, борьба предметов с предметами.

7.

Капитализм, буржуазный мир заложил начало „классовой борьбы", которую завершает в сущности социализм, а не как думает наивный марксизм, что социализм есть конец классовой борьбы.

Классовая борьба отличается тем от биологической борьбы, от борьбы за существование. происходящей в жизни животных и растений и людей, что ее всегда смягчает расхождение признаков и различная приспособленность к разным условиям. Классовая борьба есть *социологическая* борьба, а не биологичческая. Классовая борьба есть борьба тех, которые в биологии не воевали бы, не боролись бы, а уживались бы мирно, так как они совершенно различно приспособлены.

Буржуй с буржуем, пролетарий с пролетарием—вот естественная борьба, соперничанье. Буржуй хочет прибыли, ищет прибыли, ищет рабочих рук—в поисках он сталкивается с ему подобными, между ними разгорается борьба на жизнь и на смерть, эта борьба носит название в капитализме—конкуренция. Что сделать против нее? Есть одно средство трестирование равных, и расширение разделения отраслей применения их спекулятивной деятельности. Дивергенция, дифференцирование, с одной стороны, трестирование, интеграция с другой—вот способы смягчения и даже сведения на-нет пагубных явлений борьбы.

Рабочий рыщет голодный в поисках за капиталистом, за местом применения продажи своей рабочей силы, в поисках он сталкивается с себе равными. Разгорается Дарвиновская борьба. Что делать против этого? Соединить их в синдикат, в союз, в одну организацию, с одной стороны, создать из них более квалифицированных, специализированных, с другой стороны. Если же машина стирает все различия, то их путь в соединении наподобие трестирования.

Все это виды биологической борьбы, перенесенные из сферы биологии в область социологии. Социология их как раз и сводит на-нет, социальное стирает биологическое, одолевает его.

Ни аза в классовой борьбе не понял тот, кто смешивает классовую борьбу с биологической борьбой индивидов или целой группы между собой.

Классовая борьба происходит как раз между теми, между которыми в биологии никакой борьбы не было бы, так как они совершенно различны и не могут конкурировать.

Какая может быть конкуренция между оборванным рабочим и Рябушинским? Какая конкуренция может происходить между несчастным городовым и министром? Тут нет борьбы, нет конкуренции.

Классовая борьба есть социологическое явление. Классовая борьба или типовая есть продукт иерархизации.

8.

Иерархизатор есть организатор. Иерархизация труда как физического, так и социального создает вышки: над физическим или психическим—умственным она воздвигает надстройку социальную, над социальным она воздвигает политическую надстройку.

Горе тому, кто занимается физическим трудом в области хозяйства, благо тому, кто там занимается социальным, политически-экономическим. Горе тому, кто занимается социальным трудом в области общения, благо тому, кто занимается *политическим*.

Иерархизация труда есть собственно организация труда. Она выросла незаметным образом, она появилась вследствие разделения труда, но она обладает особым характером, она антисоциальная, антагонистическая категория, в то время, как разделение труда солидаристическая дисциплина.

Борьба с физическим миром, собственно, труд, физическая деятельность. Труд может происходить индивидуально, замкнуто, наподобие Робинзона. Он может лишь схематически, фактически он всегда происходил или просто сообща, или сложно сообща, прибегая к помощи разделения труда. Разделение труда превращает простую корпорацию в сложную. Работают будто врозь, на самом же деле работа совершается общественно. Общественным характером работы в виду его сложности и потаенности никто не овладел.

Над трудящимся поднимается тот, кто его *организовывает*. В начале поднимается тот, кто его *обучал*. Вот средневековье перед нашими духовными взорами.

9.

В средние века иерархизация психологического, педагогического свойства. Мастер, подмастерье и ученик. Тут градация естественная, вытекающая из компетентности, из степени виртуозности. Это не иерархизация. Это вопрос времени и прилежания. Надо учиться, надо овладеть материалом и орудием труда, надо стать мастером. Все подмастерья становятся по истечении времени мастерами. Все ученики переходят в категорию подмастерьев. Тут в начале нет ничего чисто социологического, тут психологическое и физиологическое. Это имеет отношение к взаимозависимости поколений и возрастов. Тут геронтократия, господство старшенства, базирующееся на опытности, умелости, виртуозности. Здесь жизнь со школой совпадает. Мастер занимает место учителя. Ученик так и называется учеником.

Если цехи стали принимать особые меры против подмастерьев, выдвигая их в особую чисто-социальную группу, затрудняя переход из одной категории в другую, то это было уж в конце, при разложении феодального ремесленного порядка и при зарождении буржуазии. Слово „ученик“ бросает свет на это экономическое явление.

Как каждый юноша станет, становится со временем стариком, так каждый ученик стал мастером, самостоятельным учителем. Каждый учитель, мастер начал с ученичества.

Так что тут нет, собственно, иерархизации труда, а физиологизация или педагогизация, дидактизация его, тут разделение физиологическое, генерализация труда, или что-то учебное.

Далее, мастер работает наравне с учеником, служит ему примером, обучает его подражательно, являясь образцом. От легкого к трудному.

Трудное выполняет мастер, легкое ученик под наблюдением, среднее—подмастерье. Наиболее ответственную работу, наиболее сложную выполняет специалист, ученик и подмастерье присутствуют и учатся. Это работа под руководством.

Тут степени, ступени одного и того же труда, тут его *квалификация*, а не иерархизация.

Иерархизация труда есть капитализация труда, есть архизация труда, есть внесение понятия власти в процесс труда.

От квалификации переходим незаметно тихо, незаметно медленно, устанавливая целый ряд переходных положений и состояний, к иерархизации. При иерархизации труд уже разложился, дифференцировался, одним концом поднялся вверх, ушел в высшую сферу.

10.

Физический труд—над ним стоит социальный.

Трудящийся, верней, трудящиеся. Их взаимоотношения или просто корпоративны, работают сообща, или сложно-корпоративны, они связаны органически, каждый выполняет одну часть целой работы. Над ними возвышается тот, кто олицетворяет собой *общественный* характер их труда, кто регулирует их отношения один к другому и их отношения к обществу, на благо которого каждый из них трудится.

Выполнитель социальной функции при физическом труде, выявитель этой общественности, есть буржуй, есть организатор, есть иерархизатор этой функции, высшей, стоящей над физическим трудом, и есть то, что мы называем иерархизацией.

Разделение труда лежит на плоскости экономики, дробит целое на равноправные части.

Иерархизация строит пирамиду или второй этаж.

Социальный труд, над ним стоит политический. Т. е. политический характер этого труда выявляют определенные лица, наделенные властью, иерархизаторы.

Социальный труд происходит, само собой разумеется, социально. Социальность социального мы назовем „политичностью". Социальный труд, как физический, создал, возвел над собой высший ярус. Этот ярус есть политика. Отношение человека к человеку, возникшее на почве социального труда, на почве выполнения социальных функций. Идет спор, ссора, драка. Надо разобрать дело. Свершилось преступление. Его надо пресечь. Его надо предупредить. Есть общение. Надо регулировать взаимоотношения людей *сознательно*, а не стихийно, физически-социально. Надо овладеть связями, столкновениями, взаимностью, как противоположностью интересов членов общежития. Все это делается, все это выполняется. Создается нива общественного труда, работы над общежитием, над его упорядочением. При этой работе, как при физической, мы замечаем наростание иерархизации: часть выполняет этот труд, другая часть его не выполняет, а следит, наблюдает, руководит, организовывает тех, кто его выполняет. Пока социальный труд был примитивен, то не было иерархизации, а была лишь *квалификация*, стадия разделения на старших и младших, на мастеров социального труда и подмастерьев и учеников.

11.

С ростом и осложнением как физического, так и социального труда, с введением разделения труда, с созданием специальных социальных функций создается иерархизация.

Человек человека обидел. Он сам мстит. Тут почти совершенно отсутствует социальный характер регулировки. Человек связывается с человеком, борется, мстит, это социальное, но низшее социальное явление. Здесь месть несоциальна. Так впрочем никогда не происходило. Общежитие не было сверхсоциальным, политическим тогда, когда не было сознания отдельного индивида. Человек человека обидел означало семья обидела семью, род обидел род, и столкновение, месть реализовались *корпоративно*

или индивидуально, но в последнем случае мститель выступал в качестве представителя всех родных. Идея представительства ужасно стара. Собственно, там никакого представительства и не было, а было отожествление единственности и множественности, процесс элеминации еще не зародился.

Идет отместка, мстят родственники, семья или род. Само явление социальное, происходит оно социально, но не специализировано. Часть мстит, являются специальные мстители. Группа, семья, община выделяет из своей среды мстителей. Значит мстят не случайно те, которые задеты, а специально, т.-е которые не задеты, но которые выполняют эту функцию. Тут мщение выполняется, происходит социально. Далее, происходит дифференциация среди мстителей не на почве разделения мстительнаго труда, а на почве иерархизации, часть „мстителей" мстит, другая часть наблюдает за мстителями. Возникают социальные отношения, возникшие на почве, скажем примерно, мщения. Здесь политика, политическое явление. Квалификация перешла в иерархизацию.

Спор. Суд. Обычай. Кто творит право, на основании которого судят, разбирают спор? Все, обычай, нрав. Каждый поступающий творит, так сказать, свое право. Кто разбирает? все, каждый ссорящийся. Разбор ссоры есть часть ссоры. Разбор выделяется, выделяется судья. Но он является лишь мастером разбора, он является знатоком обычая, права. Это не иерархизация социального труда, а квалификация, *специализация*. Вместо того, чтобы все разбирали, часть специализируется и разбирает конфликт.

Среди разбирателей происходит дифференциация. Происходит организация разбора дела, разбор становится организованной функцией, т.-е. часть разбирает, часть составляет нормы, на основании которых разбирают, часть исполняет, приводит в исполнение *приговор*.

Сначала труд и потребление были слиты в социальной области. Я ссорюсь, я устанавливаю тем самым мои социальные отношения с моими ближними. Затем появилась тяжба и социальный разбор этого социальнаго явления. Так что трудится один, а потребляет социально другой, разбирает дело тот, кто не ссорился, ссорится тот, кто не разбирает. Один устанавливает социальное отношение, другой им пользуется. Допустим, что судит каждый попеременно, именно тот, кто не заинтересован. Затем выделяется старший, как мастер, как знаток судебных дел, как знаток обычаев, нравов.

Тот, кто судит, тот приводит в исполнение свой приговор. Он силой проводит его в жизнь. Или он сам, или та семья, которая поставила его судьей. Затем дифференциация. Затем иерархизация.

Выдвигается законодательство, которое становится специальностью. Выдвигается организатор социальных дел, социального труда. Иерархизация труда расчленяет труд, перенося одну часть вверх, создавая из социального политическое.

Иерархизатор—вот кто представляет политический элемент в социальном труде. Необходим ли он? На известной стадии, бесспорно, настолько же необходим, насколько социализатор, т. е. буржуй в экономике. Буржуй содержит в себе свое отрицание, ибо он индивидуально-социальное явление. Иерархизатор, политизатор есть социально-антисоциальное явление. Он организатор и дезорганизатор в одно и то же время. Ибо там, где есть иерархия, там есть вечная зависть и борьба и он призванный творить мир, реализовать солидарность, охранять общественный, интериндивидуальный интерес, не то, что не хранит его, а выдает, изменяет ему всем своим существом. Ибо он сам источник всего антагонистического, антисоциального, иерархия есть бич общежития.

12.

Как конкуренция есть душа живая капитализма, так иерархия есть душа живая социализма. Капитализм есть зачаточный иерархизм, социализм есть зрелый, клонящийся к гниению иерархизм.

Иерархизм при капитализме дуалистичен, разделен между хозяйством и общежитием. При социализме он сосредоточен. При капитализме иерархизм в области хозяйства, как и, вообще, труд, носит частный характер. При социализме иерархизм

общественен даже в хозяйстве. При социализме иерархизм монистичен, единен, выдержан во всех сферах деятельности.

И что касается этой стороны капитализма иерархизации, то социализм представляет собой высшую ступень ее. Вот и все.

В хозяйстве, как и в общежитии, идет развитие, рост. Этот рост означает социализм. Социалистическое равенство есть непонимание, и самообман, есть иерархизация. И если при капитализме была сохранена некоторая доля равенства и положительно, равенство имуществ, капиталов у капиталистов и равенство могущества у власть—имущих, министр министру, президент президенту был абстрактно-принципиально равен, отрицательно же было равенство перед невладением капиталом и невладением властью. То при социализме будет внутри страны, внутри хозяйственной единицы царствовать одно отрицательное равенство, равенство всех организуемых перед неучастием непосредственным в организации производства и общежития, а равенство положительное, только извне, организатор равняется организатору, занимающему приблизительно такое же положение в организации.

При капитализме, при дуализме, при разделенности хозяйства и общежития, виерархизация выступает, получает свое выявление в двух видах, в хозяйстве она воплощена в капитале, в общежитии, в политике, во власти. Труд и капитал—вот противоречие, разделяющее буржуазное хозяйство, являющееся следствием иерархизации. Один трудится, другой капитализирует. В политике, в общежитии то же противоречие: труд и власть, т.-е. насилие и власть, один трудится, насилует, другой архизирует, т, е. повелевает, приказывает, декретирует. Иерархия при капитализме двоякая, так как Dominum отделен от imperium'a. Капитализм, собственно говоря, никогда один не выступает, капитализм есть ведь лишь форма хозяйства, он идет, живет параллельно с архизмом. Социалисты как бы нарочно, как бы инстиктивно отворачивались от архизма, сосредоточивая все свое внимание на капитале, а не на власти. Иерархия же при социализме, как сказано, выдержанная, однородная, так как при социализме капитализм отходит, увеличивая в первую свою фазу архизм, который занимает его место, а во вторую архизм переходит в *организационизм*, содержащий в себе синтез капитализма и архизма буржуазных, власть и капитал сливаются воедино, взаимно уничтожаясь и воскреснув в организаторстве. При социализме один тип, высший тип организаторов руководит, организовывает как хозяйство, так и общежитие, хозяйство национально, общение интернационально, другой же тип, весь народ, все люди, все организуемые трудятся в производстве и насилуют в общении.

13.

Социализм монизирует иерархию, сливает ее воедино. От этого слияния выигрывает не только организатор, сбрасывая с себя стесняющую его форму частной собственности, оказавшуюся слишком негодной, слишком возбуждающей народное сознание, слишком простой и принимая вид исполнения нужнейших функций, безкорыстного исполнения, так как он исключительно общественен, он даже собственником себя не считает, он одно самопожертвование, но больше выигрывают *организуемые*, которые сольются вместе, которые осознают свое единство, благодаря тому обстоятельству, что у них один хозяин, один иерархизатор, один организатор.

Рост иерархизации означает поэтому начало ее конца. Капитализм, как и архизм держались именно благодаря их разобщенности. Таким образом капитал давил на трудящегося с помощью его же брата выполняющего роль социально-трудящегося, с помощью насилующего. На насилующего архист, власть имущий давил с помощью капитала, с помощью оплаты. Если бы оба обиженные, оба труженика, труженик на ниве физического труда и труженик на ниве социального труда, общения соединились бы, тогда рухнул бы старый мир. Старый мир держится на этой разобщенности „низов" трудящихся и насилующих, и соединенности „верхов", капиталистов и архистов, которые взаимно друг друга поддерживают против могущих взбунтоваться низов.

Социализм уничтожает раздвоенность этих областей, сливая политику с экономикой, соединяя верхов, сведя их к единству, создавая из двух иерархизаций одну, но тем самым, тем, что он увеличивает иерархизацию, он множит кадры ее врагов, сливая, соединяя, примеряя, создавая одинаковое положение всех трудящихся, вводя тру-

довую повинность, придавая труду характер мобилизации, создавая трудовой фронт, на котором будут вести борьбу низы с верхами, организуемые в хозяйстве с организаторами в хозяйстве, но благодаря тому, что они будут приравнены в своем положении к труженикам на социальной ниве, к дисциплинированным *насильникам,* то им легче удастся сговориться с последними, образовать с ними один союз, союз солидарности, совпадения интересов и положения—он, социализм, обеспечивает себе свою гибель и переход к универсализму, к автоорганизационизму, он, социализм, всхваливает своих врагов с большей тщательностью, преданностью, усердием, любовью чем это сделал капитализм. . . . . .

. . . . . .

Ненависть к труженикам по социальной ниве внушает труженикам на физической ниве верхи, тем обеспечивая их раз'единенность, что гарантирует им долговечное господство. Так как лишь соединение трудящихся, пролетариев производства и общения может создать возможность срыва старого мира. И на самом деле, ни одна революция не произошла без участия пролетариев, „париев" общения, солдат, милицейских, полицейских, этих темных слуг власти. Власть с капиталом всегда были солидарны, антагонистичны же были труд и насилие. Этот предрассудок разрыва, вражды поддерживали верхи всеми возможными мерами и приемами, внушая низам, труженикам молота, презрение к труженикам порядка, к труженикам меча, сабли, тем раз'единяя их, тем не давая им сговориться, столковаться, спеться.

Но когда и тот и другой станут одинаково подневольными, одинаково дисциплинированными, тогда они друг друга поймут, они друг друга узнают, и соединятся.

Тот день есть день погибели иерархизации, день падения организационизма, даже самого чистого вида, кристаллизированного, очищенного от капитализма и архизма.

VII.

Конкурренция и иерархия.

1.

Душа живая капитализма, экономического сепаратизма, это конкурренция Конкурренция есть борьба самостоятельных единиц. Экономическая борьба принимает вид конкурренции. „Политическая" борьба между равными принимает вид вооруженной схватки, войны. Покоренный подпадает под ярмо. Покоренный, потерпевший поражение и победитель занимают две ступени на лестнице устройства общежития. Вот начало иерархии Раб и рабовладелец. Первоначальное общежитие лежит все на одной плоскости, не зная ни конкурренции извнутри, ни иерархии извнутри. Ибо и конкурренция и иерархия есть два вида внутренней борьбы. Там, где царствует солидарность, там не может быть речи ни о конкурренции ни о иерархии.

Конкурренция вытекает, выростает из соревнования

Иерархизация вырастает из компетентности, из квалификации, являющейся дочерью специализации, разделения труда.

Соревнование положительное явление, поощряет производительность, общительность, конкурренция их поражает, так как последняя есть внутренняя война, соревнование происходит между равными, между теми, которые желают перещеголять, обогнать, опередить один другого. Положительный фактор, стимул к усовершенствованию.

Конкурренция, как я уже сказал, есть внутренняя борьба. Если защищать конкурренцию, то надо, последовательности ради, защищать и войну, вооруженную войну конкуррентов, народов между собой. Благо война есть конкурренция народов, решающих свою судьбу посредством силы, посредством одоления.

Иерархия возникает на почве покоренности.

Там, где общежитие однородно, там нет иерархии, там есть равенство социального положения. Единственное неравенство сводится к различию компетентности. Там, где царствует компетентность, там нет авторитарности. Последняя занимает всегда место первой.

В первобытном обществе компетентость имеет один источник, опыт, житейский опыт. Опыт укладывается во времени. Живут все одинаково интенсивно или экстенсивно. Следовательно, опыт, т. е. пережитое, равняется всегда „прожитому", сколько живут, столько и переживают. Из этого следует, что компетентность совпадает со старостью. Первоначальный вид неравенства есть физиологический вид: молодость и старость. Старшина, старейшина есть то, что оно означает этимологически. Господствует старость, старики, старцы, являются самыми мудрыми, самыми умными, самыми умудреными опытом, годами, пережитым личным опытом и воспоминаниями и они господствуют. Архаизм есть архизм, есть самый первоначальный вид господства, вид иерархии. Господствует отец, потом самый старший из рода.

Физиологическая природа доминирует над всем укладом общества.

Как первоначальное разделение труда шло по линии наименьшего сопротивления, по линии физиологических дифференциаций, так и разделение социального труда шло по этому же пути.

Тут нет, собственно, иерархии, а есть компетентность, ученость, осведомленность, теоретичность, опытность, но эта первоначальная компетентность, являющаяся, по существу, чем-то психологическим, базируется, строится, связывается неразрывно, органически с физиологией.

2.

Освобождение от физиологических условий. „Не у стариков мудрость (книга Иов)" есть еретическая, революционная мысль. Уважай седого, встань перед седым, почитай отца и мать, что заповедал Моисей, отходит, бледнеет, вырастают новые различия, совершенно нового происхождения, возникшие на почве самого общежития. Появляется каста. Появляются покоренный и покоритель. Молодой своего племени, племени победителей важнее, почтеннее старца из племени покоренных.

Компетентность поглощается авторитарностью, компетентизм переходит в архизм. Старшинство отступает, физиология подчиняется социологии. Создаются социальные условия. Социальные условия освобождают, хотя не в окончательном виде, не в окончательной форме, от опеки физиологических.

Создается иерархия. Иерархия есть потаенная борьба, потаенное скрытое враждование, потухший вулкан ненависти, вражды и борения.

Первоначальная иерархия есть, как нам удалось это выяснить в предыдущих главах, под названием „Раб, крепостник, наемник, товарищ, личность," внешние отношения ненависти, борьбы, конкурренции, перенесенные во внутрь, т. е. борьба, которая перешла в навязанный позорный мир.

Иерархия в начале есть полувнешнее явление. Иерархизатор принадлежит к одному племени, к победителям, иерархизированный принадлежит к второму племени, к побежденным.

Классический вид, прототип всякой иерархии есть *рабство* В рабстве лежит ключ к пониманию этого явления.

Родина иерархии—это страна цепей и рабства. От старшинства она перешла к чужестранству, т.-е. к чужеплеменству. От физиологии к антропологии.

Первоначальная иерархия—явление социально антропологического характера Затем дифференциация внутри. Смешение покоренных с покорителями. Внешние явления стали внутренними, органическими.

Иерархия стара, как видно, из этого обзора исторического, как наша социология. Но нигде она не выступает в чистом виде. Везде она выступает, скрываясь то под видом владения, то под видом физического превосходства, то под видом благородства, маскируя свое положение ссылкой на положение своих предков.

При социализме иерархия выступит во всем блеске своих отрицательных свойств, своего антисоциального характера.

Буржуазный мир имеет и конкурренцию и иерархию в хозяйстве. В политике там царствует извнутри одна иерархизация, *бюрократизация* учреждений.

При социализме конкурренция из хозяйства, в пределах национального и государственного, выметается, так как хозяйство конструируется на лад общежития, экономика принимает вид политики, то и здесь водворяется иерархизация, царящая теперь полностью, *неограниченно*.

3.

Многое было сказано против конкуренции и ее гибельных последствий для хозяйства. Буржуазные мыслители защищали свободу конкуренции всеми силами своего научного авторитета. Особенно отличался в этом отношении чистейший либерал Спенсер. Но и он при всей эрудиции и философском мышлении не мог отстоять этого положения. Так как и он в своей этике не выдержал, если признать конкуренцию, надо, признать и милитаризм, войны. Он же сам был противником войн Война слишком жестока, чтобы порядочный мыслитель мог стоять за нее. Получилась половинчатость. Если мир, сожительство, содружество, то трестирование, наконец, создание единого мирного, планомерного, национального хозяйства даст больше результатов, чем разрозненное, воюющее с самим собой, со своими отдельными единицами, хозяйство.

Против буржуазной мысли, защищающей конкуренцию, выступает вся социология, основанная вся на содружестве, на воссоединении, на мире, хотя бы в ограниченном об'еме и количестве членов, как нации, народа, государства.

И в борьбе социалистов с буржуазными экономами победа оказалась сначала теоретически на стороне социалистов, потом же эта победа перейдет из области теории в гущу жизни, что она и делает в России.

Что же возражала буржуазия против социализма? Она ссылалась на вечный закон борьбы, на соревнование, на биологическую борьбу, опираясь на подбор и на выживание наиспособнейших.

Но все это было слишком недоказательно, слишком слабо. Социализм в его отрицании конкуренции, капитализма говорил и выступал от имени новой цивилизации, более совершенных форм устройства жизни, экономики, он выступал от имени социологии против биологии и биологизма, царствующего в буржуазном обществе. И им, социалистам, соответствует их название социалисты, т. е. социологисты. Буржуазных мыслителей, защищавших свободную конкуренцию, т. е. самостоятельность, партикуляризм старого хозяйственного уклада и ссылавшихся на борьбу за существование, основной принцип дарвиновской биологии, следовало бы назвать биологистами в противовес социалистам, исходящим из основ солидарности и классовых столкновений, явлений социального характера, встречаемых в социальной сфере.

В этом отношении незабвенна и неумалима заслуга Кропоткина, делавшего вылазку и перешедшего в контр-наступление в своей замечательной работе „Взаимная помощь", указавшего, что и в биологии, и в зоологии мы находим много *социологического*, что и там на дне, там, где по понятиям буржуазного мыслителя царствует вечная борьба всех против всех, живет, в зачаточном виде, матушка социология, с ее солидарностью, вспомоществованием.

4.

Если же социологисты были сильны и правы в их отрицании капитализма, то они совершенно слабы в их утверждении социализма, являющегося, как мы выше выразились, наивностью в социологии.

Социализм поставил вместо конкуренции иерархию И получилось, что вместо того, что раньше кипела борьба на плоскости, между равными, то теперь она загорится вглубь, борьба между неравными. Раньше воевал буржуй с буржуем, теперь же произойдет борьба между старшим, стоящим выше, и младшим по чину, стоящим ниже.

И если свобода либералов свелась к свободе конкурренции, свобода конкурренции к свободе эксплоатаци, то свобода социалистов сведется на деле к свободе иерархизации, свобода иерархизации—к свободе „эксплоатации". Ибо там, где есть иерархия, там есть „эксплоатация". „Эксплоатация" есть, собственно, иерархизация, не более не менее.

К чему свелась свобода конкурренции? Разве она на самом деле содействовала росту производительности, напряжению воли, усилению изобретательности и находчивости. Нисколько. Она шла более легким путем она шла по пути преступления, по пути фальсификации товаров и достижения легких побед над своими соперниками.

И иначе не может быть. Конкуренция—явление антисоциальное, она порождает, влечет за собой все антисоциальное, все преступное, она усиливает центробежное,

что в хозяйстве, она причиняла так часто кризисы, разруху. Конкуренты имели в виду не улучшение производства, а улучшение своего производства, т. е. набивание своего кармана, улучшение своего положения.

Вражда пылала между буржуем и буржуем не потому, что тот, его конкурент плохо производит данный продукт, а потому, что он получает прибыль, а ненасытный буржуй хотел все себе. Борьба велась на личной почве, из за эгоистических интересов, борьба велась в хозяйстве, являющемся, по существу, социальным явлением. Боролись эгоисты, страдало производство, производители и потребители, т. е. все хозяйство, как целое; экспроприация экспроприаторов положит конец грызне этих цепных собак, грызущихся из за жирной сочной кости барыша.

И конкурренция являлась отрицательным явлением. И его пришлось и придется оперировать, удалить из хозяйственного организма.

Что же делает социализм? Он все свел к свободе иерархизации. И при социализме борьба будет вестись между низшим и высшим не в пользу общежития, а в личную выгоду низшего или высшего или высших между собой. Те же, которые раньше боролись, будучи самостоятельными юридически, будут бороться, будучи зависимыми, связанными юридическими узами, борьба произойдет *вертикально*, вместо того, что она произошла *горизонтально*.

И если при капитализме интересы хозяйства приносились в жертву интересам борющихся сторон, которые в борьбе преследовали прямо свои эгоистические, барышнические интересы и попирали, поганили интересы хозяйства, как такового. При социализме эта борьба примет другой вид, это будет борьба зависимых друг от друга господ, борьба двух иерархизаторов.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

5.

Социализм—это эра иерархизации, социализм ожесточит последнюю, сведя ее к максимуму.

Иерархизация, иерархия содержит в себе все дефекты конкурренции, но в сгущенном, в увеличенном виде и расширенном об'еме, в большем количестве.

И борьба здесь более худшего, более преступного свойства, и меры борьбы более низкой пробы, более антисоциального характера. . . . . .

. . . . . .

Иерархия есть самая ужасная болячка, самая зловредная, самая смертоносная язва общежития. Эта язва разложит, погубит, уничтожит, убьет и похоронит социализм.

Что скажет социалист в пользу иерархии? Не придется ли ему повторять зады буржуазных идеологов. Не выдвинет ли он в пользу иерархии все заржавленные доводы биологической науки, как борьба за существование и подбор и выживание наиспособнейших Да, других доводов нет. Но если социалист этого сделать не сможет, ибо всем памятен спор между буржуазной идеологией и социалистической. Тогда ему придется капитулировать духовно перед интериндивидуализмом, который поставил своей основной задачей борьбу против иерархизации, как в хозяйстве, так и в общежитии, против иерархизации, имеющей вид капитала и власти, и против самой кристаллизованной иерархизации, чисто социалистической марки, имеющей вид организаторства, против иерархизации, губящей хозяйство, делящей последнее на два враждующие лагеря, на трудящихся и наслаждающихся, организующих лишь труд, и губящей, разлагающей общежитие, губящей, деморализующей наше общежитие, отдавая все его

функции в руки распоряжающихся жизнью, трудом, совестью социальных рабов, исполняющих самую необходимейшую функцию общежития и оплеванных всеми, презираемых всеми.

Борьбу с иерархией надо вести так же решительно, так же беспощадно, как с конкурренцией. Пока мы имеем лишь подмену одного зла худшим злом, подмена конкурренции иерархией. Все что было сказано лучшими мыслителями против конкурренции можно с большим правом сказать против иерархизации.

Если конкурренция есть борьба, в известном смысле равных, то иерархия заранее исключает всякое равенство. И борьба между иерархизаторами есть самый опасный нарыв на теле общежития.

Чтобы положить этому безобразию конец, чтобы покончить с борьбой иерархизаторов между собой, придется двинуть в наступление на твердыни иерархии всех иерархизуемых, всех организуемых, и они положат конец этой гибельной свалке, губящей наше общежитие, как и, вообще, всему иерархизированному порядку.

6.

Буржуазный порядок был сепаратистическим безпорядком. Были пролетарии, были буржуи, их иерархизаторы, их организаторы. Но так как процесс капитализации производства, иерархизации производства был, по существу, социальным процессом, но социально-примитивным, то он совершился стихийно, самовольно, капризно, не выдержанно, не систематически.

Крупное хозяйство боролось с мелким стихийно, не планомерно, не общественно, сознательно, а частным образом, с помощью свободной конкурренции. От этого получилось, как следствие, что огромная часть населения лежала вне круга непосредственного действия капитала. К этой огромной части принадлежало чуть ли не большинство населения даже в развитых капиталистически странах, и нечего говорить о том, что эта часть составляла преобладающее большинство в странах отсталых в смысле экономическом.

Капитал иерархизировал только часть трудящихся. Разумеется, все находилось под каблуком капиталиста, но это делалось косвенно, посредственно, через ростовщичество и другие виды прижимания неимущих средних классов. В известном смысле капитал средние классы и поддерживал, хотя чаще всего, как веревка повешенного. Непосредственно он, всемогущий капитал, втягивал в свою сферу действия пролетариев. Процесс пролетаризации есть обратная сторона процесса капитализма. Но этот процесс не происходил тем быстрым и скороспешным темпом, который предсказывал Маркс. Капитал не так быстро концентрировался и мелкая буржуазия не пролетаризировалась, а плодилась и множилась во вред стройности Марксистской концепции. Средние классы были, так сказать, экономически автоорганизованы, автокапитализированы, владели орудиями производства или в такой степени капиталом, что могли устраивать свои дела, не попадая в непосредственную кабалу к крупному капиталу.

Словом, были целые слои, которые лежали вне капитализма, в известном смысле, которые были и не капиталистами и не пролетариями, а мелко собственниками. Капитализм, сколько с ними ни боролся, не мог, не был в силах их преодолеть. И неудивительно. Наоборот, было бы совершенно непонятно, если бы капитал, стихийное, общественное явление могло само справиться с такой сложной задачей, как выметание дочиста мелкобуржуазного элемента. Это в силах выполнить планомерная, целесообразная деятельность, а не стихийный процесс, каким был в буржуазном порядке рост капитала. От стихийного процесса нельзя ожидать выполнения такой целесообразной систематической работы. Мелкий капитал, мелкая собственность вследствие борьбы стихийной, биологической, конкурренции вырождалась, приспособлялась к новым условиям, опускалась в низшие отрасли, довольствовалась меньшим заработком, ориентировалась на личный частный вкус, да, наконец, мелкособственники, ремесленники, мелкие торговцы и вырождались, пролетаризировались.

Тут происходил процесс, напоминающий дарвиновский подбор и спенсеровский— выживание наиспособнейших и расхождение признаков, благодаря которому борьба смягчалась. Все это известно и не стоит долго на этом задерживаться.

Итак, при капитализме, при преобладании капиталистической формы производства огромная часть населения лежала вне непосредственного воздействия капитала.

7.

Точно также касательно другой половины общественной деятельности, касательно политики, то же самое замечалось. Не все были причастны к государственному аппарату, бюрократизация происходила, рост государственных функций, она все ширилась, охватывала все более обширные сферы деятельности, но огромнейшая часть населения, большинство стояло вне всего этого, непосредственного отношения к этому левиафану не имело. Служила часть, господствовала ничтожная часть. Одно явление государственной жизни угрожало захватить всех—это военщина, солдатчина, милитаризм. Но и он, во-первых, щадил очень многих, во-вторых, он обрушивался со всей тяжестью лишь на молодежь, на ограниченный возраст. Если к термину пролетаризации подгоним в общественной политической жизни термин милитаризации, то можем сказать, что большинство населения лежало вне сферы непосредственного влияния бюрократизации и милитаризации.

Мы, все граждане, не имели почти никакого отношения прямо к государству, Верно, мы пользовались „государственными благами", мы носили государственные тяготы, но этим дело ограничивалось. В такие же приблизительно отношения мы вступали и с капиталом.

Прямое отношение к государству имел наемник государства, тот, кто служил ему за деньги или за совесть. Далее, прямое отношение к государству имел тот, кто был мобилизован. С одной стороны, стояли низшие чины государства, с другой стороны—высшие чины. Середку занимали равнодушные к проблеме государства, те, которые имели, как сказано, посредственное отношение.

С ростом демократизма крепнет связь между государством и гражданином. До либерализма связь была совершенно слабая. Вотчина. Владел вотчиной князь. Отношение жителя поместья заключается в уплате известных повинностей за то, что последний пользуется известным благом, это уплата за пользование его благами, его охраной, здесь перед нами, я бы сказал, покупатель государственных благ, видов упорядоченной жизни.

Либерализм, буржуйный мир в области общежития, шагнул вперед далеко за взаимоотношениями, царствовавшими в области хозяйства. Возьмем хотя бы армию. Это уже социалистический институт. Это не буржуазный институт. И на самом деле те страны, которые стояли на чисто-буржуазной точке зрения, не имели, не могли иметь армии, мобилизованной, они могли иметь лишь наемную армию.

Соединенные Штаты, Англия, вот классическия буржуазныя Государства. И они не имели до последнего времени почти никакой армии.

Армия—вот мост, который перекинут между либерализмом, капитализмом и социализмом. И когда речь зашла о ростках социализма при капитализме, надо было, не стыдясь и не боясь, указать на армию, мобилизованную армию. Раз можно мобилизовать гражданина насильно для защиты отечества, то его можно мобилизовать для защиты его экономики, его экономического отечества.

И когда синдикализм ищет института, на который социализм мог бы опереться, институт, выросший в капитализме, то он слеп, как крот, если он проглядел этот институт, противоречащий всему духу либерализма и капитализма. Надо было указать на понятие о родине, на отечество, на государство, как на институт, идущий вразрез со всем либерализмом, и который либерализм для своей погибели взрастил, всхолил.

Как бы то ни было, но при капитализме, как капитал, так и власть не охватывала всех жителей, всех членов общежития, а лишь отчасти. Маркс мечтал о концентрации капитала и о пролетаризации. Капитал не вырос до тех размеров, о которых грезил Маркс. А относительно власти и речи нет, что она далеко не всех охватывала.

8.

Всеобщее избирательное право, создание из народа первичного государственного органа, превращение всего народа в низшие чины политические не достигло

цели, не достаточно по той же самой причине, что выборы происходят периодически, и народ свободен, посмеивались критики этого учреждения, лишь раз в три года, дословное выражение Руссо, и этот институт все же многим напоминал институт военный. Военный институт охватывал все население на протяжении довольно короткого периода, а институт выборов через известные промежутки. Что воинская повинность имеет отношение к выборным правам, видно из кодекса, лишающего иностранцев права избирать и быть избранными и освобождает их на этом основании от воинской повинности. Воинская повинность и право голоса совпадают в известном смысле. Референдум немного подтянул народ, приблизил его к государству, но и референдум в демократических странах—явление исключительное.

Воинская повинность, избирательное право, равенство перед голосом, все это, несмотря на то, что это выросло на почве капитализма, что либерализм за это боролся, не есть капиталистическое явление. Дело здесь в том, что политика уходит вперед, оставляя сзади экономику, плетущуюся за ней. И когда возникают слишком кричащие противоречия между ними, тогда последнюю, экономику, приходится подогнать под первую, но выравняться с ней она не может.

И капитализм, точней, либерализм заложил в политике фундамент для социализма, я бы сказал, что он создал политический социализм. За ним идет социализм, который создает, опираясь на политику, на политический социализм, экономический либерализм, т. - е. государственное, национальное хозяйство, который вкладывает в понятие родины экономическое содержание.

Либерализм себя похоронил и похоронит своим милитаризмом. Возьмем Спарту, там, где каждый гражданин был воином, там он и пользовался всеми правами, там он и был соучастником законодательства.

Воинская повинность с правом гражданства находится в теснейшей неразрывнейшей связи. Первые законодательные собрания в Европе состояли из собраний дружинников. Дворянство пользовалось всеми правами, ибо оно воевало. В России при Николае привлечение евреев на войны и отличие и храбрость некоторых из них вызвало требование их эмансипации. И даже такой реакционер как Пуришкевич, во время войны, во время патриотического удара бормотал об эмансипации. То же самое было и на Западе. Эмансипация народа, низов совпадало с рекрутством, с мобилизацией. Падение возрастного ценза связано с мобилизацией молодых возрастов. Так собственно и мотивировало и Временное Правительство факт наделения молодежи избирательным правом, опускание его до 18-летнего возраста. Буржуазия в России лишена избирательных прав и лишена, освобождена от воинской повинности.

9.

Социализм, опираясь на политику, на государство создает национальное хозяйство, т.-е. он подчиняет экономику политике, вводит методы политические, методы, принятые буржуазией, либерализмом в области политики, он применяет в сфере экономики.

Сливая эти две области, он, социализм, уничтожает средние слои, он создает новый вид армии он охватит властью все население, тут „власть“ не в старом понимании, тут синтез власти и капитала

При социализме не должно быть никого, кто бы лежал вне сферы непосредственного соприкосновения, кто бы не имел отношения к власти, отношения к подчинению, кто бы не был „низшим чином“. При социализме проблема иерархии должна вырасти до колоссальнейших размеров, эта проблема должна стать во весь рост.

Конкуренция опускается, падает, теряет свое значение, т.-е. конкуренция равных—вот чья область суживается, остается конкуренция неравных, иерархизированных элементов, расставленных по ступенькам лестницы могущества. И при социализме получится столкновения низших с высшими. Собственно то, что погубило капитализм.

10.

Феодальный мир в области политики. Мелкие поместья, как политические единицы, вечные столкновения между ними, т.-е. беспрерывная конкуренция. Отно-

шения между князьком, сеньором и проч. жителями регулируются модусом собственничества, понятие патримониальное. Вырастает национальное государство. Конкуренция падает. Выходит из внутренних отношений и переходит, переносится в область внешних отношений. Конкуренция между народами, войны национальные, государственные, но не междоусобные, которыми был так богат средневековой мир. Прочь междоусобицы политические. Их место заняли войны национальные.

В области хозяйства. Конкуренция равных между мастером и мастером, между ремесленником и ремесленником. Рост хозяйства. Крупное производство. Мануфактура, затем машинное производство. Конкуренция не между мастером и мастером, которые сейчас об'единены, между которыми царит тесное содружество, сотрудничество. Конкуренция свирепствует между буржуем и буржуем, между капиталистом и капиталистом, между экономическим князьком и экономическим князьком. Конкуренция мастера с мастером, ремесленника с ремесленником—это борьба всех против всех в области хозяйства. И Гоббс конструировал свое представление о социальных отношениях по сбразцу и подобию экономических отношений, царствующих в его время.

Место варварского единоборства занимает конкуренция предприятий. Представьте себе буржуя в качестве воеводы, а его рабочих в качестве воинов, дружинников на почве экономической борьбы.

Как видно из этого, экономика отстает на целую эпоху, на целую ступень.

Конкуренции стала меньше при капитализме, так как первоначальный вид борьбы всех против всех сменился борьбой об'единенных против предприятий.

Но за то мы получили иерархию, которая заменила собой прежнюю конкуренцию.

Отношения, царящие между буржуем, экономическим царьком, и его подданными имеют характер не господства, не власти, а собственничества. Конкуренция здесь напоминает собой междоусобицы. Иерархии здесь столько, сколько при удельном княжестве. И конкуренции можно сказать, столько же, так как конкуренция здесь междоусобная.

Политика же ушла вперед. Она национальна. В пределах нации нет конкуренции, а есть иерархия, борьба за преобладание политическое, соперничание.

11.

Приходит социализм. Как капитализм есть феодализм в хозяйстве, так социализм есть либерализм, т.-е. национализм в экономике.

Так что социализм, охватывающий все население, создает высшие формы иерархии. Социализм, как либерализм в политике не оставил никого вне сферы посредственной или непосредственной государственной деятельности, превращая всех в граждан, почти всех в активных граждан, принимающих участие в государственной деятельности, то как низший чин военный, то как низший чин политический, избиратель; исключение, просто, из-за невыдержанности, он делал для женщин—не оставит никого вне сферы влияния организаторства. Он охватит всех и выравнит всех. Труженик молота, пера, сохи, иглы и проч. и меча он смешает, и создаст из них одну единую армию труда и борьбы. Он создаст товарищество вместо гражданства. Он расположит всех по ступенькам лестниц общежития и хозяйства.

При социализме каждый член общежития и хозяйста, т.-е. товарищ, примет непосредственное участие в государстве, в отправлении его функций: при шитье, при молотьбе и проч. И будет он находиться в этой непосредственной сопрокосновенности не день, не несколько лет, как при капитализме, служа в армии, а почти всю жизнь, всю жизнь работы и труда, каждый товарищ будет на правах низшего чина, не как при буржуазии, где первичный, непосредственный орган функционировал раз в течение нескольких лет, а постоянно, ежедневно, ежечасно.

Тогда иерархия даст себя чувствовать, как никогда, государственная иерархия в'естся в плоть общежития, и борьба с ней станет насущнейшей потребностью, вопросом жизни и смерти для всякого „товарища“.

12.

Решение вопроса об иерархии принадлежит анархизму, который гораздо удобнее было бы назвать политицизмом, если образовать слово наподобие социализма, который

можно было бы назвать и акапитализм, исходя из его отрицания, взяв же его положительное, назвали его социализмомом. Иерархизм есть вопрос не экономический, а, главным образом, политический. Социализм хочет овладеть социальными явлениями, но он не дал себе труда исследовать способы его овладевания. Это задача анархизма. Он должен овладеть политикой, регулировать не социальные отношения, а политические, поэтому отрицательно он назовется анархизмом, положительно политицизмом. И если социализм имеет своей основой классизм, коллективизм, то политицизм имеет своей основой типизм (учение о типах) и индивидуализм. Либерализм, социализм и анархизм—это три родные брата одного отца, или, вернее, отец есть либерализм, это самый примитивный, самый незначительный социализм, затем его сыном является социализм, Маркс есть последователь Адама Смита, Рикардо, сыном социализма является анархизм.

Либерализм хотел лишь создать почву, возможность для функционирования, зарождения социальных отношений, получающих свое отражение в сфере хозяйства и общежития. Отмена привилегий, преград, стоящих между человеком и человеком. Толерантизм в области религии. Уничтожение цехов, гильдий, отдельных таможен и племен. Почва уготовлена для широкой общественности.

Социализм хочет регулировать сознательно все общественное, что в нашем обществе, он хочет сделать все общественное социальным, т.-е. перевести это в область политики, взяв социальные отношения и превратив их в политические.

Анархизм, интериндивидуализм хочет овладеть всем политическим и поэтому его следует назвать политицизмом, упорядочение политики. Овладение не социальным явлением, а осознанное овладение способом регулирования социальных явлений.

Либерализм создал условия совершения, происхождения „социального".

Социализм—сознательное отношение, планомерность в социальном явлении.

Анархизм есть сознательность, упорядоченность в организации „социального", т.-е. политицизм.

Все три движения заняты упорядочением, сознательным вмешательством в общественные дела, и действа, и процессы.

13.

На протяжении деятельности этих идеалов и движений видим, наблюдаем рост иерархии и оттеснение конкурренции, т.-е. рост связанности, спаянности, сплоченности, интериндивидуальности в несознательном виде.

При социализме мы остановились на международной конкурренции.

Здесь две логические возможности, или экономика, слившись в хозяйстве с политикой, будет давить на последнюю и не даст ей уйти вперед, удалиться, так что произойдет внутреннее равномерное развитие этих двух сфер. И от национализма хозяйства пойдем к интернационализму в хозяйстве, а затем к универсализму, к космоэкономизму, что будет означать программу-максимум интериндивидуализма, или же политика, как и раньше, удалится, уйдет вперед и будет таскать на буксире экономику.

Фактически произойдет так, что экономика на зло экономическому материализму будет в учениках у политики.

Когда социализм станет на стадии национализма в экономике, то он в политике станет на ступень интернационализма. Он создаст свой интернационал, т.-е. трест, соединение классовых пролетарских республик. Это уже замечается.

Тут опять политическая конкурренция вступит в новую стадию, международный оборот, что стало замечаться и при буржуазии, станет учащаться, пока целая серия государств, республик трудовых, советских не сольется воедино, образуя одно об'единение на тех или иных началах.

А внутри союза, внутри интернационала произойдет экономическая конкурренция, борьба производств национальных.

Тогда для интернационализации производства придется опереться на политическое об'единение, делать то, что делал социализм при переходе от частной собственности к национальной.

Следующий шаг, производство, хозяйство станет достоянием Интернационала, и будет создана единая хозяйственная система.

Конкурренция экономическая уменьшится. Также и конкурренция политическая. Тогда политика сделает еще один шаг, она станет мировой, универсальной, охватит весь мир, космос, осуществится космополитизм. А хозяйство будет интернациональным. А затем сольется воедино и станет универсальным, осуществится космоэкономизм.

Тогда наступит конец всякой конкурренции. И так как иерархизация всегда служила заменой конкурренции, то в этот момент наступит и конец иерархии в области социологии.

Универсализация общежития и хозяйства положит конец всякой конкурренции и вместе с тем убьет и иерархию, т.-е. воцарится анархия, интериндивидуализм авто организация.

VIII.

Фетишизм права

1.

Все рассуждения о праве, несмотря на то, что право имеет свою мировую философию, начиная с греческих мыслителей, несмотря на то, что оно имеет свою особую дисциплину, выделяющую его в особую отрасль науки, несмотря на то, что в этой области создана целая серия более или менее удачных систем, как естественно-правовая школа, историческая школа и проч., обличают, что мы находимся в полосе фетишизма. Право как бы отделилось, автономизировалось, обоготворилось, стало кумиром. Толкуют о нормах, о нравственных, о правовых, о технических. Но как бы все забыли, что здесь речь идет о поведении, о сумме поступков.

Недоумение, когда вы знакомитесь с этим вопросом, еще усиливается тем обстоятельством, что, в конце концов, нет ни одного мыслителя, который бы не знал, что здесь речь идет о поведении. Но это последнее обстоятельство осталось как бы в тени, а авансцену внимания занимает норма, несмотря на то, что она только тень, что она отражение более или менее удачное, адекватное поведению.

Поведение состоит из поступков. Наши поступки социальны, верней, интериндивидуальны. И лишь такие поступки подвержены праву. Поступок, рассчитанный на свой замкнутый собственный круг действий, никакого отношения к праву не имеет, так как все знают и признают, что право дисциплина социальная, по-нашему, интериндивидуальная.

И сколько неудачных, неудовлетворительных определений дано праву. О что они все разбились? Почти все разбиваются одним способом, на один лад. Стоит вам формулировать вопрос: как? и определение обнаруживает все свое пустословие, всю свою тавтологию.

Иеринг. Право есть защищенный интерес. Задайте вопрос: как он защищен. Если вы защищаете этот интерес с оружием в руках, скажем, вас пришли арестовать. Ваш интерес есть свобода, свобода передвижения. Вы защищаете этот интерес, оказываете сопротивление. Разве этот акт будет рассмотрен, как правовой акт. Ничуть не бывало. И дело тут вовсе не в том, что вы индивидуально оказываете сопротивление. Вы можете собирать целую компанию. Вам ничего не поможет. Ваш поступок будет считаться незаконным и вы понесете должную кару за ваше сопротивление властям, несмотря на то, что вы, бесспорно, защищали ваш интерес. Чтобы рассеять недоразумение, придется добавить, что защищенный интерес должен быть защищен правовым образом. Ясно, что тут никакого определения нет, а есть лишь тавтология.

Возьмем определение Трубецкого. Право есть ограниченная свобода. При рабстве, когда вы совершенно лишены всякой доли воли и свободы, то не может быть речи ни о каком праве, когда вам, как Богу, все дозволено, когда ваша свобода может расширяться до безконечности, то здесь опять право не подходит, если же ваша свобода обставлена некоторыми ограничениями, тогда имеется налицо право.

Не будем входить в то, что это определение ужасно сбивчиво, оно само есть эклектика. Но если формулируем наш вопрос „как?“, то и это определение окажется разбитым.

Верно, свобода ограничена. Но я могу ограничивать вашу свободу действий произволом, скажем, я запру вас на замок, то разве мое действие станет правым от того, что я ограничил вашу свободу и не лишил ее вас совсем. И если этот пример неудачен, потому что он индивидуален, то представим себе, что вас запираем мы, а не я. Придется на это ответить, что свобода должна быть ограничена правовым образом, тогда это ограничение сможет творить право. Опять тавтология. Ту же участь постигнет и самое остроумное определение, дефинацию Петражицкого, императивно-аттрибутивную норму, двухстороннюю связующую норму. Тут тот же вопрос, как она связывает? Придется ответить: правовым образом, юридически связывает.

2.

Мы бы предложили следующее определение: право есть общественно-необходимое и общественно-полезное над кем нибудь совершенное насилие, то-есть общественно необходимый и общественно-полезный социальный труд.

Но здесь нельзя забыть, что право есть не форма, а хозяйство есть содержание, чем хотел кастрировать все наше общежитие экономический материалист, юрист Штаммлер, а отражение поступков, отражение отношений, отражение насилия, происходящего в пределах общения.

Я совершаю насилие над самим собой, заставляю себя сидеть за письменным столом и излагать свою мысль. Этот поступок лежит вне права, он никого не касается. Я насилую самого себя. Я сношусь с самим собой, я работаю над самим собой, как над об'ектом. Это мое личное дело, так как это относится к урегулированию моих отношений с моими суб'ектами, моими я-ями. И все это внутреннее мое общежитие я регулирую, я направляю по-своему.

Я совершаю насилие над ближним, я его задеваю, я его выселяю, вселяю и т. п. Если мой поступок считается общественно необходимым и общественно-полезным, то он будет считаться правовым.

Но мы должны все внимание сосредоточить на наших поступках. Поступок, если он имеет ценность, полезность только для меня, то он лежит вне всякого права, тогда он мой поступок. Если же мой поступок вреден, губителен, злоносен только для меня, то он опять-таки лежит вне права, лежит вне сферы оборота социального, политического и никакого отношения к праву не имеет.

Каждый поступок содержит в себе элементы труда, усилий, затраты энергий с одной стороны, со стороны суб'екта, со стороны совершающего данный поступок и элемент насилия со стороны об'екта, со стороны страдательного лица, со стороны того, над кем совершился данный поступок. Принимает ли он данное действие добровольно или недобровольно, нас здесь совершенно не касается. Если действующее лицо и страдательное совпадают, то усилие и насилие совпадают, мы имеем в данном случае личное суб'ективное явление. Человек, индивид сам себя неволит. Здесь есть насилие. И вся наша жизнь есть почти всегда усилие и насилие над самим собой. Каждый акт воли есть акт насилия, акт напряжения, акт затраты энергии, акт излучения воли, акт личного труда и личного насилия.

Такие поступки никого не касаются. Я тогда нахожусь в индивидуальном внутренне-социальном, если можно так выразиться, обороте с самим собой. Такие поступки, которые завершаются внутри круга личного, частного, не подлежат ничьей оценке.

Если же действительное и страдательное лицо не совпадают, тогда возникает отношение между двумя лицами, возникает оборот, возникает социальный или политический обмен.

Эти отношения вовсе не должны быть обязательно экономического свойства. Свести все отношения людские к экономике, свести поступки людей к экономическому труду, значит их насиловать до невозможного, значит быть экономическим материалистом во что бы то ни стало.

Быть в сфере человеческих поступков экономистом не лучше, чем быть юристом в сфере экономического труда Это значит выдать себе аттестат бедности, который себе и выдал, невзирая на всю свою ученость, Штаммлер.

Я разбил товарищу, другу или недругу череп Разве это экономический труд. Такое явление есть правовое оно может быть законным или незаконным. Если он на меня набросился и это была единственная мера самозащиты, то мой поступок, хотя он содержит в себе насилие, но он общественно необходим и общественно полезен, так как я избавил общество от негодяя или, по крайней мере, отучил его от мысли о безнаказанности, безрискованности подобных покушений. Если же мой поступок был ничем не вызван кроме как моим личным чувством ненависти, или личным эгоистическим или разбойничьим расчетом, то этот поступок мой считается отрицательным, ставится на мой пассив, то есть он незаконный, он даже преступный. И тогда возникает вопрос об уплате мною за причиненный вред общежитию данным актом, возникает вопрос о компенсации.

3.

Я уже несколько раз говорил о том, что социально политические отношения ушли далеко вперед сравнительно с нашими экономическими. В то время, как в экономической сфере в буржуазном порядке мы стоим на грани между социальным и индивидуальным, и все отношения там полусоциальны и полуиндивидуальны, здесь мы находимся обеими ногами в сфере совместного, социального, общежительного.

Там господствует обмен, купля и продажа, неорганизованные взаимоотношения. Здесь ничего подобного. Отношения организованы. Вовсе не требуется, чтобы каждый поступок вызывал сейчас в качестве компенсации, вознаграждения, положительной реакции или наказания, отрицательной реакции. Существует общежительный оборот, так сказать общежительная сокровищница, откуда каждый черпает свои поступки, права и свои поступки обязанности

Я поступаю, я действую. Мой поступок принимается. Он считается ценным для данного общежития, или равнодушным, когда он данного общежития не затрагивает, и считается вредным, когда он задевает отрицательно интересы данного общежития. Тогда я достоин кары, я должен компенсировать. Каждый социальный поступок или творит социальную ценность, или уничтожает таковую. Ценности хозяйственного свойства, ценности меновые творит труд. Ценности соцнального свойства творит поступок. Но как трудом можно не только создать ценность, но и уничтожить ценность, труд лишь тогда, когда он полезен, создает ценность, точно также и социальный труд, социальный поступок Полезность его не должна быть абсолютной, признанной для всех времен и всех народов. Нисколько. Возделывание табачных плантаций можно считать с точки зрения гигиены вредным не полезным трудом, но это суждение должно вынести само общество. И тогда этот труд будет считаться неполезным и не создаст никакой ценности экономической, меновой, а будет лишь времяпрепровождением, затратой или растратой энергии.

В буржуазном обществе экономические поступки носят свою общественность скрыто в себе, с виду, по форме своего совершения и циркуляции они индивидуальны, то-есть каждый из них носит с собой, требует сейчас же своей компенсации. Я беру у тебя бумагу, шоколад, ты берешь у меня сейчас же деньги или другой товар, равный тому, что я взял у тебя. Бывает, что ждут, тогда возникают отношения доверия, отношения кредита. Но и эти отношения адекватны, они соответственны индивидуально. Если мы подойдем к явлениям чекового и текущего счета, тогда мы начнем приближаться к социальным и к политическим поступкам. Все поступки мои пишутся на текущий счет.

Хозяйство едино. Нет ни торговли, ни обмена. Обмен происходит без специального, индивидуального, каждый раз преходящего в движение, эквивалента.

Общение едино. Мои поступки считаются правильными, если они полезны. За них ничего не получаю в ту же минуту, да я и не связываюсь с отдельным лицом. За то, что я совершаю известные поступки, за это я, так сказать, плачу известными поступками, плачу не x, не y, а общежитию, так как я с ним имею дело, а не с частным лицом.

Буржуазное общение не выдержано в этом смысле, но и оно не чисто буржуазно, оно буржуазно лишь в хозяйстве.

Меня мобилизуют, надо мною совершают насилие. Это насилие считается необходимым и полезным. Мне компенсируют за это упорядоченным охранением от внешних врагов, порядком. И, собственно, не мне, компенсируют, а компенсируют общежитию, совокупности людей, меня как субъекта почти что нет, ибо не мне платят за мои труды, а общежитию.

И так все поступки. Нет обмена. А есть единство.

Как при социализме не вынесем на рынок сделанное мною за сегодняшний день и не станем обменивать их, сделанные мною продукты, которые стали при обмене товарами, на другие продукты, а лишь будем трудиться и за это получим все нам нужное, и если я сегодня, почему-либо, по уважительной причине, по болезни ли или по другой причине, ничего не делал, то это не значит, что сегодня мне нечего будет есть,—так, собственно, происходит с нашими социальными поступками, которые давно находятся в стадии социализма. Я поступаю. Свой поступок, есть ли он право или исполнение обязанностей, я вовсе не меняю. Я не договариваюсь на каждом шагу с моим ближним, видишь, мол, я не трогаю твоей шубы, что у тебя на плечах, а потому не отнимай моего кошелька. Все мои поступки, все действия и воздержания от действия входят в общий баланс поведения, которое ведет данное общение.

4.

Какая нелогичность у Кропоткина в его структуре общежития. Он перевернул современный порядок. У нас, при буржуазии каждый экономический акт, каждая капля труда учитывается, идет всегда обмен, получают по труду за вычетом доли эксплоатации, коллективисты предлагают ввести боны и учесть при распределении благ сумму затраты энергии. Он противится этому, находя это неправильным, несправедливым, неудобным и, главным образом, нецелесообразным, в виду того, что введение специальной бухгалтерии для каждого производящего слишком громоздко и будет стоить хозяйству слишком дорого. Тут же он все это забывает и требует, чтобы в общении, которое является социальным производством, велась точнейшая бухгалтерия каждого поступка, каждого отношения и взаимоотношения, чтобы каждый поступающий, действующий социально получал полный продукт своего труда, чтобы его обязанности и его права были уравновешаны, чтобы они совпадали точь в точь, чтобы о каждом поступке специально договаривались. Ничего нельзя было бы возражать против этого, если бы Кропоткин придерживался таких же взглядов и на счет экономических поступков.

Договариваться по каждому случаю, по каждому поступку, значит восстановить частный обмен поступков, услуг, то-есть ввести торговлю действий.

Если в хозяйстве сумма затраченной энергии, приложенная известным образом к обработке материала, создает продукт, этот продукт пускается в оборот, так как он не рассчитан на личное употребление, то здесь в обмене сумма затраченной энергии производит эффект и этот эффект, этот сам поступок обменивается на другой поступок. Если бы шла торговля, частичный обмен услуг, тогда мы бы находились в примитивной эпохе регулировки отношений посредством взаимной помощи. Идем, я тебе помогу сегодня, а ты мне поможешь завтра. И теперь еще существует целый ряд таких поступков, непредвиденных общежитием, находящихся в отсталой отрасли поведения, которые являются настолько причудливо случайными, что они не поддаются регулировке, контролю общежительному, и они „обмениваются". Эти поступки носят название в обиходе „услуги". Я тебе оказал услугу, помог тебе. За то ты обязан быть мне благодарным и ты должен вернуть мне эту услугу. Дружба обыкновенно означает союз договорный или молчаливый между двумя членами общежития, которые состоят в отношениях обмена услуг, обмена, торговли поступков.

Планы Кропоткина все метят в эту точку, чтобы общежитие вернулось в то допотопное состояние, когда все взаимоотношения регулировались методом обмена услуг, способом договорным.

Там, где общение более или менее упорядочено, социализировано, там нет, обмена там нет самостоятельных производителей, там продукт принадлежит, относится в общую сокро-

вищницу, откуда производящий получает все, что ему нужно; говоря не языком экономическим, поступающий действует на основе права, за его поступки и за его воздержание от известных поступков он получает все выгоды социальной упорядоченной, урегулированной жизни в цивилизованном общежитии.

В общении мы стоим под знаком коммунизма. Мы должны стоять под знаком интериндивидуализма—универсализма. Но это особая проблема.

5.

Право есть тот общий модус для оборота поступков. Право есть социальная ценность лежащая во всех поступках, которые находятся, которые циркулируют в нашем общежительном обороте.

С правом случилось то, что случается обыкновенно с такими явлениями, символ вытесняет символизируемого и он начинает фигурировать вместо него. И требуется проделать усилие мыслительное, чтобы добраться до сути, до содержимого, отвлекаясь от оболочки

Право есть отношение человеческих поступков, их меновая ценность, которая реализуется без обмена в постоянном обороте. Право есть, если можно так выразиться, чековая пожизненная система для поступающих, для действующих лиц.

Идем далеко вглубь времен. Человек поступает, действует. Каждый его поступок сейчас же обменивается, непосредственно, индивидуально обменивается. Он обидел „х", „х" мстит, я получаю сейчас же мой поступок обратно. Тут не обмен, а захват. Ведь начало обмена лежит в захвате. Разве древние торговали, обменивали, они захватывали, взяли силой. вот первоначальный вид обмена, доисторический для экономических отношений.

Первые поступки являются не поступками обмена, не поступками услуг, а поступками „захвата", поступками отрицательными по отношению к ближнему, к соседу.

Чтобы окончательно удостовериться в этом, можем взять для примера отношения народов, отношения племен. Их взаимоотношения исчерпываются столкновениями, драками, воинами Вторая стадия, за захватом, за отрицательным поступком идет положительный поступок, взаимная услуга, обмен услуг, взаимная помощь. Явления взаимной помощи не исключают окончательно явлений взаимных помех Ведь и сейчас замечаем, что несмотря на то, что форма обмена является господствующей в цивилизованном буржуазном обществе, тем не менее остались и поныне рудименты старых отживших форм захвата, отнятия насильственного, как грабеж, как воровство. И воровство и грабеж были первоначально основными формами регулирования отношения Это право войны, право сильного, право кражи. И пусть это кажется современному человеку странным, диким непонятным, но оно было так. Право захвата, вот первоначальная форма собственности первоначальная форма владения имуществом, землей, женой, которая считалась собственностью. На этом праве держался весь институт рабства. В международном праве оно уцелело в виде анексии и контрибуции, что на простом языке означает право грабежа и право воровства.

Мы так привыкли считать грабеж неправовым явлением, что нам трудно поставить рядом, связать в одно предложение право воровства. Но надо делать усилие над своими привычками мышления, вооружиться исторической перспективой и не сердиться, а понимать древних дикарей и современных.

Кропоткин слишком идеализирует человеческое общение, человека и общество, выдвигая один принцип взаимопомощи, есть и другой принцип, который изначальнее взаимопомощи, взаимопомеха, взаимоборьба. Борьба предшествует миру, отталкивание есть первоначальная связь, есть первый выход из равнодушия, из невстречи, из несостояния ни в какой связи.

Захват в экономических отношениях. Борьба, ссора, драка, повреждение во взаимоотношениях общежительных.

Око за око, зуб за зуб, можно переложить на положительный язык, помеха за помеху, удар за удар, услуга за услугу. Око за око есть примитивный, первоначальный *обмен* поступков, убийство за убийство.

В обмене лежит корень всякого права, в обмене поступков и действий, в равенстве затраты и повреждений.

6.

Обмен поступков. Как он совершался? Очень просто, поступающие непосредственно сталкивались. Сталкиваясь, в древности, они олицетворяли собой не себя лично, а свою семью, свою общину, свой класс, свое племя, за их поступки отвечало племя, а не отдельный человек, которого к тому времени не было

„Той мерой, которой вы будите мерить, вам будут мерить"— вот все право. Ибо поступок, как предмет, как продук обменивается, компенсируется. Если вчитаться в древнее право, то вы всюду увидите то же правило: мера за меру.

Все богословие стоит на этой точке зрения и не даром. Оно занято обменом. За захват отвечают захватом. Бог карает. Как? Руководствуясь тем же правилом. Хитроумно толкование древних книг поведения бога по отношению к фараону, его меры наказания чем вызваны? Они толкуют всю эту сказочную криминалистику как реакцию на поступки преступника.

Что это за метод? Это хозяйственный, гражданский метод в применении к общению, к поступкам. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб (Исход 21/24).

Человек, его поступок, его член рассматривался, как продукт, товар за товар, ценность за ценность, труд за труд, насилие за насилие — равенство, обмен, торговля поступков. Личная месть. Самозащита. Самосуд — вот методы обмена поступков. Тут непосредственные отношения между поступающим и поступающим. То же самое относительно услуг. Услуга компенсировалась услугой, помощь помощью. При общении в пределах единицы общежительной применяется тот же метод компенсации зла. Но это дело не личное, но всех, все члены общежития должны это выполнить. Тут слагается *обычай*, нрав, норма. Здесь устанавливается общественная ценность.

Когда Штирнер утверждает, что все, что я могу делать, это я в праве делать, то он прав, как философ, он прав, если он занят генезисом, происхождением права. тогда, конечно, всякий поступок носит в себе свою ценность для себя. Раз речь идет о захвате, то не может быть речи об обмене, о предложении пропукта за продукт. Всякий поступок, который увенчался успехом есть правовой поступок, то-есть ценный, содержит в себе ценность. Но это применимо к тому времени, когда другого критерия кроме личного не было. Как только появляется обмен, то не всякий поступок есть право. Я ударил Н. Мой поступок не правовой, так как это захватный поступок. Н ответил ударом, его поступок правовой. Так как он действовал на основе обмена, он взял у меня то, что я у него взял.

Исходя из обмена поступков, из торговли, двигаемся по пути приближения к социализации, национализации общения и всех постугков.

Око за око в криминалистике считается варварством. Ибо месть личная уступает место общественной мести. Общественная вовсе не должна исходить из данного явления, из данного разового обмена. Она имеет другие взгляды, другие цели, она руководится совершенно другой целесообразностью. Тут уже отступление от простого непосредственного прикидывания поступка к поступку и взвешивания их. Око за око заменяется деньгами. За убийство наше общество вовсе не убивает. Иногда прибегает к смертной казни, и когда вовсе нет наличия смертного случая. Тут выступают общие соображения. Соображения спроса и предложения, если можно так выразиться, поступков добродетельных или вредных, все зависит от состояния общения, от баланса поступков, в минуты опасности карается малейший поступок вовсе не соразмерно с преступлением, с ущербом причиненным им.

7.

Появляется суд. Камера регулировки поступков. Это национализация торговли поступков. Обычай, нрав, — вот социалистические элементы, внесенные в обмен поступков.

Самосуд—это частная торговля, частный индивидуальный обмен. Суд, разбор по обычаю, это еще обмен, но с общим эквивалентом. Это еще не социализация поведения, а социализация поступков, конфликтов уже совершенных, и именно конфликтов.

Затем еще один шаг, нормируется поведение вообще, конфликты предусматриваются, устанавливаются нормы обмена поступков, разбор идет не сзади, а спереди. Он заранее предписывает, как обменяться поступками, чтобы эти поступки не вызывали конфликта и лишние ссоры при обмене поступков в частичном поведении.

Вся эта социализация общения производства социального простирается лишь на внутреннюю жизнь внешняя остается, как была, не нормированной, не предусмотренной, она регулируется захватом или обменом. Но область внутреннего ширится и ширится, она охватывает все больший круг действий и больший круг людей, охватывает целые края, целые племена. Затем возникает законодательство, это уже фаза социализации всего общения. Тут речь идет не о конфликте, а о поступках, об актах, об обязанностях по отношению к общежитию, к общению, ко всему укладу жизни. Здесь социализация производства обшежительного. Здесь социализируется все общение Здесь возникает право в том понимании, в котором современность привыкла его употреблять.

Общение переходит из стадии социализации в стадию политизации. Поступок не обменивается вовсе, но и наблюдение за ним вызывает новую дифференциацию. В случая совершения членом общежития отрицательного поступка, то на него реагирует не все общежитие, а только та часть, которая специально занимается *общением*, трудится на почве регулировки отношений, и средь этой части сказывается разрез, часть трудится над устранением этого поступка, а другая часть занята наблюдением за устранением, часть совершает насилие, отвечает на насилие совершенное членом общежития насилием общественно необходимым и общественно полезным, а другая часть тем, что она организовывает, *нормирует* это насилие, устанавливает его границы, его законность.

3.

Право переходит в закон.

Закон рассматривает общий абстрактный поступок. Если право мы приравнили к ценности, то закон может быть приравнен к цене. Закон это цена поступка.

Фетишизм царствующий в праве ничто сравнительно с тем ужаснейшим фетишизмом, который пропитывает область закона.

Совершенно забыли и почти что никогда не знали, что закон есть лишь цена поступков как положительных, так и отрицательных. Ибо цена ведь одинаково существует, и тогда, когда вы меняете вещь, то-есть товар, или когда вы его уничтожаете и остаетесь должны ту сумму, которая обозначена на товаре. Если цены устанавливаются произвольно, в борьбе спроса и предложения, то это явление капиталистического свойства. При социализме „цена“ установится заранее, исходя из затраты. Верней „цена“, как таковая, стушуется и останется продукт, она скроется. Но после глубокого анализа вы ее вскроете, так как продукты и при социализме получатся лишь как награждение за труд, то-есть продукт за продукт. Но если это происходит сейчас при капитализме индивидуально, открыто, то тогда это явление осложнится тем, что оно станет социальным насквозь. И продукт за продукт получит не данное лицо, а данный коллектив То, что он произведет, то он и получит, то-есть он совершает тот же обмен, но он совершает его, так сказать, с самим собой, оставляя излишек, как прибавочный труд для будущих поколений. Потребление и производство будут находиться в непосредственной связи, так что „обмен“ совершится чисто общественно, организованно.

Так как общение в этой стадии, о которой мы говорим, давно социализировано, и высоко социализировано, то обмен поступков скрыт, цены их так стушеваны, что имеется лишь общии регулятор, устанавливающий взаимоотношения между потреблением и производством в общежитии.

Здесь надо добавить, что общежитие равняется социальному хозяйству. Чтобы хозяйство могло свести концы с концами, требуется установка отношений между общением и цивилизацией, то-есть потреблением социальных благ, выгод, ценностей, как охрана жизни, неприкосновенности, обеспеченности и упорядоченности жизни, здесь грань слияния хозяйства с общением, которое немыслимо в нашем современном коллосальном расцвете вне общественности.

Закон есть общий регулятор, действующий скрыто, глубоко, как механизм для упорядочения обмена поступков, который давно принял социальный характер. Регулятор социализированного поведения. Но когда вскрываешь его, анализируешь, спускаешься на несколько ступеней ниже вглубь истории культуры, то убеждаешься что это то, что может быть названо „ценой" поступков.

9.

Я уже несколько раз сказал, что политические явления гораздо сложнее экономических, поэтому я прибегаю при их раскрытии и анализме к помощи вспомогательных понятий и явлений, заимствованных из области хозяйственных отношений. И лишь при их свете и посредством их образов нам дается излагать нашу мысль. Но я предупреждаю, что это лишь вспомогательные орудия.

Вместо производства и потребления я бы лучше говорил о положительном и об отрицательном производстве. Положительное производство есть создание продуктов, обработка их, добывание их, добывающая промышленность, культивирующая (земледелие, садоводство, животноводство) и обрабатывающая промышленность. Это все положительно. Отрицательно Есть потребление продуктов, изнашивание и уничтожение. Потребление есть полнейшая ассимиляция продуктов, Обыкновенно оно находится в связи с культивирующей промышленностью, если отбросим домашнюю обрабатывающую промышленность, как кухню, где обработка и потребление связаны во времени, следуя быстрым темпом один за другим. Потребление есть отрицательная обрабатывающая промышленность. Обработка эта происходит индивидуально, социальность или интериндивидуальность здесь выражается лишь в общем характере, в общем фоне, но не в совместности выполнения, *выполнение индивидуально*, но форма социальна, шаблонна. Я называю эту работу отрицательной, потому что исхожу в данный момент из интересов продуктов. Для человека же эта деятельность положительного свойства, удовлетворение потребностей с помощью известных продуктов, служащих в данном случае материалом удовлетворения. С точки зрения человека потребление, скажем, питание, равняется топке, мазке колес, без этого двигатель, автомат, механизм не приводится в движение. Продукты это материал „производства", как масло для колес, как вода для паровой машины.

Далее идет изнашивание, часть продуктов уничтожается медленно исподволь, не катастрофически, не революционно, а эволюционно, постепенно. Дом старится, начинает гнить. Кренится, боченится и, наконец, свалился

Культура есть борьба за долговечность, за замедленность этого процесса, за прочность, практичность продуктов, орудий. Каменный дом стоить дольше, изнашивается медленнее, чем деревянный, подверженный гниению и прочим разлагающим процессам. Хорошее сукно носится дольше. Борьба за долголетие есть признак, просто, культуры. Письмо есть борьба с мимолетностью слова, с тем, что оно изнашивается, расплывается, утопает, исчезает в миг. Но все то, что пускается в ход, изнашивается, хотя медленно. Мостовые портятся, дома требуют ремонта. Машины надо чинить или они изнашиваются, а потом ломаются.

Затем идет уничтожение. Это катастрофическое потребление без потребления, это собственно, разрушение, слом, срыв.

10.

Потребление приносит пользу, разве лишь когда оно переходит в излишество, тогда оно становится вредным. Установление этого предела дело медицины, гигиены, когда речь идет о человеке, и технологии, когда речь идет о машине Вообще, потребление полезно. И оно вызвало к жизни все производство Нужно потреблять и нечего потреблять—приходится создавать продукты. Оно источник производства, оно его цель.

Изнашивание опять неизбежно, безусловно неизбежно. Все что находится в работе, изнашивается, и приходится через известный период заменить изношенное новым.

Уничтожение бывает двоякое, бывает полезное и бывает вредное. Полезным оно бывает, когда оно наталкивается на отрицательнсе явление или предмет. Уничтожение змея полезное занятие, ибо его бытие есть отрицательное явление с точки зрения безопасности человека, уничтожение хищного зверя—полезно, так как это отрицание отрицания, и минус минуса есть плюс, устранение негативного есть позитивное явление, положительная работа.

Уничтожение полезно, когда речь идет о помехе, о том, что занимает место напрасно, когда место нужно, срыв старого, обветшалого, или когда речь идет об оперировании вредного члена. Такое уничтожение полезно, ибо оно, глубже вникая, есть созидательное занятие, и оно переходит в положительное производство. И на самом деле, всякая обрабатывающая промышленность граничит по существу, есть созидательное разрушение, разрушение, дающее положительные результаты, то есть обработка, собственно, тогда это не разрушение, а ошлифовка, удаление, уничтожение дурных сторон и выявление доброкачественых.

Если перейдем от этого к общению, к социальному производству, к производству социальных взаимоотношений, то и там найдете два вида производства положительное, созидание интериндивидуальностей, солидаризация, выявление, совершение поступков, могущих служить правилом поведения для всех, то-есть содействующих общей спайке, общности, совместности, способствующих взаимопомощи, словом, производящих солидаризмов, социальных фабрикатов; и производство отрицательное.

11.

Отрицательное производство придется, как и раньше, делить на несколько категорий.

Потребление социальное, пользование социальной культурной жизнью в общежитии совместно с себе равными, потребление социальных благ для удовлетворения социального инстинкта, социального голода. Я беру потребность в совместности, в интериндивидуальности совершенно идеально, абстрагируя ее от ея конкретных форм хозяйства, сожительства, семьи, психологии и проч.

Все то, что общение создает, то потребляется членами данного общества.

В начале потребление с производством было неразрывно, непосредственно связано, представляли собой простую связь причин и следствий, идущих вслед одна за другой Я самозащищался, охранял собственными силами совместно с ближайшими соседями мой дом и пользовался безопастностью. Я пользовался, и моя жена, и мои дети, последние, в большинстве случаев, участвовали в этом непосредственно.

После, с ростом культуры, потребление стало отделяться от производства, культурная жизнь отошла от тягот по общению, по охране, по борьбе за общение, за произведение социальных, добрососедских отношений.

Работа по общению стала специальностью, которая вплелась в общую цепь разделения социального труда. Потребление означает пользоваться всеми благами упорядоченного общежития, непотребность в постоянном вооружении, в постоянной самозащите, отсутствие страха за свое имущество. И в случае обиды со стороны индивидуально сильного, хулигана — пользование защитой, совместной организованной защитой, в которой я лично, на высоких ступенях культуры, не принимаю никакого участия. Даже более, участие в охране общения, в социальном производстве считается неправильным поступком и карается, так как оно нарушает общий план работы, это квалифицируется как преступление, как вмешательство не в свою сферу, которая допускается, то-есть прощается, не влечет за собой взыскания лишь в исключительных случаях. Самоправство строго воспрещается, не допускается в культурном обществе. И жалобы Иеринга на это явление и его ссылки на австрийский кодекс закона, его *страхи*, что человек может погибнуть, должен перенести всякие обиды и не имеет права прибегнуть к самозащите, обличает в этом великом юристе опять-таки фетишиста права и закона, не видящего за ними их социальной ткани, их обмена поступков, не замечающего производства социальности в общении и не понимающего, что это обыкновенное следствие специализации и разделения труда.

Потребление есть положительное явление. Оно отрицательно лишь к точки зрения благ, употребленных, ассимилированных, которые придется произвести.

Можно сказать, что прямого, простого потребления здесь в общежитии нет, а есть лишь пользование и изнашивание. Так как тут вряд ли есть катастрофическое уничтожение благ, социальных продуктов Можно квалифицировать как потребление лишь пользование теми поступками, услугами личными, которые мне известные лица, представляющие собой общение, оказывают.

Пример На меня набросился хулиган Я стал кричать: караул! Раздался свисток. Появился милиционер. Он схватил хулигана, отвел его в участок Свист. Движения милиционера по ходьбе, по поимке хулигана, отвод его в участок Все эти поступки я потребляю, они исчезают катастрофически. Но они не существовали до этого, до этого момента они были в потенции. Здесь вспоминаешь невольно печение блинов. Их пекут, и я прямо с огня их уписываю. Хулиган Нападение Поимка его Мое спасение. Все это моментальные явления Действия, поступки я потребляю катастрофически. Они тут же исчезают. Но они специально для меня и совершаются Но касательно системы, касательно милицейского режима здесь изнашивание Я их подтачиваю помаленьку, и не я один, а все граждане, все члены общежития вместе взятые.

И потребление, и изнашивание отрицательно—положительные явления. Это неизбежно. Что касается самого порядка охраны, то, можно сказать, что он и не изнашивается. Но то же самое можно сказать касательно домовой системы, режима, порядка, идеи сидения в домах или постройки домов, что она *в известном смысле* вечна, изнашивается лишь конкретный дом, конкретная машина, конкретное орудие, а не орудия вообще, то же и здесь.

Я потребляю, я изнашиваю социальные блага и социальные институты, социальный режим. Производят одни, потребляют другие, так как здесь давно введено разделение труда, так что создание социальных благ рассчитано не на собственное потребление. Городовой, милиционер, уголовный розыск не затем следит, чтобы их не обворовывали, а затем, чтобы граждан, членов данного общества не обижали. Но кроме этих действий, изнашивание и потребление, которые, собственно, не называются действиями, не называются работой, а являются скорей наслаждением, пользованием работой или уже сделанным продуктом

Я живу в доме—это не работа, это *„потребление“*, это „применение“ дома, это пользование домом. Потребление относится к продуктам, которые сейчас же ассимилируются. Лампа потребляет керосин. Печь потребляет дрова. Применение относится к орудиям. Применяют машину при работе. Орудие изнашивается. Далее идет пользование. Пользование не связано с работой, а *с наслаждением*, с самоцелью. Все это отрицательно с точки зрения продуктов, но положительно с точки зрения человека и общества.

12.

Но вот я ломаю дом. Я производу работу. Я не пользуюсь и не применяю и не потребляю, я разрушаю, я уничтожаю, я производу отрицательно.

В общежитии то же самое. Я пользуюсь благами общения, я применяю орудия общения. Я, наконец, потребляю Все это явления отрицательно-положительные, но необходимые, неизбежные. Отрицательны они с точки зрения продуктов, благ, но не с точки зрения человека и общества. Но вот я выколол глаз моему другу, моему соседу. Здесь акт разрушительный, отрицательный, так как я создаю отрицательно, я мешаю общению, я создаю продукты, эффекты, действия антисоциальные, вызывающие вражду, ненависть, разобщенность людей, я разлагаю вековые спайки, гублю общежительные ценности, нарушаю принятое.

Здесь отрицательное общение, то есть распад, разложение, разбитие общественных ценностей.

Может ли такой поступок быть квалифицирован, как ценный, может ли он иметь общежительную оборотовую ценность, примется ли он на социализированный обмен, подойдет ли он к понятию *производства* к обрабатывающей части его.

Я выбил окно. Я ампутировал ногу. Я ударил товарища. Я вставил окна, я стекольщик, я плотник, я столяр. Я построил дом, вставил окна, остеклил их. Все эти поступки, равносильно предмегам, идут в обмен, идут в оборот.

Вот, собственно, грань, соединяющая *производство с общением.* Экономические поступки, производственные поступки. Обязательственное буржуазное право проливает свет на все право, вскрывает всю его сущность.

13.

За выше переименованные поступки получаю плату, то-есть эквивалент продуктов, получаю за них сумму продуктов то-есть я их меняю, обмениваюсь с моим ближним, я ему предлагаю поступок, действие, он мне предлагает предмет, вещь.

Рабочий класс продает предмет, свою рабочую силу. Он не силу продает, а поступки, не труд, а *действие* и определенные манипуляции, определенные, заранее обозначенные и выговоренные действия, поступки, смотря по специальности. Если их абстрагировать, отбросив специальность, то он продает сумму поступков в течение известного времени.

Эти поступки принимаются в обмен, все равно, как если бы они были предметами. Ведь, в конце-концов, каждый предмет, каждый продукт есть материя, плюс его обработка, значит меняют не только продукты не только материалы, но и содержимые в них действия, поступки, их обработка. Когда меняют продукты, то собственно, не продукты ведь меняют, ибо их нечего менять, они вне поступка, вне обработки, вне действия ничего не стоят, меняют тогда, собственно, поступки действия, одетые в вещи, воплощенные в вещах.

Предмет, продукт, добывание которого, не стоит никаких усилий, никакого труда, никакого поступка, ничего не стоит, дается и берется даром, так как меновая ценность, как мы ее называем, оборотовая ценность, есть явление социальное, предмет, как вещь, как необщественное явление, или существо, не может быть пущен в оборот, в обмен. Обмен явление общественное, и оно содержит в себе то общественное, не то человеческое индивидуальное, а общее, что в продуктах. Так что меняют не продукты, не вещи, а поступки, действия, суммы манипуляций, кусочки поведения на кусочки поведения.

Когда человек и отношения развились, тогда произошла дифференциация между трудом, то-есть поступком, частью поведения и вещью в хозяйстве. Появился отдельный поступок без вещи, он как раньше стремится к вещи, но между ним и вещью лежит пауза. Он, человек, стал предлагать одни свои поступки, а не свои вещи.

Раньше он менял вещь на вещь, то-есть поступок на поступок, воплощенный в какой-нибудь материи, или поступок на поступок, не воплощенный, а воплощающийся, обмен услуг, он мне помог разбить врага сегодня, завтра я ему помогу, услуга за услугу реализуется в последовательности, а не в сосуществовании, иногда же этот обмен может совершиться и в пространстве. Я иду на его поле пахать, он идет ко мне жать. Я специально пашу, он специально квалифицированно жнет.

Если возможен обмен услуг, обмен поступков, то возможен и такой обмен, состоящий на половину из чистого поступка и на половину из поступка, воплощенного в вещи, в продукте.

Я вставляю стекло. Стекло не мое. Я не продаю целого окна, уже застекленного, у меня ни стекла, ни рамы. Я лишь вставляю. У меня, допустим, есть лишь алмаз и линейка, или и этого нет. Я вставил стекло. Я совершил положительный поступок, это хозяйственный поступок. Пока в хозяйстве царит дух сепаратизма, существуют отдельные хозяйственные единицы, то меня вознаграждают индивидуально, частно за мой поступок, который в хозяйственной деятельности называется трудом, а в общении, просто, поступком. Меня можно вознаградить тем, что предложат мне стакан молока или вина или пирог и проч. Значит за поступок я получил поступок плюс вещь, то-есть, точнее, я получил воплощенный поступок, так как сама вещь субстанция, насколько она лишена элемента поведения, дается даром, не имеет у нас никакой оборотовой ценности.

Это если я вставил, если же я разбил стекло, то зависит что преследуется этим. Ибо дело поступка не в нем, а в его результате, каждый поступок требует энергии, затраты труда, все равно положителен ли он или отрицателен, созидателен ли он или разрушителен. Вставить зубы, вырвать зубы, одинаково положительные действия с

точки зрения пациента. Вырвать же здоровый зуб, выбить зуб есть отрицательный поступок. Такой поступок не вознаграждается. Он не принимается в положительный оборот, а в отрицательный.

По легендам Мидраша о Содоме судьи, бывало, присуждают каждого, кому выбили зубы в драке, чтобы он уплатил вабияке, как зубному врачу. В чем тут путаница, в чем тут отклонение от нормы? В том, что отрицательный оборот ни с того ни с сего переходит в положительный.

14.

В виду того, что при буржуазном и раньше хозяйстве положительные хозяйственные поступки вознаграждались индивидуально, а не общественно, так как хозяйство носило отпечаток частности, сепаратизма, раздробленности, а отрицательные поступки по причине того, что общение было давным давно уже социализировано, карались, то-есть компенсировались общественно, совершенно общественно, когда имелось явление, поступок, совершенно лишенный экономической сущности, и полуобщественно, верней, и общественно и и индивидуально-общественно, когда имелось налицо поведение с хозяйственной подкладкой, что на языке специальном называется уголовным или гражданским, в виду всего этого создалось совершеннейшее непонимание права и закона. Совершенно было забыто, что здесь самое обыкновенное явление обмена услуг, и обмена помех, „зуб за зуб и поцелуй за поцелуй", основа всякого общежития, как и хозяйства.

Когда мы восходим или, верней, опускаемся глубоко на дно завязывания отношений и взаимоотношений, то мы видим, что и положительные и отрицательные общительные поступки и действия встречали одинаковую форму реакции, одинаково пускались в оборот, он мне выбил зуб, я ему выбиваю зуб, сначала это делается индивидуально, потом общественно. Вот основа уголовного права, как и всякого права вообще, вот основа и суда, и прочих институтов.

Буржуазный мир с его дуализмом, частностью в сфере хозяйства, публичностью в сфере общения создал такую несуразность как гражданско-уголовные явления. Примерно. Я принес ему пуд пшена. За это он мне платит, скажем, 40 рублей. Я украл у него пуд пшена, тут не принес, а унес, значит обратно, я ему плачу 40 рублей. Нет. Тут уголовное преступление. И правильно. Здесь есть уголовное преступление, здесь отрицательный поступок, который получает свою отрицательную ценность, не от зависимости только моего отношения к нему или отношения обокраденного, а от отношения всего общежития. Это правильно, что поступок оценивается общественно, но если так, то и то, что я принес пшено тоже явление не частного характера, а общественного,

Эта раздвоенность об'ясняется тем, что общежитие ушло вперед сравнительно с хозяйством.

И по вине этой раздвоенности нам так трудно дался анализ поступков несмотря на то, что фактически, глубоко вникая, и хозяйственный обмен есть лишь оборот и трудовая ценность, меновая стоимость, то-есть ценность продуктов, товаров, есть лишь, на самом деле, поступочная стоимость, стоимость поступков, есть лишь „право", если можно так выразиться, есть лишь поступочный оборот, оборот поступков положительного свойства, воплощенных в вещах двухсторонних или односторонних.

IX.

Власть.

1.

Когда целые кадры лиц стали продавать свои поступки, не воплощенные в вещах, и когда этих последних стали локализировать и организовывать, точнее, когда целые кадры лиц по вине разделения труда, разделения хозяйственного поступка, стали продавать частицы своего поступка, когда сам поступок специализировался, появилось не то что ремесло, профессия, но часть ее, и были покупатели, которые

сложили эти обломки поступков целевых, технических, ремесленных, и составили из них одно сложное целое, один целый поступок, который себя воплотил в вещь, и последние, покупатели этих обломков, стали продавать эти воплощенные в вещах поступки—то явился промышленный капитализм Но не здесь стояла колыбель капитала, он родился на лоне торговли, то-есть обмена. Первоначальный вид капитала, это торговый капитал. Выше мы это об'яснили тем, что первоначальное производство, обработка, это передвижение. В начале обмен не посредственен, потом он становится посредственным, вплетаются посредствующие звенья, притом пропорционально вплетению звеньев растет одоление пространства. Ведь самое главное при торговле это „действие на расстоянии", пространство находится в прямой пропорции с числом лиц, с которым сбмен вас связывает, если он действует на далеком расстоянии, если его круг расширяется, значит, он втягивает все большие и большие полосы населения в торговый оборот. Так как торговля, обмен, собственно, есть первый вид производства, сближения, то и здесь, главным образом, и возник капитал. Сделать продукты подвижными, вот первоначальная задача. В движении в обороте родился капитал. Затем он завоевал следующую сферу обработки, изменения качества, лежащего в самом предмете. Затем родился самый высший вид капитала, финансовый капитал, то-есть капиталистический капитал, капитал стал на свою голову, на свои плечи, и стал сам себя рождать, сам себя передвигать, создался обмен капитала на капитал, торговля капиталом, то-есть деньгами. Деньги, служащие средством обмена, вспомогательным средсством, превратились в вещь, имеющую как бы потребительскую и меновую ценность. Как я уже сказал, капитал стал на свою собственную голову, фокус посильный лишь крупному метафизику, но нет метафизичнее жизни, социальных явлений, это начало и конец метафизики. Капитал стал критицистом, кантианцем, деньги стали представлением о деньгах. И деньги, как вещи, стали пускаться в оборот, в обмен, на деньги, пошла торговля деньгами, создались *банки*, которые, собственно, являются денежными лавками, денежными магазинами. Финансисты это деньго-торговцы, они закупают, собирают деньги оптом и продают их в розницу, за что получают прибыль, то-есть проценты. Прибыль на деньги есть процент, есть рост, уплата за ссуду, за пользование.

2.

Когда деньги были вещами, скажем свечкой, то всякая ссуда, ссужение требовало отдачи с ростом, с зачислением того времени, что она *выросла*. Пока деньги были вещью не потребления, они потреблению не могли служить уж по одному тому, что они служили орудием обмена, так что из потребления отделилось применение. При применении орудие, вещь изнашивается. Убыток изнашивания бесспорно требовалось вернуть Допустим, что деньгами служит металл, монета, то она ведь от употребления стирается, дешевеет, портится, и с каждой совершенной ею сделкой, оборотом, она становится меньше. Убыток надо, ясно, вернуть. Кроме того, надо вернуть обратно и сам поступок ссуды, то-есть отслужить. Таким образом, всякая ссуда изначально означало навязанный обмен, скажем, он берет у меня соль, которая мне в данный момент не нужна, так как я не собираюсь заняться обменом, у меня всего вдоволь,—и предлагает мне за нее другой продукт,—но этот продукт мне не нужен, мне его вдоволь, но мой сосед заключает со мной фиктивный обмен с уговором, что когда он мне вернет соль, то я ему верну его продукт, он взял, скажем, соль и обменял ее на кожу. Владельцу кожи он дал соль. Через некоторое время ему удалось доставить мне мою соль обратно и вернуть ее мне. Его продукт лежал у меня без употребления, значит я его сохранил в целости, моя соль же шла по рукам, потом вернулась, значит она портилась от потребления. Эту порчу надо вернуть. Как? Надо вернуть мне соль с лихвой, возмещение за понесенный мной убыток.

Если ссуды у нас бывают взаимные, то это не важно, все равно произойдет обмен убытков, и возмещение получится само собой. Если же ссуда бывает односторонняя, то лихва обязательна. Поэтому библейский кодекс и утверждает, что у брата лихвы брать не надо, а у чужого можно, вернее, надо.

Это фиктивный обмен, ссуда с залогом, то-есть фиктивная купля, я будто у него покупаю его продукт, который мне фактически не нужен Тут есть изнашивание „денег", притупление орудий производства, и за это полагается возмещение.

Но вот отбрасывается второй совершенно ненужный член, во первых, с ним возня, надо его хранить, а это не всегда удобно, во-вторых, бывает, что у того, кто нуждается в деньгах, нет под рукой временно никакого продукта, который он бы мог дать. Тогда появляется кредит, одолжение без залога. Кредит возможен и не применительно к деньгам, к средству обмена, а, вообще, к вещам Я одолжаю вино. Он мне вернет такое же количество вина. Кредит дается тому, кому верят. Здесь в начале не было никакого риска. За это одолжение он мне благодарен, быть благодарным, значит быть должным часть поведения, поступок, услугу, но эта задолженность в обмене не зафиксирована письменно, а лишь устно. „Спасибо. благодарю".—Значит я благодарю, я верну благо при случае. отплачу услугой за услугу Но вот он взял у меня орудие обмена в кредит. Если тут есть наличие взаимности, то обмен, правильное функционирование оборотов услуг не нарушено, я ему одолжил сегодня, он мне одолжит в другое время.

Если же получается одолжение с одной стороны, то требуется возмещение. Тут односторонний „обмен" орудия обмена. Лихва это возмещение за порчу. Этот процесс растет. Один часто дает в кредит. Круг должников растет. Тут появляется риск потери всего. Появляется система страховки. Учитывается число пропаж, неуплаты, не возвращения, и этот убыток раскладывается на всех должников, которые его погашают, тут устанавливается круговая порука, тут уже сквозит социальный характер явления взаимодавства. Взаимодавство становится специальностью. Он дает не свое, не свои сбережения, но произведения „своего труда". своей сберегательной деятельности, а чужие. Он покупает, то есть одалживает деньги у других, покупка денег называется взаимовзятка, продажа денег взаимодача. Банк это денежная торговля. Денежный обмен. Если к тому прибавить, что деньги бывают при современных условиях разного рода, так как деньги, становясь социальным орудием обмена, имеют разные названия и разную ценность, смотря по состоянию того государства, которое за них ручается. Таким образом деньги, будучи орудиями обмена, становятся, низводятся на степень предмета обмена, становятся вещами, продуктами, которые покупают и продают; игра на бирже ценными бумагами и деньгами это торговля на втором этаже, это драма в драме, это, как мы раньше сказали, кантианство. познание самого познавательного процесса, купля - продажа покупательных орудий, покупательных сущностей, это критицизм в торговле.

Низведению денег, орудий обмена на степень предмета обмена способствует то обстоятельство, что деньги существуют разной чеканки и, главное, разного размера, есть крупные и мелкие, иногда вам нужны деньги одного рода, мелкого размера, а вдруг вам нужно крупного размера, крупной купюры. Тут происходит обмен и размен обменных орудий.

3.

Финансовый капитал это „капитал в себе", это третья стадия наивизма в капитале и первая стадия самосознания капитала,—первая стадия *обмен, торговля,* то, что мы называли оближение в капитале в деньгах,—это критический капитал, это своего рода „теория познания". то есть капитализация капитала, деньжение денег, „познание познания". Между прочим я бы сказал, что их критицизм совпадает с эпохой зарождения, возникновения второэтажных явлений и третьэтажных Машина для делания машин, машинная машина, машиностроительная машина, познавательная система. Пока рост, лихва получается за изнашивание или за риск, и пока ростовщик торгует своими деньгами, то он находится на ступени ремесленничества Когда он начинает торговать. то-есть покупать деньги и продавать, ссужать, совершать целый оборот, то он выходит из всякого риска, так как он дает не свои деньги, а чужие, если ему не уплатят, то и он своим должникам не уплатит, банкрот ему тогда ничем не угрожает, в этом тайна роста кредита, я покупаю в кредит и поэтому продаю в кредит. На этой стадии ростовщик становится торгашем капитала. Он делает еще один шаг и начи-

нает сам обрабатывать, капитализировать капитал, деньжить деньгу, то-есть выпускать ценные бумаги, тут он достигает второй стадии в капитале, он становится деньгопромышленником. Эксплоатируя чужой кредит и чужие деньги, как обыкновенный фабрикант эксплоатирует трудящихся, он богатеет. Таким образом мы видим, что третья стадия капитала начинает в самой себе с первой и переходит ко второй Если она достигает третью, то это будет означать первую четвертой стадии Эту стадию даст социализм, она будет вне пределов капитализма. Мы указали, что и финансовый капитал был в стадии до торговли, тогда, собственно, он не был капиталом. Ибо с торговли начинается функционирование капитала как токового

4.

Теперь перейдем к явлениям общения, главным образом, к явлению *власти.*

Первоначальный вид власти это суд. Судьи, вот самые примитивные архисты. Примитивный суд это употребление обычая. Обычай это общий поступок своего рода эквивалент поступков. Как в начале сам эквивалент был и простым предметом, предметом, обладающим потребительской ценностью, так и обычай в начале был самым обыкновеным, обладающим внутренней полезностью, поступком

После, когда он развился, он стал лишь орудием оборота, орудием оближения поступков и поступающих. Он стал настоящим *эквивалентом.* Суд производится на основании обычаев. Суд явление социальное, оборотовое. Суд это оборотовая власть, власть регулирования поступков. Судья специалист по обороту. Разумеется, что не всегда прибегают к его помощи. Ведь и к торговцу мы не часто прибегали в старые добрые времена. Или мы производили все сами, для собственного потребления, или мы сами обменивали непосредственно, без помощи торговца, мы сами себе подыскивали своего контрагента для заключения сделки.

Воеводство вот первоначальная власть, это междуплеменной оборот, междуплеменные отношения. Это, собственно говоря, не *власть*, не капитал, а обмен поступков, обмен насилий.

Воеводство и судоводство ведь одно и то же. Судоводство это внутреннее воеводство. Стороны подчиняются приговору, ибо они уверены, что их заставят это делать.

Самый примитивный способ суда, это примирение двух тяжущихся сторон, то-есть способствование их обороту, обмену поступков. Рудимент этого мы находим в товарищеском суде, в третейском суде, где судьи заняты примирением, то есть способствованию совершения оборота, судя о нем индивидуально, стараясь стать на точку зрения тяжущихся, а не исходя из общих соображений общежительного свойства.

Военная власть внутренняя, то-есть судейская, или внешняя, равняется, аналогизирует с торговым капиталом.

Чем занят торговый капитал? Он обменивает продукты специально, он не производит, а произведенное покупает и продает. За это он получает прибыль. При торговле есть прибыль. Прибыль получается от того, что он покупает дешево, продает дорого. Он помогает обмену, за эту помощь, за облегчение он получает вознаграждение. Он посредник между двумя членами. Судья есть тот же посредник. Он получает плату за его посредничество. Он живет тем, что он облегчает оборот, споспешествует ему, если он вообще судья „специалист".

Как рудимент этого мы находим, что третейским судьям платят тяжущиеся стороны, и гербовые марки на прошении и проч., что идет на содержание судей. Тут это регулировано, социализировано, вначале это более индивидуально, каждый платит по желанию. Так между прочим принято у евреев, где они эту плату называют издержкам приговора, которые взимаются исходя в процентном отношении из суммы иска, когда дело гражданское.

Судебная власть, где одни произносят приговор и другие стоят на страже исполнения тяжущимися сторонами приговора есть, как мы сказали, торговый капитал.

Вначале сам торговец перевозит продукты, которые он держит для обмена, для торговли, это стадия корабейничества.

На этой стадии мы находим суд у первобытных народов, где произносящий приговор сам является исполняющим его, принуждающим стороны к соблюдению его.

Затем этот род деятельности специализируется, развивается, происходит в этом виде „общения" дифференциация и образуется верх и низ. Создается капитал. Передвижение поступков, содействие их обороту возлагается на одних, а сам суд, само судопроизводство на других. Наконец, и само судопроизводство осложняется, иерархизируется. В этом отношении может послужить образцовым выражение Моисея: трудные вопросы я решаю, а легкие они, мои судьи, которых я обучаю законам божьим. За судом идет исполнительная власть. Тут мы имеем не оборотное общение, как при суде, где обмен, связь происходит сама и принимает вид конфликта, а промышленное производство, общение создающееся. Предписываются поступки. Исполнительная власть действует беспрерывно, ибо все социальное на этой стадии, все общение отправляется с помощью исполнения, заготовления, приведения в исполнение поступков, здесь не обмен поступков, а производство, создание поступков.

Исполнительная власть невозможна без специальных учреждений и специальных людей, людей, поступающих не индивидуально, как им нужно было бы поступать, если бы они действовали, как обыкновенные члены общежития, а они поступают, действуют, как общественники, ибо все их поступки, все их поведение, за исключением их частной семейной жизни, носит печать разделения социального труда, социального поведения.

Производство требует локалов, фабрик, где трудящиеся собираются и работают.

Промышленный капитал получается тогда, когда минует стадия ремесленничества, когда создается сбор, концентрация ремесленников и прекращается между ними конкуренция, когда целый ряд ремесленников продает свой поступок.

Исполнительная власть требует институтов и перерастания стадии ремесленничества, кустарничанья в области правления. Уменьшение конкуренции между отдельными главарями, специалистами по общению, создание иерархии Легион поступающих социально под предводительством одного лица. За их труд, за их службу, которая является очень почетной, им уплачивается, они продают свое социальное поведение, свое уменье поступать.

Третья стадия это законодательство. Это властническая власть. Многие, среди них такой авторитет, как Эсмен, отождествляют поэтому законодательную власть с верховной властью, с суверенитетом. Это финансовый капитал. Это суверенная власть компетентная компетенция. Но так как мы в этой области, в области общения давным-давно вышли, выросли из пеленок частного, поэтому это собственно не капиталистический капитал, а социалистический капитал.

Но и эта стадия делится на три периода, она начинается в свою очередь с ремесленничества, с отсутствия капитала, как мы указали у ростовщичества. Она начинает с частного законодателя, когда каждый творит закон своим поступком, стадия простого обмена без специального орудия. Рождается эквивалент, обычай, нрав. Затем этот эквивалент из орудия обмена превращается в предмет обмена. Сам закон начинает курсировать, обмениваться, распространяться, получается ссуда с лихвой, лихву получает ростовщик, то-есть древний законодатель. Он карабкается вверх, пока он не становится торговцем, у которого все покупают законы, он Моисей, он Солон, тут стадия обмена в орудии обмена, тут возникают обменные, оборотные отношения между законодателем и простыми смертными, как между обыкновенным членом и имеющим сбережения.

Последняя стадия законодательства это *критицизм*, законы о законодательстве, конституционные права, верховные основные законы. Это право облигации. Здесь идет уже полнейшая эксплоатация всех держащих закон, всех творящих его, законодатель создает банк, где он собирает все юридические соображения, сбережения, собранные многими юристами и всеми поступающими. Депутатство это акционерная компания с правом выпуска облигации Первоначальный, самый примитивный оборот создан на договоре двух свободных сторон. Обмен на равных или неравных началах. Конституция это тот договор, общий регулятор всех взаимоотношений.

5.

Власть дает возможность людям, владеющим ею, жить не совершая насилия, не

прибегая для защиты своих интересов к непосредственному социальному труду. Власть есть высшая форма эксплоатации.

Но в то время, как в хозяйстве они невыборные, то они в общежитии в Европе, как при буржуазии, так и при социалистах, выборные. Раньше они тоже не были выборными, а наследственными, как буржуи.

Далее, так как общение, вообще, выше производства, то здесь мы всегда в стадии эксплоатации, но всегда внутренней, социальной, национальной, государственной, коллективной, а не примитивно частной.

Власть дает возможность жить без непосредственного насилия не только власть имущему, архисту, но и подчиненным власти, то-есть, вернее, не подчиненным, а гражданам, членам общежития, пользующимся правами, что значит, охраной, защитой. В древности, в первобытные времена—а мы вынуждены каждый раз вернуться туда, ибо современные условия слишком запутаны, слишком сложны, чтобы в них можно было ориентироваться,—каждый человек владел всеми орудиями общения, то-есть орудиями защиты и нападения. Все было в то время семейственно, общинно или племенно. И защита была семейственная. Орудия защиты и орудия производства сливались воедино, так оружие для охотника есть и орудие его производства, и орудие защиты и нападения, то есть орудие общения. Людоедство. Человек одолел человека и с'ел его. Тут отношения человека к человеку есть заодно и отношение к миру, человек трактовался как мир, и мир, как человек. И вместе с мироедством практиковалось людоедство, пожирание человека, космофагия, зоофагия и антропофагия. Отношение человека к человеку это отношение человека к миру. Но такой стадии развития никогда, можно сказать, не было Ибо если человек относится к человеку, как к миру, то тогда нет социальных отношений. И их фактически не было в начале времен. Отношение человека к миру и к человеку надо понимать следующим образом, отношение племени к племени равняется отношению племени к миру, чужое племя рассматривалось как мир И производство совпадало с общением насколько речь идет о внешнем общении. Они потребляли людей чужих племен, „*производство*“ заключалось в борьбе, в войне, в схватке. Каждый член общежития был „производителем“ и „воином“. Он владел орудиями производства, которые были орудиями общения. Тогда, как мы выяснили, не было еще „общения“, а было „человеческое“ производство. Извнутри уже было общение Орудия общения те же самые, что орудия защиты, являющиеся и орудиями общения, самозащиты, самоправства.

Жизнь ткет свои узоры, создается настоящее производство в виде культивирующей, занимающей средину между добывающей и обрабатывающей промышленности. Тогда возникает новое отношение к человеку, как к производителю, создается второе отношение к человеку, как к орудию. Тут прогресс. Раньше человек рассматривался, как предмет потребления, теперь же он рассматривается, как орудие. По отношению к человеку проделывается та же эволюция, как и по отношению к миру. Не потребление мира, а применение его. Но если касательно мира остались эти два отношения параллельно, к одной части мира, к некоторым предметам остались старые отношения потребления и создались и новые, они стали служить орудиями Таково отношение к животным, которых мы и потребляем в пищу и которых мы и рассматриваем, как орудия передвижения, орудия первоначального производства. Отношения к человеку двинулись с мертвой точки. Человек человеку стал *орудием* производства, он стал пленным, он стал рабом, инструментом. Теперь орудия защиты и нападения есть орудия производства машин, орудия добываний *орудий*. Воюют за тем, чтобы добиться орудий производства, как рабынь, жен—для приплода, для произведения себе равных, рассматривая женщин, как производительниц, трудящихся в биологическом производстве, воспроизводстве, и людей-рабов, орудий производства *физического*. Раб и сын находятся почти на одном уровне. Каждый член общежития владеет орудиями защиты и нападения, средствами внутреннего общения.

Вот выделяется воеводство. Часть занимается производством, а часть добычей инструментов говорящих, то есть добывает орудия, занимается как бы, выражаясь фигурально, машиностроительством. Это следствие разделения труда. Но межа, отделяющая одну отрасль от другой касательно орудий, применяемых в одной и другой отрасли, не глубока. Дубинка служит сошником она же служит, и орудием защиты.

Орудия еще не окончательно специализировались. Рост. Развитие. Дифференциация приспособление орудия к функции выполняемой им, орган сливается, поддается функции. Орудия земледелия получают вид орала, а орудия защиты и нападения принимают, после целого ряда трансформаций, вид меча, копья и проч.

Орудия далеко разошлись И специальности далеко разделились. Владеющий оружием не владеет орудием. Функция воеводства совпадает с функцией судьи. В большинстве случаев судья, то есть регулирующий отношения, не допускающий членов одного общежития решать свой спор „войной", дракой, ведет внешние войны. Смотри, читай со вниманием библию, книгу судей; где судья является судьей лишь в мирное время, а в грозный час он руководит войной Чем больше войн, чем жесточе она, тем больше внутренней спайки, солидарности, невоинственности, ибо все силы собираются, скапливаются для отражения внешних врагов. Внутренние распри регулируются миром, с помощью приговора.

Воеводство становится специальностью. Орудиями нападения и защиты, орудиями создания общения, владеют воины, дружинники. Все дружинники равны. Искусство нападения и защиты развивается. Выдвигается компетентность, заключающаяся вначале в перевесе физической силы, в отваге. Наконец вырисовывается щредводитель. Он организовывает дружину, он ею руководит, он держит ее всегда и во время мира, она служит и для внутренней охраны Добычу, трофеи, подати, первые взятые в бою, последние взимаются со своих за защиту, на содержание *армии*, дружин, которые не производят, делит *организатор*, он становится и собственником орудий защиты и нападения и охраны порядка распорядка,—он становится царем, создается династия. Тогда создается социальный пролетариат. Орудия защиты и охраны принадлежит капиталисту, организатору. Нарушающие внутренний распорядок караются, караются уже не руками воеводы, а руками его прислужников, его пролетариев. Создается *наемничество* Поступающий в дружину получает оружие.

Еще один глубокий разрез.

Из судоводства, из расправочинения выходит управление. Имеется целая сложная система карательных институтов. Все эти функции социализируются, патримониальность откидывается, создается политический социализм. Организатор перестает быть собственником. Организуемые же отчасти перестают быть наемниками, и рекрутируются в порядке принудительности, отчасти остаются наемниками. Орудия общения, управления защиты об'являются достоянием народа, создается учение о суверенитете, о народном управлении, о республиках и проч.

Но социальный пролетариат остается тем, чем он был раньше. Им распоряжается тот, кто имеет право распоряжаться, на правах контроля, наблюдения и заведывания всеми орудиями общения, всеми институтами ограждения от нападений, как оружием, тюрьмами, местами заключения и прочими институтами общения, всем государственным аппаратом.

IX.

Носитель.

1.

Носителем идеи преодоления власти, социального капитала является социальный пария, социальный „пролетариат", низшие чины государства. Ибо государство это их фабрика. Население это лишь клиенты. Плательщики податей это покупатели благ социальных. Население, клиентура, то-есть потребители, если они были заинтересованы в отмене капитализма, то лишь косвенно, насколько, вообще, они заинтересованы в прогрессе, в поднятии производительности. Старый анархизм не имеет носителя. Кто является по этому учению носителем анархизма? Каждый член общежития. Это почти все равно, что утверждать, что носителем социализма является каждый член хозяйства. И пока старый социализм стоял на этой точке зрения, то он был утопическим; неумение отыскать своего носителя говорит о том, что проблема не продумана до конца, что она не проанализирована. В противном случае было бы

легко отыскать своего самого ярого заинтересованного, то-есть своего носителя. Старый анархизм, как утопический, обращается к материалу социального производства, к членам общения, являющимся одновременно и материалом и потребителями благ социальных. Все члены общежития вместе взятые составляют, образуют собой социальную природу, с которой цивилизованному обществу приходится, так сказать, бороться. Они составляют кадры потребителей социальных благ.

Ждать, чтобы потребитель восстал против государства, более чем наивно. Дело в том, что он как раз и заинтересован в сохранении государства, в сохранении власти, так как благодаря тому, что общение основано на власти, на квалифицированной власти, ему и приходится меньше платить за социальные блага, то-есть ему социальные блага даются дешевле, чем если бы власти не было. И он, потребитель, заинтересован в сохранении власти. Но пусть он сам организует себе свое общение, и пусть он сам совершит обмен уступок, не прибегая к помощи „торговцев", то-есть посредников, стоящих между ним и его ближним!

Если это так формулировать, а почти так свои взгляды формулировал Теккер, то это не более не менее, как метод кооперативизма. Это значит основать потребительские социальные общества. И против этого придется возражать, привести все то, что было приведено против потребиловок, придется лишь прибавить, что если идея решения рабочего вопроса посредством кооперации имеет свое оправдание и некоторую долю приемлимости в том факте, что хозяйство свободно, то-есть основано на конкуренции, то общежитие основано на принуждении. И если кооперация имеет смысл в капитализме, то при социализме, наше общение находится и при хозяйственном капитализме на ступени социализма, она совершенно лишена всякого основания. Дело в том, что кооперация имеет тот плюс, что она откидывает элемент борьбы политической. Тут же этого элемента откинуть никак нельзя. Придется бороться с государством, иначе ведь оно не даст основать свои политические кооперации. Так что тут имеется внутреннее противоречие: кооперация представляет собой приманку мирного решения конфликта. Тут ни о каком мире речи быть не может. И старые анархисты отчаянные вояки, они свою ожесточенность против государства довели до того, что применял террор. Кооператор террорист вот что представляет собой старый анархист. Кооператив террористический, воинствующий, насильственный не есть ли это самое вопиющее противоречие!

2

Носителя анархизма надо искать там, где старый анархизм видел своего врага он находится среди *общителей*.

И как поучительно и интересно. Как решает Толстой вопрос хозяйства, кто ему наиболее нравится, кого он идеализирует? Крестьянина, того, кто сам на себя трудится, не имея почти никакого отношения к капиталу. Рабочего он презирает, ибо он считает его соучастником в грехе капитала, и он у него на правах погибшего, для спасения одно средство: уйти с фабрики, разойтись по деревням.

Так старый анархизм решает вопрос общежития: его идеал это крестьянин, живущий в медвежьем углу, он ненавидит центр с его учреждениями. Но если Толстой мирен, то он буен, воинственен, но суть та же самая. Тот же подход к вопросам строительства жизни.

И если я утверждал, что старый анархизм это кооперативизм, то это надо понимать, как я и выразился, что лишь в лучшем случае можно его подвести под кооперацию.

Дело в том, что в хозяйстве ведь царит у нас меньший масштаб, и кооперация потребительская или производственная ассоциация, равняется хозяйственной принятой единице. Тут же самой единицей является государство. Таким образом можно говорить о кооперативизме лишь тогда, если признаем овладение целым государством и превращение его в кооперацию политическую, которая будет с остальными государствами воевать, то-есть политически конкурировать.

XI.

Прибавочный политический труд.

1.

Было время, когда насилие, творенное в общежитии, отвечало в обрез нуждам общежития. Другими словами, социально политический труд не давал никаких излишков, сколько израсходовано, затрачено, столько и заприходовано. Максимум затрат в

общении и минимум результатов. Так что человек социально-политический производил столько, сколько требовалось для его полудикого общежительного существования. Никаких социально-политических излишков. Все потреблялось. То-есть ежедневно приходилось начать свою общежительную жизнь сызнова, не имея никаких запасов, никаких сбережений. Некогда было и орудие сделать, так как не было досуга для этого.

В то темное седое время, разумеется, не было никакого разделения между экономической и политической деятельностью, производство, как мы выше сказали, совершенно сливалось, покрывалось общением.

Мы берем это время схематически, ибо фактически оно навряд ли существовало, мы находим такую эпоху у животных, где почти нет никакого общения. Война всех против всех, человек человеку волк—вот та эпоха Вечно в борьбе, в труде. Трудом, усилием, насилием, одолением, победой отдельный человек покупает себе свое право на существование, на бытие, на жизнь. Жизнь тогда фактически, не философски, есть борьба, борьба за живот или на смерть. Каждый человек есть „воин", вечно воюет, словно хищное животное. Я опять повторяю, что я беру такую эпоху лишь как рабочую гипотезу. Досуг им служил лишь для воспроизведения. И потомство пришлось охранять опять борьбой, орудиями защиты и нападения, зубы, ногти и дубины.

Каждый человек бродит средь опасностей, на каждом шагу подстерегает его смерть в виде хищного зверя или себе равного

Себе равные соединяются против менее равных. Создается семья или самая первобытная община. В самой семье нет борьбы, она основана на послушании, на родстве, на крови. Тогда отец или мать с их детьми образуют союз сплоченный, спаянный, не воюющий извнутри.

От этой корпорации человек выиграл бесконечно Он общежительное животное. Меньше опасностей. Легче дать отпор. Воспроизводство совершается при лучших, более нормальных условиях.

Соединение есть переход от с'едания человека, себе равного, до рассматривания его как пособника, как помощника. Первый помощник это женщина. Так ее Библия и называет eser K'negdo („помощь ему"). Появляется кое-сколько досуга. Создается сбережение, излишек, язык, зачатки религии, первоначальный культ, нрав, обычай, создают орудие общения, но это орудие в самом человеке, в его психике, вырастает разум, развивающийся параллельно с речью, со словом. И слово у древних означало мудрость, божество, самый высший социос.

Не вся жизнь уходит на борьбу. Остается досуг, так как внутренние отношения более или менее налажены Внутреннее мелкое общение не требует больших затрат для своего самосохранения, для охраны и противодействия распаду. Немножко времени уделяется уже труду. Создается труд, который отделяется от борьбы.

Рост. Развитие. Разделение труда по физиологии. Старики, молодые, взрослые, дети. Пол Взрослый мужчина воюет, дети и женщины занимаются трудом. Воюют, создают орудии. Сама борьба, война вызывает потребность в труде, в создании орудий борьбы.

Дифференциация. Часть мужчин занята борьбой, охраной общения. Появляется излишек, появляется досуг Войны не постоянное, перманентное безконечное явление, а периодическое, воюют с передышками, когда пользуются трофеями, добычей. Появляется мир, самый основной социальный излишек, социальный продукт. Растет и ширится покой, перерыв между походом и походом, социальное благо. Во время мира готовятся к борьбе к войне, готовят орудия и т. п. Человек наполовину становится мирным животным.

Еще одна дифференциация, не все воюют. Часть готовит орудия и даже во время боя не все участвуют в нем, часть охраняет вещи.

Раз появился прибавочный продукт, излишек, то он уходит на улучшение общения, состоящего в борьбе с социальной природой, то-есть со смежными семьями, племенами, общинами.

С появлением прибавочного социального продукта появляется организатор. Раз „воин" дает большее, чем потребляет, то стоит их собирать и воевать. Появляются специалисты вояки.

Воюют не столько, сколько нужно каждому для его обеспечения и создавания излишка, досуга, служащего к улучшению способов, приемов борьбы, а воюют специально ради обогащения *предводителей* Прибавочный социальный продукт, который на первых порах совпадает с экономическим продуктом, берет себе предводитель, атаман, главарь шайки. Воюют больше чем требуется для обеспечения безопасности общежития.

Внутри творится суд для избежания конфликтов. Создается исполнительная управительная деятельность. Совершается насилие над каждым членом общежития. Так как всякое общение есть борьба, война, дело лишь в форме, остра ли она или смягчена. Как всякое производство есть „борьба с природой", так всякое общение есть борьба с социальной природой, с варварством, с прежними дикими формами жизни.

Совершается социально политический труд, то-есть насилие. Имеется излишек. Не постоянно приходится бороться. Моменты борьбы это моменты совершения преступления, нарушение установленного хода жизни или перевороты. Казнь, кара, наказание занимает место внешней войны, внешнего убийства и ранения. Если преступник очень жестоко нарушает внутреннюю спайку, угрожая ей как враг, тогда с ним обходятся как с врагом. Смертная казнь на первой стадии развития, когда легко было угрожать устоям общежития и „изоляция" на более поздних, более развитых ступенях общения. Моменты преступления есть моменты борьбы. Преступление идет на убыль. Безопасность извнутри растет. Не каждому приходится защищаться извнутри, заняться самозащитой, это исполняет известная группа внутренних воинов, *внутренние воины*, гражданская армия, полиция, милиция, экономическая, гражданская и уголовная или политическая армия, и прочие виды, это те же воины. Они воюют всегда, то-есть они всегда готовы к войне, но воевать приходится им очень редко, и ничтожной части их. Опять, как армия, которую держат постоянно для охраны страны, но не всегда пускают ее в ход, она воюет через промежутки.

2.

Каждый из этих общителей, производителей внутреннего порядка, внутренней безопасности производит гораздо больше, чем он сам потребляет. Если бы он производил только то, что он получает, то ведь приходилось бы всем гражданам без исключения заниматься внутренней охраной, что и делается во время великих внешних войн. Прибавочный продукт дает возможность очень многим людям не заниматься непосредственно производством и получать продукты в обмен на произведения ума, воображения и проч. деятельности. Непосредственно производством, то-есть крупным производством, занята малая часть населения, пролетарии и капиталисты, кроме них мелкая буржуазия, все крестьянство. Разумеется, что производством занято гораздо больше. Это об'ясняется тем, что эта отрасль более отстала. И кроме крупного производства имеется мелкое, чего в общении, в социально политическом производстве нет, разве лишь в виде рудимента, институт сторожей, дворников. Тут царство крупной промышленности, одна система полиции, милиции и армии, как и практикующийся один кодекс, разумеется, не исключаются и случаи примирения спорящих знакомыми, занявшимися этим между прочим и судящими по „собственному кодексу".

Созданный излишек социальных благ, главным образом, пользование спокойной жизнью, берут себе архисты, политические капиталисты. И несмотря на то, что это следствие культуры, цивилизованной спокойной жизни, они его усваивают себе, как будто это было исключительно делом их рук. Излишек, которым все должны были бы пользоваться поровну, они берут себе. Далее, само общение функционирует ненормально. Производится то, что обществу, общежитию не нужно, а только тем, которые занимают верхи лестницы. Так и в производстве. В то время, как часть населения голодает, ходит оборванной, то другая часть, ничтожная кучка, организующих производство капиталистов об'едаются печеньями, жиреют, хворают, от этого изнашиваются, портятся. В то время, когда все население бедствует, нуждается в одежде, ходит полуголым, кучка одевается в шелка, в самые тонкие ткани. Производится то, что никому не нужно, как шоколад, а не производится то, что всем нужно, в чем все население чувствует острую нужду.

3.

Тут то же самое. В то время когда население недохраняется, живет социально, в смысле безопасности и прикосновенности, впроголодь, в это же самое время весь социальный труд по охране тратится на излишества Ясно, что у Лойд-Джорджа кража не совершится, вор не вломится, не войдет к нему. Это социально-политическая роскошь, мотовство. Всюду требуется пропуск. На это тратится бесконечное число часов, тружеников на ниве социальной. На одного архиста, для охраны одной особы, которая достаточно сильна, чтобы она могла сама себя охранять, даются десятки и десятки охранников, полицейских, городовых, караулов.

4.

Далее из-за того, что общество расколото на архистов, капиталистов власти, организаторов и пролетариев социального труда, создается неимоверное количество прав, правил для регулирования отношения между низшим и высшим, между простым смертным и архистом. Здесь создается дикий варварский антагонизм и как следствие этого лишнее насилие, лишний социальный труд для противодействия этому антисоциальному явлению. Обществу этот разрез стоит неимоверных усилий. Творится насилие вовсе ненужное, и не в той мере, в которой это необходимо для правильного функционирования общения, а оно творится не во имя общежития, а во имя горсточки архистов. Таким образом, право, являющееся по существу общество необходимым и общественно полезным насилием, превращается в общественно-лишнее и общественно вредное насилие. Насилие творится над жителями не в пользу, а во вред им. Право становится фатально бесправием, *произволом*„ Это получается в тот период, когда организатор перестает быть общественно необходимым, когда зарождается возможность к переходу к новому строю, к автоорганизации.

Таким образом, после того, как кругом царит такое неимоверное напряжение труженников, после того, как созданы целые кодексы к охране права, после всего этого совершаются постоянные грабежи, убийства, воровства. Большинство краж совершается у бедных или средних. Несмотря на то, что общество тратит столько сил на общение, на социализацию, на удовлетворение нужд общительных, несмотря на то, что столько людей содержатся, которые заняты специально обеспечением от хулиганства и преступлений, эти акты совершаются сплошь и рядом. Преступление, обиженность человека человеком говорит о социальном недостатке. Достаточно охраны, чтобы совершивший преступление, будучи пойманным, не мог оказать сопротивления, но у нас недостаточно охраны, чтобы нельзя было совершать насилия грабежей, преступления. Достаточно людей, чтобы карать, но слишком мало, чтобы предохранять, и не потому, что их абсолютно мало, нехватка рук, глаз, наблюдения, а потому, что они, эти силы, распределены неправильно, ненормально.

Социальные нужды населения не удовлетворяются потому, что эту же потребность удовлетворяют некоторые, горсть власть имущих, до пресыщения, до обжорства.

Таким образом, низы носят всю тяжесть по охране населения, а сами они не охранены. „Вы делали меня сторожихой виноградников, свой виноградник я не сторожила".

Хранители города—сами пребывают без охраны, их дома, их дети, их скарб подвержен случайностям.

5.

Вместо того, чтобы бороться с преступлением, то-есть с нарушением солидаризации, борются наоборот за нарушение солидаризации, за преступление, ибо одно существование высших слоев, высших типов, берущих львиную долю в благах социальных, есть, на известной ступени развития, уже преступление. Кого преследуют? За кем гонятся? Чему уделяется максимум внимания? Политическому преступлению, т.-е. не преступлению, а добродетели. Таким образом свет при известном росте общежития и сознания называется тьмою, а тьма светом. Этот разрез создает неимоверное количество насилий, совершающихся над теми, которые оказывают ему сопротивление. Вместо охраны населения, вместо права для населения получается право для права, для того, кто творит право, самоправо, право, преследующее типовые интересы правящих, организующих. Это совершается в момент их отхода от общежития.

И как буржуазия никогда не хотела серьезно бороться с голодом, с нуждой, с разрухой, ибо в них она черпала все свои рессурсы, так как горе народное, бедствия народные служили ей орудием создания богатств, так как средь голодных, бедствующих легко было вербовать рабочие руки, людей готовых на всякий труд, на самый грязный, на самый непристойный, и прекращение голода означало бы ослабленный приток сил на свои фабрики, заводы или повышение заработной платы, так и капиталистическая бюрократия будто бы борется с уголовщиной, с преступлением, но это лишь видимость, они заинтересованы в том, чтобы средь населения был преступный элемент, продажный, покупной, готовый на все, так как из него они черпают свои рессурсы, эти элементы, это их контигент, который они рекрутируют на работу, на так называемую борьбу с преступлением, на обеспечение общежития. Так буржуазия будто бы боролась с нищетой, с недостатком, создавая чужими руками и выбрасывая на

рынок уйму продуктов, товаров. На самом же деле углубляла, расширяла нищету, недостаток, без которого она не могла бы множить свои богатства, которые складывались из народных бедствий.

То же самое бюрократия капиталистического порядка. Они вербуют преступников отбросов общества, которые сами тонут в преступлении, ибо, не будь их, никто не стал бы совершать их подлых, гнусных деяний, которые они сами не совершают, а всегда делают это чужими руками. Без палачей ни один архический порядок не мог бы держаться, без продажных душ, без дегенераторов, антисоциальных элементов они не могли бы существовать, так как они создают все свои социальные богатства рукой социальных бедствий.

Классовое государство организовывает преступление, сколачивая из отдельных преступников великое преступление. Где возьмешь охранника? Разве честный гражданин, не попавшийся, пойдет на такую грязную работу? Но ему прощают, даруют жизнь, и он продает ее преступлению. Где, бывало, берут палачей? Средь убийц, помилованных? Где берут сыщиков? Средь уголовных, которые переходят на службу.

Как стара история. Ведь вначале и на работу по производству бывало берут преступников, на колонизацию посылали преступников, на осушку болот посылают пленных.

Не может быть речи о серьезной борьбе с преступлением, пока существует особый тип организаторов. Крупные преступники пользуются услугами малых, с этой целью они деморализуют классовое общество. Для исполнения не функции охраны общества, которая является необходимой и общеполезной, не на защиту попранного права, а на защиту произвола, бесшабашного разгула, для охраны мародеров общества, бюрократов, последние выискивают, вталкивают преступников или делают таковых, соблазняя их.

Как высшие классы соблазняли женщин из низов, чтобы удовлетворить их дикие страсти, утолить которых не могли их жены, дети своего класса, так для исполнения их диких властолюбивых планов они вербуют себе помощников из низов, с этой целью они их соблазняют деньгами и проч.

Но чем дальше идет рост архизации общества, чем выше подымается общительность социально-политического труда, тем больше возрастает его ценность, и увеличивается число занятых людей в нем, и грань между ними и обществом стирается, сглаживается, уровень их культурности подымается, сознание просыпается—и из их рядов выйдут могильщики современного архического порядка, архического общества.

XII.

Преступление и наказание.

1.

В современном, расколотом на два типа, организующих и организуемых, обществе, карается очень часто и почти всегда не преступление, не отрицательное действие по отношению к общежитию, к солидаризации, а его противоположность, добродетель, если последняя направлена против архистов, против власть имущих, так как последние отождествляют себя с общежитием, считая, что представитель адэкватен представляемым, что организатор представляет организуемых. И преступление интересует организующих лишь настолько, насколько они в нем усматривают нарушение их авторитета, а для восстановления его им достаточно применять наказание; если последний, караемый ими, окажет сопротивление, тогда они обрушатся на него всей тяжестью репрессий.

По отношению к себе они „преступлений", насколько возможно, не допускают. И, на самом деле, мы не находим в нашем обществе преступления совершенные непосредственно против власти, разве они совершаются людьми, готовыми итти на голгофу во имя их идеи, людьми, названными революционерами.

Должно было быть все по-иному. Общежитие должно возмещать убытки понесшему их по вине нерадетельного отношения общежития. Борьбу с преступлением надо вести не посредством наказания, а посредством предупреждения, пресечения.

Первое—охрана. Второе—обеспечение тех лиц, которые могут итти на преступление из-за нужды. Меры предосторожности против тех лиц, которые преступны не из-за нужды, а из-за погони за роскошью.

Как и преступление, так и наказание, в известной мере, деморализует общество. Ибо наказывающий не далек от преступника.

Ведь дело не в том, чтобы тушить пожар, а в том, чтобы не допускать, предохранять от пожара. С этой целью предпринимается целый ряд мер, постройка домов не из горючего материала и прочие меры предосторожности.

Нельзя стать на точку зрения Толстого, проповедывать всепрощение. Тем не менее, если бы власть не утешалась наказанием, то были бы приняты все меры к недопущению преступления. Общество, в котором совершается преступление, должно быть привлечено к ответственности за поощрение, за попустительство, за нерадение, как сторож привлекается, если он не усмотрел и из-под его носа все уносят. Нечего расчитывать на наказание, в известном смысле оно, наказание, и плодит преступление. Самое главное предохранять от преступления.

Но мы уже сказали, что борьба с преступлением, с социальными бедствиями сможет быть поставлена на должную высоту, если не будет типового деления общества. Пока же это сохраняется, будут преступления, так как самое типовое деление, сама архизация, иерархизация плодит асолидарность, антиинтериндивидуальность, то-есть развращает, губит, растравляет общежитие.

2

Что касается производства, мы можем установить три категории лиц. Первая—производящий, работающий, обрабатывающий, словом творящий положительные ценности. Вторая—ничего неделающий, тунеядец, лежебока, ничего не предпринимающий, не добавляющий к сумме благ хозяйственных, имеющихся у нас налицо. Третья—разрушающий, уничтожающий, это, можно сказать, больной тип, он не то, что ничего не производит, не создает ничего положительного, он творит отрицательно, он портит, он минус, отрицательное число для данного общежития.

Возьмем биологическое хозяйство, сожитие Три разряда людей. Один воспроизводит, плодотворен. Другой бесплоден, ничего не воспроизводит или живет холостяком. Третий не то, что не множит, увеличивает число людей, а уменьшает, убивает. Отец—мать, одинокий, одинокая, убийца.

Когда биологическое хозяйство было очень бедное, когда общежитие держалось на биологических основах, когда смерть кругом ходила и уносила почти все населения, когда последнее было мизерно, бедно живущими силами, тогда рожать было обязанностью каждого, каждой пары. Смертность была неимоверно велика. И биологический труд, если позволят мне так выразиться, не дал никаких излишков, не было прибавочного биологического продукта. Поэтому древность так поощряет *рождение*. Владыкой мира был тогда биологический труд, ибо все дело было в этом. И возможно даже, что благодаря этому существовал матриархат, ибо *биологический производитель* был выше всего.

Плодитесь и размножайтесь. Вот клич библии. И в книге Исхода автор с увлечением рассказывает, что народ плодился и размножался. В то время борьба народа с народом велась на истребление, перерезать все мужское население и оставить одних женщин, которых берут в плен.

Рассказ о фараоне, который приказал каждого мальчика бросать в море, а девочек оставлять в живых.

В то время мужчина выступал, как биологический организатор, дело не в рождении, а в оплодотворении, в мужчине, один мужчина может оплодотворить много женщин, он, так сказать, биологический капиталист, который организовывает целую массу биологических труженицъ, производительниц.

Полиандрия это самая отсталая форма биологического производства, воспроизводства, она, так сказать, отвечает эпохе общественной обработки земли. Те результаты, которые впоследствии получает один, получают все сообща. Полигамия же есть, наоборот, частная обработка; чем богаче, тем больше женщин, чем больше женщин, тем он и богаче. Патриархат держится на множестве детей. Дети — труженики, дети воины, дети—богатство. После появился институт усыновления, институт рабства.

Женщина рабыня, женщина угнетена, так как она на положении производительницы, трудящейся, а мужчина на правах властелина, „капиталиста". Соломон имел тысячу жен. Это огромная воспроизводительная, огромная биологическая фабрика, огромных размеров *„репродуктина"*, детозавод. Дикари и чужим гостям предлагают своих жен, чтобы те рождали, а детей они берут себе. Понятие об отечестве стало чуть ли не понятием капиталистическим, равнялось понятию собственности при крупном производстве.

Все благословения Библии, по крайней мере 90% их, сводятся к плодородию, к плодовитости.

Биологическое производство, воспроизводство возросло, поднялась воспроизводительность биологического труда—наслаждения, смертность пала. Население увеличилось. Получились огромные запасы человеческого продукта. Стали появляться одиночки, которые не хотели рождать. „Размножайтесь и плодитесь" есть закон, есть религиозный императив по Библии и Талмуду. „Чтобы она, земля, была населена, а не пустовала". По еврейскому кодексу община имеет право заставить одиночек, холостяков жениться. Кто родил пару, мальчика и девочку, тот исполнил заповедь „плодитесь и размножайтесь" и его, если он после этого овдовел, нельзя заставить жениться". Занимающийся онанизмом заслуживает высшей меры наказания, „так как он убивает тех, кого он в силах рождать, произвести на свет Божий".

Воспроизводительность росла, смертность пала, количество людей достигает миллиардов. Появляется Мальтус, учащий воздержанию пролетариат. Маркс, ругая его, указал на исток его идеи, на священническое его происхождение, на монашество.

Сын Зома (известный равви) не хотел жениться. И его не заставили, так как он мотивировал свой отказ словами „хочу учиться, не хочу жениться". Но это только ему одному, как исключение, разрешалось, а вообще безбрачие противно духу религиозного еврейства, черпающему свою сочность в Библии, стоящей за апофеоз рождения, биологического производства.

Христианство, монашество—говорит о росте производительных биологических сил, говорит о том, что население было уже слишком велико, что было перевоспроизводство.

Появляется пренебрежительное отношение к биологическому труду — наслаждению, некоторые усматривают в этом некоторую долю греховности, земность.

Мальтузианство и евгеника вот современное слово в этом вопросе. Распространению неомальтузианства средь высших классов содействовало столкновение, существовавшее между собственником, имеющим биологические корни, и организатором, являющимся чистым социологическим явлением. Множество детей разбивало, дробило хозяйство. Поэтому, что касается престолонаследия, собственности в господстве, были выработаны особые правила. Все это, чтобы противодействовать дезорганизаторской роли собственности. В капитализме однодетная система, двухдетная. Но все это говорит о том, что имеются большие запасы человеческого продукта.

Теперь найдете массу мужчин и женщин, живущих совместно, но не рождающих, не производящих, не открывающих хотя бы мастерской, если не фабрики для воспроизводства.

Напрасно реакционеры нападают на эту систему нерождения, напрасно и Толстой и Золя и прочие поругивались. Если стоять на точке зрения воспроизведения, тогда надо ввести институт многоженства. Ибо с точки зрения деторождения ведь бессмысленно держать одного мужчину, который мог бы оплодотворить многих жен, для одной единственной женщины.

Начало мальтузианства лежит в моногамии, и начало монашества, насколько речь идет не о похоти, а воспроизводительности, лежит в моногамии.

Моногамия есть начало безбрачия. Выражаться экономически это значит закрыть фабрики и перейти к кустарничеству, к ремесленничеству.

Но дело в том, что половая жизнь отошла от своей первоначальной цели воспроизведения и стала самоцелью, стала игрой, забавой, одним наслаждением, занята созданием уюта, интимности, родства душ, то-есть автономизировалась. Вначале половая жизнь, сожительство не сентиментальничала, а была занята биологическим производством. Жена, которая не родит, ничего не стоит, и Талмуд предписывает развестись с ней. Сожительство имеет одну единую цель, воспроизведение потомства. Поэтому многоженство не то, что не порицалось, а поощрялось.

Теперь же биологический труд стал забавой. И рождение не вменяется в обязанность, ибо достаточно продуктов, достаточно запасов.

3.

Нерождение детей равняется *лени* в *хозяйстве*. Допустимо ли оно сейчас, когда у нас такая острая нужда в продуктах, когда производительность сравнительно с ростом населения так низка? Бесспорно, недопустимо. И как раньше, много веков тому назад рождение, участие в биологическом производстве, было обязательным, так ныне участие в физическом производстве считается обязательным, трудовая повинность, как раньше была „родительская повинность". Когда мы станем богаче, тогда будем смотреть сквозь пальцы на лень, на неработу, а может со временем будем это и поощрять и проповедывать, когда у нас продуктов будет слишком много и некуда их будет девать.

Тогда, как сейчас мальтузианство, будем проповедывать игры, то-есть занятие ничего не производящее, а лишь услаждающее.

Вместо труда поставим игру

Мы допускаем нерождение—но убийство допускать не можем, и никогда этого не допустим.

Если мы даже будем допускать неделание, то ломание, разрушение без цели, ради одного разрушения недопустимо, как мы не допускаем и ныне, хотя людей не мало, убийства, увечья

И то же самое относительно поступков, касательно преступления и добродетели.

Теперь наше общение настолько бедно, что оно предписывает положительное делание социальных продуктов, произведение солидарикатов. Неисполнение карается, вменяется, взыскивается. Пассивность считается дезертирством с поля общественной деятельности.

Когда общение, когда специальное производство вырастет и станет богатым, тогда никаких предписаний в смысле положительном, императивов не будет. Но запреты будут. Отрицательные действия будут преследоваться, действия активно разрушающие ткань, разлагающие, отравляющие организм общежительный будут караться. И нелепо начать с всепрощения. Преступление, как отрицательное действие, всегда вызовет реакцию в виде наказания такого или иного вида. Не о всепрощении, не о ненаказуемости, а о непреступности надо мечтать. Надо ждать и подготовлять то время, когда преступлений не будет, почти не будет, когда злоупотребление станет редкостью, будет свидетельствовать о ненормальности. Сейчас же можно скорей считать незлоупотребляющих анормальными, так как они составляют меньшинство.

4.

Пока есть типы, не может быть речи об искоренении преступления, так как само сердце, сама сердцевина общежития раз'едается, расточена червяками десолидарности, антисолидарностью.

И современное общежитие, в котором насилие совершает тот, кому это не нужно, у которого нет сознания при совершении своего поступка, своего карательного насильственного поступка, что он совершает акт самозащиты, защиты общежития от противообщественных элементов, насилие, наказание развращает совершающего его.

В общежитии основанном на противоречиях все переходит в свое противоречие, право в бесправие, в произвол, добродетель в преступление. Там, где есть иерархия, там опошлен социальный труд, ибо он общественно вреден, не по существу, а по форме. Физическим трудом в буржуазном порядке производят то, что губит людей, что губит рабочих, что вредно общежитию, производят снаряды, пушки, все разрушительные орудия, заняты тем, что строят дома увеселения для высших классов, дома заключения для низших, куют цепи, заковывают низших, делают троны, короны для высших, черпают жемчуги из дна морского для самой пошлой и пустой головы.

То же относительно социального труда. Социальный труд получит свое возвышение, свое вечное, оправдание после преодоления типов, как труд физический получает свою идеализцию после преодоления классов. Тогда социальный труд станет, на самом деле, социальным, теперь же он часто антисоциален, не усиливает общения, а разобщает людей, раз'единяет, сеет вражду, ненависть. По вине этого многие не заметили всю важность, всю общественную жизненность, лежащую в этой функции, поэтому многие недогадливые прозвали общественный социальный труд *насилием*, они из-за его временной исторической оболочки, которую надо сорвать, содрать, не видели его сущности, его ядра, его нутра.

При переселении типов обнаружится вся положительность социального труда и не будет он больше прозван *насилием*.

Преодоление типов есть дело самих тружеников на ниве социальности, интериндивидуальности.

Социальный труд станет *интериндивидуальным*, социальный труд очистится от деморализации. Социально труженики перерастут своих иерархистов.

Интериндивидуализм.

РАВЕНСТВО
и
СВОБОДА.

ДИФФЕРЕНЦИАЛИЗМ.

Буржуазия при Великой Французской Революции выкинула, как лозунг, как боевой клич, как великий факел, освещающий тьму ночей общежительных, три слова, каждое из которых составляет целую программу действий и сноп чаяний: Равенство, Братство и Свобода.

О, что вреднее слова без содержания, что соблазнительней красного слова.

Как легко создать слово, как трудно вложить в него здоровое содержание. И не знаем ли мы мучительные слова, вокруг содержания и понятия которых билось, металось все человеческое мышление и разумение, пока оно их не выбросило вон на навозную кучу бессмысленности, обиходности и вульгарности.

—Но равенство и стремление к нему берет свое начало не в великой революции, это стремление, это убеждение живет спокон веков в сердцах, в умах великих мыслителей и представлено во многих многих произведениях:

Великая революция лишь формулировала это понятие, это стремление, это социальное убеждение!

С этим учением случилось то, что случилось со многими им подобными учениями.

Это учение, как все им подобные, лежит в полосе наивного реализма, за которой следует полоса более глубокого, более критического отношения к социальным явлениям.

С прикладной социологией должно случиться то, что случилось с астрономией по вине Коперника. До него наивное наблюдение и мышление констатировало вращение солнца вокруг земли, а он учил обратному: земля ходит вокруг солнца.

Нужен Коперник и Галилей в социологии, нужно крикнуть в наш век, век царствования суеверия равенства, когда все теоретики, как старые астрономы, утверждают, что мы идем к равенству, к эгалитаризму, когда это учение считается господствующим, крикнуть всем: а все-таки земля вертится, а все-таки нет равенства, а все таки мы идем обратно от равенства, от сравнительного равенства к неравенству, к большему неравенству, к более глубоким различиям, к более пропастным дифференциациям. Нужно восстановить Неравенство, как основной закон „земной астрономии"

И я уверен, что это учение встретит столько же сопротивления, сколько встретило в свое время учение Коперника и и Галилея. Но я более чем уверен, что это учение, учение об Анэгалитаризме победит мир разумного, толкового мышления.

Критическое мышление говорит, что идем от равенства к неравенству, а не обратно от неравенства к равенству.

Мы так идем. Мы так и должны итти. Ибо прогресс лежит в неравенстве, в разнообразии, а не в однообразии, в неравенстве, а не в равенстве.

Учение о равенстве есть религиозное учение, есть глупое, безрассудное религиозное суеверие, с которым пора покончить.

Одна из первых наук это астрономия. И она первая перестроилась, переоценила свои религиозные ценности. Социология одна из самых последних наук, и она до сих пор держалась обветшалых религиозных воззрений, до сих пор.

I.

Равенство.

Где мы находим равенство? Нигде. Ни в мире животных, ни в мире физических тел. Ни в биологии, ни в физике, нигде мы не находим равенства. Гора горе не равна, дол долу не равен. Двух равных гор нигде не найдешь, двух равных во всем

рек не сыщешь. И двух равных камешков и то нигде не найти. Такое разнообразие условий жизни, такое богатство форм и условий, причин, факторов. И как возможно повторение тождественных явлений и форм.

Мир явлений и вещей индивидуален до бесконечности. Но тогда как мы строим наше обобщение, наши общие суждения, наши представления и понятия? Это наше дело, а не дело мира, окружающего нас. Мы пренебрегаем в тот момент, в момент составления общих понятий, общих представлений, всем сингулярным, всем исключительным, всем индивидуальным и схватываем самое общее, самое типовое. Мы интересуемся тогда схожестью, мы отыскиваем общее и отбрасываем индивидуальное. Мы отвлекаем, абстрагируем. В этом вся тайна психического нашего мира, психического аппарата.

Психический мир по отношению к физическому занят отвлечением, пренебрежением исключительным, индивидуальным, занят установлением общих понятий, общих идей, общих представлений. Познать мир значит откидывать все индивидуальное. Познать значит свести различное к равному, значит группировать, связывать, ассоциировать, точнее, социологизировать, политизировать мир явлений. И это правильно. Так как таким образом устанавливается лишь, что дереву дерево ближе, чем камень. Тут всегда устанавливается близость, относительная схожесть, чернильница на чернильницу более похожа, чем чернильница на слона, или на небо. Идет группировка, периодизирование явлений, событий и классификация вещей.

Это процесс искусственный. Он имеет свое оправдание в своей практичности, в своей удобности, в своей пригодности. Он экономен, он техничен, он прагматичен.

К полному равенству,—не к типовому, к родовому, которое устанавливает наш психический аппарат, наше восприятие, наше ощущение и наше понятие,—стремится техника.

Техника дело рук человека. Человек психизирует мир внешний и внутренний, то-есть отбрасывает все отдельное, партикулярное, все индивидуальное и схватывает лишь общее, общие черты, общие очертания, общие контуры, общий абрис. Но это остается лишь в психике, и познании человека. И чем выше поднимается познание, чем оно абстрактнее, чем оно более философски, тем оно точнее, тем оно выдержаннее, тем оно более психизировано, и тем оно дальше от мира с его бесконечным разнообразием. И поэтому высшей точкой познания, абстрагирования считается монизм, единство, сведение всех и все к одному, к полнейшему равенству, к *универсализму*. От сингуляризма, от разнообразного, от разрозненного, от раз'единенного, разбросанного, рассеянного, к полнейшему синтезу, к полнейшей гармонии, к внешнему единству, к универсализму, охватывающему все.

От познания мира, от психической его обработки человек идет к физической его обработке, к воплощению его идеи в вещь, в предмет. Тут создается экземпляризм.

В психике, в психической обработке мира имеем дело с типом, с родом, с видом в зоологии, с группой, с классом и проч. В технике мы имеем равенство, доведенное до экземпляризма, вместо познавательного типизма, периодизма, классизма и проч.

И спор об истории, есть ли она наука или она занята индивидуальным неповторяемым—сводится лишь к тому. Чего мы хотим? Хотим ли мы писать историю, творить историю бессознательно, или познать нашу историю, а потом творить ее сознательно. Если только писать историю, тогда мы будем иметь историографию. Она будет в известном смысле индивидуальна. Но она будет непознаваема. Ибо изобилие фактов отдельных случаев будет преобладающим явлением и мы не в силах будем ее познать, ее схватить. Познать историю можем лишь тогда, когда мы отдельные события сведем к чему то общему, генеральному. Далее, технизировать историю мы сможем лишь тогда, лишь после того, как ее мы достаточно *опсихизируем*, лишь после того, как мы ее сфабрикуем познавательно, лишь после того, как мы ее обработаем *логически, математически*, после того, как ее подвергнем внутренней технизации. После этого мы можем приступить к созданию экземпляризма, к созданию форм, условий, событий по нашему желанию и разумению.

Равенство, тождество мы имеем в технике, где в одной форме отливаем известное количество экземпляров.

Равенство, тождество имеем в математике, где линия равна линии, где угол прямой равен углу прямому. Ибо это отрасль психической техники. Здесь не экземпля-

ризм, а полнейшая идентичность. Все прямые углы не равны, а суть один и тот же угол. Ибо математика, на самом деле, имеет лишь один прямой угол для всех времен и всех народов, для всех веков один и тот же прямой угол. Это не экземпляризм, а идентизм. Человек самому себе, взятому в один и тот же момент, равен, бесспорно равен самому себе, 2=2, два равняется двум, то-есть два есть два, а есть а, означает, что а не может быть не—а в тот момент, когда он а.

В технике имеем экземпляризм, то-есть отраженный идентизм, идентизм размноженный. Форма идентична, но экземпляр, получаемый от содружества этой формы с почти равным материалом уже есть *экземпляр*, он содержит в себе максимум равенства, он различен лишь насколько материал варьировал.

Два экземпляра одной и той же напечатанной книги. Текст один и тот же. Тут тождество, „то же самость", различна бумага и краска, но и бумага и краска являются продуктами техники, они различны, то-есть одна единица разнится от другой лишь настолько, насколько экземпляр различен от другого ему подобного экземпляра.

В природе физической и в биологическсй мы не находим равенства отдельных экземпляров, мы находим там, как сказано, лишь типы, роды, виды, классы, группы. А люди? Ни один человек не похож, не равен другому. Один сильнее, другой слабее, один красив, другой безобразен и проч. Бесконечное множество разных духовных и физических качеств. И не может быть иначе, при таком множестве разных факторов, разных условий, физических, географических, физиологических, психических, да, наконец, социологических.

В физическом мире нет равенства. Различны количества и качества. В биологическом мире подавно нет равенства. Тут роды, виды, семейства и проч. Дарвин создал остроумнейшее учение об их происхождении, не желая признать индивидуального сотворения, он свел их разнообразие, к древнему к сравнительному единству.

В психологии и речи нет о равенстве. Душа душе не равна, психические способности представляют такое богатство различий, которое затмевает своим разнообразием все различия биологического свойства. Затем идет Социология. Тут еще меньше равенства. Тут почти что равенства никакого. Тут деградация, тут иерархия, тут лестница, нижняя ступень которой соприкасается с землей, а верхняя целует небо, синь.

Возможно ли говорить об экземпляризме, или еще более, о равенстве в социологии в отношении человека к человеку? Нет. Всякая речь о равенстве есть самообман, есть социальный миф, расчитанный на экзальтацию народного воображения, на пришпоривание его инертной воли, имеет лишь прагматическую, социальную, а не логическую ценность.

Учение о равенстве это социологическая алхимия. Чего добивалась алхимия? Она добивалась облагораживания всех металлов, равенства металлов. Это говорит о неразвитии социологии, если принимают еще в серьез эти учения. Это религиозная социология. Это этическая социология.

Если бы мы могли создать искуственно человека и мы бы натворили можество таких автоматов, то мы бы для них создали и осуществили идею о равенстве. Но так как эта возможность совершенно исключена, так как мы имеет дело со здоровыми живыми людьми, представляющими каждый из них бесконечное богатство разнообразных способностей, то не может быть речи ни о каком равенстве, а скорее, наоборот, о неравенстве.

Люди сами по себе не равны, когда они соединяются между собой, то они еще более не равны, ибо к их неравенству физиологическому, психологическому прибавляется неравенство социологическое.

И все учения о равенстве свидетельствуют лишь о росте неравенства, и о желании его затушевать, замаскировать, покрыть его фиговым листом. Религиозная, наивная этика считала неравенство чем-то ненормальным, недопустимым, так как религия, освящая прошлые века, прошлые времена, вообще все прошлое, старое, ветхое, метала громы и молнии против тех новых явлений, возникающих на ее глазах, — и поэтому она для успокоения своей совести говорила, сулила, обещала равенство. И чем дальше, чем глубже шло неравенство, тем громче этика кричала о равенстве.

Но этика развенчивается с каждым днем, она все более и более становится анахронизмом, религиозным предрассудком. Сильнейший удар нанес ей Штирнер в его глубокомысленнейшей книге, из которой, к сожалению, не вычерпнуты все перлы. За-

тем пошел Ницше, который его раз'яснил. И второй, как первый, остались пока непонятными Европе. Но их скоро поймут.

Поэтому в эпохи перехода, перелома, возрастания неравенства, когда неравенство делает новые завоевания, в такие эпохи особенно много говорят о равенстве. И чем неравенство станет более ярким, более бросающимся в глаза, и в то время, когда оно ново, молодо, еще не освещено временем, в такое время оно боится выступать без забрала, без личины на своем лице. Равенство религиозно, ибо в старину, в ветхую старину было релятивное равенство. Поэтому равенство считается чем-то священным, то-есть древним, принятым, святым. Неравенство моложе, современнее, поэтому оно считается недопустимым. И в эпохи зарождения нового неравенства, зарождения, возникновения нового строя, его, этот новый строй, его, это новое неравенство выдают за равенство, за его деда, за его старинную, предшествующую, лежащую в глуби веков эпоху. Неравенство физиологическое и психологическое получило свое отражение в социологии, там оно расцвело пышным цветом, ибо оно преломлялось в зеркале вод социальных, тут же оно стало особенно заметным и привлекало к себе внимание наблюдателей. Было создано богослужение героев. Культ предков, культ старцев, культ героев тела, затем культ героев духа.

Неравенство физическое множится, когда оно переносится, вносится в область биологического, оно вторично множится, когда оно вносится, преломляется в психической среде, оно в третий раз множится, когда оно входит в сферу действия социальных факторов.

Неревенство первой степени в физике, второй—в биологии, третьей—в психологии, четвертой—в социологии. Таким образом мы имеем в социологии неравенство в четвертой степени.

Неравен физический мир, вещь, предмет не равен другому из того же разряда, нет абсолютно равных гор и проч.

Неравен биологический мир. Дерево на дерево похоже, но не равно. Их неравенство больше, чем неравенство существующее между предметами физического мира, так как тут прибавляется рост, структура и проч.

Не равняется психологический мир, психические явления, психические аппараты, мышление, чувствование, тут почти нет повторяемости.

Не равняется социальный мир. Социальные явления, тут уже перед нами иерархия, пирамида или лестница.

Наивное мышление признает, что человек беспомощен в смысле нивеллировки, в смысле выравнивания людей, что касается их физиологии, роста, цвета кожи, цвета волос, комплекции и пр. Никто из нас не в силах сделать кого-либо выше, хотя бы на один вершок. Прокрустово ложе знает лишь сказка. Про Содом рассказывается подобное. То же самое относительно психологии, есть способные и неспособные, совершенно неспособные или менее способные, гений, талант, бездарь,—вот лестница. Творец и жалкий пошлый подражатель. Творец нового языка и безграмотный. Вот величина расстояния и тут мы беспомощны, ибо психика не дело наших рук.

Но вот доходит очередь до социологии. Социология продукт цивилизации, продукт культуры. Здесь мы всесильны, утверждает наивное мышление. Здесь мы можем ввести равенство, выравнять всех людей, создать для всех одинаковое благосостояние.

Во-первых, не следует забывать, что относительно социологии утверждается, что здесь область культуры, а не техники. Культура ничего общего не имеет с экземпляризмом. Его знает одна физика. И мы не должны забыть, что физика самая низшая ступень бытия. Там именно возможен экземпляризм, так как мы имеем дело с мертвой природой, с мертвечиной. Там, где работает техника, там, где мы создаем, обрабатываем продукт, совершенно не щадя его, совершенно с ним не считаясь, там мы низводим его из вещи для себя на вещь для нас, на экземпляр, то-есть мы воплощаем наше общее представление. Мы имеем представление о столах, мы и делаем столы, мы имеем представление о подсвечниках, мы их отливаем. Мы их превращаем в экземпляры. Там же, где мы встречаемся с культурой, с культивировкой, там идет сотрудничество наше и самого предмета. Мы обрабатываем землю, но она все же нам родит хлеб, а мы его не делаем. Там, где есть культура, там нет экземпляра. И раз мы стоим в области цивилизации, в области культуры, то не может быть речи об экземпляризме. Тут сохраняется некоторая доля „вещи для себя", индивидуальности, предмета. В био-

логии мы имеем дело с особью. Особь особи не равняется. Здесь царство рода и вида, подрода, подвида, но здесь нет экземпляров.

Кроме этого мы же не должны упустить из виду, что мы просто беспомощны,— если бы мы даже искренне хотели и если бы даже нужно было бы хотеть, в сфере социальной, так как различия, полученные здесь, являются лишь следствиями различий, царствующих в других сферах, в более низких областях. Раз мы не имеем равенства внизу, то не можем же получить равенства наверху, раз нет равенства слагаемых, то откуда получим равенство в сумме, в конечном итоге. Социология есть итог всего предыдущего. Не можем же получить равенство лиц в зеркале, если фактически лица не равны, одно круглое, а другое продолговатое.

Для того, чтобы получить равенство в социологии и быть справедливым и правильным, мы должны были получить первым делом равенство в физиологии, затем в психологии, а затем лишь в социологии.

Оперировать, нивеллировать социологию,—если допустим, что это делается социалистами и так называемыми анархистами, как они себя называют, рабочими социалистами—не нивеллируя, не ампутируя биологию, психологию, ни к чему не приведет. Есть глупейшая никчемнейшая затея.

Но фактически об этом лишь говорят, но этого никто не думал в серьез делать. А скорее делалось обратное. Словом с делом расходилось, в особенности в области социальных преобразований, где слово служит самым острым орудием борьбы, на протяжении всей писанной цивилизации.

О равенстве говорит тот класс, который призван творить новое неравенство, более глубокое, чем предыдущее, он проповедует это учение среди низов, среди тех, которые социально неразвиты, и которым идея равенства наиболее близка, так как они социологически не подверглись еще развитию, дифференциации. Идея равенства распространяется среди рабов, людей не живущих социально, активно, а лишь пассивно, средь рабочих, где дифференциация низка, ничтожна, так как и социологически, и психологически они неразвиты, незрелы.

Мы уже выяснили это положение, что солидарность, то-есть идентичность рабочего класса об'ясняется лишь тем, что он создает ее отрицательно на основе того, что они все одинаково лишены своих орудий производства. Поэтому мы видим такую спайку у угнетенных, то-есть незрелых, неразвитых, нездоровых социологически, но дайте пролетариату что-то положительное и он сейчас же обнаружит всю свою способность к дифференциации.

То же самое было с буржуазией, то-есть с третьим сословием, которое было спаяно одним сознанием лишенности прав и привилегий. Как только оно стало господствующим, оно разложилось, то есть развилось, из однородного состояния оно перешло в разнородное, разделилось на классы. Рабочий класс по тому же закону должен разбиться на типы, на тип господствующий, организующий и на тип *организуемый*.

Не видеть этого значит быть слепым.

II

Агитационный период.

Агатационный период есть своеобразный период, период, разрушения, период бури и натиска, период штурма крепости господствующего до сих пор класса. Такие периоды, как периоды несущие отрицание, являются демагогическими, временами посул, обещаний. Так как этими обещаниями покупается помощь, поддержка со стороны широких слоев народа, со стороны всех недовольных, всех обиженных, неудовлетворенных. В такой период не жалеют красивых слов, сладких обещаний, такой период богат отрицанием прошлого. В Европе таким периодом был ренессанс, который раскрепостил плоть и дух, то-есть отменял запреты возложенные религией, с которой наука ввязалась в бой. Когда идет ломка старого, отказ от запретов, отмена предыдущих законов, то многим наивным кажется, что здесь идет отмена запретов, отмена законов вообще, а не законов известного вида, им кажется, что здесь происходит разрушение, в то время когда на самом деле происходит *перемена* закона, преобразование, отмена старых негодных, слишком слабых, недействительных на новые.

Наивному суждению кажется, что вот, мол, рушится все, низвергнуты, низринуты кумиры, отброшены авторитеты и вместо них пустота, нуль, разгул. Не тут-то было. Сейчас же вместо старого разрушенного воздвигается новое. Отменяются старые законы, чтобы написать новые. И так далее.

То же самое происходит каждый раз в социологии. Старый порядок не нравится. Вообще всегда есть достаточно недовольных. Они, недовольные, не составляют силы, пока они не соединены, не связаны, не спаяны общим планом действий. Они недовольны, но не в силах что-либо предпринять. Это недовольство подхватывается новым господствующим слоем, который подрос под предыдущий. Как его низвергнуть? Где взять силы для его уничтожения? Тут начинаются поиски за носителем, здесь начинается маскировка. Что значит искать носителя? Зачем он? Тот, кто проповедует эту перемену классов, этот и есть носитель, он и его приверженцы. Но это мало. Они слишком малочисленны. Как им скинуть господствующий класс? Для этого есть одно средство, надо найти недовольных предыдущим положением, порядком, строем. Надо их сорганизовать, сколотить из них большую силу, а с помощью этой силы скинуть ненавистный господствующий класс. Надо подогнать свои чаяния, свои вожделения под вожделения недовольных, надо их использовать.

Чем отличается господствующий класс? Допустим, правами, привиллегиями. Тогда надо проповедывать отмену привиллегий. И за вами пойдут все недовольные, все лишенные привиллегий. При победе вы восстановите привиллегии, но другим образом, более основательным, более крепким, фундаментальным.

Допустим, речь идет о свержении буржуазии. Чем она сильна, в чем ее мощь? В частной собственности, в богатстве, в накопленном капитале. Бросим клич, что восстановим равенство и за нами пойдут все недовольные предыдущим, господствующим порядком, разделяющим людей на пролетариев и капиталистов.

Так что каждый новый господствующий класс имеет два периода, период слова и агитации и период дела, период проповеди, распространения его идеи, его учения, вербовки членов, и период реализации его *идеала*, период господства. Так как этот переход глубок и важен, то он вызывает изменение во всей идеологии. Нельзя сравнить угнетенный класс с господствующим. У него другое положение и другое настроение. В периоде угнетенности, верней, в периоде догосподства, он ищет адептов средь слабых, средь недовольных, которым он сулит золотые горы. В период господства он ищет сильных, которым он не сулит, а дает, слабых он отшвыривает, отбрасывает от себя, вступает с ними часто в столкновение, так как многие из них настолько уверовали в посулы данные им, что они возмущены якобы обманом. Обещали им так много и так мало дали. На самом деле им дали, но не всем, дают тем из них, которые оказываются достаточно сильными, чтобы взять. Часть выделяется и занимает особое положение, выгодное положение. Другие же, большинство, остаются на том же сравнительно месте, на котором они были раньше.

Агитационный период есть время трескучих фраз, время обещаний, время вовлечения масс, широких слоев в процесс разрушения старого порядка. Агитационный период есть время восстановления масс, взбудораживания их, возбуждения низов против „верхов".

Этот период длится во все время борьбы. Как только получилась победа, так сейчас начинают говорить по-иному. И все сказанное переходит, как по мановению волшебного жезла диалектики, в свое противоречие.

Буржуазия имела такие два периода, период просветительства и период покоя, период молодости и старости. В первый период она утверждала устами Руссо, что все люди рождаются равными и свободными. Во второй период она устами Спенсера твердила заклинания против равенства, выдвигая учение о выживании наиспособнейших, о естественном подборе. Собственно говоря, то не была буржуазия, а третье сословие, из которого выделилась буржуазия, на почве которого выросла буржуазия.

То же самое будет с пролетариатом. Он отойдет в скором времени от периода агитации и вступит в период дела, практики, действительности, настоящего, а не будущего. И как различны будут эти два периода. Первый имеет в виду заманить обездоленных, зеручиться их симпатиями, вовлечь их в работу, в грандиозную работу по разрушению старого мира, второй период есть период созидания, период запряжения масс в колесницу истории и цивилизации. Первый период есть неискренний период,

второй—искренний, содержит в себе больше горькой правды. Во второй период устанавливается сызнова все неравенство, которое существовало до сих пор и плюс *наростание*. Второй период занят укреплением позиций, взятых с бою смельчаками авангардом и отражением новых восстающих, бунтующих пока в области теории.

Агитационный период — это создание „естественной школы" в праве, школа установившая естественные законы для всех времен и всех народов, голые принципы, школа, утверждавшая, что все подлежит изменению и все мы в силах изменить, стоит только исследовать, познать, рационализировать, а потом изменять, ибо все возможно. К агитационному периоду принадлежит классическая школа в политической экономии, революционная поэзия Шелли, Байрона, Гейне и друг.

У феодализма, у монархизма была точно также агитационная эпоха, и абсолютизм имел свое агитационное время, время половодья идей, время перестроя.

И социализм имеет такую же эпоху. Кто занимается исследованием социализма должен обратиться к самой лучшей его концепции, к марксизму. Марксизм вот венец социалистического мышления.

Марксизм содержит в себе два элемента. Один приспособленный к периоду агитации, другой здоровый, солидный, годный „для всех времен". Одна часть марксизма рассчитана на агитацию, на социальную прагматику, другая часть фундаментальна, первая, если можно так выразиться, религиозна, метафизична, а другая часть *научна*, правильна. Учение о том, что конкуренция не годна, что она вредна, пагубна, разрушает хозяйство, так как она вносит элемент дезорганизации, утверждение, что капитализм недостаточно организован, недостаточно целесообразен, недостаточно планомерен. Спрос и предложение в слепой погоне одно за другим. Все регулируется слепо, общее имеет вид частного и прочие утверждения, тезисы—незыблемы, непоколебимы и они образуют основу марксизма, здоровое ядро. Из них вытекает основное требование: национализация орудий производства, национализация торговли и проч.

Многие недалекие мыслители и „друзья" рабочих, низов, как Толстой и друг, увидев „эксплоатацию" и поняв ее наивно, пришли в ужас и стали звать, отозвать народ подальше от культуры, подальше от новых форм, они по наивности своей хотели решить эту проблему, в то время, как марксизм только пользовался этой темой.

Эксплоатация рабочих. Чем это докажешь? Разве добавочной стоимостью. Но ведь все это воздушные агитационные замки. Эксплоатация рабочих, кем? Буржуем, тем, кто создал промышленность, торговлю. Класс, который создал новую цивилизацию, разве он может быть паразитическим. Разве, вообще, паразитизм возможен в таком виде. Паразит получал все, а настоящему производителю, творцу ценностей он дал лишь ничтожную часть своего продукта, ведь это смехотворно, если принять это учение за настоящую доктрину, а не за агитационную, прагматическую проповедь. Но дело в том, что эта доктрина рассчитана на одну агитацию, на одну прагматику. И против прагматики нечего спорить. Какже он решает проблему? Он решает ее очень просто: обобществление орудий производства. Прекрасно. Но если такое сравнительно мелкое предприятие, разрозненное хозяйство, как буржуазное, выдвинуло целый класс организаторов, то что уже говорить о национальном, крупном хозяйстве, которое, наверное, ведь потребует своего класса, своего типа организаторов. А этот тип ведь будет, если признать поверхностно тезис об эксплоатации, эксплоатировать производителей. Мы ведь не можем быть настолько наивны, чтобы допускать улучшение человеческой природы, наростания этических факторов и прочей галиматьи, клонящейся к учению о преображении человека. Неужели единственный путь эксплоатации есть продажа и реализация барыша посредством сделки. Никто не даст себя сбить с позиции уверениями буржуазных, тупоголовых экономов, что прибыль получается от продажи. Ясно, она получается в процессе производства, а не от продажи. Продажа идет своим порядком. И перекупщики зарабатывают от продажи. Прибыль же основная, производственная создается в производстве. Она получается, утверждает Маркс, от эксплоатации, от того, что буржуй дает рабочему меньше, чем он производит, то-есть излишек, добавочный труд не делится между производителями, которые получают лишь на содержание, а между эксплоататарами. Прекрасно. Где гарантия против этого? В обобществлении. При обобществлении труднее будет установить долю одного, отдельного производителя, и при капиталистическом порядке

это невозможно. Но при обобществленном производстве, раз оно будет обобществленным, то-есть организованным в национальном масштабе, то потребуется еще больше организаторских сил, талантов, и если рабочий не мог справляться с мелкой мастерской, то что уже говорить о новом хозяйстве, здесь на самом деле требуются огромные таланты, специальный талант организатора, и ясно, как аксиома, что при таком хозяйстве доля, получаемая рабочим, простым производителем, в его продукте будет меньше. Разумеется, он получит больше, абсолютно больше, так как производительность труда возрастет неимоверно. Повторится то, что мы наблюдали при переходе от мелкого производства к крупному. Крупное производство выгоднее и рабочему и населению, и предпринимателю. Но доля в продукте выходит меньшая для рабочего. И естественно, благо в нем, в продукте, кроме простого производственного труда лежит и организационный труд.

Чем дальше, тем все больше отходим от простой природы. Сначала идет одна материя, дикий плод, дикий мед—вот чем мы питаемся. Нас питает природа, пьем воду, которую мы черпаем руками, едим ягоды, дикие плоды, которые нам попадаются.

Тут обмен между нами и природой. Наш труд есть лишь, так сказать, „торговый". Мы тратим силы лишь на то, чтобы донести плод, воды до нашего рта, мы ходим их искать. Это зачатки. Здесь нет труда обрабатывающего, а есть труд по приисканию продукта. Здесь обмен, торговля с природой, труд здесь тратится на оборот, как он и тратится в каждой сделке.

Затем идет труд на обработку. Мы не потребляем продукт в том виде, в котором мы его находим, мы его обрабатываем. Огонь, мы варим. Здесь рождается промышленность, обработка. Материя, природа отступает, появляется труд. Каждый продукт содержит в себе труд. Мы потребляем труд. Как только труд развился, то предметы им обрабатываемые становятся из физических предметов социальными, они становятся средствами обмена. Ибо труд претерпевает ряд изменений и получается обмен между человеком и человеком готовым продуктом, то-есть им, человеком, обработанным, сделанным.

Наше потребление еще дальше отходит от физической природы. В продукте имеется не только первый труд по обмену с природой, затем простой производительный труд, но и труд по обмену с социальной средой, с человеком. Тут уже три вида труда. Далее идет промышленность. Тут четыре вида труда. Первый вид—взятие материи, материала, сырья, вид обмена между природой и человеком, затем второй вид труда, обработка его, и этот труд физический, обрабстка природы это физическая промышленность, это область исследования технологии, затем идут два вида социального труда, во-первых организационный труд, затраченный на обработку производителя, на социализацию, локализацию его, второй вид на обмен социальный. Торговля занята трудом по обмену, промышленность же занята *обработкой* людей, производителей, благодаря которой обработка продуктов получает социальный характер.

Таким образом, природа, материя все оттесняется, удаляется, обесценивается. И если прав Маркс, утверждая, что материя, материал, продукт сам по себе ничего не стоит, не обладает никакой меновой стоимостью, так как последняя есть социальная категория. То еще более правы будем мы, когда скажем, что ценность меновую создает социальный труд, а не труд вообще, труд насколько он социален, настолько он творит ценность. Вода движется, ветер работает, собака бегает, птица летает—неужели они творят ценности. Никакие. Ветер, если вы его запряжете в мельницу, то ваш труд по запряжке его, вот что творит ценность, ветер же сам ничего не стоит и ваш труд настолько ценен, насколько он общественно необходим, то-есть насколько он социален, ибо меновая ценность социальная категория, а не физическая. И если так, то труд работающего по организации производства, то-есть по социализации наиболее ценен, не просто труд творит ценность, а социальный труд. И относительно прибавочной стоимости, то Маркс совершенно невыдержан, непростительно невыдержан, если принять всерьез его теорию и забыть, что мы имеем дело с агитационным ходом, с учением, созданным ради агитационных целей. Рабочая сила продается. Продается по цене. Это товар. Существует спрос и предложение. Их взаимоотношения устанавливают цену рабочей силе. Каким же способом рабочая сила создает какую-то сверхестественную ценность, какую-то добавочную? Ведь ее купили по цене, по ее рыночной ценности. Ведь знали вперед, что она в силах творить эти чудеса и за чеканку этих чудес упла-

чено. Рабочая сила берет столько, сколько требуется для его восстановления, рабочая сила дает добавочный продукт. Но разве рабочая сила, как труд, как трата энергии, дает излишек, ничуть не бывало. Поставьте эту силу, берите этот труд, применяйте его более отсталым методом, и он не только не даст излишка, но он даст убыток, он больше с'ест, чем произведет. Излишек продукт культуры, продукт социального труда. Рабочую силу надо рассматривать как машину. Мы не можем ее рассматривать как материал, ибо она не употребляется, как продукт, а лишь применяется она как машина. И с тем же успехом Маркс мог утверждать, что прибавочную стоимость творит машина, он бы и перед этим не остановился если, бы должен был перетянуть на свою сторону машины, чтобы они пошли походом против буржуазии и помогли бы установить национальное хозяйство.

Сколько машина стоит, столько и вчитывается в общую сумму издержек на товар, на продукт, прекрасно, и рабочая сила, и время, издержки по труду всчитываются в общую сумму. Откуда же прибыль? То-есть куда девается излишек? На это есть один ответ: излишек берет тот, кто организует труд, кто его превращает в сложный социальный труд из простого. И как машина ничего не творит прибавочного, так и рабочая сила, прибавочное творит, собственно говоря, культура, цивилизация, социализация, организация, так как последняя подымает производительность труда. И поэтому он, последний, организатор, берет себе не всю прибавочную стоимость, а львиную долю ее, часть перепадает и рабочим, но весьма ничтожная часть. От железного закона заработной платы отказался Маркс. Где же рабочий берет излишек, сумму, превышающую его расходы, на собственное восстановление и продолжение рода? Ему фабрикант платит больше. А где тот берет? Ясно, что другого источника нет, как из излишка, из цивилизационного фонда. Свой организаторский труд он ставит выше всего. На его понижение действует лишь соперничание, конкуренция. И этому никак не поможет обобществление. Наоборот. Организаторская деятельность возрастет. Из полусоциального труд станет настоящим социальным, он войдет в высшую степень социализации, он станет еще более прогрессивным, более верховным, он подымется выше, он станет сложнее, и ясно, что производительность труда будет, в конечном счете, ему обязана, и, разумеется, что он, организатор, возьмет себе львиную долю в излишках, получаемых по покрытии всех расходов, то-есть он возьмет себе роскошь.

Но я уже сказал, что учение об эксплоатации надо рассматривать, как *агитационное учение*. И марксизм не на этом держится. Главное в марксизме это экспроприация экспроприаторов, то-есть захват фабрик и огосударствление их. Разница между ним и Родбертусом в том, что он нашел носителя, что он понял, что такой переход требует выдвигания нового класса, нового типа, что требуется создать агитационное учение, в то время, когда тот был так наивен, что он думал, что старое государство в силах будет выполнить такую реформу. Старое государство в его старых формах не могло этого делать, так как для этого акта требуется новое государство, требуется интернационал в политике, требуется создание нового типа, который руководит массами, обещая им рай земной, а потом дает им, я бы не сказал, ад, а в известном смысле, то-есть в абсолютном смысле, лучшие условия труда, лучшие условия существования. Но, конечно, о рае не может быть и речи, так как рай земной есть лишь социальный миф.

Заслуга Сореля неимоверна в том, что он, кажется, первый стал называть эти вещи своим настоящим именем, социальным мифом. Но у него по какому-то недоразумению мифы лежат в области тактики, в то время, когда на самом деле они лежат в области идеологии, в формулировке идеала. Но это собственно, не мифы, а агитационные приемы для воодушевления масс, для выведения их из инертного состояния, без этого их нельзя было бы раскачивать.

К этому же агитационному периоду принадлежат всякие заверения народа в том, что вот вот начнется эра равенства. Этот грех не лежит на одном марксизме, на одном социализме, наоборот, марксизм наиболее трезво подошел к этим явлениям, принимая во внимание, что он боролся с другими школами, которые совершенно утопали в социальной мифологии, в сказках о райском житье на земле, о полнейшем равенстве, о жизни без социального труда и проч.

В нем повинен и древний мир и современный. Сколько надежд было возложено на монархизм. Оправдал ли он свои надежды? Нисколько не оправдал, и те, которые

боролись за него, если бы им удалось встать из своих гробов, то они бы боролись против него.

Затем либерализм. Чего, чего он не обещал! Равенство, братство и свобода, вот его лозунги. Он обещал уничтожение всяких различий, существующих между людьми в общежитии. Чем он кончил? Это всем известно. И не критикой либерализма хочу заняться, а хочу об'яснить, что он, либерализм, имел два периода, период агитационный, период посул, период нереальный, недействительный, период слов, мечтаний, мифов социальных. За ним пошел период реальной, настоящей жизни. Второй период вскрыл истинную сущность вещей, истинную ценность слов, сказанных в период агитации.

И как смешно, что за ним пришел социализм, опять явился громами и молниями трескучих мифов и народ опять поверил, несмотря на то, что он недавно был так высмеян, что над ним так наглумился, надругался либерализм. Народ, народные массы, что дети, опять поверили.

Как видно, свойственна людям вера, свойственен, врожден оптимизм.

Я нисколько не утверждаю, что либерализм обманул народные массы. Он обманул в агитационный период, он обещал то, что никому не дано выполнить. Но в реальный его период он осуществил очень многое, он поднял сравнительно благосостояние и уровень культуры и уготовил путь перед социализмом.

Тут весь интерес представляет идеологическая сторона. Столько пустых обещаний, никем не выполненных и опять обещаний, и опять поверили. Неужели народ, народные массы и в третий раз поверят анархистам, анархистам старого толка, Бакунинского, Кропоткинского, которые насчет посул довольно щедры и насчет „прагматики" прямо-таки мастера с Божьей милостью.

Характерно в этом отношении то, что там, где либерализм дал себя глубоко чувствовать, там рабочий класс, проученный прошлым горьким опытом, разочарованный, не так падок к этим посулам. Но легок он на веру там, где его еще не проучили. Так что у одного и того же народа два периода агитационных не уживаются рядом. Народ, „сагитированный" раз, во второй раз относится уже более скептически к этим обещаниям.

III.

Социальная мифология.

Настоящее не удовлетворяет, оно полно бедствий, несчастий, невзгод и социального, и физического, и биологического, и психологического свойства. Человек борется за свое существование. Борьба эта носит социальный характер, более, она сплошь социальна, так как борется не отдельный человек, а группа, община, клан, род, семья.

Эти группы, эти социальные единства имеют реальное прошлое. Если прошлое отдельного человека ничтожно, мелко, охватывает ничтожный период времени, то прошлое социальной группы гораздо длинней, обширней, глубже уходит в даль, в туман веков. Это прошлое скапливается в виде капитала навыков, преданий, знаний, верований. Рост культуры это рост накопленного богатства опытов, привычек, случаев, событий.

Прошлое конкретнее будущего. Прошлое есть остывшее, ушедшее настоящее, оставившее нам свои следы в памяти, воплощенное в сказаниях. Старики, старожилы, хранители прошлого, памятники старины. Обожание прошлого есть обожание старины, обожание старчества. Носитель прошлого есть старое, ветхое поколение.

Носитель будущего молодое поколение. Во-первых, оно не представляет по настоящему будущее, а лишь образно. Ведь и они не пришли из стран будущего, а лишь есть надежда, лишь надежда на то, что они доживут до более глубокого времени, чем остальные. Во-вторых, их беспомощность, их тщедушность не могла внушить идеи уважения к далекому, зарождающемуся времени, к тому, чего еще нет, а лишь будет.

Как сказано, будущее время более абстрактно, так как оно ожидаемое, в то время, как прошлое есть прожитое, есть впечатление, которое бледнеет, стирается, гаснет, меркнет, а будущее лишь в предчувствии.

Ясно, что сознание прошлого должно предшествовать сознанию будущего.

Старец, рассказчик, знающий предания, знающий прошлое, обладающий громадным опытом, вот кто уважается.

Выход из настоящего искали в прошлом, в пройденном, в накопленном опыте, в богатстве привычек, преданий.

Даже более. Сознание прошлого предшествует сознанию настоящего. Настоящее есть сама жизнь, сама действительность, само бытие. И из него не могло родиться понятие о времени. Понятие о времени родило прошлое, когда событие *было* и его более нет.

Когда берутся две точки, сегодня и вчера, прошлое и настоящее, тогда рождается будущее, которое из прошлого тянется к настоящему. Конкретное будущее это настоящее обозреваемое с точки зрения прошлого. От совокупления прошлого с настоящим родилось будущее.

Когда углубляешься в прошлое, когда уходишь в мрак, в глубь лесов дремучих пройденного, прожитого и оттуда бросаешь взгляд на настоящее,—тогда зарождаются, вспыхивают первые проблески будущего, грядущего.

Прошлое родилось раньше, прошлое боготворили старики. Прошлое есть весь накопленный опыт в жизни, вся сокровищница житейской мудрости, собранной в эмпирии.

И если настоящее не удовлетворяло, и если случилось, стряслось бедствие, то все взоры были обращены к старцу, к старейшине, испытывали прошлое, спрашивая не было ли такого претендента.

Консерватизм, пассизм имеет глубочайшие корни, ибо вся его мощь в претенденте, в опыте, в самом великом учителе.

Радикализм, футуризм есть преодоленный консерватизм, есть творческое восприятие прошлого, не подражание, копирование, а пересоздание его. И при всех бедах, при всех неурядицах обращались к старцу, который поведал как поступали предки при таких случаях, ибо источник опыта лежит в прошлом, в длинном прошлом, а не в одномгновенном настоящем.

Сказать словами Бекона: мы старше, ибо у нас и опыта больше, прошлый опыт и настоящий, то-есть прошлое плюс настоящее, можно было лишь тогда, когда период обожания прошлого и сохранения прошлых ценностей стал фактом. Это вторая ступень, которую лишь первая делает возможной.

При бедствиях, при несчастиях творилась легенда о прошлом счастии, при слабости, трусости, никчемности творилась легенда о прошлых героях, о прошлых великанах, создалась сказка о золотом веке, о райском житье. Зло. Несчастье. Легенда говорит о том, что в прошлом этого не было. Так возникает легенда о богах, полубогах, о героях, так творится мифология, со всеми ее сверхестественными действиями, с ее рассказами о всемогуществе.

В чем она черпает свою сочность? В том факте, что близкое прошлое лучше, богаче близкого настоящего. Пока человек потребитель, то он истощает, обирает богатство „земли и неба", кормится за столом Божиим, питается дарами природы. Примеры. Река. Она полна рыб. Пришли охотники и все поедали. В реке меньше осталось богатств, ибо все растрачено, расхищено, потреблено человеком.

Непочатый край—самый богатый край, ибо его еще не успели исчерпать.

Дол, трава. Пришли со стадами и все кругом поели. Где сила, мощь, богатство края?

В его прошлом. Искать счастья, богатства, изобилия надо в прошлом, в то время, когда здесь никого еще не было.

Вот идеология потребителя. Потребление есть истощение запасов. Наличие запасов есть дело далекого прошлого.

Вот почему у них создалось учение о золотом веке, когда все лилось, как из рога изобилия.

Земля была тучна, реки были полны рыб, леса полны дичью.

Все идет на убыль, запасы мельчают, богатство хиреет, изнашивается.

Вот в чем апофеоз прошлого.

Грехопадение есть истощение души, нарушение невинности. Все скудеет, беднеет: и деревья, и реки, и небо, и земля, и человек и душа, и тело. Все изнашивается. Все пожирает потребитель.

Куда направляло свои стопы воображение, ищущее края счастья? К прошлому, к далекому, к седому, к ветхому.

Культ предков и апофеоз прошлого это одно и то же.

Если прошлое есть идеология потребителя, чувствующего, что он идет к краху, к исходной точке, что с каждым шагом он приближается к черной бездне, к последней роковой черте. Это психология того, кто живет насчет накопленного фонда, на счет своего прошлого и прошлого предков. Он боится будущего, которое ему рисуется со всеми ужасами опустошенного клада, потери последнего подспорья То обожание будущего это идеология производителя, не расточающего, а множащего свои богатства. Сегодня у него немного, вчера было еще меньше, завтра же будет больше, а после завтра еще больше.

Чувство роста вот чувство грядущего. Производитель сменяет опустошителя земли и ее богатств. Появляется оседлость. Появляется агрикультура. Рождается труд, являет свой облик культ. Труд творит блага. Источники его не исчерпаемы, так как они лежат в приплоде, в воспроизведении. Человек сам, а не земля, не окружающая среда, становится источником богатств. Он сам источник. Он не потребитель, а производитель и воспроизводитель. Как воспроизводитель, он воспроизводит труд, он производит себе подобных. Он неисчерпаем. Он чувствует свой рост, по крайней мере количественно, и если качество еще остается в легендах, в верованиях, в преданиях, еще очень долго, на стороне предыдущих поколений, то количеством он уже дает им перевес.

Он производитель. Он обрабатывает землю, он оплодотворяет ее и она ему рождает, родит хлеб, растит деревья и плоды, коренья и проч. Создается *ремесло*. Он больше производит, чем потребляет. Он делает сбережения. Появляется прибавочный продукт. Создается досуг, который посвящается выделке, усовершенствованию орудий.

Смертность меньше рождаемости. Производство опередило потребление. Создается перспектива на будущее, рождается надежда, что в будущем будет лучше, чем в прошлом.

Но долго уживаются эти противоречия. Боготворится далекое, два конца времени, далекое прошлое сливается в воображении с далеким будущим. Создается мифология будущего. Но обожание старого остается в силе. Отрицается настоящее, идеализируется прошлое и будущее. В будущем больше творчества, так как будущее творение воображения. Ведь будущее не подчиняется тому, что было, действительности.

Если и прошлое представляет большое богатое поле действия для воображения, то еще больший простор, лучшие краски и лучшую, более чудотворную кисть дарует вам грядущее, самодовлеющее, так как оно абстрактно, оно ожидаемое, оно дело рук произвольного творчества.

Далее, творчество будущего лучше тем, что оно вас ожидает, что оно лежит по линии вашего пути. К прошлому нет возврата, а к будущему ведет прямой путь, по этому одному будущее лучше прошлого. Из прошлого можно было лишь черпать, а будущее можно будет пережить.

Будущее переплетается с настоящим. Настоящее, воздействуемое обоими дисциплинами, на него влияет прошлое, учитывается опыт пройденного, прошлого, принимается во внимание будущее, так что настоящее есть уже не настоящее, а полубудущее, получается телеологическое поведение, готовятся к приятию будущего. „Царство Божие яко тать в нощи“, а потому готовьтесь—вот классическая формула овеянности настоящего будущим.

На этой стадии место старца, место старейшины, седовласого патриарха занимает оракул, пророк, прозорливец, ясновидящий, созерцающий грядущее, предсказывающий, пророчествующий, вещающий.

Прошлое бледнеет перед красотой и величием, заманчивостью грядущего.

Создается новая мифология, мифология грядущего. Все стало возможным в грядущем, в будущем, нет пределов, нет рубежа всемогуществу грядущего, этого великого океана полного чудес.

Место древнего героя, предка занимает далекий потомок, далекий отпрыск.

„И будет в конце дней“—вот формула пророчества. Не начало важно, а конец. Конец венчает дело. Грядущее осилило прошлое. И рай, и золотой век, и рог изобилия перенесены из одного конца, из одной сферы времени, в другую, в более совер-

шенную, более творческую, более произвольную, так как она бесконечна в дали. Ибо если и начало имеет предел, ниже которого, глубже которого не опустишься, то конец конца не ведает, он самый далекий в дали далей. Рождается мессианство, которое является, собственно, апофеозом будущего.

Мессианство есть социальная футурмифология, сказание о грядущем, собственно, пророчество. Пророчество есть мифология, романтизм грядущего, ожидаемого.

И когда открылся этот источник, этот фонтан, то он брызнул девственной необычайной силой.

„И перекуют мечи на орала"...

„И лев как скот будет есть одну солому".

„И не будет зла и погибели во всей святой горе моей".

И если мифология прошлого была полуабстрактной, полуреальной, будучи связана кое-сколько с действительностью, здесь перед нами область чистого абстрактного и нет преград фантазии.

Взмах крыла,—и край счастья так и стоит сотворенный перед нами во всем своем пленительном блеске, град солнца, град надежды, град ожиданий.

И сказка о золотом веке, лежащем на заре жизни, и сказание о конце дней является мифологией, но первая есть мифология потребителя, а последняя мифология производителя, идущего вперед, полного надежды и веры в свои силы.

Но мифологией она остается. Это сказка, это мечта—и только. Это несбыточность. Это первый шаг отхода от действительности. Это первое шевеление социальной мысли.

Мифология есть самая примитивная, прикладная социология.

Пророчество, предсказание, посулы на счет будущего есть тоже мифология, но более развитой формы.

Профетизм есть вид прикладной, примитивной социологии.

Наша социология в известном смысле еще не освободилась от обоих этих видов мифологии, от мифологии прошлого и будущего, от пассизма, от перфектумизма и от футуризма, от обожания прошлого и от алкания грядущего. Как часто при столкновении двух школ, двух прикладных дисциплин социологических замечаешь, что в их столкновении действует старый спор двух мифологий, спор грядущего с прошлым. Как часто, исследуя дисциплину прикладной социологии, видишь, что она насквозь мифологическая, греческого или иудейского стиля.

Во всех наших идеалах поныне легко вскрыть элементы мифологии.

Настоящее не нравится. Создается учение о будущем, о лучшем грядущем. В чем оно черпает свою мощь и силу? Очень часто в прошлом.

Что такое толстовство? Это мифология. Это боготворение прошлого, пройденных ступеней развития, ступеней, разумеется, не страдавших нашими недугами.

Что такое толстовское опрощение, если не призыв к возврату, к прошлому, к золотому веку, когда не было крупных, грязных, полных порока и греха, соблазна и скверны, городов, центров, когда не было культуры.

Толстой типичнейший мифолог, идеализатор прошлого, проповедник простоты, старины, примитивных, незатейливых форм жизни.

Почему он идеализирует христианство? Потому что это примитив. Почему он освящает кустарничество? Потому что это примитив, а все примитивное священно, свято, религиозно, ближе к началу, соприкасается с тем временем, когда все было свежо, молодо, сочно, сильно.

Вспоминаешь его сказку „зерно с куриное яйцо". Когда это было? Это было в ветхой, седой старине, когда земля была тучна, не истощена, когда люди были не истощены, всякий крик о возврате, о счастьи в прошлом изобличает потребителя, потребительский класс, исчерпанный класс, одряхлевший, чьи заслуги лежат в прошлом, класс, предки которого Рим спасли.

Такому классу и будущее рисуется в виде доброго прошлого. Тут ассоциация и апперцептивные массы. Новое рисуется в виде старого, ветхого.

Класс потребляющий больше, чем он производит, боится будущего, боится будущих форм,—он ищет свой идеал в далеком прошлом.

Толстой это типичнейший мифолог. Он сын слоев, долженствующих уйти на покой истории, и он полон возмущения. Он видит, он чует их погибель, погибель сво-

его класса, своего общества. Он не слеп и не глух, как большинство из его класса. Он оракул. Он одарен глазом и видит близящуюся гибель, он одарен слухом, он чует катастрофу, он слышет подземный грохот.

И он пылает гневом против этого грозного грядущего. Он заклинает его прошлым. Он призывает на помощь религию, он хочет спастись с ее помощью от пристающей науки, он призывает примитивный, простой, неподвергшийся еще разделению труд. Он плетет лапти. Проследите все его мировоззрение, вы всюду найдете его мифологический характер, его любовь к старым формам, его уклон и тяготение к тому времени, когда его класс был сочен, полон жизни, был прогрессивен, творил новые формы социологического бытья. Но он не только сын прошлого. Он лежит на грани двух миров, отходящего и восходящего. Он черпает и из одного и из другого. Восход и закат в его груди, в его слове.

Он сын отцветающего. Он видит новые силы, он видит, чует наростание новой мощи, нового могущества. Он видит два противоречия. Он подменивает. Он вертит колесо истории обратно. Он окрашивает грядущее в свет пройденного, схоженного.

Он отрицает настоящее, он отмахивается от него. В этом его действия совпадают с прогрессом. Он ищет другого, вового. Но вместо нового он дает старое, утверждая, что грядущее должно непременно иметь вид прошлого.

Он реакционер и прогрессист в одно и то же время. Он не консервативен, он не сохраняет, он реставрирует, он хочет вернуть доброе прошлое, прошлое без дефектов настоящего. Он не консерватор, а реставратор.

Но он не исключительно мифолог, он и профет. Мифизм и профетизм пронизывают его насквозь.

Таким и был Руссо для буржуазии. И он был утопичен. И он был краен. И он требовал возврата к доброму прошлому. И он, как Толстой, боготворил природу, естество. Все, что исходит из рук творца совершенно, великолепно, все поганит, грязнит человек.

Толстой силится быть для пролетариата тем, чем Руссо был для третьего сословия, для буржуазии. Но это ему менее дается. И Руссо мифолог и профет, в нем прошлое и будущее с перевесом на стороне прошлого. Он идеализирует порядки Рима и Греции. Ему кажется, что лучше не надо, что лучше нельзя. Маленькие республики. Решения вопросов на площади. Общая воля. Монарх, как слуга.

Он всюду ратует за естество. Он против культуры и знания, которые губят людей и общество. Но он и профет. Он глубоко верует в будущее, которое у него смотрит как синее небо чрез тучи, грозовые тучи прошлого.

Но не он один повинен в мифологии и в пророчестве. Почти все социологи — практики, почти все идеологи до настоящего времени грешны мифологией и профетизмом. Профетизм есть тоже мифология, но лишь на счет будущего.

Всюду, где мы находим чрезмерную идеализацию грядущих форм, там мы имеем на лицо пророчество древнего иудейского профета в новом виде, в обновленной раме старый портрет великого предвещателя, прозревателя, предсказателя грядущих событий.

И к сожалению социология настолько еще не наука, настолько еще не практическая дисциплина, настолько еще не прикладное практическое искусство, что она питается сказками, предсказаниями, ни на чем необоснованными.

Все науки и раньше их все искусства, все ремесла находились в стадии мифологии и культа. Но все они уже давно выросли из этих своих пеленок. Социология одна из последних наук и она еще не успела окончательно освободиться от мифологических элементов.

Большинство систем к переустройству общежития можно отнести некоторыми их частями к мифологии. Что такое весь кропоткинизм, если не милая, детская, наивная сказочка о райском житье на земле, что это, если не грезы для детей младшего или старшего возраста!

IV.

Социальная метафизика.

Когда мы излечиваемся, когда мы перерастаем наивность, мифологию, то мы не сразу становимся реальными, критически относящимися к окружающей жизни. От мифологии мы переходим к аллегории, а затем к метафизике.

Все науки развились из искусств, из ремесл, утверждает Спенсер, и приводит в пользу этого утверждения целый ряд доказательств. Астрономия имеет отношение к мореплаванию. Геометрия вышла из землемерия. Математика из счета и т. п.

Откуда же у нас могла получиться здоровая, реальная социология, когда прикладная ее часть, которая, собственно, ей должна предшествовать настолько беспомощна, зачаточна, настолько мифологична и метафизична. Это собственно не социка, а метасоцика.

И метафизика в социологии есть большое, весьма большое завоевание, рассматривая ее исторически. Так как те формы, с которыми она борется, оттесняя их, являются насквозь *мифологическими*, сказочными.

Марксизм насквозь метафизичен. Но, принимая во внимание, с кем он боролся,— то он представляет колоссальнейшие завоевания в области прикладной социологии. Если сравнить „научный социализм" с предыдущими формами социализма, если сравнить марксизм, как систему, как тактику, с предыдущими видами социализма, господствовавшими до него, вроде Вейтлинговского и прочих демагогических тактик, или сличить его как систему, как учение, с прежними видами, фурьеризмом, сенсимонизмом, то придется признать, что здесь мы имеем дело с крупнейшим завоеванием в области социологии.

И поэтому, утверждая, что марксизм метафизичен, мы не хотим вовсе уменьшить его заслуг, которые колоссальны перед очищением, освобождением этой сферы человеческой деятельности и мышления от мифологического балласта.

Но заслуги исторические заслугами, а ошибки ошибками.

Марксизм излечил социализм от мифологии, но не излечил его от метафизики, от метасоцики.

И если Туган-Барановский утверждает, что слишком много утопического в „научном" социализме, и не мало научного в утопическом, то разумеется, что дело здесь в преобладающем тоне и фоне.

Я бы вместо Энгельса озаглавил его известную брошюру „от мифологического „профетического" социализма к метафизическому".

Так называемый утопический социализм должен быть назван мифологическим. И даже то кажущееся реальным, что в нем, еще более мифологически, если иметь в виду те ожидания, те чаяния, которые были возложены отцами того социализма на их практические мероприятия, вроде кооперации Оуэна и Фурье.

Они посредством этого способа хотели решить вопрос труда и капитала. Словом, излечить все недуги нашего социального „организма" простоквашей кооперации, напоминая невольно Мечникова.

И Шарль Жид, насколько он искренне думает решить проблему труда и капитала с помощью кооперации, он утопичнее, метафизичнее и легендарнее самых крайних, самых увлекающихся социалистов. Вообще практические кооператоры более утопичны, чем самые ужаснейшие утописты, если первые не думают заняться просто коплением барышей, а решать всерьез социальные проблемы.

Кто реальней, тот ли, кто задумал исчерпать море дырявой кружкой, или тот, кто задался той же целью, но хочет этого достигнуть с помощью колоссальнейших размеров ведра. Оба нереальны. Но уж во всяком случае наивнее тот, кто возится с кружкой и уверяет, что он достигает цели, ибо делание ведра он считает утопическим делом.

Но к этому вопросу, к прочим видам социализма, как кооперативизма и других, мы еще вернемся.

Марксизм не то, что реальнее, „научнее" прочих видов социализма, но он и реальнее, менее метафизичен, чем господствовавшие до него школы либерализма.

Либерализм, вообще, можно сказать, метафизичнее, нелепее, легендарнее социализма.

Но как последний, так и первый содержит в себе целый ряд школ и толков.

И либерализм, как таковой, весь со всеми его школами ужасно метафизичен. Он обещает рай земной. Как он этого думает достигнуть? Очень легко и просто. Он отменит привилегии, уничтожит сословия. Место первого и второго займет третье сословие, оно станет, по известному боевому словечку Сэйса: „всем". И все неурядицы современности решены, удалены. Наступит царство счастья. Ведь вся беда

в том, что господствует синяя кровь, что считаются с происхождением, а не с личными заслугами, с личными качествами человека. Это зло будет удалено. И все пойдет по иному. Прекратятся войны, прекратится ненависть и борьба. Воцарится равенство, братство и свобода.

Еще основное положение: люди рождаются равными, каждый имеет право на собственность, на имущество. Собственность человека неприкосновенна. Вот тезисы, вот пункты, от которых ждали абсолютного решения всех больных вопросов общежития.

Далее, практические мероприятия: уничтожение монархии, свержение королей, установление представительного начала в правлении и еще целый ряд реформ. И с помощью этих никчемных мер пытались воцарить, и не пытались, а уверяли, что воцарится рай земной.

Читайте их обещания, читайте их посулы, читайте их картинки будущего.

Естественная школа в праве, классическая школа в экономике. Чего вам еще нужно? Человечество сошло с правильного пути, оно слегка заблудилось, стоит ему указать верный, правильный путь и оно вернется обратно в край счастья, равенства, братства и свободы.

Блаженная мифологическая наивность. Отмена привилегий и все сделается само собою, последний станет первым. Какое легковерие!

Отменят привилегии, — но ведь эти привилегии на чем-нибудь держались, на чем-то базировались. А отменить надо было не только привилегии, но и тот фундамент, на котором они держались. Над этим даже не задумались.

Что здесь, ослепленность? Да, классовая ослепленность, но кроме этого имеется просто человеческая слепота, наивность, суеверие, бич человечества на протяжении веков и веков,

Общежитие они строят на договоре. Они чуть ли не утверждают, что это историческая истина, факт, что так, мол, строилось, цементировалось наше общежитие,

Как философскую истину провозглашают рационализм. С его помощью разрешаются все проблемы, все сумерки исчезают при появлении этого великого полуденного солнца. Весь мрак суеверий прячется.

Рационализм в праве, в политике, в хозяйстве. Люди рождаются свободными, а почему они всюду в оковах,—вот вопрос заданный всем восемнадцатым веком устами и пером Руссо. Вернуться на путь истины, жить правильно, следует жить, как жили римляне, афиняне и проч. Свобода получится, если отменят привилегии, и стеснительные законы, сковавшие промышленность, хозяйство. Надо бросить в огонь всесожжения парламентации и жизнь забьет новым, свежим ключем.

Люди рождаются равными. Губит равенство феодализм с его неравными правами, отменить их, снять эти путы с ног богини равенства.

Что здесь больше, наивность или желание подействовать, повлиять на народ, который падок к религиозным блюдам? И то и другое. Но больше всего суеверия, мифологии и метафизики социальной.

Свобода,—невмешательство в экономические дела, манчестерство.

Социалисты после указали, что свобода, собственно, означала свободу конкуренции и свободу эксплоатации, то-есть самая вопиющая противоположность свободе по существу.

Что же представляет либерализм? Метафизическая система социологии. Свободу об'явили фетишем, богом, кумиром для самоутешения и самообольщения и для внушения массам, что настнет рай земной. И чего можно было ожидать большего, чем самообман, от такой нелепейшей теории, от такой метафизичнейшей дисциплины?

Они поставили социологию на голову ногами вверх. Социология вырастает из биологии, из сожительства, из семьи. Они же ее построили на договоре, построили ее на праве

Какая бессмыслица. Право есть одно из выявлений социологии, совместного жительства людей. Договор есть верхушка общежительных отношений. Она получается, как следствие, как известный венец на социологическом здании. Они же выдали это за фундамент.

Люди рождаются равными.—Что сие означает? Разве все дети равны? Одни тихи, другие кричат, горланят и плачут, одни больше ростом, другие меньше, одни появляются зрелыми, некоторые недоношенными и т. п.

Что значит равны? Условия, обстановка, что ли? Этого ведь быть не может. Но что муки родов претерпевают все матери при рождении своих детей. И здесь провести знака равенства никак нельзя.

Но стоит ли критиковать серьезно эту наивную метафизическую декламацию?

Не стоит. Тут все об'ясняется тем, что желательное выдавалось за фактическое. Хотелось им, чтобы родились равными, чтобы родились свободными, и они утверждали, что таковыми все рождаются.

Далее, под шум, под гам и крик о равенстве, о свободе можно было творить самую ужасную деспотию.

Идеологией хотели заменить действительность. Создавая учение о свободе думали удовлетворить жажду свободы. Учили о свободе, говорили, писали о свободе, и это слово писанное и реченное выдавали за действительность, за реальность и таким способом заговаривали рабство, тиранию, деспотию, глядящую на вас, давящую вас со всех сторон.

За либерализмом пошел социализм. Он, собственно говоря, родился одновременно или даже раньше первого, если вам не лень лазить по лестнице истории культуры, выискивая крохи, отрывки разных учений и религиозных и „научных", имевших место среди разных сект, рассеянных по разным книгам и трактатам.

Но как практическая дисциплина он стал занимать авансцену внимания и действия после того, как либерализм получил свое частичное осуществление, то-есть после того, как либерализм осуществил, реализовал то, что он вообще в силах был реализовать.

Что сделал социализм в лице его лучшей школы, учения Маркса? Отбросил ли он всю метафизику либерализма?

Нет. Не хватило смелости, не хватило критического отношения к проблемам социальным.

Социальные проблемы именно потому, что они сложнее всех прочих проблем, которые мы обнаруживаем в области физики, биологии и проч., они кажутся нам людям, более простыми проблемами. Именно их сложность ввергает нас в эту непростительную и оставшую роковой для человечества, ошибку.

От медицины матери раньше отказались, чем от педагогики, то-есть от воспитания. Вы не найдете ни одной матери, как бы глупа и суеверна она не была, чтобы она решилась лечить своего сына без помощи врача на том основании, что она мать и она любит своего сына, она ему родная мать, а врач его не любит, он ему чужой, следовательно, не он должен его лечить, а она, любящая мать.

Медицина, как отрасль компетенции, выдвинулась раньше педагогики. Почему? Очень просто, потому что она проще, ее результаты, как положительные, так и отрицательные сказываются раньше и ощутительнее, нежели результаты в области медицины.

Тут смерть корректирует действия матери. Там в педагогике все покрыто мраком неизвестности. Процесы сложнейшие, их не уловить.

Тут можно руку, ногу сломать, вывихнуть. Там увечье духа, психики, духовных способностей.

И бабская медицина уступила свое место врачебной, рациональной раньше, нежели бабская педагогика настоящей, основанной на научных и экспериментальных основаниях. То же надо сказать относительно социологии. Здесь все так сложно. Следствия отдалены, отдалены от причин. Ошибки не так легко учитываются, не наказываются так быстро, так безапеляционно ясно, как предыдущие.

Поэтому здесь сказывается еще большая отсталость, чем в предыдущих областях где мы имеем дело с телом, или с духом. Здесь же мы оперируем с обществом. Тут такое множество факторов, что голова пойдет кругом у лучшего из мыслителей. Поэтому с таким апломбом берет на себя решение этих вопросов некомпетентность, не подозревая о существовании такой громадной сложности, запутанности вопросов и проблем.

Это море всем по колено, ибо они не подозревают, что имеют дело с морем.

Социализм, шествуя за либерализмом, повторял за ним почти все ошибки, впитывая в себя почти всю метафизичность, всю как мы раньше это назвали метасоцичность первого, Я говорю „почти", так как некоторые элементы он отбросил.

Марксизм выдвинул вместо прежнего идеализма, царствовавшего в области социологии прикладной материализм экономический. Но и материализм не менее метафизичен, не менее метаэкономичен, чем прежний идеализм.

Марксизм пошел по стопам классической школы политической экономии и по стопам либерализма, с его огульным решением социальных проблем.

Вместо сословий он поставил классы. Раньше было учение о сословиях, борющихся между собой сословиях, теперь же выступят классы.

Либерализм думал добиться решения социальной проблемы с помощью отмены привилегий и провозглашения принципа ревенства и свободы в политике и неприкосновенности собственности в хозяйстве.

Социализм стал менее доверчив, он не верил во всемогущество юридических норм, он требует фактических реальных изменений. Но к нему они все сводятся? Он ударяется в тот же тупик, в который в'ехал либерализм. Он нашел корень зла. Это частная собственность. Отмена частной собственности вот панацея против всех зол современного, грабительского, безнравственного порядка.

Частная собственность, какая-то юридическая категория, не больше не меньше. Она такая же категория, как привилегия. Отмена привилегий ведь не дала обещанных блаженств, благосостояний. Почему это даст отмена частной собственности? Тут метафизика.

Институт частной собственности вот источник всех социальных бедствий. Нисколько не берусь защищать частную ообственность, как я не намерен защищать дворянские привилегии.

Я хочу только указать на метафизичность постановки этой проблемы. Феодальный мир держался на привилегии, на разделенности на сословия. Отмена привилегий была так же необходима при капитализме, как отмена частной собственности при переходе к социализму.

Но если простительно было наивному либерализму веровать, что с уничтожением привилегий он уничтожает все зло, все до дна, находящееся в нашем общежитии, то это уже совсем не простительно социализму, шествовавшему за ним и видящему воочию, что либерализм оказался беспомощным в борьбе со злом.

Но социализм по иному подошел к этой проблеме. Он всюду усматривал чуть ли не злую волю. И если он, в лице марксизма не оперировал со злой, индивидуальной свободной волей, что было бы архианахронизмом, предполагая существование свободы воли, что нелепым казалось и буржуазному мышлению, то он оперировал с коллективной злой волей, классовой злой волей. Классовая эксплоатация порождает классовую близорукость. Буржуазия, вот кто во всем виноват. буржуазия не дает, не допускает решения социальной проблемы, водворения царства божьего на земле. А потому классовая борьба пролетариата с буржуазией вот что решит все проблемы, ибо эта борьба единственный двигатель прогресса для всех времен и всех народов. Либерализм не хотел решить социальной проблемы.

Но социализм решит, ибо за него берется пролетариат, этот „последний "класс. *Последний* класс,—но разве предыдущие классы, группировки, взявшись за решение социальной проблемы, не выдавали себя за последнего? Тут метафизичность, не желающая стоять на исторической платформе, развертывать исторические перспективы, знать что есть лишь средина и нет ни конца ни начала.

Пролетариат один из двигателей прогресса, один из моторов, запряженных в колесницу истории. Но не им история началась, не им она и кончится.

Последний класс—если в слово класс вложить специфическое историческое значение, если определить класс современно, ограниченно, включая в определение не только логическую сущность, но и историческую форму, окраску, тогда, конечно, пролетариат является последним классом, ибо за ним не будет классов, как и до него их не было, а были другие группировки, носившие другие более отвечающие их формам названия, были другие дифференциации, и разумеется, что после исчезновения пролетариата, класса наемников, будут, пойдут другие группировки, другие дифференции

которые будут находиться в соответствии с будущими формами общежития, не классы, а что то другое Но тогда ведь нельзя сказать „последний," ибо до него не было классов и после него не будет классов. Классы охватывают известную полосу в развитии социаленых взаимоотношений.

Можно было бы сказать, что он третий класс, самый низший при современном классовом обществе.

Если мы говорим „он последний", значит хотим сказать, что после него не будет классов, не в смысле специфическом, особом, историческом, а вообще не будет классификации, дифференциации. Он последний класс—значит до него было классов, были „классы" в древнем мире, были „классы" в средние века. Но не будет в новом мире, так как пролетариат есть последний.

Тут верх наивности и метафизичности. Куда делась историческая, диалектическая, эволюционная точка зрения.?

Если под словом класс разуметь вообще разделение, дифференциацию общительную, и только в таком смысле можно утверждать, что классы были всегда, то поневоле приходится признать, что классы вечно будут, пока будет общежитие, ибо везде, где мы находим общежитие, там мы находим общежительные дифференциации. Если же подразумевать под словом „последний класс" самый низший класс, то это значит ничего не сказать, а констатировать, что пролетариат в данную эпоху занимает низшее положение сравнительно с помещиком и с капиталистом. Не более.

Таким же последним было и третье сословие, оно было самым низшим сословием. Оно и было „последним сословием", если мы наотрез откажемся от употребления слова „четвертое сословие", как не выражающего точно сущность переплетенных взаимоотношений и взаимозависимостей, созданных новым укладом жизни.

Каждая историческая экономическая эпоха имеет свой „верх" и низ, имеет свой венец и свой фундамент, который зарыт глубоко в земле бедствий, лишений и неимоверного труда. Конечно, мы оперируем со сравнительным, относительным. Сравнительно с высшими положение низших отчаянное, незавидное,

Отмена частной собственности панацея против всех зол экономических. Такой же панацеей, была бесспорно, в глазах современников и отмена частной собственности на человека, на живое орудие производства, упразднение института рабства.

А история показала, что она не исчерпалась этой фазой, этой дифференциацией, она нашла другие. За рабством пошло крепостничество, крепостное право.

И при отмене крепостного права и при уничтожении феодального порядка с его делением людей по началу рождения, по предкам, наивность в лице либерализма утверждала, что она решает все, так как она освобождает последнее сословие.

Имея такой опыт, исторический пройденный путь и после утверждать, что все решается по мановению волшебного жезла социализма, благо пролетариат последний класс—более чем наивно и самообманно.

Это верх метафизики, метасоцики. История человечества это борьба классов—одно утверждение. А второе утверждение гласит, что все, что было до нас, было преисторией, а история только и начнется после того, как борьба классов стихнет с уничтожением всяких классов.

Метафизическое остроумное тупоумие.

Если вся история есть борьба классов, то пока будет история, будут классы в том или ином виде.

Начать с глубокого пронизывающего общежитие анализа и кончить митинговой выходкой недопустимо. Допустимо отчаянному метафизику.

Классы, как дифференциация, были, есть и будут—вот что напрашивается от первого утверждения, заявляющего нам, что вся писанная история человечества есть летопись столкновений между верхами и низами.

Утверждать же, что до нас были классы, но вот мы нашли рецепт против этого, или что сама действительность нашла рецепт против этого в виде концентрации и пролетаризации, двух противоположных процессов, ведущих к взрыву, к катастрофе, более чем метафизично.

Ведь катастроф было несколько в истории человечества. И после каждой катастрофы родилось вновь общежитие, новое общежитие с новыми дифференциациями, и

катастрофа помогла, содействовала в известном смысле зарождению новых взаимоотношений.

Где уверенность, что это последняя катастрофа и после этой катастрофы не будет больше никаких дифференциации.?

Марксизм метафизичен не потому, что он создал сложное учение о ценности или другие учения головоломные. Не в этом суть.

Он метафизичен потому, что он, как либерализм, оперирует всегда с абсолютным, а не релятивным, он оперирует с законченным, концом, а не срединой, развивающимся.

Он метафизичен и его понимание борьбы классов тоже метафизично. Он мыслит борьбу без смены, борьбу на уничтожение. И это уничтожение он мыслит, как что-то завершенное, абсолютное.

Классы борются, борьба ожесточается. Пропасть вырастает. Не будет никакого примирения. Правильно. Классы пойдут на слом. А дальше? Воцарится тишь, да гладь, да Божья социальная благодать. Вот где метафизика.

Пусть, представим себе, что весь старый мир рухнет, уничтожится. Но развалины ведь останутся. А на развалинах заиграет новая жизнь. А эта новая жизнь разве не явит нам новые дифференциации? Нет. Должен сказать правоверный метафизичный марксизм.

Уничтожатся классы, свое уничтожение они почерпают из источника борьбы. Пролетариат победит буржуазию. Пролетариат есть последний класс. Следовательно, его победа означает победу всего человечества. Не так ли точно рассуждал либерал, тупоголовый мещанин. Борьба и столкновение сословий. Победит третье сословие. Третье сословие самое низшее сословие. Дальше социологически ехать некуда. Торжество третьего сословия есть, равняется торжеству всего человечества без различия.

Но третье сословие до победы есть одно понятие, а третье сословие после победы другое понятие, другая формация. Оно сейчас же переживает внутреннюю реформацию, перемещение сил, оно идет от единства к множественности, оно раскалывается, выделяя из своей среды высших и низших.

Оно зреет, совершенствуется и раскалывается, дифференцируется.

И опыт истории должен нам внушить, что с пролетариатом случится то, что случилось с третьим сословием.

Пролетариат не представляет собой социологического массива. Пролетариат до победы—одно, после победы—другое. Мы это выяснили в предыдущих главах. Единство, тождество, полнейшая солидарность получается лишь на почве отрицательного. Положительное допускает различия, дифференциации и количественного и качественного свойства.

При победе пролетариат будет демонстрировать свои завоевания и свои дифференциации.

Марксизм же про все это знать не хочет. Он оперирует с абсолютным классом, абсолютной борьбой классов, и абсолютным *уничтожением* классов. Хотя вся история в один голос кричит, что это невозможно, что это слишком фантастично, что абсолютов нет, и абсолютного решения социальных вопросов не может быть.

Дура—история загадывает загадки, задает вопросы и никакие мудрецы,—перевороты их не разгадают, не решат окончательно, ибо окончательные, абсолютные решения лежат в области метафизики.

Вместо абсолютистической борьбы классов надо поставить смену классов.

Но тогда прости прощай вся метафизика. Смена классов до бесконечности, каждая эпоха создает свои классы, каждая эпоха меняет свои классы, как она меняет, обновляет свои социальные взаимоотношения и способы производства. Новые времена—новые люди, новые люди—новые социальные порядки, новые социальные порядки, новые классовые столкновения.

Нет вечного под луной, все меняется, все течет. Это избитая истина, это общее место. В этом самое колоссальное завоевание новейшей мысли, очищенной от шлака метафизики.

История это смена, вечная обновка. Классы приходят, классы уходят а дифференциация остается в неприкосновенности, точней, возрастает.

История человечества это борьба не только с физической природой, но и борьба с социальной природой.

Возникновение социальной природы, социальной среды—первый шаг создания, сотворения нового мира, социального мира.

Второй шаг это борьба с социальной природой, борьба чем дальше, тем все тише, тем все гуманнее она становится, тем все культурнее, обдуманнее, планомернее, сознательнее она становится, тем менее жестокости и варварства она содержит. Жестокость, варварство, фанатизм есть следствие метафизического подхода к явлениям, следствие уверенности, что вы несете абсолютную правду, абсолютное добро, абсолютно новый, упорядоченный порядок.

Как поется: „будет последний и решительный бой". Всякий фанатизм черпает свою силу, свою мощь и завзятость в сознании, в заблуждении, что он последний, что он разрубит гордиев узел социологии, над распутыванием которого бились века и века.

Тут ослепленность и ограниченность, схватывание явлений не с точки зрения исторической, человечественной, а с точки зрения моей колокольни, с точки зрения *моего* класса, тут классовый социологический ограниченный эгоизм. Последний бой для меня. Я побежду и все победили, человечество победило. И больше воевать не будут, и больше боев не будет. Ибо наступает новая, абсолютно новая эра. Мы, мой класс начинает новую историю сызнова, с первой станции. Тут субʻективизм, ограниченность, замкнутость в себе, неумение подняться выше своего дня, видеть дальше своего классового носа.

Так рассуждала в свое время буржуазия. До меня было зло, неурядицы, несправедливость—теперь я, буржуазия, третье сословие вышло на авансцену истории. И вся декорация коренным образом изменяется. Реки противоречия и антагонизма потекут вспять или вовсе испарятся. Солнце не зайдет, звезды не погаснут, не померкнут утром. Словом, мессианские времена под кистью пророка.

В этом же духе продолжает говорить, вещать, хотя он называет свои пророчества, „научным" обоснованием, *социализм*

Смена классов. Каждая эпоха создает свои столкновения. Раб и рабовладелец, то-есть имеющий, владеющий своим племенем, своей землей, своей социальной базой и лишенный своего племени и своей общественной базы, матушки земли—раб. Рабовладелец—это имущий, это капиталист своей эпохи. Раб—это пролетарий своего времени. Зачатки социологии, связанной с антропологией. Человек ничто, все—это его семья, его род, его племя. Оторванный от семьи, взятый в плен, лишенный семьи, племени, получает чужую семью, чужое племя, в среде которого он работает, его так сказать „усыновляют", его приобщают к чужой семье. За это приобщение он платится всем своим сушенством, всем его достоянием, всем его трудом: как физическим, физиологическим и биологическим, продукты труда принадлежат его хозяину, так как он весь принадлежит к новому племени, за то, что он пользуется чужим племенем, покровительством чужого племени, он платит прибавочным своим трудом. Раб работает не то, что чужими орудиями производства, но в среде чужого племени, в чужой социальной среде. На этом зиждется вся эксплоатация рабского труда.

Вот идеология рабства.

От рабства мы переходим к крепостничеству, где нет приобщения к чужой среде, ибо человек достаточно вывился, чтобы не быть смешанным со средой, с племенем.

Но база общественности, земля, оседлость возрастает в своей ценности, в своем значении. Владеющий землей, владеет всем, то-есть владение людьми, организация людей, сколачивание и управление людьми получает свое воплощение в земле. А в чем оно получит свое воплощение? В самой организации? Это невозможно. Сама организация слишком примитивна, слишком незатейлива, слишком проста, чтобы она могла опираться на самое себя.

Она опирается на землю, как вначале она опиралась на происхождение, то есть на племя. Но и она, новая формация, деление на сословия имеет свое отношение к происхождению, к „благородию".

Появляется наемничество. Капиталист и пролетарий. Один владеет капиталом, орудиями производства, а другой нет. То-есть владение людьми в хозяйстве не опирается на самое себя, на владение, на организацию, и здесь организация слишком примитивна, слишком проста. Она, эта организация, получает свое воплощение в орудиях производства и в локале, в фабрике. Капиталист и пролетарий уйдут с арены

истории, появятся новые формации, новые деления, новые формы. Организация выявит себя, как таковая. Выдвинется вместо принципа собственности, вотчиности принцип чистого господства, в экономике произойдет то, что произошло в политике. Выявится организация как самодовлеющая сила, как она выявилась, вырельефилась в политике.

Думать же, что с последней катастрофой, с упадком капитализма, строя хозяйственного, держащегося на начале собственности, кончается „преистория", кончается борьба классов, кончается борьба с социальной природой—есть метафизика самой худшей пробы, самого худшего пошиба.

Тут смена и только. Капитализм не последнее звено в цепи взаимостолкновений людских. Капитализм точка на бесконечной линии смен хозяйственных форм.

Социализм, к сожалению, как и либерализм, себя переоценивал, придавая себе слишком большое значение, тем ослепляя и зажигая сердца людей из простого народа.

И не только приверженцы, но и критики, противники социализма его слишком размалевывали, пугая им или заманивая. Приверженец рисовал картины будущего счастья, ударяясь в стиль пророков и пророчеств. Противники рисовали ужаснейшее чудовище, чтобы запугать воображение. И один и другой не старались выяснить настоящую сущность социализма.

Социализм религиозное движение,—вопили некоторые либералы.

На деле же социализм менее религиозен, чем либерализм, который в этом отношении мог дать несколько очков вперед социализму, так как либерализм был религиознее, фанатичнее, профетичнее социализма.

Речи, держанные в конвенте, каким пророческим блеском, какой ослепленностью они дышат. Либерализм был сквозным фанатизмом, сквозным профетизмом, метафизицизмом.

В то время, как социализм отчасти стоит на исторической платформе, говорит о развитии, о вечном течении, в этом тезисе он черпает уверенность наступления его победы.

Марксизм наполовину „научен", но лишь наполовину. В его критике капитализма местами говорит голос реализма, глубокого понимания действительности, главным образом, где он высмеивает бредни свободы, бредни о невмешательстве, где он бичует манчестерство.

Решение же социальной проблемы, решение спора между трудом и капиталом, где он оперирует с абсолютом, там он метафизичен.

Он дает критику либерализма, высмеивает его свободу, но не потому, что она, его свобода, метафизична, что это фетиш, идол, который настолько же ложен социально, насколько всякий „идол" ложен и логически и философски, а потому, что она буржуазна. Но как только эта свобода станет социальной, то она станет реальной. И Энгельс делает скачек из царства необходимости в царство свободы. Хотелось бы узнать, о какой метафизической субстанции здесь идет речь. Всякая речь о свободе буржуазна по существу, ибо она метафизична. Можно говорить об упорядочении нашего общежития, и понимать упорядочение в относительном смысле, в релятивном смысле. Но свобода же по существу абсолютистична, не терпит сделок, хочет или всего, или ничего, то-есть нереальна, а химерична, легендарна, являет собой сфинкс, которого спрашивать не стоит, ибо он никогда ничего не ответит.

Социализм, то-есть самый лучший, самый совершенный вид его, марксизм мыслит уничтожение классов абсолютно, не допуская, что за этими конкретными классами пойдут новые, другие группировки. И таким образом он мыслит, что при социализме вся энергия, вся творческая сила будет направлена на борьбу с внешней природой, с физическим миром, с которым мы так давно воюем, но который мы не окончательно одолели.

Как странно, история человечества есть борьба классов, а тут оказывается, что и с внешним миром приходится и еще придется воевать.

И так, история человечества есть борьба классов. значит не вообще история, а социальная история человечества есть борьба с социальной природой, а вообще наша история есть борьба с физическим и социальным миром. Я взял два полюса, физический с одной стороны и социальный с другой. На деле же в средине имеем и борьбу

с биологическим миром и с психологическим. Мы боремся с нашими болезнями, мы хвораем, мы выздоравливаем, мы боремся, наша наука,—наше вспомогательное средство борьбы—это медицина. Но под физическим я подразумеваю весь внешний мир, за исключением социального.

Идет борьба с внешним физическим миром. Борьба началась гораздо раньше борьбы, ведомой нами в социальном мире, с социальной природой. Допустим, что социология, соединение, сожительство, общежитие создано, возникло, главным образом, для борьбы с внешним миром, с физической природой. Но, возникнув, общежитие, общество обнаружило целый ряд дефектов, недочетов, изъянов, которые надо устранить. Всякое устранение вызывает отстаивание со стороны заинтересованных, со стороны тех, которые воплощают, олицетворяют эти дефекты, эту дефективность. Кипит бой. Таким образом мы вместо того, чтобы бороться с физической природой, боремся и с социальной природой.

Предполагать, что борьба на социальном фронте совершенно стихнет, закончится раз навсегда оформленной победой, и тогда только начнется борьба, усиленная борьба на физическом фронте, так как все силы, освободившиеся на социальном фронте, будут брошены на борьбу с внешним физическим миром, более чем наивно.

Как борьба с внешним миром никогда не стихнет, никогда не прекратится, ибо эта борьба не вызвана случайными явлениями, а самим нашим существованием, наша жизнь есть борьба за жизнь, за существование. Формы лишь меняются, они становятся более гуманными, более сознательными, более планомерными, но борьба перманентна, из поколения в поколение, мы передаем наши пароли, наши позиции, наши орудия и молодое подрастающее поколение занимает место старого на поле брани, благо жизнь есть борьба. Кто живет, тот борется, кто борется, тот живет.

И эта борьба не стихает и не стихнет никогда, пока будет человек и внешний мир. В каждую эпоху борьба принимает другие формы, отливаются новые орудия, совершенствуются орудия. Но борьба идет во всю. Все мобилизованы, все без исключения. Все под ружье. Все человечество от мала до велика. Все воюют, кто герой, кто трус, кто отважен, полон самопожертвования, как те, которые кладут свою голову на плаху мира, прививая себе разные заразные сыворотки, от чего они умирают, шепча предсмертно, тихо свою новую тайну, купленную ими ценою их жизни,—кто менее предприимчив и воинственен, предпочитает держаться в глубоком тылу, идя по проторенному пути, по хоженному, по испытанному и не решается на рискованные разведки...

Но все человечество на протяжении всей истории воюет без передышки, без перерыва, без всякого перемирия.

Знать, что физическая борьба бесконечна, нескончаема и думать, что социальная имеет свой предел, свой конец, свой рубеж, после чего наступает эпоха „мирного договора", эпоха мира и почивания на лаврах победы, одно пользование трофеями—невозможно, если не впасть вдруг в самый отчаянный метафизический столбняк.

С того дня, как появилось общество, как создалась социальная природа, кипит бой, свирепствует борьба социальная, борьба за улучшение, за овладевание социальным миром. И эта война перманентна, нескончаема, с последним родом умрет эта борьба. Она в каждую эпоху принимает другие формы, другие очертания, льются, создаются новые орудия борьбы.

Меняются группировки, меняются классы и их взаимоотношения, но борьба с социальной природой остается *незыблемой*, нетронутой. Пока есть социальная природа, пока есть общество, будет продолжаться эта борьба за одоление, за овладение *социальной природой*.

Маркс назвал эту борьбу с социальной природой классозой борьбой, некоторые называли эту борьбу борьбой индивида с обществом. Классовая борьба есть вид, есть историческая форма социальной борьбы, борьбы с социальной природой, но это лишь форма. Форма, оболочка меняется, и сущность остается, так как она вытекает из самых основ жизни и бытия социального.

Классовая борьба есть борьба с социальной природой, борьба с неурядицами общежития. И как таковая она никогда не прекратится.

И поэтому всякое утверждение, что социальная борьба прекратится и на ее счет усилится борьба с физической природой, есть метафизика в области социологии, есть метасоцика, или даже социальная мифология.

Было время, когда у мыслителей существовало такое же отношение и к физическому миру. Они думали, что наши нелады с природой являются историческими категориями, а не *логическими*, верней, не фактическими. Временная борьба, борьба началась после грехопадения, тогда земля была проклята мировым организатором, творцом всех вещей и предметов, и она вступила в антагонизм с человеком, в седьмом поте приходится есть свой хлеб, так как земля не дает тех плодов, которые она должна бы дать, и которые она дала до того акта. После искупления греха, смертного греха, после второго пришествия воцарится вечная жизнь, вечная радость, вечное совершенство. Прочь болезни, прочь дефекты. Физическая природа станет совершенной, ни пахать, ни сеять, ни трудиться не придется. Сама природа вам все с удовольствием даст. Биологическая природа тоже реставрируется, вернется к прежнему состоянию, не будет ни больных, ни тщедушных, ни хромых, ни слепых, ни стариков, ни слабых. Биологическое совершенство.

Затем идет психическое совершенство. Все ученые, все всезнающие. Весь народ состоит из одних пророков. Мир полон знания Бога, полон разума и психики, как море воды. А о социальной природе и речи нет. Это для пророка пустяк. Перекуют мечи на орала—вот его формула выражающая прекращение социальной борьбы.

Картина будущего, рисованная пророками, не превосходима, ибо она мифологична, профетична, свидетельствует о полной вере и наивности, и до этих врат некритического отношения к миру никто не мог после них, при упадке веры, при создании различия между вымыслом и бытьем, дойти.

Марксизм признает, что физическая борьба продолжится вечно. Но почему-то он допускает, что социальная прекратится. Бесспорно, что классовая борьба закончится, если ее понимать в специфическом значении, но не менее бесспорно, что классовая борьба, т.-е. смена классов и группировок такого или иного свойства и характера никогда не прекратится.

Тут апогей метафизики марксизма. Марксизм в этих местах отдается социальным мифом, социальной легендой.

Всякая мечта об абсолютном, о совершенном, о последней черте, дальше которой в развитии двигаться некуда, всякое замыкание исторических судеб, всякий охват социологии железным обручем, вне которого нет ничего,—есть метафизика.

Наши учреждения, наши социальные институты, как все находящееся под луной, более, как все созданное человеком, не было и не будет совершенным. И если вложить в социализм требование *совершенного*, именно совершенного общества, то тогда социализм перестанет быть дисциплиной рациональной, более или менее научной, а станет просто-напросто бабушкиной сказкой, рассказанной в сумерки богомольной няней своим питомцам.

До этого унизить социализм нельзя.

Пора бросить всякую мечту о совершенстве. Наше общежитие может стремиться к совершенству, но стать совершенным оно не может. Не дано.

Греза о совершенном есть греза об абсолютном. Греза об абсолютном обличает метафизику.

И что касается марксизма, то он не во всех своих частях метафизичен. Его формулировка будущего порядка метафизична, так как он увлекается абсолютным, абсолютным исчезновением классов, а не заменой одних классовых противоречий, столкновений другими.

Так было и при либерализме, его провозвестники, трактуя его, оценивая его совершенно метафизически, видели в нем конец старого мира и начало нового, начало золотого века.

Но мечты остались мечтами, а жизнь пошла своим чередом, потекла бурливо, шумливо по своему руслу, преодолевая препятствия, возникающие в процессе, в нескончаемом процессе борьбы с социальной природой. От старых противоречий возникли новыя противоречия, сословные различия родили классовые.

И марксизм прав, тысячекратно прав, развенчивая либерализм, он неправ в подходе к нему, в его предположении, что участь быть разбитым о скалы жизни, о скалы

и подводные камни выпала исключительно специфически на долю либерализма, будто по вине последнего, будто по невыдержанности последнего.

Вот где марксистская, социалистическая критика либерализма, ниже всякой критики, ибо ей не хватает исторического чутья, исторического реального подхода к вопросам.

Либерализм не решил тех проблем, которые он выдвинул, ибо никакая система, самая выдержанная, самая добросовестная, не в силах ее решить. Он поставил себе метафизическую проблему. А не потому он ее не решил, что он злоумышлял.

И по вине этого коррективв либерализма социализмом, не выдерживает напора исторической критики. Мы заранее уверены, что социализма ждет та же участь, ибо он хотел решить *нерешаемое* Социализм увлекся социальной метафизикой, с одной стороны, и вульгаризмом, с другой. Нерешаемые проблемы он выдал за легко разрешимые, это поверхностность, наивность. По мановению волшебного жезла он решает самые запутанные проблемы. С другой стороны, все взваливается на злую волю, на преступление, понимаемое хотя бы исторически. Тут выносится приговор *классу*, а не миру, а не социальной природе. И если социализм, желая претендовать на об'ективную, хладнокровно исследующую дисциплину, ронял слова вроде следующих: „мы боремся с системой, а не с лицами", то он был лицемером до невозможного.

При его неисторическом, некритическом подходе к социальным явлениям он не мог иначе, как бороться с лицами, а не с системой.

Что за ценность имеет выражение или обещание не борьбы с лицами, когда весь процесс классовой борьбы понимается, как абсолютный процесс, когда социальные явления трактуются метафизично, следовательно фанатично, грубо, вандалистически.

Что за ценность имеют „эволюционные элементы" в марксизме, раз революция социальная трактуется как финал, как конец мира зла и начало мира добра, раз нет исторического понимания социальных явлений. До нас все пагубно, скверно, погано, после нас все чисто, лучезарно, свято.

Такое пониминие истории невольно рождает религиозность, вандализм, грубость, жестокость, словом „последний решительный бой".

Сейте истину средь народа не суеверного оптимизма и не черного религиозного беспросветного пессимизма, а трезвый мелиоризм, вечный ход вперед.

Нет и не может быть и не будет последнего решительного боя в социологии, социке, как его нет, не было и не будет в физике. А есть вечная борьба, нескончаемая борьба. И за каждым последним боем вырисуется перспектива нового боя, ибо на горизонте покажутся вам сейчас же новые тучи, новые противоречия.

Нет совершенного, социального порядка, уклада жизни и никогда его не будет. А есть лестница улучшений, по ступенькам которой мы лазим вверх, вверх до бесконечности.

Нет заключительного аккорда, там, где вечно кипит песня борьбы и столкновений.

Нет решительных боев, а есть бои. Бесконечные бои с социальной природой, которые чем дальше, тем больше проникнутся сознанием своей временности, проходячести и, как следствием, культурностью, расчетливостью, реализмом.

Когда социализм в лице марксизма касается вопроса о противоречиях, имеющихся в нашем общежитии, он опять таки метафизичен. Он трактует противоречия нашего общежития так, как будто они являются плодом одной, другой эпохи, как будто они порождаемы одним экономизмом и главное, одним моментом экономических взаимоотношений, частной собственностью.

Не будет частной собственности и не будет никаких противоречий, а будет царствовать одна гармония.

В этих предрассудках повинен, разумеется, не один марксизм, наоборот он меньше других повинен,—другие социалистические и так-наз. анархические школы более вязнут, глубже вязнут в болоте метафизики и непонимания по-настоящему социальных явлений, — но мы хотим указать, что даже марксизм, одна из лучших социалистических систем, заражен, вернее, не умел вылечиться, избавиться от либералистического и „социалистического вздора".

Несовершенство и противоречие суть синонимы. В общении всякий дефект, всякий недостаток имеет вид противоречия. Проповедь полной гармонии, полного неуязвимого солидаризма есть религиозная, метафизичная фантастика.

Мир полон противоречий, и как может общество, общение, общежитие себе не противоречить! Одна возможность злоупотреблений уже говорит о противоричивости интересов. Я бы даже это не назвал противоречивостью, а просто *неодинаковостью* интересов. А одинаковых интересов нет, не было и не будет. Есть солидарность и есть антагонизм, как есть свет и тьма. Там, где есть солидарность, там возможем и антагонизм.

Сто человек образует, допустим, коммуну. Их интересы совпадают, но их интересы не одинаковы, ибо они разные лица и у каждого свой интерес. Каждый из них может злоупотреблять, обмануть доверие остальных, обирать их, эксплоатировать. Разве эксплоатация ближнего должна непременно принять вид планомерный, как она практикуется в производстве, в потогонке Человек работает, один лодырничает и получает не меньше других. Что это за явление? Это явление паразитическое, эксплоатационное.

Лежит ли этот вид эксплоатации в самой структуре, неизбежен, необходим ли он? Нисколько. Но он возможен и фактически всегда найдутся типы, которые не прочь будут использовать, эксплоатировать в самом простом и примитивном виде других, своих ближних.

Свидетельствует ли это о протеворечивости уклада жизни? Нисколько. Ибо злоупотребления всегда возможны. Там, где возможен подвиг, добродетель, там возможна и гнусность, и подлость, и порок. Тем более, что как в подвигах есть творчество, так есть творчество, изобретательность в пороках.

Капитализм полон противоречий, как и феодализм был полон противоречий, как и социализм будет полон противоречий. Противоречие зародыш, бацилла смерти порядка. Каждый порядок носит в себе все элементы его преодоления или развала.

И если бы социализм указал на противоречия капитализма, утверждая, что эти противоречия поведут его к его гибели, верней, к его пересозданию и возрождению так, как будущие противоречия разложат или преодолеют и социализм, он был бы прав.

Но раз марксизм толкует эти противоречия, свидетельствующие, как боль, о здоровье и нормальности организма, как аномалии, как будто здесь что-то патологическое, которое он, социализм, устранит абсолютно, устранит раз навсегда, устранит и создаст вечную гармонию, то он метафизичен. Ибо там, где будут люди, а люди не боги, существа не совершенные, там будут и людские учреждения, то есть учреждения, институты не совершенного типа.

Абсолютная гармония, как все абсолютное, есть дело метафизики, а не реальной социологии.

Противоречие между покупателем и продавцем есть то же противоречие, которое было между обменивающимися и есть лишь вариация „противоречия“, лежащего между потребителем и потребителем. Если x больше с'есть, то для y меньше остается, принимая вовнимание постоянное число едоков и постоянное наличие продуктов. Чем больше X произведет, тем лучше для всех У'ов. Если это называется противоречием, то пока люди будут жить в общежитии, у них вечно будут такие противоречия.

Если продавец обманет покупателя, то он в следующий раз не купит и торговля вовсе не должна быть основана на обмане, а наоборот, на гарантированности, на зарекомендованности фирм, имеющих известное реномэ. Эту мысль выясняет Энгельс в своем предисловии к "Положению рабочего класса в Англии". И, известным образом, есть солидарность между покупателем и продавцом, насколько оба являются членами одного экономического хозяйства, одной сложной, хотя не связанной сознательно, а лишь стихийно, единицы.

Противоречие есть при допущении злоупотребления, противоречия нет при недопущении злоупотребления, а, наоборот, при выдвигании на первый план идеи солидарности, связанности.

Буржуй и пролетарий вот антагонизм интересов. Но такой же антагонизм даст каждый верх и низ в социологии. Это то противоречие, которое лежит между „работодателем“ и его орудием работы. Капиталист рассматривает пролетария, как орудие труда, он над ним работает *социально*, организационно, превращая его труд, его физический, физиологический труд в социальный, верней, в интериндивидуальный.

Это же противоречие сохранится и при социализме, это же противоречие лежало и в политике, и в армии, и где угодно, везде, где были руководимые и руководящие, меньшинство руководящих и большинство руководимых. Здесь противоречие, с одной стороны, и солидарность, спаянность интересов, с другой стороны. При злоупотреблении есть противоречие. При нормальных отношениях только солидарность.

И не только при злоупотреблении, но просто, при вырождении, верней, при возрождении, когда намечаются на фоне развития новые взаимоотношения между руководящим и руководимым, тогда старые блекнут и спадают. Но этот отцвет совершается болезненно, мучительно, совершается в борьбе. Ожесточенность борьбы обусловливается преждевременностью. Чем раньше рвут, порывают со старыми, отжившими формами, тем труднее, тяжелей, мучительнее этот процесс, ибо формы, если они сочны, то оказывают сильное сопротивление.

Я выражаюсь образно. На самом деле эти формы представлены лицами, чем больше предпосылок, данных для нового строя, тем больше лиц переходит к новому, отходит от старого, не цепляется за старое, не защищает старого, а борется за *новый*. Чем больше одряхлел старый строй, тем меньше приверженцев он имеет.

Но авангард всегда бывает, и всегда бывает арьергард. Авангард нового строя с арьергардом старого сталкиваются, борются на грани. Если эта борьба захватывает большие круги, большие слои, чем арьергардные, консервативные, то это доказывает, что схватка вспыхнула слишком рано, что она недостаточно созрела.

Если-верно что новые строи, новые порядки не спадают с дерева жизни сами, созрев на солнце сознания и роста, как экономического, так и политического и проч., а их приходится сорвать, то и верно, что рвать их все же нужно осенью, а не весной когда плод еще в зачаточном состоянии, и не в начале лета, когда плод кислый и мал привлекателен, а осенью, когда он созрел в достаточной степени и мере.

В тот момент как появляются зачатки новых возможностей, появляется новое сознание, клеймящее старый порядок, вскрывающее его дефекты, его противоречия.

Срыв старых форм преждевременно совершается по вине *представителей*, носителей, воплотителей новых форм, форсирующих события, выдавая темной массе *свои* новые порядки за совершенные, за абсолютно хорошие порядки, тем зовя их, зажигая воспламеняя религиозно, суеверно, фанатически к разрушению старого и к созданию того нового, которого никогда не придется по уверению застрельщиков разрушать.

Эти застрельщики форсируют события. Они нетерпеливы, ибо их час бьет. По мере того, что ведомые станут сознательней, разборчивей, станут более критически относиться к событиям, к явлениям социальнсго свойства, тем больше спадет *метафизика*, религиозная ослепленность, выражающаяся в кровопролитных переворотах, и эти последние примут более культурный, более мирный характер, станут *реалистичны*. Авантюризм, которым отличался переход к капитализму от феодализма, доживает свои последние дни, питается насчет своих последних соков, при переходе к социализму он дает себя еще сильно чувствовать, но это лишь в *сырых* странах, в неискушенных странах, у неискушенных социологически народов, или у народов давно забывших уроки своей истории, уроки своих переходов от порядка к порядку. Чем больше культуры, тем больше революционности. Но эта революционность примет чем дальше, тем все более мирный характер, так как *мечта* о каком-то рае социальном, об абсолютном добре, о социальных „розах без шипов", которые на деле превращаются так часто чуть ли в „шипы без роз" при втором метафизическое мышлении, и таким образом, метафизическое мышление создает какое-то вечное „тем хуже", учение о каком то вырождении. Эта мечта, этот подход к социальным вопросам будет сдан в пантеон со всей метафизикой.

И весь апломб марксизма при его вскрытии капиталистических противоречий, надо отнести на счет его метафизичности. Столько же противоречий, сколько было при капитализме, будет и при социализме, но с еще большим излишком.

Противоречие существующее между „частным" и общественным, между политическим и экономическим суб'ектом, останется пока экономика не догонит политику, что никогда почти не будет. Это противоречие вытекает из внутренних свойств взаимоотношений между хозяйством и общением. Как познание не догонит теории познания, ибо оно лежит одной ступенью ниже, и лишь на нем, на познании воздвигается теория познания, так политика воздвигается на экономике. И экономика

лежит ниже. Когда политически суб'ект был феодалистичен, то экономически был еще ниже, был цеховым, был одиночным, его социальный характер был совершенно не планомерен, не организован. Когда экономический суб'ект стал капиталистическим, то политический принял окраску национально-государственную. И не только касательно об'ема, но и в методах урегулировки отношений область политики доминирует, лежит выше области экономики. При социализме будет противоречие между национальным хозяйством и интернациональным общежитием, интернациональной политикой. И если перенести эти противоречия в область права, то с одной стороны национальный кодекс, с другой же международный.

Противоречия были, будут, пока есть социология, как есть противоречия в физике, в психологии, в логике, то-есть в мышлении, в психике, в мире биологическом и физическом.

Из этого нисколько не следует, что не надо вскрывать противоречий, таящихся в наших учреждениях, в наших экономических и политических, и удалять их. И то и другое следует непременно делать. Но как в сознании и познании знают сейчас, что всякий шаг в познании влечет за собой не сознанное и непознанное, так каждый шаг в социологии, в исправлении, вызывает к жизни новые дефекты. Так как дело улучшения, как и сознание, не имеет конца во времени.

Надо и необходимо вскрывать, но не надо думать, что это последняя операция, что это последнее противоречие, после которого начнется высшая и вечная гармония. К гармонии можно стремиться, но ее никогда не достигнешь. Ибо она абсолют. Если перевести это на холодный язык технических усовершенствований, то это утверждение или самообольщение, лелеющее себя надеждой, что будет сделан такой аппарат, не страдающий, не подверженный никаким дефектам. Социализм, даже в самом трезвом его виде, в виде марксизма, это социологический метафизицизм.

V.

Социальный скептицизм.

Социальная метафизика, социальная догматика вызывает, как реакцию, как следствие, с необходимостью железного закона, социальный скептицизм. Суеверие социальное идет всегда рука об руку с социальным безверием.

Догматизм вызывает всегда, как противодействие, вандализм, бесшабашное, разгульное отрицание и всеобщее сомнение. В мышлении и в жизни оказывается всегда правой известная басня с пастухом. Он раз обманул, крикнув „волки", во второй раз ему не верят, даже когда волки на самом деле появляются.

Когда человеческий разум слишком много взял на себя, утверждая, что он все понимает, все познает, все постигает, далее, что его истины беспрекословные, безапеляционные, абсолютно заслуживают доверия, и когда после этой религиозной теологической, метафизической самоуверенности обнаружилось, что не все то, что разумно, существует, что суждение не всегда отвечает действительности, что многое, что доказуемо логически, фактически оказывается „нелепым", несбыточным. Тогда некоторые и даже многие пылкие умы ударились во вторую крайность, стали сомневаться во всем. И не только сомневаться, но и догматически отрицать. На самом деле они создали новый догматизм, но отрицательного свойства. Вместо положительного догматизма выдвинули отрицательный догматизм. Раньше: верь и не вопрошай, теперь такая же догма, но обратного свойства: отрицай, не верь и не вопрошай, или не верь и вопрошай.

В социологии, речь идет о ее прикладной части, мы переживаем то же самое. Догматические системы вызывают целый ряд разочарований и целые плеяды разочарованных, создающих скептические системы или скептические бессистемности.

Догматизм, обещая многое, не исполняя, не выполняя всей программы посул, вызывает отрицание всего в социологии

Либерализм вызвал после себя вандализм, опустошительное нашествие тех, которые, убедившись, что не все можно делать в социологии, стали уверять, что ничего нельзя делать в социологии.

Целые груды книг, брошюр, рефератов, докладов заражены этим ядом полнейшего безверия в наши силы, в наши возможности, утверждающие, что дальше ничтожной реформы, являющейся в виде заплаты на старом поношенном платье, нельзя итти. Кроме этих жалких реформистов имеются и нигилисты, негативисты в социологии, сеющие панику и ересь.

Там, где догма свила себе прочное гнездо, там и ересь всегда найдет себе уголок.

Нигилисты, негативисты в социологии, прийдя в ужас от кровопролитнейших переворотов и гражданских войн, число жертв которых не отвечает сумме побед и внесенных поправок и улучшений в наши учреждения, впадают в скепис, в полнейшее отрицание, ударяются в безнравственный пессимизм и утверждают, что ничего создавать мы не в силах, что из всех наших затей и предприятий социальных ничего не получится кроме отрицательных результатов.

И если после либерализма мы пережили эпоху вандализма и *историзма*, тем более теперь после социализма, который опять обещал не мало и исполнил пока совсем мало.

И если он, бесспорно, выполнит свою миссию, то это в другой области, он сделает то, чего он не обещал, а то, что он обещал, он не сделает.

Не буду говорить о том, что средь народа, средь широких слоев трудовых масс замечается сильнейшая апатия, духовная реакция, плод скепсиса и пессимизма социального. Их настроение и убеждение они выражают простыми словами: „нас обманули". То-есть догма метафизическая себя не оправдала. Этой болезнью заражены большинство людей. Эта болезнь им мешает заинтересоваться политическим благоустройством.

Можно сказать, что большинство беспартийных болеет этой болезнью. Они не верят, что в социологии, что в общежитии дано что-либо исправить.

Они обыкновенно покачивают отрицательно головой: все равно ничего не выйдет. Большинство населения чуждается политических вопросов по вине догматизма и из него непосредственно вытекающего скептицизма и негативизма. Догматические горячие речи и требования, имеющие своей предпосылкой: „или все или ничего", после того, как они остывают на холоде действительности, от них легко отделяется первая часть „все", и остается вторая половинка: „ничего". Все дать не могли, значит ничего не дадут.

Вообще этот ход мыслей и действа, метод бросания из стороны, из крайности в крайность, из огня в полымя есть признак дикого состояния. Так рассуждает варварство, так варварство и поступает. Или обожрался, или голодал. Или пост, или праздник. Или плач, или смех. Или рабство, или бунт.

Или безграничная вера в социальное чудотворство, в волшебство, в создание совершенного общежития, или полнейшее безверие в творческие созидательные силы.

И то и другое неверно и пагубно.

На самом ли деле мы так беспомощны в общежитии?

Когда мы обозреваем пройденный путь, когда мы изучаем наши институты, наши общежительные учреждения, наши междуличные интересы,—мы вынуждены констатировать громадные успехи, колоссальный уход вперед от рабства, или еще глубже от людоедства до наших форм взаимоотношений—какое огромное расстояние! Лишь догматизм, желая создать иллюзию начала и конца, абсолютного решения назревших, наболевших вопросов постулирует никчемность наших достижений, он увлекаясь критикой—критиканством, развенчивает совершенно настоящее, преувеличивает, сгущает краски картины нашей жизни с тем, чтобы после нарисовать вам пейзаж, идиллию вечных гармоний, и чтобы произвести драматический эффект

Эти эффекты может хороши для поднятия религиозного—социального чувства, но они абсолютно негодны для уразумения действительности. Догматик делает то в социологии, что всегда делал религиозный мечтатель. Он вам рисовал две крайности. Вот ад со всеми его ужасами, со всеми его пытками. Вот сад, в котором каждое деревцо, каждая ветка напоена мукой, страданием, воплем, стоном, надломленностью душ и раскаянием. Это место обиталища грешных. А вот и рай. Сад—Эдем, где цветет счастье Где зеленеет вечная радость. Где воркует вечная любовь. Все в раю, месте, жилище праведных.

Так поступает догматик и в социологии. В критике настоящего он нам рисует ад кромешный. В структуре грядущего, даже ближайшего, как только он заговорит о его идеале, о его музыке будущего, как его рукой, пером, смычком руководит сказание о райском житье,

Вечные муки—вот настоящее.

Вечное счастье—вот грядущее.

Это новая догматика, новая *теология*, но вместо теос надо поставить социос.

Если настоящее есть ад, — то откуда возьмется этот рай. Не вынырнет же он по волшебству, с помощью каких-то революционных чар, из дна человеческого, общежительного ада!

Эти картины настоящего, сгущенные, фальсифицированные наброски принимают многие за действительность, за реальную жизнь. Смотря на них, не видя грядущего, или оценивая грядущее с точки зрения критической, когда оно отчасти становится настоящим, подымают вопль о вырождении рода человеческого, об упадке культуры, о декадансе и в культуре и в хозяйстве, и в идеологии.

На самом деле это напуганное воображение, которое куста жизни и жизненных столкновений боится.

Законы, железные законы заработной платы, учение об обнищании и проч., учение о реакции в Европе, о реставрации Рима после милых средних веков и прочие взгляды, воззрения Кропоткина являются плодом недобросовестного подхода к истории, к событиям, к жизни, являются предпосылками догматизма, служат фундаментом для постройки воздушных замков, райских обещаний и посул.

Все надежды, всякие надежды возлагаются на революцию, чуть ли не исключается период строительства, созидательства, долгого кропотливого труда на поле усовершенствований, урегулировки наших междуличных отношений.

Надежды терпят крах не потому, что они были совсем несбыточны, а потому, что они были вздуты. Начинается вопль о разбитом корыте, о том, что ничего не достигнуто, что еще хуже стало. Чисто догматические, неумолимые в этом отношении натуры продолжают сеять новые иллюзии, новые мечтания, которых ждет новое, более глубокое, более морозное разочарование. А другая их часть оборачивается спиной ко всяким общежительным устремлениям — идеалам, отказываясь от всего, крича в один голос: „суета сует, ничего не достигнуто, ничего достигнуть нельзя".

Конечно ничего не достигнуто, если вы непременно хотите снять милую луну счастья и идиллий с неба и поставить ее на грешную, бурлящую, кипящую противоречиями, антагонизмом землю.

Многое достигнуто, если исходить из реальных оценочных суждений и по отношению к прошлому, и по отношению к будущему. Нигилизм социальный, утверждение, что мы ничего не достигнем, ибо мы столько раз обманывались и обманулись, не верен насквозь. Мы не обманывались и не обманулись, если отбросить розовые, лишенные меры, социальные, распространенные среди народа, иллюзии. Отношение старых социалистов к капиталу определялось этими ошибками. Или они его совершенно признали, удовлетворяясь крохами, реформами и создавая катедр-социализм, или скрежетали зубами при одном воспоминании, считая его худшим из худших порядков и предлагая потому нелепые методы и приемы борьбы с ним.

То же самое случится с социализмом. Он разочаровал и разочарует многих, всех тех, которые приняли в серьез все мифологические сказки и все метафизические выходки. Часть из них ударится в дикий терроризм, активный вандализм, другая часть в пассивный вандализм, полнейший негативизм. Можно лишь разрушить, создавать ничего нельзя.

Конечно нельзя. Но не только создавать, и разрушать нельзя, если думают на самом деле снести все до основания. Это никому не дано.

Все созданное человеком несовершенно, в том числе и его общежительные институты и хозяйственные учреждения, и даже технические орудия.

Но из этого не следует, что мы вообще беспомощны. Мы многое сделали, еще больше сделаем, хотя мы квадратуры круга не нашли, и вечного движения не открыли.

Есть мера и предел нашим завоеваниям и достижениям во всех областях, в том числе и в области социального усовершенствования.

Дикий пессимизм связан с буйным, с диким оптимизмом. Часто он синтезирован даже у одного и того же автора.

Христианство обмануло, либерализм обманул, социализм обманул, следовательно, и вы обманете—вот тот вывод, который делается народными массами, когда они слушают догматика, бичующего существующее с пеной у рта, порицающего все, чтобы оттенить различия между настоящим и его идеалом.

И этот вывод делают не только массы, но отчасти и мыслители. И несмотря на то, что они сами по себе прогрессисты, ратуют за новые формы и остаются безнадежнейшими догматиками, они сеют вандализм и негативизм, сеют апатию, индифферентизм, доходящий до образцовой формулы: „пусть нами свинья правит".

Нигилизм социальный имеет и свое обывательское крыло и свое *революционное* крыло. Обывательское течение делает из этого выводы о „ловле момента", о безрассудной с точки зрения общественной, с высоты общих интересов, жизни, расчитанной на „после меня потоп", общежитие не годится и никогда годиться не будет, всегда злоупотребляли, все злоупотребляли, буду же и я злоупотреблять.

Революционный негативизм, нигилизм создает и питает своеобразный, безмотивный терроризм, основанный на осеннем пессимизме, на „терять нечего" „выйду из жизни и стукну дверью".

Это отравленные души, отравленные догматиками, метасоциками. В этих душах горит, пламенеет ненависть и отчаяние, но от этого огня стынет кровь и душа.

Терроризм в социологии, в общежительном строительстве есть плод дикого нигилизма, негативизма, являющийся сам диким плодом на дереве социального догматизма.

Абсолютные геройские переходы из порядка к порядку требуют геройские меры и методы.

Терроризм и толстовство уживаются в одной стране, являются двумя сторонами одной и той же медали.

Догматизм, метафизицизм, мифологизм, в социологии дает нам и авантюризм в революциях, и нигилизм, и негативизм, и пассивизм. Бороться с терроризмом, бороться с индифферентизмом, с социальным негативизмом, которые тормозят всякие социальные начинания, невозможно, не борясь с их отцом, с их питомником, с их источником, фактором и причинителем—догматизмом.

Нигилизм, негативизм в социологии приносят неописуемый вред, они, собственно, сводят на нет все старания кучки избранников, догматиков, все старания так называемого инициативного меньшинства.

Дело в том, что как раньше при господстве религии и ее священных книг говорили „никто не живет по евангелию", так теперь никто не живет общественно, что значит они не жили по евангелию, это значит, что они фактически на деле были не *религиозны*. Почему это так было? Это было по вине чрезмерных требований, не выдерживавших никакой серьезной критики, по вине догматов, трескавшихся под напором действительности.

Теперь будет и есть уже то же самое. Кругом беспартийность, большинство народа не принадлежит ни к какой партии, платит полнейшим индиферентизмом на все старания теоретиков и практиков, демагогов и догматиков. В чем дело? Дело в безверии. Они не верят, что можно улучшить, что улучшат общежитие, что они получат от этого выгоды.

Если не поборем, не одолеем социального негативизма, то мы на самом деле ничего не достигнем. Надо создать всеобщий интерес к социальной проблеме. Но тогда она должна стать реальной и по постановке, и по трактовке, и по решению.

Догматизм имеет экономическую подкладку. Та часть, которая берется за проведение этого нового строя, чуть ли не на самом деле переходит из настоящего ада в настоящий рай.

Эта концепция отвечает, можно сказать, в известном смысле, интересам и создавшемуся положению, но лиш для весьма ограниченной группы лиц. Другим, большинству скорее отвечает негативизм, выростающий на почве догматизма. Им много обещали, но очень мало дают, или мало дает действительность

При свете, при ослепительном блеске разрисованных перспектив хмурая, неврачная действительность. И они, огромные широкие массы, попадают в столбняк негативизма, огульного осуждения нарождающихся форм и порядков и безмерного пессимизма, индиферентизма, политического абсентеизма, нежелания участвовать в борьбе, в работе, кропотливой скучной работе по воздвиганию нового порядка, лучшего порядка.

Политический абсентеизм, политическое дезертирство, бегство с фронта социальной, политической деятельности есть ужасное зло, зло смертоносное, растлевающее весь наш социальный организм, а повинен в нем социальный скептицизм, являющийся детищем социального догматизма, социального метафизицизма.

VI.

Социальный критицизм.

Мы уже накопили огромный запас социальных устремлений и преобразований, расчитанных на благоустроение нашего общежития. У нас нет в социологии экспериментов, но мы имеем историю, летопись переворотов, достижений и устремлений. Пройденный путь указывает нам и направляет проложения будущих дорог, и бросает особый свет на весь наш подход к социальным проблемам.

С прошлым наивизмом надо покончить. Надо водрузить знамя критицизма, критического отношения к социальным явлениям, верней к социальным построениям.

Пока господствовал дух критиканства по отношению к действительности, к настоящему. Настоящее разносили в пух и прах. Я бы даже сказал, что по отношению к настоящему мы просто капризничали. Что же касается будущего, то мы доверчиво, наивно, опять по детски, относимся ко всем построениям, схемам, рисующим наше грядущее.

У нас были две краски и две кисти. Одна кисть с черной краской для набросков действительности и настоящего. Другая кисть с розовой краской для набросков по грядущему.

Критицизм должен создать здоровое критическое отношение и к настоящему и к будущему.

Вместо пессимизма и оптимизма, вместо этого дуализма, раз'едающего наше общественное познание, мы были пессимистами, крайними отрицателями, видящими только отрицательные, плохие стороны настоящего, и крайними доверчивыми оптимистами насчет грядущего, насчет будущих форм жизни.

Как только речь зашла о будущем, об наших идеалах, тут мы забыли весь наш опыт, все наши злоключения, все козни действительности

Наш идеализм, наши построения, наши схемы будущего, наш идеологизм надо подвергнуть критическому рассмотру. Надо покончить с футуристическим оптимизмом и презенситическим пессимизмом.

Сольем их воедино и создадим мелиоризм, вера в улучшение, в благоустроение.

Не может быть речи ни о каком огульном оптимизме. Мы должны заранее знать, что как только то будущее, о котором мы грезим, к которому стремимся через туманы и ненастья настоящего, станет сегодняшним днем, то оно вызовет целый ряд недовольств, если даже не примем во внимание то обстоятельство, что все наши построения бесплотны и бескровны, являются душами и духами, ищущими своего воплощения, своего осуществления социального, и, достигая его они превращаются, если не в свое противоречие, то в то, что далеко-далеко напоминает нашу идеалистическую схему, нашу идеологическую картину—уже по одному тому, что наши требования, что наши оценочные суждения, наши социальные, идейные потребности уходят вперед гораздо быстрее, чем двигаются, шествуют, тяжело ступая, наши социальные достижения.

Этическое сознание есть высший этап, построенный над нашей цействительностью с ее реальными возможностями. То, что „должно быть", находится на известном расстоянии от того, „что есть".

Как удовлетворение никогда не догонит потребности, так как потребность есть не постоянная величина, а увеличивающаяся, прогрессирующая, возрастающая и количественно и качественно, и в тот момент, когда удовлетворение близко подходит к потребности, то потребность делает шаг вперед, поднимается на одну ступень выше.

Конечно, речь сейчас идет об искусственных потребностях, предел которых не установлен. Все социальные потребности в лучшем построении общежития, т.-е. сознание о лучшем, более отвечающем нашим запросам, опереживает, само собой разумеется, все наши достижения. И не только опереживает. Но всякое достижение вызывает к жизни новое сознание, новые потребности социальные, удовлетворение которых ждет, ожидает будущих достижений, которые в свою очередь вызовут к жизни новые запросы, новые потребности, новое недовольство, которое призовет и свое удовлетворение, и так до бесконечности.

И поэтому мы заранее можем быть уверенными, что всякие будущие построения, что самые лучшие структуры вызовут отрицательное к себе отношение, так как будущее, лишь только оно станет настоящим, то вскроет целый ряд противоречий, таящихся в нем, и целую груду осуждений и планов к их удалению.

Мелиоризм займет место оптимизма. Бесконечные стремления к улучшению, к упорядочению наших общественных институтов.

И надо сознать, что недовольство есть основное чувство человека, недовольство есть сознательный аппетит. Болен тот, кто его лишен. Больно и ненормально то общество, которое лишено этого здорового чувства, этого двигателя, этого погонщика, этой пружины в часах прогресса. И часть критики, солидную часть ее, надо отнести на счет этого чувства, насчет вечного недовольства, живущего в сердцах, в сознаниях людей, недовольства настоящим и стремления к лучшему.

И это недовольство должно быть исследовано, надо отделить ее социальные ветки от ее психологических корней, так и стремление должно быть проанализировано и заранее об'явлено *переходным* состоянием, релятивным улучшением, но не абсолютным ответом на запросы и вопросы. Недовольство и стремление являются чуть ли самодовлеющими, они выявляют свои силы и в области социальных отношений.

И социальная сфера дает им достаточно материала. Все наши институты несовершенны и не будут совершенными, и всегда будут и должны быть подвержены критике.

Вся суть в наростании сил и привычек, сноровок и навыков, дающих возможность делать шаг вперед, как в достижениях, так и в критике этих же достижений.

1.

Теория изменения общежития.

Как критицизм от исследования мира, внешнего мира, взялся за исследование познания мира, создавая теорию познания, исследуя орган, орудие познания, наш разум, наш интеллект. И таким образом человеческое мышление делало шаг вперед, создавая свое внутреннее обсервирование. Создается мышление о мышлении, познание познания, т.-е. теория учений, исследовавших способы, приемы нашего познания.

Так теория изменения общежития должна обратить свой взор вовнутрь, она должна не столько интересоваться настоящим исследованием социальных действующих законов, сколько разработкой и разбором самых идеалов, устанавливая рубеж, предел наших достижений, наших возможностей вообще.

Теория изменения должна исследовать революцию, как метод, как способ пересоздания общежития.

Теория изменения социального мира должна установить для руководства несколько основных положений, с помощью которых нам было бы легче ориентироваться во всех делах общественного переустроения, налаженья общественных институтов.

Никакие изменения, верней, никакие глубокие изменения формы невозможны без изменения об'ема общежития. Об'ем отвечает в известном смысле форме. Тут взаимодействие. Рост об'ема обусловливается и вызывает рост и осложнение формы. Лучшая форма, более совершенная, возможна лишь при большем об'еме.

При том же об'еме немыслимо изменение, кардинальное реформирование формы.

Капитализм ознаменовался ростом об'ема, как хозяйственной единицы, так и политического об'единения. Переход от феодазизма означает изменение формы и об'ема.

Феодализм по отношению к предыдущим формам хозяйства и общежития означает шаг вперед, как в форме, так и в об'еме. Всякие изменения, усовершенствования, улучшения требуют затраты сил и пускания в ход более громоздкие социальные механизмы.

И как нельзя себе представить, чтобы в борьбе племен и групп, шаек, дружин применялась наша тяжелая артиллерия, как нельзя себе представить, что для населения в несколько десятков лиц стоит выстроить водокачку и водопровод по последнему слову, так нельзя себе представить, так немыслимо, чтобы были введена тяжелая, крупная политическая индустрия с ее тяжелыми громоздкими методами и приемами для регулирования отношений и взаимоотношений, возникших в ограниченной по своим размерам социальной среде.

Хорошее устройство хозяйства связано с его увеличением, с его колоссализацией, с его ростом. В мелкой мастерской не поставишь огромную динамо-машину, не применишь самых новейших усовершенствований

Усовершенствование общежития требует, предпосылают увеличение, возрастание в об'еме общежития. В противном случае труд по введению этих новых усовершенствованных механизмов не оплатится. Такие системы, как либерализм, предполагали, или обусловливали, в известном смысле, единство системы правления во всем цивилизованном мире.

И нечего говорить о социализме, что он не только охватит весь цивилизованный мир, охватит, как система, но он его и сколотит, во-едино, в известной мере, создав соединенные штаты Европы, это в сфере политики, а в сфере экономики он призван создать единое, централизованное хозяйство, по крайней мере в пределах одного государства.

Взаимная зависимость между об'емом и формой должна быть установлена, как незыблемый закон социального переустроения.

Исходя из этого, все реформы и планы, предложенные реформаторами, идеологами, к улучшению общежития, которые пренебрегали этим основным правилом, окажутся негодными, непрактичными. С этой точки зрения прудонизм отпадает сам собой. Точно также и старый анархизм.

Изменение формы требует большего об'ема. Лучшая форма, более сложная, предпосылает больших размеров об'ем, обхват.

Думать же, что можно достигнуть новых более совершенных форм хозяйства или общежития, не то, что не увеличив, как предпосылку, об'ем их, но еще уменьшив, разобрав, расколотив, расчленив их организм на целый ряд отдельных частей, есть величайшее заблуждение,

И старый анархизм, который хотел решить проблему власти с помощью раздробления об'ема общения, попал в такой тупой тупичек, что никогда ему оттуда не выбраться.

Проблема государства может быть решена с помощью колосализации, во всяком случае, в решении этих проблем надо держаться восходящей линии, надо стремиться к большему, а не к меньшему об'ему.

Все же решения вопроса, вносящие идею миниатюризацим негодны, неподходящи.

Миниатюр лишь скрывает тот дефект, который обнаруживается в колоссале, но он содержит его. Но так как об'ем мал, то он не бросается в глаза, не привлекает внимания. Он налицо, но он не виден.

Вот иллюзия миниатюризации. Она не решает проблемы, но затушевывает ее. Семья. В семье все дефекты государства, там все семена деспотии. Но все это так мелко, что не достойно серьезного изучения, оно, просто, незаметно. Рост об'ема, рост усложнения формы есть одновременно и рост и выявление протоворечий. Их надо преодолеть, осилить, перарасти, но не запрятать, скрывать.

Точней и глубже, противоречия надо свести к генеральному, к общему, всеобъемлющему принципу. И сами противоречия для их решения должны быть увеличены. Собственно в их увеличении и лежит их решение.

Решение нисколько не означает простое удаление, а сложное, т. е. увеличивание.

Как об'яснить, понять означает охватить наибольшую сумму явлений, свести неизвестное к известному, непонятное к понятному, т. е. увеличить число явлений требующих об'яснений, доказать, что в этом одинаково нуждаются все явления, создать обобщение из частичностей. Так и решение проблемы в социальной жизни значит расширить, раздвинуть эту проблему, довести ее до общего, основного начала, тогда это и называется решением. Как систематизация фактов, классификация их в представления и понятия выдают за об'яснение, так увеличение, превращение „противоречия" в основное свойство нашего общежития называется решением.

Отход от собственности, пока он в полпути, он вызывает пертурбацию, эксцессы на почве хозяйства, сведение лишенности имущества к концу, приведение этого явления в планомерную систему хозяйственную создает представление о решении.

Другого способа решения нет, как и нет пока другого способа об'яснения и понимания.

Противоречия между трудом и капиталом сводят к более общему противоречию, к более глубокому столкновению и антагонизму, к спору вечному, незыблемому между трудом и организацией труда, между одной ступенью и другой, между физическим трудом и социальным, потраченным на постановку, на выявление социального характера физического труда. Противоречие становится глубже, старше и охватывает большее протяжение исторических эпох. Это увеличение противоречия называется на языке обиходного, наивного понимания решением.

Это же противоречие можно поднять еще выше, поставив его еще шире. Тогда оно будет означать еще более передовое продвижение в смысле сложности социальных структур.

Если мы поднимемся еще на одну ступень выше, то мы сведем это противоречие на спор, на разность, существующую между исполнителем и изобретателем.

Организатор и организуемый, здесь противоположность между трудом и организацией труда.

Организатор выделится, отделится от учителя, от теоретика, от идеолога. Пока ведь они встречаются вместе, в слитном, перемешанном, смешанном виде, что свидетельствует о некультуре, о неразвитии.

Теоретик, идеолог, слитый воедино, разобьет скорлупу организации, исполнения, что его стесняет, пойдет он по пути усложнения, утончения своей специальности, он станет творцом, созидателем новых форм. Исполнение останется сзади, оно станет общедоступным, оно станет всенародным.

Есть ли это удаление противоречия между организуемым и организующим. С виду, вульгарно, наивно толкуя явления социальные, да. Глубже, критистически разбирая вопрос: нет. Здесь, наоборот, есть углубление противоречия, сведение его к общему разделу, к общей пропасти, лежащей между исполнением и творением, созданием плана и приведением его в исполнение, еще шире пропасть, которая отделяет подражание, подражательные действия от творческих актов, отыскивание новых путей и стадность.

И если поднимемся еще на одну ступень, то мы еще глубже и шире раздвинем пропасть. Наивизм называет это решением, на самом деле это лишь новая постановка вопроса.

Но среди систем социальных мы имеем и такие, которые охвачены не просто наивизмом, но наивным реализмом, они хотят на самом деле решить эти проблемы.

Тяжба между трудом и капиталом они, при простоте души своей, по наивному идеализму, владеющему ими, решают таким образом, что хотят дать перевес труду над капиталом или же наделить капиталом всех, и наделить в простом значении этого слова.

К этим системам принадлежит Толстовство с его планом реорганизации хозяйства. Проблему эксплоатации он решает просто: разойдись народ по домам, по деревням обратно к своим мастерским, к своему молотку. Словом, он пошел походом против разделения труда и советует опроститься, вернуться к первобытным формам, к примитивным методам, незатейливым способам обработки земли и продуктов.

Ему кажется, что таким образом он решает все проблемы. Подобное решение проблем познания в области мышления мы находим в лице тех, которые призывали вернуться к абсурдам веры, лишь бы не пойти по извилистым дорожкам и путям кривым разума.

Организация сложна, народ ею совладать не может, цивилизация опередила развитие народа, уровень его интеллектуальных сил, поэтому надо вернуться обратно к народу, т. е. к первобытному состоянию, вместо того, чтобы стараться поднять народ к высшим формам цивилизации, как в хозяйстве, так и политике и идеологии.

По этому пути шел Прудон с его желанием наделить всех капиталом, не в переносном смысле, в значении национализации капитала, т. е. лишения его всех, даже теперешних его владельцев. Труд отошел от собственности. Теперь должен не только процесс труда, но и само предприятие отойти от собственности, создавая высшую организацию, держащуюся на начале господства, т.е. на самом себе, а не на отжившем свой век, устаревшем, одряхлевшем начале, как собственность, а в простом.

По этому пути шли кооператисты, те химеристы, мечтавшие сохранять и форму и об'ем капиталистического хозяйства и все же перейти к новым формам, при которых интересы труда сохранены.

Они настолько наивны, что они думают, что самым главным двигателем, понуждающим перейти от капитализма к новым формам есть неправильная постановка проблемы труда в капиталистическом хозяйстве.

Да, наивно оно кажется таковым.

Фактически, критически капитализм перерастает сам самого себя, он не в силах овладеть собой, удержать себя в рамках существующих, юридических форм, перешедших к нам в наследство от римлян. Эти формы слишком сжимательны для новых взаимоотношений. Собственность стала мешать организации и последняя должна победить первую. Все эти системы наивны, наивно реальны, и поэтому они должны быть отвергнуты с точки зрения критицизма.

Наивизм в отрицании капитала высказался в том, что некоторые хотели на деле, фактически уничтожить капитал, практически этот наивизм сказался в действиях некоторых рабочих, проповедующих открытую борьбу с машиной, представительницей капитала. Эта проповедь была и делом.

Они ломали машины, уничтожали изобретения вместе, довольно часто, с изобретателями. И борьба за изобретение есть длительный, болезненный процесс, Эту борьбу вел прогресс человечества в лице своих лучших представителей, в лице величайших изобретателей, которые погибали вместе со своими изобретениями.

Такой наивизм имеет своим последствием варваризм. Мы имели и более смягченные методы непосредственной борьбы против капитала, понимаемой слишком просто, наивно.

После долгих лет работы среди низов удалось создать у них верное отношение к этому явлению. И от борьбы против индустриализма они перешли к борьбе за индустриализм, „капитализм", за расширение „капитала", за увеличение предприятий, они пошли от капитализма к панкапитализму, от мелкого сравнительно предприятия к национально-единому хозяйству, к производственному предприятию. Они стали бороться против его дезорганизованности.

Этот метод борьбы, это понимание капитализма есть критистическое, углубленное, вдумчивое понимание капитализма. Капитализм надо принять, и социалисты, марксисты его приняли, но он неудовлетворителен, они поступали по отношению к капитализму так, как они относились к демократизму. Собственно это одно отношение, одна часть которого находится в полнейшей связи и соответствии с другой частью.

Положительное отношение к капитализму и соответствующее отношение к его отражению в политике, к демократизму. Демократизм надо перерасти, капитализм надо одолеть и подняться на одну ступень выше. И социализм стал означать не акапитализм, а панкапитализм или вместо поликапитализма выдвинулся монокапитализм.

Отрицание капитализма понятое своеобразно, наивно вызвало к жизни несколько школ, проповедующих наивный догматический отказ от капитала и возврат к прежним формам, или лелеющих мечту о возрождении буржуазных институтов, но в чистом виде, восстановление „свободной конкурренции" без монополии, которая губит, сводит на нет, по их словам, всю благодетельность первой.

Наивизм во втором проявлении организационизма, во власти, отличался той же брутальностью, вульгарностью, тем же рублением с плеча.

Как в капитале, так и во власти, они усматривали абсолютное зло, которое требует своего искоренения, выжигания каленным железом, разрушения. Они, по своей наивности, не поняли, что капитал является злом только в том смысле, что он открывает новые виды, более широкие перспективы на будущее, что он представляет возможность развиться до безконечности, а потому он плох, т. е. его настоящая форма считается неудовлетворительной в тот момент, когда созрели силы об'ективные и суб'ективные к преодолению его. Они не поняли, что мы имеем здесь дело с обыкновенными явлениями роста. Что старую форму недоразвитую мы выдаем за зло, чтобы этим воздействовать на волю, которая принимается в расчет при сведении счетов со старым миром, которая входит, как слагаемое в сумму факторов, действующих, двигающих историю.

То же самое было с властью. Если понимать власть, как наивизм понял капитал, то и здесь придется итти на методы, расчитывающие на полнейшее искорение этого зла, и эти методы во всем подходят на вандалистические методы борьбы с машиной, т.-е. ломка институтов, оголение земли, уничтожение всего общежительного аппарата, общительных, социально-политических механизмов.

Критицизм же отиосится к власти, к архии, как к капитализму и к капиталу. Зачатки критистического отношения к капитализму мы находим, как уже было сказано, в марксизме.

От архии надо перейти к автоархии, вот, что значит уничтожение власти. Капитал должен стать общим достоянием, он об'является обобществленным, власть и орудия управления и правления должны стать интериндивидуализированными.

Противоречие, лежащее между трудом и капиталом, становится противоречием между трудом физическим и организующим. В политике противоречие, лежащее между социальным трудом и политико-социальным, организационно-социальным, должно перейти в сферу обучения. Один трудится социально и организационно, а другой руководит этим трудом, создавая лучший способ реорганизации.

Когда мы сказали, что отойти от архии можно лишь через автархию, как отход от монотеизма через пантеизм, к атеизму, т.-е. к натуризму, к слиянию организующего начала с организующим в мире,—то мы не точно выразились, существенное в этом явлении это не панкапитализм при социализме в хозяйстве, а его организационизм, а в политике при решении проблемы труда социального и власти не существенно автархия, а эдукатизм, который займет место организационизма.

Наивное же понимание этой проблемы идет назад, как при решении проблемы капитала, к эксу, к террору, к дикому, грубому насилию, к самосуду и проч. отрицательным явлениям.

Здесь как и в хозяйстве наивизм сопряжен с вандализмом, с варваризмом. Иначе и быть не могло и не может.

Наивизм есть, на самом деле, варваризм в мышлении, в идеологии, означает падение полета мысли, питается падалью или отбросами непонимания окружающей социальной жизни.

И ему соответствует его программа действий, терроризм, эксизм и проч. планы к дезорганизации общежительной жизни, как крайнее областничество, самостийность, доведенную до социально-политического абсурда.

В вопросе о власти и о насилии слово решительное, за критицизмом, долженствующим вывести нас на чистую дорогу и мышления и действия.

2.

Классовая борьба.

Тезис, утверждающий, что „история человечества есть борьба классов", как и его антитезис „история человечества есть взаимная помощь", получает при свете критицизма особое значение и толкование.

Наивизм, наивный социальный реализм понимает это совершенно просто. Низы борются с верхами, вот двигатель прогресса, вот двигатель культуры. В борьбе низов с верхами рождается новая жизнь, новые формы, новый уклад более совершенный, более благородный, чем предыдущий.

Чем больше наивности в понимании этих явлений, тем больше благоговений и боготворений перед величайшим рычагом прогресса, перед Бунтом, восстанием, переворотом.

Марксист в этом занимает золотую середину. До совершенного абсурда довел эту мысль Бакунин, эта горячая голова и горячее сердце, этот Стенька Разин в великолепном издании. И договорились до того, что стали проповедывать бунт ради бунта, дух возмущения, дух отрицания, сатанинство стало символом новой веры.

Все это основано на наивизме, на неумении разглядеть события, историю до ее глубины, до ее бездонных, пропастных глубин. Все это держится на верхоглядстве, на непонимании жизни, истории, прогресса.

Марксизм, как практическая дисциплина и как теоретическая концепция, тем и силен, что он держался в середке. Он признал борьбу самым главным рычагом, но требовал, чтобы борьба велась планомерно, целесообразно. Таким образом он вложил в борьбу новый элемент, сознательность, планомерность. И получилась сознательная, планомерная организованная борьба.

И спрашивается, что является существенным в этой борьбе, элемент драки, столкновения или элемент сознания, плана. Этот вопрос остался бы невыясненным. Если-бы мы не были свидетелями бесконечных бунтов, драк, столкновений, которые ни к чему не приводили, которые кроме жертв ничего не дали.

Но и марксизм понимает его пресловутый тезис „история человечества есть борьба классов" довольно наивно, хотя не так уж детски, как это толковал бунтарский народнический анархизм и социализм, который думал, что вся суть в бесконечных восстаниях и смутах.

Марксизм полагает, что двигателем прогресса является классовая борьба, поэтому он предписывает бороться. Он полагает, что низы борются с верхами и побеждают, одолевают последних.

Это наивизм.

На самом деле мы не находим в истории нигде, чтобы низы взяли верх над верхами. Это случается, но лишь моментами.

Дружинники взбунтовались, подняли на штыки своего воеводу, но сейчас же они выбрали себе другого воеводу. Низы восстают против верхов – это видимость. А внутренняя сущность—борьба верхов, новых зарождающихся верхов со старыми, отжившими, одряхлевшими верхами. История человечества есть смена классов, есть, если хотите, борьба классов, но не в понимании марксизма, что два контрагента одного производственного процесса сталкиваются, нет, совсем не так, не контрагенты сталкиваются, а новый зарождающийся класс борется с предыдущим, класс организаторов борется с классом собственников, но он, собственно говоря, не борется, а руководит, организовывает борьбу, борьба ведется не горизонтально, а вертикально.

История человечества есть борьба классов, если принять это за описание истории, то это, пожалуй, с некоторыми ограничениями, верно. Низы вечно бунтовали, вечно восставали, вечно возмущались, вечно жил антагонизм, ненависть к верхам, с одной стороны, и благоговение и зависть, с другой.

Но этот антагонизм, эта ненависть была бесплодна, это скрежет беззубый. Низы были недовольны, да. Но к чему это приводило? К восстаниям, которые имели своим финалом кровавые расправы.

Низы бунтовали, пока их не укрощали окончательно, пока их не обескровили до такой степени, что больше не было ни силы, ни охоты бунтовать.

Низы вечно бунтовали, но от этого получалась очень печальная, весьма печальная история. Эти бунты не история прогресса, а самые печальные, самые ужасные страницы в истории человечества, и если бы этих страниц было меньше, то история от этого только выиграла бы.

Бунтарство ничего не стоит. Россия вечно, постоянно бунтовала, всегда стояли и ходили по стране смуты. Но это ни к чему не приводило. Все эти бунты сеют ветер и пожинают бури. Вот их единственный результат.

Каждый новый порядок сопровождался целым рядом бунтов, восстаний, смут, которые заревом крови осветили каждый шаг истории и прогресса.

Но есть ли это положительный фактор? Вот вопрос.

Может ли тезис „история человечества есть борьба классов" стать нормативным, предписывающим социальное поведение, в его марксистском, в его наивном понимании? Никоим образом.

Низы бунтовали, когда ввели крепостное право, они бунтовали, когда оно существовало, они бунтовали при отмене его, при переходе к „вольному" т.-е. наемному труду.

Переход к капитализму ознаменовался возмущением рабочих и крестьян. И те и другие жгли фабрики, ломали станки.

Вот это настоящая классовая борьба. Это стихийное возмущение, охватывающее низы, видящие своих врагов, своих соперников в виде станков, машин и пр.

Низы всегда бунтовали и особенно усиленно при переходах.

Есть ли это явление положительного свойства? Нет. Эти бунты имеют ту же ценность, что капризы ребенка, плачущего, рыдающего, когда мама его чешет или умывает или одевает и проч. Пример, бесспорно, не совсем удачный, но содержащий в себе известную долю истины.

Социализм ознаменуется рядом восстаний, неужели это можно рассматривать, как классовую борьбу, двигающую вперед историю человечества?

По моему никак. Так как нет силы, могущей взять на себя использование, эксплоатацию этих бунтов, превращение их в положительное, созидательное явление.

Классовая борьба лишь в тот момент становится рычагом, когда к авансцене истории начинает приближаться новый класс и этот новый класс или тип берет „классовую борьбу", берет возмущение, живущее в сердцах и в поступках низов, и пускает его в ход, возвышая, осмысляя, организовывая эту борьбу, создавая из этого положительный фактор, т.-е. если старый господствующий класс „эксплоатировал" труд, положительные действия, созидательные поступки низов, то новый класс, зарождающийся начинает с того, что берется „эксплоатировать" отрицательные разрушительные действия и тенденции, живущие среди низов. Каждый новый класс начинает с отрицательного и переходит к положительному. Он начинает „эксплоатировать", точней, обрабатывать низы, их отрицательные действия, их бунты, их забастовки, их дух погромный, а потом он переходит к эксплоатации положительных действий, этот переход проводит демаркационную линию между периодом борьбы и периодом победы.

Поэтому этот переход является всегда роковым для идеологии нового класса. Разумеется, что отход от агитационного периода совершается медленно, тихо, полузаметно, чтобы не отпугнуть совершенно массы, идущие за ним.

И поэтому мы вместо „классовой борьбы" ставим „смену классов".

Прогресс означает рост, накопление ценностей во всех областях и хозяйства, и и общения, и идеологии.

Этот рост выражается и в нарождении новых классов, призванных руководить новым, ставшим более сложным обществом. Организация общества становится сложней, об'ем его становится более обширным. Старый класс не в силах совладеть теми новшествами, которые начинают давать себя чувствовать. Тогда наступает эра возрождения нового класса. Но все это происходит параллельно, рост организации означает и рост организационных умений.

Один господствующий класс сменяется другим господствующим.

Новый господствующий класс для оттеснения предыдущего класса вызывает на арену все отрицательное, все разрушительные силы, лежащие на дне старого общества, все дикие страсти, прятавшиеся по углам, по темным закоулкам, не смея показываться на светлый свет, он вызывает эти силы, эти стихии, он их пускает в ход, он проповедывает разнузданность, вольность и проч.. По использовании этих отрицательных

явлений и стихий, он обуздывает их вновь, овладевает ими, укрощает их и продолжает свой путь победителем.

От этой смены низы выгадывают, выигрывают себе льготы, вольности, некоторые облегчения, но не более.

Общество, как целое, уходит вперед, и с ним двигаются и низы, они уходят тоже вперед, но „верхи" уходят в это время еще дальше.

И „история человечества есть борьба классов" означает критистически, что новый класс начинает свою историческую карьеру с того, что начинает организовывать „классовую борьбу".

Но сама по себе классовая борьба, т.-е. возмущение низов против верхов, есть отрицательное явление. Оно становится положительным в своем противоречии, в своей противоположности, когда она превращается в борьбу „верхов" против низов, рассматривая и предыдущий господствующий класс как „низы", против которого выдвигается более высокий „верх".

И критистически рассматривая это явление надо сказать, что история человечества есть борба верхов против низов, понятие верхов и низов надо брать относительно, а не абсолютно.

Смена классов. Зарождение нового класса, новой социальной силы ознаменовывается, выявляется в агитационном периоде, клеветой на предыдущий, господствующий класс, т.-е. злостной критикой, восстановлением „низов".

На деле же, не агитационно, не суб'ективно, совершается очередное историческое усовершенствование форм общежития и выдвигание новых усовершенствователей, авангарда строительства, в сфере ли политики, экономики или идеологии. Предыдущий авангард оказывается уже осевшим, тогда бросается ему упрек в эксплоатации.

Таким образом история человечества пишется „верхами", авангардом. Но для ломки старого и усовершенствования его требуется усиление недовольства. И тут вступает в свои права агитация и демагогия. Обиженные порядком низы будируются, взбудораживаются и двигаются в приступ, в наступление на старый мир, а, таким способом, разрушение старого порядка, отжившего мира идет под грохот трескучих, обличительных фраз и при блеске фееричных посул.

Посулы на счет будущего, обличение и злоба на счет прошлого. Мавр кончил свое дело, мавр может уйти. За разрушением идет пересоздание, переобразование, введение в берега весеннего половодья, весенних общественных сил, бурлящих, бунтующих волн. Начинается период созидания и начинает вырисовываться остов новых руководителей, новых вождей нового строя,нового порядка.

Если бы на самом деле всем двигали низы, восставшие массы, а не созидательное меньшинство, новый зарождающийся класс, то в этот момент, в момент перехода перелома произошла бы вторая встряска и новое назревающее недовольство творило бы новый переворот, так как разочарование широких масс, так называемый отход их от революции, обнаруживается сейчас же в момент перехода от разрушения к созиданию.

Но дело в том, что бурю творят не волны, а вихрь. И волны при стихшем вихре тихнут, приходят в покой, лижут подошвы скал и гор, хотя эхом доносится их рокот. Массы остаются без руководителей. Наиболее же сознательные из них идут за своими руководителями, пришедшими к власти, к могуществу и занявшимися положительным творческим делом. А те, которые ничего не имели, остаются, и сейчас не при чем, обра зуя лишь почву для наростания будущих гроз и бурь, ждут, чтобы их недовольство было обработано, профильтровано и пущено в ход истории умелой рукой новых руководителей.

Но новый переворот предполагает новый переход, новых руководителей, новый класс, которого пока нет еще налицо.

Разумеется, что эти смены, эти периоды не являются только сменой лиц, коллективов, классов, а сменой системы, улучшением условий жизни и труда, наростанием культуры, преобразованием всего уклада жизни.

На протяжени всей истории и всех смен мы наблюдаем абсолютное возрождение, улучшение условий жизни, увеличение суммы благ, предметов потребления, получаемых народом, низами, поднятие уровня благосостояния и относительное нисхождение, относительное ухудшение условий жизни, т.-е. расстояние между верхом и низом увеличивается, растет, ширится, становится более необозримым, более беспредельным.

Уровень благосостояния, как сказано, подымается но, сравнительно с аппетитами. возбужденными посулами и вызванными завистью, он падает. Т.-е. дифференциация, лежащая между господствующим классом и „угнетенным“ увеличивается, углубляется.

Требования масс возрастают в геометрической прогрессии, а возможность их удовлетворения в арифметической, и это расстояние служит вечным источником конфликтов и переворотов. И поэтому чем дальше, тем быстрее произойдут эти смены. И чем больше сознания будет внесено в эти явления, тем менее кровопролитными они будут, так как они произойдут более естественно, более верно, ближе держась действительности, будущих реальных возможностей.

Каждый порядок имеет низ и верх, весь вопрос лишь в том, как и в чем проявляется эта дифференциация. Так было, так есть, так будет.

И поэтому при желании созидания, т.-е. при наростании нового строя, новый грядущий господствующий класс, являющийся осуществителем и носителем нового строя, опирается в своей борьбе с предыдущим господствующим классом на низы, создавая таким образом иллюзию борьбы „низов“ с „верхами“ в то время, как на самом деле, присматриваясь пристальней к этим явлениям, мы имеем здесь борьбу двух порядков „верхов“, но на стороне невыявленного еще верха, нового господствующего класса находятся симпатии той части населения, тех низов, которые ждут своего избавления от гнета настоящего в лоне грядущих форм. И они, эти „низы“, не обманываются насчет своих ожиданий и обманываются. Они обманываются, насколько они ждут коренного решения вопроса, они не обманываются, насколько они ждут улучшения своей участи и доли, главным образом, поднятия уровня той части „низов“, которая беспрекословно, беззаветно идет, не зная ни страха ни колебания, за нарождающимся господствующим классом, который став господствующим уделит им часть своего господства. И таким манером они окажутся в полосе близко лежащей к привилегированному положению.

И поэтому можно заранее быть уверенным, что всякие такие здоровые исторические смены непобедимы, незатормазимы, ибо они неизбежны и всякое бунтарство против них беспомощно, бесполезно. Благо для создания новых форм, строев требуются новые силы, созидательные факторы, а не только бунтарские, разрушительные выходки.

Бунтарство есть плод наивности, непонимания социальных явлений. Всякое непонимание реакционно.

III.

Прогресс и регресс.

В решении социальных вопросов имеем „прогресс и регресс“. Наивизм стоит под знаком регресса, реакции. И все планы, исходящие от наивистов к реорганизации общежития, смахивают на отсталость, на реакционность, чуть ли не на вандализм.

Дело в том, что эти планы расчитаны на самом деле, т. е. наивно, поверхностно на низы, на их господство.

А это реакционно. Ибо низы могут быть приняты во внимание, насколько они представляют собой будущие „верхи“, рабы принимаются в расчет, если от них можно ожидать будущих „господ“.

Наивисты же, они и утописты, не подымают народа, низов к себе, приближая их к верхам, вернее, поднимая их выше того уровня, на котором стояли предыдущие верхы, а на самом деле опускаясь, опуская уровень культуры, хозяйства до степени доступности массам.

Это явная реакция, это сквозной регресс, так как таким образом дегенирирует общежитие, оно опрощивается, становится доступным неразвитым низам.

И в сущности в наивном решении проблемы нет никакого решения. Это — уничтожение общежития, развал его, возврат к прежним отсталым формам. Если рабочий не мог справляться с буржуазным хозяйством, ибо оно было слишком сложно для него, недоступно было ему по вине своей сравнительной сложности, запутанности, то как он справится с социалистическим, более сложным хозяйством.

На это надо дать, мы дали в предыдущих главах, ответ. Осложнение аппаратов управления и хозяйства находится в прямой пропорции с их простотой применения. Так что аппараты, становясь сами по себе, т. е. касательно их структуры сложными, становятся совершенно простыми, касательно применения. И таким образом происходит двухсторонний процесс, с одной стороны крайняя сложная специализация, с другой—

деспециализация, демократизация и аристократизация одного и того же порядка явлений. Сложность, специализация, как мы это называем, аристократизация переносится в высшие сферы, низшие же становятся совершенно доступными всем, всем.

И поэтому именно социалистическое хозяйство, являясь по существу более сложным, более развитым, более организованным, становится в низших своих сферах более простым, более доступным.

Так происходит прогресс, так двигаемся вперед, вверх, вверх.

Наивизм это знать не хочет, он просто этого не понимает.

Он думает, на самом деле, отдать все в руки низов. И тогда ему приходится разложить общежитие.

Буржуазное общество, буржуазные методы правления и хозяйства были недоступны „низам", ибо общежитие было слишком сложным, поэтому он выносит свой осудительный приговор над ними. Он хочет свести их не к простоте, вытекающей из высшей сложности, а к самой доподлинной простоте. Тут его реакционность. Как решает Толстой проблему хозяйства, проблему труда и капитала? Он сводит эту проблему нанет. он проповедует бойкот буржуазного хозяйства и возврат к самостоятельному, совершенно неподверженному разделению, труду. Пусть каждый плетет себе свои лапти, пусть каждый пашет и сеет. И не будет проблемы труда и капитала. Ибо все капиталисты станут трудящимися. В этом же духе, хотя не так далеко, не так юродиво планирует организацию хозяйства и Прудом.

В этом же духе реформирует общение и Кропоткин, и Руссо, и др. утописты.

Общение сложно, оно не доступно низам, давайте его разложим на составные элементы. Пусть каждый город, каждая область, управляется самостоятельно в сфере близких вопросов разбирается и простой гражданин, и самый примитивный сельчанин, и они примут прямое участие в решении всех текущих дел, вопросов направления политики.

Но это значит опуститься ниже того уровня, на котором мы находимся. Это значит погубить все общежитие ради каких-то поверхностных наивнореальных суждений, имеющих видимость этичности.

Есть ли это решение проблемы? Никакого решения здесь нет. Ибо если опустим общежитие вниз, то попадем в предыдущие противоречия и подвергнемся предыдущим дефектам, из'янам общежития, от которых мы думаем спастись, переходя к новым формам

Самим плести лапти—прекрасно. Но ведь было время, когда не было разделения труда, и мы от неразделения пошли к разделению. И если мы сейчас пойдем обратно, то совершим странный переход от одной стадии к другой, то вверх, а то обратно вниз. Из города вернемся обратно в деревню, чтобы затем из деревни, как раньше, бежать в город.

Человечество слишком благоразумно, чтобы слушаться таких реформаторов, перереформаторов.

От государства пойдем к вольному городу. А от вольного города со всеми его дефектами, с его вечными раздорами, междуусобицами, вернемся обратно к государству. Вот путь начертанный для спасения человечества этими великими наивистами, великими утопистами и великими реакционерами, дон-кихотами новой формации.

Так решает наивность социальные проблемы, решает их всегда реакционно.

Проблему труда и капитала надо критически, а не наивно, решать посредством перенесения ее и перевода ее на проблему труда и организации. Вот это значит прогрессивно решить проблему, итти вверх по лестнице сложности и усложнения общежития.

Если государство обладает основным дефектом, дифференциацией между управляемым и управляющим, губящим общежитие, то не следует итти обратно, опростить, разложить общение на мельчайшие атомы, чтобы каждый стал доступен „любой кухарке". а, наоборот, подымать государство выше, довести его до мирового масштаба, и тогда, параллельно с этим ростом, произойдет опрощение его функционирования и вследствие этого оно, государство, станет доступным „любой кухарке".

Можно же понимать доступность „любой кухарке" буквально, наивно, просто, расчленить государство на единицы величиною каждая в „кухню", и тогда, разумеется, кухарка справится кухонно, с государственными заданиями. Но это означало бы гибель, крах всей культуры, всей цивилизации.

Наивизм, наивный реализм охватывает всю прикладную социологию и поэтому нет почти ни одной революционной или реформистской системы, которая не содержала бы элементы реакционности. Ценность же систем определяется степенью, мерой, количеством этих элементов.

Марксизм, из всех социалистических систем, содержит их сравнительно меньше и поэтому это учение наиболее живучее, наиболее жизнеспособное.

Народнические доктрины, как свидетельствует само их название, несравненно более насыщены „наивными", реакционными элементами, и поэтому они оказались совершенно никчемными в России, держа экзамен перед суровой революционной действительностью.

Те дисциплины, те концепции оказались живучими, в которых элементы реальные, критицистические преобладали над элементами наивистическими, хотя первые содержались в скрытом, невыясненном виде. Так марксизм предполагает по наивности своей, что он решает окончательно проблему труда и капитала, уничтожая капитал, на самом же деле он переводит эту проблему в целую систему высшего порядка. Таким образом он об'ективно прогрессивен, поступателен, а суб'ективно, самообманно, реакционен. Так он полагает суб'ективно, что он вместо буржуазного класса выдвигает рабочий класс, низший класс; если бы это совершилось, то были бы правы те, которые вопили о том, что Хам грядет, что мы накануне уничтожения всех культурных ценностей, на самом же деле, об'ективно, он создает новый тип, тип организаторов, который составляется из разных элементов, различных группировок и этот тип является более высоким верхом, чем буржуазия. Как и буржуазия в смысле культуры перещеголяла аристократию, т. е. дворянство, точней, буржуазия, аристократия, т. е. аристократия третьяго сословия, классовая, опередила аристократию сословную, так и аристократия типовая превзойдет аристократию классовую. И нечего беспокоиться за прогресс, за культуру, за поступательный ход цивилизации вперед, вперед до бесконечности.

Такие явления, как разбитие зеркал и помещение их в хлев, где они пугают коров, о которых с таким упоением расказывали буржуазные газеты, являются чем то переходящим, стушевывающим слегка абрис новой картины, но не искажающим ее настолько, чтобы ее пытливый глаз исследователя не узнавал.

Социализм, говоря, по наивности своей, увлекаясь течением господствующей мысли, платя дань предрассудкам своего века и сам будучи самым главным виновником в распространении этих предразсудков, о рабочей демократии на самом деле, в жизни, не на митингах и в брошюрах, а в повседневной жизни творит рабочую аристократию, которую он именует разными словами „авангард", „сознательное меньшинство" и проч. И в этом акте он черпает свое право на существование. В противном случае он бы являлся совершенно реакционным общество-пониманием, который бы повел общество к вырождению, к упадку, к развалу.

Сила и мощь марксизма, так называемого „научного социализма" в том, что он в противность утопистам, как Овен, Фурье, Сен-Симон с одной, а Ротбертус и монархические социалисты, с другой стороны, нашел своего носителя. Он нашел своего носителя фактически, прагматически, а не теоретически. Теорически суб'ективно, обманно и самообманно он думает, что его носителем является рабочий класс, весь рабочий класс, как таковой, на самом деле его носителем является организованный рабочий, т. е. тип организаторов, рабочий класс вляется лишь разрушителем старого.

И эти „потемки" были необходимы, они содействовали успеху социализма, они придавали ему тот религиозный характер, который носят всегда великие массовые движения, являющиеся по существу, глубже вникая, архиаристократическими движениями, но имеющими вид и видимость чего-то массового.

Этот самообман являлся исторической необходимостью. Этот обман и выносит и мешает марксизму при его осуществлении, он ему мешает при реализации и еще будет долго мешать, пока он его не одолеет окончательно. Он его на наших глазах одолевает, шаг за шагом, постепенно, практически, взяв чутьем. Большевизм стоящий всегда за профессионализм в революции, в партийной работе, был робким шагом к бессознательному отказу от наивизма, что в марксизме.

Но и большевизм, не практически, а идеологически весь утопает в наивизме. Если бы это расхождение между теорией и практикой, между демократизмом в идеологии и аристократизмом на практике, не было обусловлено самообманом, тем, что весь марксизм на всем протяжении его, с зарождения состоял из этих двух про-

тиворечий, составлял собой синтез нового демократического, точней, рабочего аристократизма, то это было бы верхом иезуитизма.

Итак все учения к реорганизации общения и хозяйства, исходящие и исходившие из лагеря защитников обездоленных, содержали и содержат в себе, одна в большей мере, другие в меньшей мере, элементы наивности и, следовательно, реакционности.

Некоторые из них содержат в себе столько регресса, что не могло быть и речи о том, чтобы их реализовать, провести в жизнь, некоторые содержат в себе элементы регресса, главным образом суб"ективного свойства, а не об"ективного. Эти доктрины получили свое жизненное крещение, были реализованы, и чем больше они находились в соприкосновении с жизнью, тем все более и более они теряли свои наивистические элементы, пока окончательно не утвердились, как реалистические концепции.

Но, разумеется, что идеология их тормозила, тормозит их практику, вызывая эксцессы, которые не находили бы себе места, если бы идеология стояла на той же платформе прогресса, как и их практика.

Когда мы переходим к христианству, то мы находим в нем то же противоречие между проповедью и делом, за что Гейне, так остроумно ругался, выражаясь.

Jch kenne das Lied,
Jch kenne den Verfasser,
Sie trinken Wein
Und predigen Wasser

(Я знаю ту песню, я знаю певца, они льют воду и пьют вино). Эта же проповедь ввела в заблуждение великого мыслителя всех времен и народов, Ницше, который ругательски ругал христианство и его апостолов за их мораль рабов, за их упадочность, не улавливая, что ничего подобного нет в христианстве. Христианство и пророки есть мораль тех рабов, которые станут, готовятся стать господами, а это те господа, которым „рабы" служат, которые пускают в ход мораль имеющую вид морали рабов, которые делают это так искусно, что они обманули такого глубокого, прозорливого, проникновенного мыслителя, как Ницше.

Христианство поэтому одолело Европу, одолело цивилизованный мир, что в нем регресс лишь суб"ективный, а не об"ективный, в нем реакция идеологического свойства, а не практического характера. Евангелие, возглашая диктатуру обиженных, диктатуру нищих духом и телом, одержимых, немощных и проч., на самом деле установило диктатуру врачевателя, сына человеческого, Спасителя. И идея спасительства спасла христианство от реакционности, от глупого, наивного демократизма. Христианство, обращаясь к рабам, к нищим духом, вознесло до небес аристократию духа, во главе которой оно поставило своего агнца, который был кроток, как голубь и мудр, как змий.

И эта двухэлементность спасла и вынесла христианство, которое на деле на протяжении многих и многих веков оказалось в высшей степени прогрессивным явлением, будя, зовя, призывая подниматься вверх, желая создавать мировое господство, где есть „едино стадо" и „единый пастырь", царство божье на земле, где нет раздробленных мелких государственных единиц, а есть сплошное колоссальное об"единение народов, племен и человеков.

И Ницше, поборник аристократизма, проповедник сверхчеловека, как не видел, что все христианство, несмотря на то, что оно щеголяет в рубище и питается диким медом, есть сверхчеловечество, есть проповедь о рождении в чуде и творящем чуде, о том, кто никому не равен, о Боге, ставшем не человеком, а сверхчеловеком.

Ницще ввела в заблуждение манера выражаться Евангелия, этой хитрейшей книги, которую следует читать с большим вниманием, зная что слова здесь имеют особое значение, особый смысль.

Христианство, думал Ницше, есть идеология рабов, на самом же деле это идеология предводителей, руководителей, освободителей, вождей рабов, вождей, пользовавшихся рабами для нанесения удара прежнему господству, языческому, раздробленному государству. Это идеология тех, которые создали папство.

Ницше взял период агитации и он верит в эту демагогию, не понимая, что это сказано для восстановления рабов против прежних господ, для того, чтобы им дать новых господ, более совершенного типа и свойства.

Если бы христианство было на самом деле реакционным, оно бы никогда не победило, жизнь бы его отвергла, уничтожила, как она рассеяла десятки ему подобных построений и идеологий.

Сказанное верно и относительно марксизма, социализма, он спасется своим лидеризмом, своим организаторством, своим прогрессом.

Так как в нем прогресс все же, не смотря на гущу предрассудков, окутывающих его со всех сторон и затрудняющих выяснение его внутренней сущности, преобладает над регрессом.

Те же дисциплины социалистческих школ, которые содержали в себе больше наивизма, рушатся, пропадают, а берет верх та из них, которая наиболее трезва, наиболее здорова, наиболее прогрессивна, наиболее отвечает грядущим формам, зарождению новых сложных форм общежития и хозяйства.

То же самое верно и относительно анархических школ. Победит та, которая будет прогрессивней, тем более, что анархизму по нашему, придется выступить после того как социализм осуществит себя и мы обогатимся такой колоссальной важности полосой социальной культуры, социального строительства. И анархизм, если он захочет победить, то ему придется стать определенно, без обиняков на платформу интериндивидуализма, универсализма. Старый же анархизм, пропитанный насквозь в несравненно большей степени нежели социализм, марксизм, элементами наивности, реакционен до сверхестественности, и не может быть речи о проведении его в жизнь в его теперешней форме. Самым ярким выразителем реакционности старого анархизма это Кропоткин и его плеяда учеников-недоучек. Это сверхестественные суеверы и реакционеры, плодящие вокруг себя вандализм, которого они сами гнушатся, но который их преследует по пятам. Ибо это участь всех утопистов, всех реакционеров. Там где нет положительной работы, там находит себе прием отрицательноая работа.

4.

Консерватизм.

Консерватизм не менее грешен наивизмом, чем революционизм. Наоборот. Он больше страдает наивизмом. Он принимает революционизм не по делам, а по „словам". Дело в том, что действия он не видит. Его интересует, главным образом, проповедь последнего. И эту проповедь он принимает на веру, принимает и понимает буквально, наивно.

И идеологи консерватизма болеют все болезнью наивизма.

Они боятся новых форм, они защищают старый образ жизни, ссылаясь на неравенство, как на незыблемый утес всякого общежития. Они защищают существующее, защищают избранничество, боятся пуще огня демоса, черни, боятся красного лица.

Боятся, пугаются, но не понимают, что речь идет о восстановлении новой аристократии, о новом неравенстве, о новом избраничестве.

Какой нетронутой наивностью звучат все статьи буржуазных идеологов, доказывающих невозможность осуществления полнейшего экономического равенства, и тем они полагают разбить, уничтожить ненавистную им доктрину, социализм.

Разумеется, что если бы социализм был исключительно занят проведением равенства, уничтожением всяких дифференциаций, то он не мог бы быть осуществленным. Но он ведь имеет другие задания. А о равенстве он лишь говорит.

Так и либерализм говорил о равенстве, а творил новых видов неравенства. Речи социализма о равенстве расчитаны на низы, на их расположение в свою пользу. Без этих мифов, в век суеверия и темноты народных масс, ничего не сделаешь.

Но понимать так социализм и так опровергать его есть верх наивности. То же самое относительно буржуазного мира, когда буржуазия выступила и громила старый, дворянский мир. Она говорила одно для увлечения народных масс, она сыпала обещания направо и налево, чтобы вызвать к жизни, к действию, чтобы вырвать из когтей инертности народные массы, а делала после, при установлении нового мира на развалинах феодального, другое.

И когда консерваторы вопят о вандализме, о „черни", то они просто не понимают, что кругом них происходит. За вандализмом скрывается новая культура, более слож-

ная, более совершенная. За чернью, за спиной толпы стоит новая аристократия, новые избранные, новые отдельные, выдвинувшиеся, которые ею руководят. И борьба идет между двумя аристократиями, старого покроя и нового покроя. Новая аристократия настолько ловка, настолько отвечает действительным условиям жизни, действительному укладу, что она незаметна невооруженному пытливым, зорким исследовательным взглядом глазу.

Аристократизм настоящий, здоровый, нормальный, настолько естественен, настолько обыкновенен, что его никто не замечает. Он не возбуждает никаких толков и кривотолков, разве со стороны старых развинченных „аристократов", которые сознательно придираются к новому порядку не столько, чтобы обвинить его, сколько в целях защиты старого доброго времени.

Здоровый аристократизм в общежитии существует на правах постулата или аксиомы, он „аподиктичен", немыслимо иначе, невозможно иначе.

Как только он возбуждает сомнения и вызывает апологетику, создает кадры защитников—он падает, он чахнет, он вырождается, он доказывает, что он отжил свой век, что он стал излишним, что его подстерегает его соперник.

Воплощение аристократизма в идеологии, в миропонимании, которое предшествует обществопониманию, мы находим в божестве. Бог не требовал доказательства своего существования, он был началом всякого мышления, он был точкой исхода, лишь с его помощью стало возможно что-либо доказать и опровергнуть. Когда появилась первая еретическая мысль, усомнившаяся в его существовании, и была создана целая литература для одоления этой тревожащей умы мысли, Бог был убит, он стал вырождаться. Ибо он на правах теоремы существовать не может. То же с аристократизмом, как только создается мысль, положение отрицающее его, то мы можем быть уверены, что уже создан его заместитель, что грядет его соперник. Как только создалось учение о вредности существования сословий, то можно было быть уверенным, что уже родилась новая дифференциация, которая заменит предыдущую и которая настолько слита с действительностью, настолько замаскирована, что никто ее не заметит, не увидит.

Учение о вредности существования классового общества говорит о наличии новой дифференциации, желающей заменить собой старую, ставшую излишней, негодной, неудобной, говорит о зарождении типового деления общества.

Сознание о существовании типов и учение об их удалении говорит о зарождающейся новой дифференциации, делящей общество на теоертиков и теоретизируемых.

И так до бесконечности.

И бездонной пропастью глядит на вас наивизм из всех рассуждений консерваторов или реакционеров.

И различие между консерватором и революционером реформатором относительно наивизма в том, что первый „прогрессивен" на словах, в идеологии, он аристократичен насквозь, в делах же он регрессивен, отстал, косен. Последний, наоборот, реакционен в своей идеологии, которая насквозь пропитана демагогией, полна несбыточных посул и нелепых мифов, детских сказок, созданных в духе низов, народных темных масс, и прогрессивен, поступателен, передовик в своих деяниях, в своих делах, в своих поступках, создавая новый верх и подымая низы, таща их вперед, двигая их по пути к под'ему благосостояния и сознания.

И поэтому при столкновении этих двух школ, этих двух категорий лиц, побеждает последняя, т. к. жизнь больше интересует жизнь, действительность, реальность, а не туманная, расплывчатая идеология.

И поэтому так беспомощен консерватизм и так бессильны консерваторы в их борьбе с революционерами, представляющими собой зарождение новых форм жизни, новых выдвинувшихся, новых избранников жизни.

Консерватизм прав в своей критике, разбивающей новую идеологию. Революционизм прав своей практикой, разбивающей старую структуру общежития.

Религиозные были правы, когда они подвергали беспомощной критике восстановление прав плоти, доказывая, что ничего подобного наука дать не может, что она вместо старых запретов даст новые. В этом критика была права. Но она была неправа в том, что она не догадалась, что ей, религиозной этике, гигиене придется уступить свое место науке именно потому, что она содержит слишком мало запретов и притом ее запреты не отвечают действительным требованиям.

Прав каждый консерватор, указывающий, что отмена законов есть фикция, так что вместо отмененных законов придется издавать целые груды новых законов, которые ложатся тем же тяжелым бременем на народные массы. В этом он прав. Но он совершенно не прав, когда он не понимает, что старые законы обветшали и требуются новые. Во время же перехода создается иллюзия отсутствия законов, эти иллюзии прельщают народные массы.

Консерватор никогда не прав, потому что в новом есть достаточно старого. Чудеса не совершаются. Классы растут, отмирают. Их места занимают новые формации.

Реакционер никогда не прав, потому что всякий прогресс содержит в себе достаточно реакции, чтобы не была нарушена преемственность.

Нацизм отличает консерваторов всех мастей и всех областей, как идеологических, так и житейских.

5.

Демократизм, аристократизм.

Нацизм создает пропасть между этими двумя мировоззрениями и методами общественного действия. Критицизм их соединяет в одну дисциплину.

Аристократизм, то что принято называть аристократизмом есть господство худших, есть нездоровое явление. „Аристократизм", когда он создан, то он влечет за собой свою погибель.

Демократизм ложен, его не было и не будет. Глубже понимая эти явления, надо сказать, что демократизм есть здоровый, нормальный аристократизм, которого никто не замечает. Аристократизм, пропущенный через фильтр, сквозь очищающее начало народных масс, это настоящий демократизм и настоящий аристократизм.

Аристократия, которая боится пуще огня массы, бежит, опасается ее, недостойна своего названия, ибо такая аристократия есть кучка дегенератов, группа отжившая свой век и долженствующая уступить свое место новым нарождающимся силам.

Это не господство избранных, а господство „бывших" людей, господство, которое неизбежно идет к своему развалу.

Настоящая аристократия это так.-наз. демократия, это избранничество группы преломленное в массах, в народных массах. И методы ее преломления, ее представительства обусловливаются степенью сознания масс, с одной стороны, и степенью здорового избранничества, здорового настоящего превосходства этой группы над общей массой, над общим уровнем тех, имя которых легион.

Каждый новый порядок общежития проделывает этот путь, как и каждая идея, каждая здоровая заслуживающая жизнеспособности идеология совершает этот цикл развития. Сначала она удел немногих, потом она становится достоянием всех. В тот момент, когда она становится уделом всех, ее подстерегает ее подруга, родившаяся позже ее и являющаяся более отвечающей действительности, которая пока является уделом немногих избранных, которой суждено в будущем овладеть всеми, чтобы быть в свою очередь одоленной.

Так идет волна за волной, все реки текут в море вечности и жизни, а море никогда не наполнится.

Каждый новый порядок начинает с отдельных, с немногих и кончает всеми. Если же немногие противятся демократии, то это доказывает, что они отжили свой век, и им пора уйти на покой истории, так как следующая полоса есть всегда демократическая. Демократическая полоса есть всегда последняя полоса, так как за ней начинается новый порядок, который опять начинает с избранных и кончает всеми.

Буржуазный мир начал с аристократии, с имущественного ценза, он катился вниз к демократии, он настолько укрепился, что стал пренебрегать своим имуществом, отменив „имущественный ценз", считая это лишним, будучи уверенным, что он настолько окреп фактически, что он больше в голом аристократизме, капиталистическом не нуждается.

Всеобщее избирательное право есть последняя фаза либерализма, демократизма, радикализма буржуазного. Наступает эра социализма. Он вынужден будет начать с аристократизма, он создает рабочий аристократизм, „организаторский ценз", вместо имущественного, политический ценз вместо экономического.

Лишь наивность может говорить о демократизме, как о незыблемой основе управления и устройства общежития.

Политический стаж есть аристократический, политический ценз. Партийный стаж— все эти признаки аристократизма. Но это новый вид аристократизма. Аристократизм прогрессирует и его прогресс принимает вид демократизма.

Как альтруизм есть высшего порядка эгоизм, самолюбие. И эгоизм есть низшего покроя самолюбие, есть извращенное чувство, злоупотребляющее своим самолюбием, являющимся здоровым инстинктом самосохранения.

Так и аристократизм и демократизм. Аристократизм есть злоупотребление здоровым, нормальным господством, преобладанием меньшинства инициативного, интеллектуального, более нравственного, более сознательного, более организационного.

Демократизм есть здоровый, нормальный аристократизм.

Буржуазия начала с господства имущих, кончила господством имущих, проломленном в неимущей массе. Образцом этого служит американская демократическая республика. Социализм начинает с рабочей аристократии, поэтому выборы у него косвенны, открытые и проч. Социализм дойдет до полнейшего демократизма до референдументармзма, ибо каждая следующая фаза развития общежительной и управительной техники является более совершенной, более аристократической, т.-е. допускает более глубокое опускание к низам, к демократичности.

И если буржуазный демократизм дошел до всеобщего избирательного права, то социалистический демократизм должен будет дойти в процессе своего развития до референдумизма, т.-е. до всеобщего, равного, тайного правления.

Дойдя до этого, он изживет себя и наступит третья фаза, третий порядок, универсализм, который опять начнет с известного рода аристократизма, идя, развиваясь приближаясь до демократизма.

Но как и буржуазный демократизм означал лишь рост аристократизма, здорового, полнокровного, а не подагрически—старопоместного, упадочного, так и рабочий демократизм будет означать лишь рост, укрепление позиций рабочего организаторского аристократизма. Вначале социализм, в России это видно, аристократичен своим избирательным правом, своей конституцией, не допускающей прямых выборов, ограничивающей деревню в избирательном праве, это свидетельствует о слабости авангарда пролетариата, этого нового типа, призванного занять место прежнего господствующего класса. Когда он окончательно окрепнет и по мере нарастания сил у этого нового типа, он изменит конституцию, он пойдет к избирательному демократизму. Но этот демократизм будет означать лишь рост его внутренних сил. Это будет означать его конец и начало нового порядка, который выдвинет своим носителем новое инициативное меньшинство, которое в свою очередь, будучи слабым, прибегнет к обеспечению своего преобладания над большинством, над массой, к некоторым искусственным мерам и приемам, а после, когда она окончательно укрепится и усилится, то оно пойдет на всякие уступки в сторону полнейшего „демократизма", создавая видимость господства масс.

Так что вопрос аристократизма и демократизма с точки зрения критицизма решается просто.

Имеется общая тенденция к демократизму, которая критистически рассмотрена, является ростом аристократизма, здорового, нормального, заслуженного, опирающегося на настоящие деяния, а не на заслуги умерших предков. Но этот аристократизм переживает разные формации. В буржуазном мире он не чист от пыли внешнего материального мира, к нему льнет золотая пыль, имущество, имеющее отношение к наследству, к родству, к старому благородству. В социалистическом мире аристократизм чист от этих пагубных примесей, он подымается на одну ступень выше, становясь чисто социалистическим. Но, преодолевая себя, возвышаясь, он не может во второй формации придерживаться методов и проявлений, применяемых им в предыдущем, и он как бы отступает, отказываясь от великих традиций демократии, о чем вопят кадеты и меньшевики.

Демократизм и аристократизм с точки зрения критицизма должны слиться и образовать одну дисциплину, получающую свое особое освещение.

6.

От равенства к неравенству.

Мы идем от равенства, от сравнительного равенства к все возрастающему неравенству.

Все идеологи равенства поэтому обращали свои взоры в поисках за равенством социальным к древности, к первобытным временам, когда общежитие было в зачатке и дифференциации и противоречия не успели еще развиться, обнаружиться.

Руссо говорил и проповедывал возврат к природе, к первобытному состоянию. Он ратовал за простоту и естественность.

Он был врагом культуры и цивилизации, думая, что в ней все зло. С своей точки зрения он был прав. Если вся суть в равенстве, в этом якобы основном, этическом начале, то равенство, более чем где бы то ни было, можно найти у диких, у первобытных.

Естественное состояние—вот самое идилическое состояние, по понятиям Руссо.

Разумеется, что такой взгляд на исторические или социологические явления не выдерживает никакой критики. Дело в том, что в первобытном состоянии не было никакого равенства, а была неопределенность, слитность, недифференцированность, смешанность, предшествующая кристализации, определенности. То, что было, не было равно, а то, что было равно, того не было. Было в известном смысле социологическое равенство, но лишь в той мере, в которой, вообще, социологии не было, общежития не было.

Не могло быть речи о равенстве физиологическом там, где есть старшие и младшие, где есть старики и есть дети, и ясно, рефлекторно, отраженно, старшие и социологически властвовали над детьми, над молодым поколением. Не может быть речи о физиологическом равенстве там, где существуют полы, мужской и женский пол. Отражаясь, преломляясь в социальных отношениях, это физиологическое неравенство получило свое завершение, свои надстройки в пользу или мужчин или женщин. Если этих социальных надстроек нет у животных, то это лишь от того, что там, вообще, очень маловато надстроек социального свойства, насколько последние имеются, настолько в них сказывается физиологические различия.

Не может быть речи о физическом равенстве, ибо всегда были сильные и слабые, здоровые, крепкие и тщедушные, изувеченные, и проч.

Физическая сила играла первенствующую роль во всем первобытном мире и в эпохах близко лежащих к нему.

Разумеется, что эти дифференциации не образовали собой стройной социальной системы, слишком все было примитивно, просто в то время.

Понятно само собой, что в то время, в то серое время, отсутствовала та система различий и отличий, которая действовала в наше время, век сложнейших социальных отношений и взаимоотношений.

О равенстве можно было бы говорить лишь по одолении неравенства по перерождении различий, а не выдавать период, лежащий по ту сторону равенства и неравенства, за период равенства и говорить о нем, как о золотом веке социального совершенства.

Это роковая ошибка Руссо и всех тех, которые пошли по его стопам. Так и Толстой увлекается простой жизнью и зовет нас обратно в деревню, к простоте и проч., находя там все перлы нравственной жизни, находя их не положительно, а отрицательно, черпая их в отсутствии грехов и преступлений „нового времени“, модного развращенного образа жизни.

Так, пожалуй, можно спастись от недостатков езды в телеге в пешеходстве, выдавая последнее за самое образцовое средство передвижения.

Равенство есть в отрицательном, но нет его в положительном. И поэтому, насколько не было социологии, настолько не было упорядоченного более или менее общежития, настолько было равенство в социологии, насколько последняя была, настолько было неравенство.

Был раб и рабовладелец, шаман и простой смертный, господин и слуга, предводитель и предводимый, старший и младший.

„Старший“ и „младший“ имеют и в нашей речи некоторый оттенок политико-социальный. Это свидетельствует в лишний раз о зарождении дифференциации в полосе

близколежащей к возрасту, к поколению. Староста, старшина, старший, все это говорит о неразрывной связи, что между биологическим, физиологическим преимуществом и социальным.

Не было равенства и у первобытного общества. Нечего увлекаться стариной, не было ни равенства ни нравственности, а была дикость, варварство, грубейшее насилие, доходящее до людоедства и проч. видов из'явления своего преимущества, превосходства одного перед другим.

Но если речь идет о сравнительном, то надо признать, что там, в ветхом первобытном, седом времени и лесу было больше равенства, нежели в наше цивилизованное время.

И естественно поэтому, что все идеологи равенства обращались лицом к первобытным формам жизни, не чисты от этой манеры, от ссылок на первобытное состояние и более критически мыслящие реформаторы.

Все, почти все, они апелируют к первобытному коммунизму, чуть ли не к райскому житью. И выходит чуть ли не то, что мы на самом деле должны искать моделей своих будущих взаимоотношений в дебрях дремучих лесов, что уроки нравственной и порядочной социальной жизни должны нам преподавать наши животнообразные „священные" предки.

Эти ссылки на первобытные формы были бы совершенно непонятны, если бы на самом деле те времена не могли бы служить, разумеется, наивно рассуждая, образцом для равенства.

Между двумя новорожденными младенцами больше равенства, чем между Пилатом и Христом. В зачаточном младенческом общежитии было больше равенства, чем в развитом, сложном общежитии.

И поступательный ход поэтому мы определяем как отдаление от сравнительного равенства и безконечное приближение к все возрастающему, к все увеличивающемуся неравенству.

Мы идем от меньшего неравенства к большему неравенству—вот наш путь.

И если наивное мышление конструирует равенство, то там именно и лежит пропасть, фокус новейших дифференциаций, самых глубоких, самых сложных.

Первое и основное—надо раз навсегда скинуть с весов рассуждения по этому вопросу, о росте эгалитаризма или анэгалитаризма большие периоды агитационного свойства, надо вычеркнуть всю лубочную литературу, расчитанную на наивность народных масс и подделанную под их вкус.

Надо взять периоды, следующие за этими промежутками пустых речей и голых обещаний и кричащих лозунгов. Надо судить о плодовитости деревьев не по весне, по времени пышного цвета, а по осени.

Приходите осенью и вы увидите, что все наши исторические улицы усеяны пожелтевшими листьями. Это лозунги всех партий, здесь валяются, оставленные на прогул уносящего их и крутящего во все стороны ветра насмешки и забвения, все обещания всех партий и сект.

Возьмем периоды победы, а не периоды одних войн и борений за победу, периоды дела, а не периоды слова—и что мы видим.

Торжество, безграничное торжество принципа неравенства.

Что же создает иллюзию о равенстве, о завоевании этого обманнейшего лозунга, этого самого метафизического требования, когда-либо сформулированного. Пройденные пути, пройденные полосы, стоят и свидетельствуют о равенстве, и наивные массы и наивные мышления удовлетворяются этим.

Все провозглашенные равенства лежат на кладбище истории и социологии. Равенство перед Богом было провозглашено тогда, когда последний ушел на небо, покинув грешную землю и стукнув при уходе обиженно дверью.

Когда не стало настоящего, здорового, реального миродержца, царя мира, тогда было провозглашено равенство перед ним, перед этим несчастным духом.

Было провозглашено равенство перед законом, когда закон, когда привилегия настолько окрепла, что она переселилась с нормы, с права в самую жизнь, вошла в обитель жизни и общения, хозяйства и политики. Было дано равенство, но как? Задним историческим числом. Равенство перед теми факторами жизни, которым пора на вечный покой, которые уходят, замолкают, вычеркиваются, оттесняются. Равенство перед

отжившими историческими предрассудками, явлениями. Равенство перед владением, перед имуществом, перед собственностью об'являет социализм тогда, когда последняя, эта юридическая категория, оказывается превзойденной, изжитой, когда она по старости и обветшалости не служит и отменяется, выбрасывается в навозную кучу истории. И вот эти тряпицы, эти отбросы, весь этот хлам об'является общим достоянием и перед ним об'является равенство.

И наивное мышление настолько поверхностно скользит по событиям, по историческим явлениям, что оно никогда этого не видит, не хочет видеть и в ослепленной недогадливости говорит важно, многозначительно, широковещательно о торжестве принципа равенства.

В чем тут прогресс? Прогресс тут в том, что все эти равенства говорят о пройденных ступенях, и чем скорее мы их переходим, тем быстрее идет темп нашего развития, чем упорнее мы за них беремся, тем выше мы подымаемся, и низшие ступени цивилизации становятся общим достоянием.

Всякое такое равенство говорит во всеуслышание о наростании, о мощи неравенства, превозмогшего предыдущую стадию, ставшего выше.

Победитель, неравенство, отдает область за областью своему вечному сопернику, своему жалкому догонщику—равенству, сдает, как отдают жалкую ветошь, ибо он подымается все выше и выше и ему незачем держать за собой низины жизни общежития.

Неравенство идет вверх, ширится и возвышается и в гордом сознании своего могущества бросает крохи равенству.

Как сказано, „равенство" есть отражение неравенства, это тень, жалкая тень великого гиганта неравенства, отца дифференций, главнейшего двигателя прогресса и цивилизации.

И если достигнута будет ступень, до которой хочется подниматься карабкающийся на неприступные горы общежития анархо-универсализм, равенство перед организацией, то это докажет, что неравенство делало еще одно колоссальное завоевание и настолько окрепло, что больше не нуждается для поддержания себя даже в преимуществах организаторского свойства, это докажет, что неравенство в'елось еще глубже, еще основательней в плоть, в тело общежития, что оно стало настолько сильным и всемогучим, что не то, что не нуждается, как в подспорье, в собственности, во власти, даже больше не нуждается в помощи организаторства и в уверенности в своей помощи и силе пренебрегает даже организацией.

Социализм говорит, в противность понятию наивного мышления, что неравенство, что воплотитель социального неравенства, класс руководителей общежитием настолько окреп, что для проведения в жизнь своей воли и своих устремлений более не нуждается в институте частной собственности в чем он раньше нуждался, без которого он в предыдущий исторический период не мог существовать.

Социализм означает его рост, прилив его сил, что и свидетельствует об общем росте сил общежития, так как он составляет собой соль общества и по нем надо судить об общежитии, о росте, возрождении или дегенерации последнего.

Дело не в количестве, а в качестве. Инициативное меньшинство, руководящее меньшинство—вот кто является самой главной направляющей всю жизнь общежития частью.

Эта часть есть все, есть все целое. И ее рост есть рост всего общежительного организма или механизма.

Либерализм говорил о тем, что класс организаторов, что инициативное меньшинство, руководящее всей деятельностью, главными функциями общежития, более не нуждается в привилегиях для укрепления своего могущества и поэтому оно добивалось их отмены.

Если до них живший и функционирующий класс, сословие, не мог провести своего господства без этих вспомогательных средств, и поэтому он цепко держался за них, считая их необходимыми, жизненно-безусловными, то новый класс, т. е. обновленный, наростающий, был настолько уверен в своем могуществе, в своем превосходстве, что мог ими, ничем не рискуя, совершенно пренебрегать.

Как хороший учитель, знаток своего дела, не нуждается в вспомогательной роли розги, угла, балла, опираясь на свои познания в области педагогики и психологии, умеет владеть своей аудиторией, своими учениками, что, нисколько не опасаясь, может

позволять себе роскоши вроде самодеятельности и проч. будучи уверенным, что внимание учеников будет направлено в надлежащую сторону, так и здоровый, сильный, руководящий класс, руководящее „инициативное меньшинство".

Чем более оно сильно изнутри, тем более оно опирается на свои внутренние силы, тем меньше оно прибегает к помощи искусственных мер и приемов, легко вызывающих сопротивление и возмущение.

Как хороший учитель, образцовый педагог, не менее учит, не менее дает, не менее влияет на своих учеников от того, что будто предоставляет им развиться по своим внутренним задаткам, не насилуя их, так и здоровый, сильный, отвечающий своему времени господствующий класс и тип, не менее господствует от того, что он создает иллюзию действия снизу, а не сверху, он настолько силен, что он позволяет себе роскошь демократизма, самодеятельности низов.

Критистическое мышление конструирует вечные перевороты, совершенные сверху. Прежде чем „низы" начинают подозревать о том, что они эксплоатированы, что они заведены в тупик, нам об этом сообщают „верхи", заранее заручаясь таким образом их разрушительными способностями, их силой к возмущению, к разрушению. Так что и подкоп под старый мир ведут „верхи", верхи верхов, ведущие борьбу с прежними верхами, или же, если рассматривать эти процессы одним взором исторически и с высоты птичьего полета, надо сказать, что верхи сами приготовляют себе свой переход к высшим, к более высшим формам жизни. И все перевороты бывают не дворцовыми в наивном понимании, в буквальном толковании этого явления, а в критистическом понимании.

Низ восстает против верхов по наущению верхов. И разумеется после этого, что не может быть речи о восстановлении после свержения „верхов" „коноводов", как они их ругают, равенства, раз вся затея о свержении принадлежит, главным образом, самим верхам.

Борьба, наоборот, ведется в другой плоскости. Новые верхи восстают против старых за то, что они слишком мало осуществляют принцип неравенства и слишком много у них равенства, но разумеется, что наивное мышление видит обратное действие, так как оно судит не исходя из сущности явлений, а по словам, агитационным речам новых руководителей, которые и сами не знают, что они творят, так как они свое историческое дело выполняют, как всякие творцы, бессознательно, не отдавая себе точного отчета в своих действиях и поступках.

7.

Протекционизм.

Как протекционизм свидетельствует о скудости, о мизерности промышленности, нуждающейся в охранительных мерах, не умеющей стоять на собственных ногах и нуждающейся в подспорье государственных пошлин и проч., так и классовый протекционизм свидетельствует о слабости, о немощи класса, не умеющего отстоять себя в равном бою с низами и прибегающего к искусственным мерам.

Отход от протекционизма говорит о росте промышленности, о самоуверенности. Англия не практикует метода пошлин. Колонии пользуются теми же правами, что и метрополия, чужие товары могут проникнуть в метрополию, как и в колонии. Почему? Потому, что английская промышленность стояла вне конкурренции на рынке. Английская промышленность может постоять за себя и в протекционизме не нуждается и не нуждалась.

Отсутствие протекционизма говорит о силе промышленности, а не о слабости ее. Но всякая хилая промышленность, или отрасль промышленности, начинающая развиваться и не могущая устоять против напора чужой конкурренции, другой промышленности, предлагающей тот же продукт и лучшего качества и по более дешевой цене, нуждается в помощи протекционизма. И поэтому все отсталые страны, все отсталые отрасли промышленности пользовались протекционизмом.

Это явление служит прекраснейшей иллюстрацией для выяснения отношений и взаимоотношений господствующих классов.

Так называемые господствующие классы, которые следует называть верхними держатся на дифференциации, существующей в общежитии. И от силы и самостоятельности этой дифференциации зависит положение и структура верхнего, верховного класса.

Если дифференциация мелка, зачаточна, то верховенство класса плохо, ненадежно держится на ней и приходится в целях обеспечения его положения прибегнуть к помощи своеобразного протекционизма.

Каста. Замкнутость. Чем это обусловливается? Это обусловливается слабостью верхов. И так как верхи, как таковые, необходимы, полезны всему общежитию в том числе и „низам", ибо без них, без их наличия деятельность общежития будет отправлена ненормально, неправильно, во всяком случае неуспешно—то приходится создать для их поддержки искусственные способы, искусственные приемы. Создается каста, ее священность, запрет перехода и проч. своеобразные стороны кастовой жизни.

Восток знал касты. Неужели это было лишь капризом и злой волею кучки захватчиков. Так трактовать историю, так писать философски историю могла реальная наивность самого худшего толка.

Восток основал „касты", ибо иначе он существовать не мог и институт каст для него, для его зачаточных скупых форм общежития, так же полезен, как для нас по крайней мере декларация прав гражданина или декларация прав трудового народа, провозглашенная Российской революцией и институт комиссаров, как мы при буржуазном порядке не могли обойтись без института частной собственности и без класса собственников, исполняющих общественную функцию, хотя придавали ей видимость частного дела, накопления богатств и создания промышленности, мелкой сначала, потом средней, и, наконец, крупной.

То же надо сказать и относительно существования сословий. Пока дифференциация была слаба, зачаточна, приходилось ее поддерживать силой закона, приходилось ее обеспечивать разными привилегиями. Это, как мы уже выразились, внутренний протекционизм, межклассовый протекционизм, верховность, верхние классы необходимые для существования всего общежития не могли существовать на счет собственных внутренних соков и приходилось их питать юридическими мерами, юридической благодатью, дать им штат юридических правовых нянек. Это присутствие нянек, присутствие привилегий говорит только о слабости, недоразвитости всего общежительного механизма-организма, не умевшего выделить достаточно здоровые верхи, сумевшие отстоять себя самостоятельно, фактически без вмешательства, без поддержки со стороны юридического.

Вот появляется на авансцену класс в чистом виде, он откидывает прочь всякие привилегии, это ему только мешает, так как „несправедливость", неправильность их будто бросается в глаза и выдвигает новые начала, новые принципы, на которых он строит свое могущество, личная „инициатива", „свобода конкурренции", право на имущество, неприкосновенность собственности.

Здесь протекционизм поверхностный падает, идет на смарку, получается более глубокий протекционизм, фактический. Реальные отношения, реальные силы, фактические преимущества на стороне высшего класса, сила на его стороне и не сила физическая и не сила военная, а сила общественная, экономическая, индустриальная. Он, верховой класс, предводительствует в борьбе за новые формы производства, за новые способы борьбы с внешним миром, он создает крупную промышленность, он бороздит моря, он прорезывает горы, он одолевает пространство, он бережет время, он экономит жизнь, он добивается максимума результатов при минимальных затратах. Он ведет общежитие к сравнительному благосостоянию, он обогащает страны, народы, он создает несметное богатство.

Он достаточно силен, чтобы осуществлять, реализовать свое могущество, свое господство без помощи привилегий, но недостаточно силен, чтобы обойтись без института частной собственности в области хозяйства.

Идет следующий вал, дифференциация, таящаяся в нашем общежитии, возрастает, появляются новые силы, претендующие на верховенство, на руководство. Они должны и могут сделать еще один шаг вперед, тем более, что они опираются на предыдущие завоевания, на предыдущие дифференциации. Эти высшие слои настолько сильны, могущественны, здоровы, настолько интеллектуально и, главным образом, социально развиты, что они в силах руководить хозяйством и общением, не прибегая к помощи частной собственности. Этот институт не то, что не содействует их развитию, выявлению их мощи, а, наоборот, он им мешает, так как он представляет отсталость, косность, никчемность предыдущих форм выявления верховенства. Они обрушиваются на него всей силой своего слова, устного и письменного, создается целый ряд учений о вредности,

о пагубности этого института, который на наших глазах отжил свой век, выполнил свою историческую миссию и должен уступить свое место институту национального имущества, следовательно, национальной собственности.

Когда рушится институт частной собственности, кумир господствующего класса известного исторического периода, то наивное мышление трубит во все рога о падении высших классов вообще, о торжестве низов. Что является совершеннейшей нелепостью Разрушение этого института говорит о торжестве высших классов, говорит о том, что дифференциации обнаружившиеся и дающие себя чувствовать в нашем общежитии на протяжении всей истории окрепли и более не нуждаются в этом институте, что высшие классы достаточно сильны, чтобы справиться с более важным, более сложным, более целесообразными институтом и более рациональными методами руководства хозяйства.

И если высшие классы, высшие слои, верхи при капитализме были в силах—на большее у них не хватало умения технического и интеллектуального и организаторского—создать крупные, но частного характера предприятия и национального размера политические об'единения, то теперь, по истечении известного периода лет, уже накопилось достаточно силы, чтобы делать шаг вперед и поднять хозяйство до масштаба национального и общение до размера интернационального.

И высший класс, становясь, как мы его назвали, типом, более не должен говорить от своего имени, более не должен держаться цепко за отсталый и мелкий институт частной собственности, а переходит от собственности к организаторству даже в хозяйстве, что он одной эпохой раньше проделал в политике, переходя от патримониальных понятий к суверении, бросил собственность и утвердил свое могущество на господстве не на Dominum а на Imperium. Класс верховный от этого выигрывает в силе, в могуществе, в мощи и в сложности.

Наивное мышление спотыкается здесь на каждом шагу главным образом из-за того, что эти прогрессы происходят не тихо-мирно, исторически назревая, но катастрофически, революционно, эти новые формы рождаются в муках, в крови, в борьбе. Где борьба, там враги. И наивному мышлению эта борьба рисовалась, схваченная поверхностно, как поединок между низами и верхами.

Но каждый раз наивизм должен был констатировать какой-то обман, так как по окончании боя обнаружилось, что верхи стали еще выше и только. Наивность не унималась, продолжала гнуть свою догматическую линию и звать к следующему приступу на твердыню высших классов, который она, наивность, об'являла последним боем, ибо после него уже начнется эра господства „низов", их диктатура или век полнейшего равенства.

На самом же деле мы должны констатировать борьбу верхов с верхами, т. е. рост и наростание новых социальных, ищущих своего выявления, борющихся за свое осуществление и воплощение сил.

И эту борьбу надо рассматривать как внутреннюю борьбу, как мы раньше выразились, как дворцовую борьбу, это борьба верхов между собой, при которой низы, как и следует, играют роль самоотверженных исполнителей. Иначе не может быть, так как низы могут получать улучшение только посредством перехода к высшим, к лучшим, к более совершенным формам жизни, при которых господство господствующих классов выявляется, проявляется более правильно, более целесообразно, более сильно, более успешно.

Все те, которые по своей реальной наивности зовут народ, низы, будто к полнейшему освобождению и к совершеннейшему свержению „верхов", ведут народ, низы к полнейшей погибели, ведут к краху культуры, к развалу общежития и их речи всегда останутся гласом вопиющим в пустыне, так как они реакционны, в лучшем случае, они окажутся социальными Дон-Кихотами.

Так как путь спасения всего общежития, в том числе, конечно, и низов в росте, в преуспеянии общежития, в выдвигании новых верхов, которые подымаются выше, тем очищая наши низшие области для всех прочих классов.

И эти периоды, когда идет борьба „верхов" за новые формы проявления своего господства, которое надо назвать руководством, наивное мышление выдает за периоды борьбы во имя равенства. И победы высших верхов в их борьбе с предыдущими верхами, т. е. рост верхов, наивное мышление выдает за торжество низов, за приближение к равенству, в то время, когда это является на самом деле отдалением, отходом от равенства, укреплением, усилением позиций верхов, которые отбрасывают все ненужные

их отличия, все их искусственные различия, так как их база, основная дифференциация возросла в силе и для проявления и осуществления их миссии руководителей, застрельщиков они больше в искусственных мерах не нуждаются.

Упадок протекционизма классового, который надо понимать, как признак самый верный, самый безошибочный, роста и укрепления классовости, дифференцированности общежития, наивное мышление по своей ограниченности выдает за доказательство роста эгалитарных идей. Так господствует поверхностность, верхоглядство и извращает целые полосы истории, всю историю человечества. И дается, указывается ложное, совершенно не отвечающее действительности направление. Когда мы идем от равенства к неравенству, все более усиливающемуся и все более и более вникающему, проникающему во внутрь общежития, настолько, что он теряет все свои внешние проявления, тогда наивное мышление твердит о господстве идеи равенства, пишет это слово на всех знаменах—это не существенно, слово затем и дано, чтобы замаскировать настоящую сущность явлений—но, главное, требует иногда в серьез осуществления этой идеи и мечет громы и молнии на головы тех, которые, обещав равенство, творят при господстве неравенство, как будто жизнью руководит наивное непонимание, а не углубленное проникновение в ход явлений, в ход истории.

Чем более зрела дифференциация, чем более она осязательна, тем более она сознается низами, тем легче становится руководство ими, тем гуманнее методы применяемые для осуществления этого руководства.

Чем совершеннее дифференциация, тем верховенство дается легче верхам, чем совершеннее верховенство, осуществляемое ими, тем ясней, тем нагляднее выгоды общественного свойства от этого руководства, и вообще, чем развитее „верхи", тем меньше, если можно так выразиться, злоупотреблений, тем меньше грубого, бросающегося в глаза эгоизма и все больше классового альтруизма, точней, надклассового действа, обще-общежительного, и главное, тем ясней его смысл всем, самым отсталым.

Все это содействует тому, чтобы осуществление верховенства произошло самым легким, самым безболезненным, при данных исторических обстоятельствах, образом. Таким образом получается взаимодействие. Совершенное верховенство ведет к обузданию низов самым легким образом. „Послушание" низов ведет к послаблениям верхов, к откидыванию жестоких черт, принимаемых последними в своих собственных выгодах, являющихся в последнем итоге, при дифференцированном обществе, выгодами всего общежития, как целого.

Но все это говорит лишь о росте, о внедрении и усилении верховенства и об о сознании этого явления всеми, во всяком случае наиболее широкими слоями, а не об упразднении „верхов".

Чем меньше сопротивления, тем меньше грубости, жестокости применяют верхи для осуществления общежительных задач, пуская в ход общежительный аппарат. И чем развитее верхи, тем больше они умеют справляться со своей задачей руководителей и тем меньше они прибегают к помощи наслия грубого и внешних проявлений отличия, выпукляя свою отличительность, выставляя свою классовость на вид.

Но все это говорит лишь о росте верхов, а не об их упадке.

Чем больше растет дифференциация, чем больше выдвигается верх и удаляется от низа, чем совершеннее она становится, тем меньше оказывает ему сопротивление „низ", чувствуя, сознавая свою беспомощность, свое бессилие в борьбе с „верхами". Даже более, низы сознают потребность в руководстве, свою нужду.

Когда „верх" был искусственен, то это говорило о том, что „верхи" не настоящие, недостаточно окрепшие, недостаточно зрелые, чтобы они в полности владели „низами". И свое господство „верхи" тогда осуществляли с помощью разных социальных ухищрений. Чем больше этих искусственных мер и приемов, тем меньше сил обнаруживает верх. Чем меньше этих мер, тем больше сил обнаруживает „верх".

Упадок каст, уничтожение цехов и гильдий, уничтожение сословий, наконец, упразднение классов и даже более далекое будущее преодоление типового деления общества—вся эта линия свидетельствует о росте и усилении дифференциаций социальных.

8.

Обратное развитие.

Социальные дифференциации берут свое начало в физиологических, биологических различиях и затем в психологических, в накоплении знания, т.-е. в логических, в рассудительных способностях. Социальные основания различия берут свой первоначальный источник в различии возрастов и полов, где берет свое начало и разделение труда.

Потом по истечении долгого исторического периода получаем обратное действие— влияние. Социальные различия становятся самостоятельными, они автономизируются и затем начинают давить вниз, на ниже их лежащие области и сферы, они начинают способствовать наростанию психологических различий, наростанию и переуспеянию, они удобряют, подготовляют им подходящую почву для пышного расцвета.

Развитие всегда ступает в двух направлениях, вверх и вниз и вниз и вверх, завоевывая все новые области, вниз давя на предыдущие, на предшествующие явления, преобразовывая их, приспосабливая к высшим.

И таким образом получается, что „верхи" углубляются, опускают свой фундамент все глубже и глубже. И чем сильней и выше и глубже становится дифференциация, тем меньше внимания уделяется, как мы раньше выразились, подспорьям, без которых сильное маститое здание держится прекрасно.

Верхи строили сначала свое ничтожное могущество на различии в возрасте и поле, являющемся основным различием, дающим физические эффекты. Отец сильней своего сына и физиологически, физически и духовно. Старший сильнее и опытнее. Когда опытность вырастает, когда создается, вырастает психологическая духовная дифференциация, то первая, чисто физиологическая отчасти спадает, становится излишней. Если вначале уважается прямо возраст, то после уважается, почитается мудрость, его неотменная принадлежность. Затем эти два качества разошлись, мудрость стала самостоятельной категорией и попала в известные моменты, в противоречие со старостью. Опытность, как память, как сумма переживаний, отошла и выдвинулась письменность, опытность зафиксированная, которая передается искусственно, технически, посредством усвоения, а не переживания. Это первые стадии, зародышевые, зачаточные.

Современные же стадии развития находятся в обратной полосе. Социальное не то, что освободилось от биологического, физиологического, но наоборот, берет под свое начало, накладывает свою печать на психологическое. Высший класс в виду его социального господства, имеющего свое первоначальное возникновение в различиях психологического свойства, получает возможность усовершенствовать свой дух, свое положение в такой мере, что ему больше не придется упирать на социальное различие, он сможет опереться, формулируя свои претензии на первородство, на руководящую роль, на свои психические качества. Так как социальное настолько выросло, что оно переросло себя и образовало под собой гранитный фундамент из психологического материала.

И если первые психологические различия являются до-социальными, то последние данные, рассматриваемые нами, являются по-социальными, сверх-социальными явлениями.

Создается психологическая культура, существование и возникновение которой стало возможным лишь после многолетнего, векового существования социальной культуры.

Здесь не та психология, которая образует подмостки, подымаясь на которые создается, образуется социология, а, наоборот, та психология, которая возможна лишь благодаря развитой социологии.

Вначале верховенство, руководительство опиралось на отцовстве, на божестве. Патриархальные отношения, старший в роде.

Старость его выручала, придавала ему авторитет, окружила его ореолом. Затем идея божества. Раньше он сам был и богом, т.-е. героем или духом героя. Мало по малу верховенство стало автономизироваться, стало отходить от биологии, от старшинства и от теологии, пройдена ступень теократии, оно доходит до демократии. Верховенство базируется на одной социологии, на социальном организаторском превосходстве, но это превосходство культивируется еще биологически, существуют династии, где стоит питомник, где специально разводят руководителей. И эта стадия пройдена. Социология торжествует. Верховенство опирается на „выборы", на социальные факторы, а не на рождение биологическое. Верховенство держится на организаторстве. И эта стадия

будет пройдена, выступит учитель, теоретик, творец, новых социальных форм и механизмов. Организаторство станет общим достоянием. Этот переход от организаторства к „моралистерству", к „учительству" социальному, к теоретизму, означает поворотный пункт в социологии, это означает, что социология, преодолев себя, обратилась вспять, взялась за психологию, за логическое, за интеллектуальные различия и на них будет строить свои законы верховенства и преимущества.

Чем больше „верхи" достойны своего звания, и своей миссии руководителей народов, классов и проч., тем больше расстояние, лежащее между ними и „низом" и тем легче, тем успешнее справляются „верхи" со своей задачей руководства „низами", народными массами.

Зачатки учительства, теоретичества, мы находим уже в стадии организаторства. Социалистический порядок держится не на одном насилии, на одном насилии ни один порядок не держался, каждый порядок имел свое оправдание в том, что он является при данном уровне развития, при данных исторических условиях, самым подходящим, самым успешным, что он отдает максимум результатов для всего общежития, как такового,—и каждый организатор при социализме является и учителем, народным учителем. В качестве учителя, в известном смысле, выступал каждый господствующий, каждый руководящий класс, но его учительская роль была зачаточна, при социализме она выступает наружу, вырастает, агитация и пропаганда при этом порядке играют колоссальную роль, почти каждый организатор является одновременно и проповедником и агитатором, т.-е. народным учителем, который не только бьет, карает, ставит социально в угол, но и поучает, направляет, проповедует, увещевает, словом, действует словом. И при либерализме в развитых странах мы встречали во главе правительств людей, которые с большим правом претендовали на роль народных учителей. Но при социализме это получает большую рельефность.

Что это говорит? Это говорит нам, что „верхи" выросли, окрепли, что они более не должны для утверждения и реализации себя прибегнуть к одному грубому насилию, что они могут пользоваться и словом. При интериндивидуализме „верхи" настолько окрепнут, настолько поднимутся над уровнем обыкновенщины, массовщины-обывательщины, что с высоты своих познаний и умений, с высоты своего поучительного творческого плана они будут руководить, править, сами к правлению не прикасаясь.

Как финансовый капитал не руководит непосредственно предприятием, ибо предприятие настолько совершенно организовано, что руководство им, планомерное, целесообразное управление им выполняется другими, высший класс оставляет себе одно финансирование, так при анархо-универсализме все функции управления и правления, исполнения, законодательства, приведения в движение общительный механизм, выполняет „низ", верх займется лишь тем, что он будет, так сказать, интеллектуализировать, логизировать общежитие, создавать планы к реорганизации, открывать новые формы и приемы.

Интеллектуализация общежития есть поворотный пункт в социологии, это конец социологии и начало спихо-социологии, это завершение социализма, процесса „социализма", это заключительный аккорд всех социальных фаз развития. И интериндивидуализм, можно сказать, есть антисоциальное учение, т.-е. сверхсоциальная доктрина, так как он бросает почву социологии и переходит в область психологии, организатор, высший класс становится учителем.

И если бы „верхи" развились одни, удаляясь, уходя все выше и выше, а „низы" не поспевали бы в известном смысле за ними, то получилось бы, в конечном счете, вырождение „низов", что повлекло бы за собой вырождение всего общежития и что поставило бы в угрожающее положение и состояние „верхов", существование которых немыслимо без здоровых, крепких „низов".

Но развитие идет таким образом, что оставленные позиции „верхами" сейчас же занимаются „низами". Таким способом получаем общее нарастание сил и возможностей. следствием общего роста общения является усложнение форм и утончение качеств и способностей „верхов".

Но фокус развития не лежит в „низах", а в „верхах", которые пройденные ими ступени и области в предыдущие периоды отдают на общее владение и распоряжение „низам".

История человечества—это история авангарда, верхов, инициативного меньшинства. „Низы"—это тыл, глубокий тыл. Как только фронт социальной и физической борьбы переносится на следующие позиции, то за ними подтягивается и тыл, подается и „низ", подвигаясь по-маленьку вперед.

Если бы этого не было, то авангард во-первых не мог бы так далеко уйти, а во-вторых тыл бы потерял всякий смысл, оторвался бы совершенно от фронта, от авангарда.

„Верхи" прогрессируют, утончаясь, усовершенствуясь, уходят, укрепляются вперед, на известном расстоянии они тащат за собой низшие слои, „низы". И области, являющиеся единственным достоянием „верхов", доступны единым „верхам" в известный период, в следующую эпоху об'являются всеобщим достоянием.

Так идут одна за другой специализация и деспециализация, другими словами, аристократизация и демократизация, разделение труда и общедоступность. Специализация вызывает, как свое следствие, деспециализацию, общедоступность, оставляя низшие сферы всем, сами же они взбираются все выше и выше. Если низшие сферы становятся общедоступными, то это доказывает, что специализация специализировалась, стала выше, тоньше, глубже.

Если демократизация овладевает целыми областями, то это лишь благодаря тому, что аристократизация поднялась, ушла вверх. Не просто поднялась, но именно усовершенствовалась, и тем дала возможность домократизации проявиться.

Демократизация... но есть же демократизатор, а он кто? Не является ли он аристократом того или иного порядка? Демократизация, общедоступность является следствием усовершенствований аристократизма, специализации.

Управление может стать общедоступным, когда будут созданы совершенные аппараты, специализация, аристократизация перенесется тогда с управления, как такового, на создание, на выискивание этих методов, этих аппаратов, дающих возможность всем обращаться с управлением безопасно и даже успешно.

Тезис о том, что машина наносит сокрушительный удар разделению труда, виртуозности, надо понимать, что виртуозность кустарная отмирает, ее вытесняет, побивает машина, в которой низшая виртуозность воплощена, а высшая виртуозность переносится в область создания, усовершенствования машины.

Если участие в государственных делах, в политике станет доступным каждой „кухарке", то центр тяжести, мастерство перенесется из низшей политики в высшую, в создание, изыскание новых политических методов.

Квалифицированный труд падает, побитый более квалифицированным трудом по созданию машины, уничтожающей квалификацию.

Если отрицают учение, то создаются учителя отрицания, учение отрицания, и вся ученость, все мастерство сосредоточивается в отрицании, в высшей сфере.

И спасение от разделения труда, от его дефектов надо искать в самом же разделении, в перенесении его в высшие сферы, тогда и низшие сферы выйдут из-под влияния разделения. Т.-е. надо итти не от разделения, а к разделению, от низших форм к высшим.

Демократизация есть след, оставленный на путях общежития аристократизмом, преодолевая самого себя, перерастая самого себя.

Вначале руководит одна физическая сила. Возможность свержения колоссальна, возможность выхода из-под повиновения более чем обыкновенна. И утверждение своего могущества, своего руководства требует постоянного проявления своей силы. Повиновение, послушание происходит под нависшим мечем.

Руководство специализируется, руководит руководитель. Его сила в его руководстве. Само руководство стало специальностью, оно отошло от военного искусства, от военного счастья, руководит не воин, а специалист руководитель, многолетнее руководство, практика создала искусство руководства. Этим владеют высшие классы, это стало их правом на существование, их оправданием. Руководство переходит через целый ряд ступеней, все более укрепляясь.

Случайность социальная стала привычкой, привычка стала натурой. В факте существования, за время существования „верхов", главенство получило свое оправдание и выработало свои методы.

Вокруг этих методов кипит постоянная борьба, так как перемена методов, перемена системы обращения, руководительства низами, означает перемена лиц, перемена состава „верхов". Устаревшие „верхи" оказавшиеся неспособными итти в ногу с прогрессом, с поступательным ходом истории, вынуждены бывают уступить свое место новым „верхам", имеющим больше право на верховенство.

Руководство низами, если оно осуществлялось так аляповато, так жестоко, то это говорит о неразвитии „верхов" и методов руководства, способов осуществления верховенства. С ростом „верхов" растут, усовершенствуются и способы, и приемы регулировки их взаимоотношений с низами. Разработка этих методов, усовершенствование их есть специальность „верхов", право на существование они черпают в создании более совершенных способов.

Руководство, создание и выработка методов реализации верховенства, и существование и уровень, верховность верхов совпадает, отвечает одно другому.

Создание лучших способов говорит, есть, означает рост верхов. Рост верхов, их преимущество, превосходство над низами и получает свое воплощение в этих методах. И тут получается сложная система взаимодействий. Высокая квалификация верхов дает им возможность легко справляться со своей миссией руководства, так как низы, чувствуя в них силу, чувствуя и признавая за ними превосходство, охотно подчиняются им, добровольно, в известной мере, слушаются их, что делает насилие, грубое давление, жестокую муштру низов совершенно излишними.

Рост методов, методологии управления дает возможность верхам выставить на показ выгоды получаемые общежитием, как целым от их руководства, что их опять примиряет с низами, так как лишает последних повода и стимула к оказанию сопротивления верхам. Так идет, течет прогресс по всему руслу общественности, не ограничиваясь одним явлением.

Но все это говорит опять лишь о росте, о развитии верхов, а не об их вырождении, как часто утверждает наивное мышление.

Чем больше интеллектуализм наростает, тем больше прибегают к его помощи при обуздании диких инстинктов масс, при руководстве ими к общему благу.

Если и „верхи", так сказать, злоупотребляют своей ролью верховодителей, то и зло надо принимать, как должное, как неизбежное, без чего никак не обойдешься. Раз класс выполняет роль общественную, а он состоит из отдельных лиц, а эти отдельные лица являются физическими, физиологическими лицами, то злоупотребление неизбежно.

Чем больше разовьются „верхи", чем дальше и глубже они уйдут в суть, в плоть, в сущность общежития, тем все больше они предоставят возможность самопротивления. И если „верхи" вырастут настолько, что переростут социологию и перейдут в область социальной психологии, то они тогда отдадут всю социологию „низам". И поэтому борьба за усовершенствование общежития, за его демократизацию есть на самом деле борьба за квалификацию верхов, за их усовершенствование. Мы должны стремиться к тому, чтобы верхи стали еще верховней, еще выше, чем они были.

Прогресс—это рост. Растут учреждения в об'еме и в форме, становятся шире и сложней. Ростут носители, творцы этих учреждений, развиваются, наростают в смысле социальном и интеллектуальном.

Капитал не был интернационален, как часто выражается Маркс, он был в эпоху капитализма донационален, и поэтому ему безразлечен был народ, безразлична страна, он был индивидуален, а его индивидуализм ниже национализма, находится не доходя до национализма. И тем он создал иллюзию о космополитике.

Капитал при социализме становится национальным, становится тем, чем власть была при господстве буржуазий. При социализме власть становится интернациональной, верней, должна стать, пока мы этого еще нигде не находим. При универсализме еще один шаг вперед. „Власть" станет универсальной, мировой, и перестанет быть властью, специфической „архией" или „кратией", капитал станет интернациональным, и разумеется, что он перестанет именоваться капиталом, он теряет это название еще в эпоху перехода к национализму.

Тут одна восходящая линия, тут никаких диалектических противоречий. Борьба создала иллюзию о противоречиях. Но борьба здесь не логическая категория, а историческая, является следствием неразвития, непонимания хода событий, является

следствием непонимания своих задач высшим классом, так что он сам развивается и вступает в столкновение с самим собой, что логически совершенно лишне.

Поэтому нельзя говорить здесь о переходе в противоречие, о вырождении класса, который приходится свергнуть и свергнутым он бывает будто новым, совершенно новым классом, т. е. низами, так как „верхи" вырождаются. Ничего подобного. Здесь прямая линия. Здесь рост. Капиталисты, когда они доходят до стадии финансирования, крепнут настолько, что они, „верхи", в силах реорганизовать производство на новых началах, кладя в основу национальную идею, использованную ими раньше в одной политике. Они становятся сильней, развитей и им такая задача становится посильной. Здесь рост, а не переход в противоречие. Рост общежития, рост верхов. Не перешли ли феодалы в буржуазию, не связаны ли почти все их роды. Разумеется, об отдельных лицах, отдельных родах, семействах говорить не приходится, но в большинстве они наполнили собой кадры буржуазии. То же самое с буржуазией при переходе к социализму. Здесь не вырождение, не противоречие, а рост, прямая линия.

Разве социализм противоречит капитализму. Если бы он ему противоречил, то он из него не вырос бы. А ведь социализм прямо таки вырастает из ребра капитализма, из развития техники, из развития путей сообщения и проч., дающего возможность осуществить, создать национальное хозяйство,

Борьба создала иллюзию о диалектике. Диалектика создает видимость победы столкновения, антитезис „низов" с „верхами", с тезисом.

На самом же деле здесь следует констатировать рост, развитие тезиса, углубление тезиса, вскрытие его возможностей, возведение его в высокую степень и только. И с начала, с рабства до товарищества мы замечаем, глубоко вдумываясь и философски наблюдая, рост высших классов, рост „верхов", что означает рост всего общежития, ибо „верхи", „инициативное меньшинство" дает импульс всему развитию целого.

Рост верхов есть рост общежития, рост общежития есть под'ем „низов", которые абсолютно поднимаются, относительно опускаются, так как цивилизация дает возможность для большего размаха, амплитуда возможностей и дифференциаций становится шире.

Черный рабочий и Эдисон. Древний мир не мог иметь такого колоссального различия. Пушкин и безграмотный. Создатель эсперанто и еле из'ясняющийся на своем диалекте. И тысячи им подобных различий, расстояний в развитии.

И борьбу ведомую в известные эпохи против „верхов" означает лишь борьба против данных исторических верхов, не отвечающих своему времени, новым создавшимся условиям, за новые „верхи", более отвечающие своему создавшемуся положению. Это собственно борьба за верхи, за настоящее. Эту борьбу ведут же „верхи". И эта борьба свидетельствует о наростании новых сил в их среде, борьба собственно есть рост, принимавший по вине недостаточного понимания исторического процесса, по вине вандализма, вид ожесточенной, вооруженной борьбы двух будто враждующих лагерей.

При наростании социальной методологии, при наростании цивилизации этот рост совершится безболезненно, не кровопролитно, не катастрофически, а тихо-мирно.

Распространение точных, более правильных сведений о социальных явлениях само уже послужит к гуманизации этих переходов, к нормализации насколько возможно этого роста.

Во всяком случае должен быть создан реализм революционный. Пока же революции все шли под знаком авантюризма, т. е. болезненности, дикости, варварства. Так прорезываются зубы у ребенка. И рост общежительных сил есть болезненный, мучительный процесс, чем дальше, тем легче он произойдет, тем нормальней.

Тогда всем станет ясно, что здесь лишь рост, а не переходы в противоречие. И этот рост означает углубление, осложнение различий двигающих расстояние, отделяющее „низы" от „верхов".

Дворянство. Буржуазия. Дворянство, основанное на убеждении, на учении, партийность, как привилегия. Затем чистый теоретизм, как преобладающий элемент. Различия настолько глубоки, настолько велики, что „низы" их признают и мирятся с ними вполне. Интеллигенция будет завершением высших классов. Пока ее нет, пока она лишь борется за свое выявление, в начале господствовала физическая сила. И вся история это ход, путь от физической силы к духовной силе. Но эта духовная сила должна быть настолько сильна, настолько всемогуща, чтобы не нуждаться ни в чьей помощи.

чтобы уметь опереться на самое себя, чтобы уметь выступать в чистом виде теоретизирования, творчества, создания новых форм, предоставляя как что-то низшее, непристойное ее высшему званию, проведение и осуществление этих форм и учений в жизнь.

Интеллигенция должна перейти в стадию творчества, создание новых форм социальной жизни, а проведение должно быть предоставлено всем, должно стать общим делом, общим достоянием.

Но это произойдет не от худосочия, от атрофии высших слоев, а от преодоления самих себя, от наростания сил.

9.

Фазы развития.

Первый вид отношения человека к человеку—это взаимное потребление, сильный убивает слабого и съедает его. Людоедство, здесь преобладание сильного есть дело случая, победой он обязан разным случайностям, так как возможно, что он даже не сильней того, кого он одолел и осилил. Тот, покоренный, возможно, был устал, был не в духе, был утомлен предыдущим поединком, в котором он оказался победителем. Здесь судьба. Победа должна быть сейчас же реализована, сейчас доведена до конца. Иначе она может еще пожалуй перейти в свое противоречие. Конец делу венец. Война должна окончиться убийством и пожиранием убитого, одоленного.

Вообще, смерти, которую дикарь трудно отличает от жизни, от сна, от летаргии, от обморока и проч., нельзя доверять. Победитель может успокоится тогда, когда убитый съеден, когда он уничтожен.

Здесь всеторжествующее право сильного, более могучего. Но и сильный здесь силен случайно, он благодарит свое превосходство року, капризу, дрожи случайностей. И торжество его потому и минутное и такое решительное, и такое сравнительно безнадежное. Одоленный, осиленный человек идет в пищу, он потребляется, как дичь, как зверье, как растение. Он приравнен к миру, к предметам мира. Он не выделяется, он *не отделен*. Человек вообще в то время ничего не стоит. Он убивает, уничтожает жизнь и тем утверждает свою.

Утверждение своей жизни равняется уничтожению других жизней. Оставить в живых врагов значит быть подверженным вечной опасности быть ими уничтоженными.

Уничтожить не потреблять, слишком беден был человек, чтобы он мог позволить себе подобную роскошь, затем идет одно уничтожение. Попадаются и пленные, т. е. члены чужого и, следовательно, враждебного племени. Их уничтожают, сжигают или истребляют другим способом. Сохранять и использовать нет никакой возможности. Нет достаточных различий, нет почти никаких более или менее устойчивых дифференциаций, чтобы на них можно было построить закабаление. Не то, что нельзя было использовать человека, ибо он не давал ни какого избытка, никакого излишка от его труда. Вообще нельзя было его использовать, так как победитель был слишком неуверен, слишком зыбкой, мимолетней, случайной была его победа и она не давала возможности покорения длительного, постоянного. Ее покорение было моментным, катастрофическим.

Уничтожить гораздо легче, чем оставить в живых и уметь использовать в своих интересах. Сломать вещь легче, чем, не сломая, уметь пускать ее в ход после того, как ее отняли с бою.

После того, как человек возрастает в своей ценности и значимости, становится выше зверя, дичи и проч., после того, как период людоедства одолен, наступает период обыкновенного уничтожения человека человеком. Естественно, что известное время оба периода существовали параллельно, один нарождался, другой вырождался, отходил.

Второй период существует поныне, высшая мера наказания это уничтожение,—так общество воюет со своими врагами, так поступает народ с народом на поле битвы. Они уничтожают друг друга. Войны являются остатком второго периода. Второй период не изжит нами до сих пор окончательно. Извнутри он почти изжит, смертная казнь в мирное время применяется весьма редко, извне, в отношении народа к народу, государства к государству смерть, истребление играет огромнейшую роль, войны регулируют поныне все отношения международные, т. е. междугосударственные.

В период смещения внутренних и внешних отношений, когда разражаются гражданские войны, когда замечается распад внутренних отношений, когда общежитие раз-

валивается, тогда и внутри общежития осуществляются внешние приемы человека с человеком, т. е. смертная казнь, смерть вступает в свои права, на самом деле это проявления войны, названий она имеет несколько, террор, смертная казнь. Но сущность одна применение *истребления*, остатки второго периода, следующего за людоедством.

За вторым периодом идет третий, который мы бы назвали *антропо-механией*, *использование* человека человеком, как орудие.

Этот период имеет целый ряд подпериодов, подразделений, деградаций. Первая, самая низшая ступень, это рабство, затем идет второй период—крепостничество, третий подпериод-наемничество, четвертый-подпериод товарищество, организаторство. Этот третий период говорит о том, что сила наросла, что победа победителя стала обеспеченной. Человек человека не то, что может уничтожить, налетая на него, одолевая его, но он может его использовать, может его расматривать, как орудие, может его применять.

Этот период равняется периоду домистикации, приручению.

Победитель, герой, вначале выступает коллективное целое, настолько взял перевес над побежденным, что он в силах его удержать за собой и использовать его постоянно, он может реализовать свою победу по частям, в течение всей жизни его побежденного. Рабство говорит о наростании дефференции сильной, основательной, возникшей между людьми, дающей возможность одному племени превратить члены другого племени в свои инструменты, в свои орудия.

Здесь принудительное приручение, но зачаток приручения, рабовладелец по отношению к рабу выступает в качестве приручателя, занимает позицию, приближающуюся к этому. Раб, по отношению к нему занимает положение прирученного к приручителю.

Верно, здесь нет настоящего приручения, ибо все это делается насильно, применяя физическую силу, рабов надо охранять, иначе они сбегут. И прирученных животных, нельзя оставлять без охраны, в противном случае они удерут. Затем идет крепостничество, тут пропасть между победителем и побежденным вырастает еще глубже. Рабство создает почву для крепостничества. Рабство всхваливает целый ряд дифференциаций, не существовавших раньше в такой развитой форме, чтобы они дали возможность держать порядок полурабский и полусвободный, как крепостное право.

Здесь при крепостничестве приручение вѣлось наполовину в самую плоть общежития и общежительных отношений.

Высший класс уже вырос, образовалась уже пропасть. Отношения людские стали уже довольно сложны. Не каждый мог в них ориентироваться. Выдвигается отчасти „организатор“, „воин“, как специалист.

Идет наемничество, здесь приручение полнейшее. Здесь непроходимая пропасть между „низами“ и „верхами“. Здесь дифференции настолько сильны и колоссальны, что свое господство класс собственников, класс промышленников осуществляет, не прибегая к помощи насилия.

„Низы“ сознают свою беспомощность, свою слабость, свою скудность в смысле экономическом и социальном, что сами покоряются охотно, не то, что покоряются, напрашиваются на рабство, ищут своего работодателя, ищут своего господина, своего эксплоататора.

Наивны, глупы до смешного советы Толстого рабочим, чтобы они бросили фабрики и ушли обратно в глухую, дикую деревню.

Им гораздо выгодней, удобней жить при своем господине, чем без него.

Диффдеренциации колоссальны и слепой их ощупает, осязает.

Руководитель целым рядом предприятий и чернорабочий, работающий на одном из его заводов. Какая громадная разница между тем и другим. Можно ли их сравнить? Никак нельзя!

И чернорабочий, если он не развращен демагогической глупой агитацией, которую он по простоте души принимает в серьез, чувствует свою никчемность, свою мизерность, ничтожность перед его хозяином, перед его владельцем.

Если же его освобождают из-под психического гипноза хозяина, то он сейчас же подпадает под влияние агитатора, на которого он опять-таки смотрит, как на полубога. И как ему смотреть иначе.

Тот открывает ему новое небо и новую землю. Он учит его дерзновению, опираясь на новый класс, на службу к которому он переходит.

Он психологически бросает своего старого господина и приобретает себе нового, лучшего, более толкового, дающего лучшие условия и занятия, реорганизующего хозяйство и общения на новых началах, которые представят гораздо больший простор и ему „несчастному“, жалкому.

Он решается на это и переходит на сторону нового. Бывает средь этих забитых существ столько серьезных, талантливых, вдумчивых людей, что из них вербуются после лучше представители нового высшего класса, строящего все на личной инициативе, на организаторском таланте, а не на имуществе, на наследственности.

Выступает при социализме товарищество, Дифференциация становится настолько могущей, что она отбрасывает имущество.

Организатору скажем примерно, чтобы владеть рабочими не нужно имущество, не нужно ему облечь свою силу во что-то внешнее, чуждое ей по существу материи. Он владеет ими своим организационным талантом.

Каждый кос-сколько сознательный рабочий понимает, что перед ним колосс, гигант, которому он должен подчиниться, ибо он действует на его благо, он ведет его к новой жизни.

Вместо того, что раньше господствующий класс в экономике выступал разрозненно, что говорит о неумении организоваться, теперь он выступает организованно в виде партии.

И буржуазия имела партии, но ее партии были лишь политического свойства. Партия социалистическая имеет к своим услугам и профсоюзы.

Она, партия, всегда управляла профсоюзами, экономическими отношениями. При господстве тем более.

Высший класс, названный нами типом, имеет свое выражение, свое выявление в партии, которая ведает всеми делами страны, и политическими и экономическими.

Каждый рабочий подчиняется своей партии. Партия имеет своих руководителей. Тут уже заметен дух военный, дух дисциплины и выдержки, дух планомерности. Партией руководит Ц. К., во главе Ц. К. стоят лидеры или самый выдающийся лидер.

Тут превосходство настолько выявлено, настолько осуществлено, организованно, что не может быть речи о непослушании.

Слишком глубока дифференциация. Здесь моральные, духовные силы опирающиеся на физические в конечном счете. Здесь принуждение, опирающееся на убеждение.

Высший класс вырос, дифференциация, лежащая между лидером партии и черным рабочим, между человеком не умеющим держать под своим влиянием и своего соседа и человеком, держащим под своим авторитетом целый класс, целую партию—умопомрачительна. И не может быть речи о том, что темные „низы“ окажут сопротивление. Поэтому категория собственности откинута. Она лишняя.

За ним пойдет следующий период интериндивидуализма-универсализма, где дифференциация станет еще глубже, еще выше, и вмешательства в житейские дела, в неважные дела потребуется еще меньше со стороны высшего класса, ибо он предается исключительно творческой деятельности, будет специализироваться на этом.

И будет отменена и категория господства, категория организаторства. Ибо последняя выростет и осуществит себя в мировом масштабе. Для ее осуществления требуется наличие огромнейшего класса, особого типа сверхорганизаторов, социотеоретиков или, как мы их называем, интериндивидологов.

Бесспорно, то что социализм в виде большевизма трещит в России против демократизма, создавая аристократизм, бросающийся всем в глаза, как косвенные выборы и проч. о чем свидетельствует вся наша советская конституция принятая, на V-м с'езде советов, говорит нам, конечно, о том, что и этот класс, этот сверхкласс, этот тип организаторов во время перехода недостаточно силен, чтобы он мог позволить себе роскошь демократизма, роскошь прямых выборов и прочих вольностей, иллюзий народного волеизъявления, опыт показал, что Учредительное собрание было против форсирования событий и погони их таким быстрым темпом, который диктовался интересами типа организаторов, опыт показал, что во время перехода нельзя применять методы демократизма. И приходилось этому классу пускать в ход давно испытанные способы, как косвенные выборы, разгон собраний, вместо выборов назначение и проч., единоличие вместо коллегиальности и т. п.

Бесспорно, что это говорит о временной слабости. Но это явление преходящего характера, мы более чем уверены, что как только минует период крутого перехода, так

этот тип в силах почти будет осуществлять идею экрирмента, референдума, чего класс промышленников, буржуазия осуществлять не смела.

Чем больше дифференциации, тем больше демократизма видимого, политического отпускают народу. Когда вы уверены, что птица не уйдет, то незачем ее держать в запертой клетке. Можно открывать дверцу, пусть порхает по клетке, она все равно никуда не уйдет.

Пример с птицы не очень-то удачен, так как птица-то сама не заинтересована в клетке, здесь же как раз наоборот—сам народ, сами низы заинтересованы в том, чтобы над ними „господствовали" верхи, как мы заинтересованы в том, чтоб наши гении творили, создавали величайшие творения, которыми мы наслаждаемся.

Обратная точка зрения есть варварство, есть демагогия, есть дикость, есть развал общежития и культуры.

Таково же было и отношение человека к миру, к вещам, к предметам.

Первоначальная стадия победы над миром это мироедство, космфагия. Человек потребляет то, что находит в готовом виде в мире, нашел ягоды—с'ел, нашел дикий плод—с'ел, нашел воду, источник—напился.

Вторая стадия—это применение. Когда человек не потребляет, а применяет мир вещи, превращает их в орудие, он их использовывает. Он ездит по реке, пользуясь течением, а не только пьет воду. Он механизирует мир. Высшая точка этого периода еще не видна, возможно, что зенит этого периода теряется в бесконечной дали. Ведь и первый период еще не пройден. Мироедство еще в полном ходу: питание. Вегетарианство хочет делать шаг к сужению области мироедства, переводя из животноводства на овощеводство, на продукто-фрукто-растениеедство.

Это не шаг, а шажек. Раз первый период не закончен, то речи ведь не может быть о предвидении конца второй стадии, которая отвечает третьему периоду в отношениях человека к человеку.

Третий период по отношению к человеку находится на пороге творчества, являющегося высшей ступенью антропомехании, антропоинструментики.

По отношению к миру космомеханизацию исследуют механика и технология.

В отношениях человека к человеку, насколько они касаются хозяйства, то эти явления исследует экономика. Экономика есть собственно говоря социальная технология, ту экономическую науку так и следовало освещать и разработать, с точки зрения, антропотехнологии, или антропомехании, или социомеханики, или социотехнологии.

Политическая наука есть опять та же технология, но в области политических надсоциальных отношений. И тут мы имеем ту же стадию, антропемеханию, но в другой области

Космомехания, если можно так выразиться, имеет целый ряд трансформаций, свидетельствующих о развитии, о наростании сил человека, этого венца природы, этого, высшего класса „в царстве природы и мира".

Чем сильней становится человек, чем больше он выростает в смысле психологическом, интеллектуальном, в смысле развития, тем мягче он проявляет свое господство над миром. Чем больше господствует, тем меньше это видно, тем меньше жесток он становится в обращении с миром, тем гуманнее он обращается с ним, тем менее он ломает его, тем менее он идет ему наперекор. И именно в этой, если можно так выразиться, демократизации, которую следует назвать космократизацией, натурократизацией, видел рост мощи человека, чем больше он считается с природой, чем больше он ее льстит, считается с ее законами, подчиняется ей, тем больше он ее покоряет. Как Бекон выражался, подчиниться, чтобы покорить ее.

Эта натурократизация, эта космократизация на самом деле говорит об антропократизме. На самом деле это говорит, что человек, что царь мира, что „верх" ушел так высоко, что он с высоты своего величества дарит миру подачки, дарует миру, природе льготы и вольности, вводит „опрос" мира, спрашивает его что ему угодно, не поступает с ним тираническ и, а демократически, натурократически, кругом мироправство, а не самодержавие человека. Человек считается с силами природы, считается с естеством, ничего не предпринимает такого, что идет в разрез с миром, с его волей, с его желанием, с его свойствами. Созданы целые системы к волепроявлению мира и явлений мира.

Я бы сказал метафорически, что идут постоянные собрания, постоянные заседания, что мы постоянно „митингуем", спрашиваем у мира чего он хочет и если он этого не хочет, то мы этого не предпринимаем.

Но что это говорит, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует не о слабости человека, а о росте его сил, что он позволяет себе роскошь игры в природу, в естество, в естественность, в непроизвольные процессы.

Этот космический демократизм говорит о самом высшем аристократизме.

Характерно в высшей степени, что именно в эпоху великих открытий, когда человек стал сравнительно всемогущим, когда он на самом деле чуть ли не может предъявлять свои права на мир, что чуть ли не владеет им, он забросил идею об эгоцентризме, как отсталую идею. Что такое эгоцентризм? Это аристократизм человека, это антропоаристократизм по отношению к вселенной.

И именно тогда, когда человек делал величайшие завоевания, он стал скромным, он стал демократом, он стал говорить о правах мира, он стал его изучать основательно, прислушиваться к его голосу, выслеживать, выспрашивать его, допытываться об его воле и его желаниях.

Как странно. Если это понятно в социологии, где полукритическое отношение стало бы это рассматривать, как дипломатический ход, рассчитанный на обман масс, на околпачивание их, то это будет совершенно непонятно в физике. На самом деле это нетак. Не то что в физике, но и в социологии этот подход не рассчитан на обман, на проведение масс, а имеет глубокое психологическое основание.

Мягкий подход к миру поощряет творчество, с одной стороны, и является следствием творчества, следствием осиления мира, с другой.

Это самовнушение, превознощение мира, отказ от эгоцентризма именно и служит пришпоривающим фактором к усилению господства человека. Это субъективно было необходимо.

Пока человек был аристократичен, был заносчив, уговаривал себя, что он выше мира, что он центр мира, он не мог, как следует, овладеть миром, ибо он его мало знал, именно тогда, когда он стал преклоняться будто перед миром, перед естественными процессами, которые там в нем происходят, именно тогда он объективно достигал самой высшей противоестественности.

Здесь сказывается тот же наивизм, что и в социологии.

И в социологии создание демократических учений не рассчитано на обман, а скорей на самообман, на самовнушение. Высшие классы, пока они питались аристократическими доктринами, не могли овладеть низами, как следует, им мешали их заносчивость, их отдаленность, они стояли вне них, и имели сравнительно ничтожное влияние на них, их господство было сравнительно мелко.

Когда были созданы демократические учения, то тут высшие классы, верхи взялись основательно за изучение быта народного, за изучение и обработку его психологии.

И льстя ему, как природе, как стихии, подчиняясь ему, они его покорили.

Если бы не пример с природы, которая была превознесена человеком, техником, творцом, изобретателем именно в период его полнейшего попирания ее ногами, и именно в эру наибольшего выявления его творческой силы, которая совпадала с провозглашением, с деклалированием прав мира и вещи и силы.

Мы можем сказать, что ренесанс означает дарование конституции миру, космосу, вселенной и всем ее проявлениям. Это своего рода либерализм, провозглашение свободы, которую следует понимать, как свободу эксплоатации, свободу обирания, свободу использования мира.

Чем выше, чем сильней становится человек, чем умней он становится, чем духовно развитей, тем больше он с виду и на самом деле считается с природой, с миром, и тем больше выгод и пользы он из него извлекает, тем послушней и покорней становится мир, природа. Так что антропократия с натурократией совпадает, это собственно одно и то же.

И хотя мир не слышит, не понимает наших учений и его не требуется обманывать, тем не менее это делается, ибо, как сказано, это психологически необходимо.

Естество в педагогике есть верх искусственности, есть самая высшая точка перехитрения мира, естества, природных задатков, естественных предрасположений. Это значит доведение искусственного до степени естественного, превращение технического

в естественное. Это значить выдавать сознательное за бессознательное, вот насколько искусна подделка!

Тоже относительно естественности в медицине.

И то-же самое надо сказать относительно естественных процессов в социологии, и относительно социальной природы. Это пресловутое акушерствование, это подчинение и преклонение перед об'ективными условиями является на самом деле, критически рассматривая, верхом суб'ективизма и превозглашения своей воли и своего сознания. Как наивны критики Маркса, задававшие ему вопросы о фатализме, если социализм неизбежен, зачем к нему стремиться, зачем создать движение, зачем вести агитацию и проч.

Как наивно. Фатализм в данном случае есть верх волюнтаризма, верх напряжения воли, есть самый лучший способ воздействия на сознание, на массу, на волевые импульсы, создавая уверенность в успехе, без которой никакое великое дело не спорится.

Чем больше мы в теории преклоняемся перед величием природы, тем больше она преклоняется перед нами на практике, в жизни. Она освещает нам улицу, она превращает нам ночь в день, она отопляет нам дома и помещения, превращает зиму в лето. Она нас везет, подымает выше облака ходячего и пр. Но все это делается при полнейшем признании ее прав и вольностей.

И чем меньше человек признавал ее прав и чем больше он кичился своей человеческой породой, своим избранничеством, своим превосходством над миром, тем меньше мир его слушался, ему был покорен, тем больше ему природа пакостила, творила козни на каждом шагу. Чем меньше человек преклонялся перед природой в теории и идеологии, тем больше он преклонялся перед нею на деле, в жизни. Ибо преклонение человека перед природой есть, собственно говоря, преклонение человека перед его величием, воплощенным в природе,—так преклоняется художник перед его живописным произведением, так любуется скульптор на его ваяние, которое он боготворит. Так как на самом деле он боготворит себя, часть своего я, воплощенную в мраморе, в полотне.

Преклонение человека перед природой есть на деле преклонение его перед своим гением, перед своим величием.

Кичливость человека, пренебрежительное отношение к миру, к природе, означало, свидетельствовало о незнании, о неумении владеть миром, о необладании им.

То, что человек боготворит в природе, это то человеческое, то разумное, которое он туда вкладывает, это его могущество, которое он врезывает в силы природы.

Природа творение человека в этом смысле. Он открывает ее, он ее создает. И насколько он ее открывает своим пытливым умом, настолько он ее ценит, любит, идеализирует, т. е. рационализирует и эксплоатирует. Идеализация есть эксплоатация.

То же самое в общежитии. Демократизм есть аристократизм, преломленный в массах,

Точка зрения утверждающая, что личность не играет никакой роли в истории, кроме того, что она создана личностью, теоретиком, она расчитана на то, чтобы личность не кичилась, чтобы она не удовлетворялась гордым одиночеством, а преломляла себя, реализовала себя в массах, чтобы она наложила свою руку на тысячи и тысячи, на тех, имя которым легион.

Если у древних личность делала все непосредственно, не пользуясь орудиями, то у нас она делает все, но делает это с помощью орудий. Никто не вырывает деревьев руками, а рубят их топорами или другими орудиями. Из этого, конечно, нисколько не следует, что человек не играет никакой роли, а главную роль играют орудия технические. Конечно, голый человек не играет никакой роли, а играют эту роль его орудия, но орудия создают, а не орудия сами себя рождают. Так что человек себя проявляет сейчас в своих орудиях.

Личность, отдельная, одинокая, не играет сейчас никакой роли, прошли времена Голиафов и Давидов, а настало время Мольтке, Гинденбургов и проч. Что это означает, что личность стратега перестала играть роль? Нисколько, это лишь значит, что личность непосредственно сейчас себя не реализирует, а осуществляет себя с помощью масс, и помощью многих, многих.

Личность отражается в массах. И боготворение масс есть боготворение личности, воплощенной в массах, в учениках, в мраморе, в произведениях, в орудиях социального действа.

То же самое относительно аристократизма. Нет непосредственного аристократизма, его век прошел, это пройденная ступень. Настает век демократизма, т.-е. аристократизма воплощенного в массах, в демократизме.

И как в физике великий период, золотая эра великих открытий, означает падение эгоцентризма, так и великий период завоеваний сознательных, период социализма и анархизма ознаменуется падением лидеризма, совершенным уничтожением „аристократизма".

„Аристократы", высшие классы преклоняются в идеологии перед массой, чтобы та на деле преклонялась перед ними.

Они, собственно, преклоняются перед своими завоеваниями, воплощенными в массах, перед своим могуществом, одетым, воплощенным в народ.

И преклонение перед народом есть фактическое преклонение перед самим собой, так как этот народ, эти массы являются творением рук аристократов высших классов, высшего типа, господствующего типа, нового организатора масс.

Их преклонение перед массой есть преклонение скульптора перед мрамором, т.-е. перед своим произведением, т.-е. перед самим собой, воплощенным в дереве или в камне.

Социальные скульптора преклоняются перед своими статуями, перед своим ваянием.

Социализм представляет собой последний этап антропомеханизации, это последняя фаза обращения человека с человеком как, с орудием.

Высший класс настолько совершенствуется, настолько отходит, что он выдвигает принцип „все через народ", чтобы все делалось руками низов, и себе он берет лишь роль поучителя, открывателя, создателя, систематика, теоретика. Все же руководство, всю же работу по выполнению этой работы он отдает низам, всему народу.

В этом сила, мощь, рост „верхов".

Пример с физического мира выяснит это.

Дерево. Топор. Человек пользуется топором, рубит дерево. Привести в движение топор ему приходится самому, он тратит на это мускульную силу. Но он больше не приходит в соприкосновение с деревом, а лишь с топором. Еще один шаг. Он прилаживает мотор. Он больше не соприкасается с топором, а лишь с мотором. Потом идет автоматическая пила. Словом, рост техники это рост человека, его могущества, которое измеряется отстоянием его от предмета, от вещи, и от орудия. Орудие приводит в движение орудие. Все делается как бы самим собою. Требуется лишь наблюдение за ходом дела. После и наблюдение и контроль механизируются, отдаются в распоряжение машины, часов, счетчиков, клапанов, регулирующих, наблюдающих все механически.

Что это—рост машины или рост человека?

Рост вещи или человека, работающего над вещью?.

Ясно, что здесь сказывается рост силы человека, техника.

То же самое в экономике, и то же самое в политике. Рост экономики, как и рост политики выражатся в самодеятельности, в автоматизме, чем больше автики, чем больше активики, самодеятельности, тем выше политика, тем выше экономика, так как все исполняется „низами", все исполняется самим орудием, а „верх" занят лишь общим наблюдением, общим контролем за ходом дела.

Хорошая политическая организация это такой строй, при котором все исполняется самими низами. Верхи даже не контролируют, даже не наблюдают, не руководят, а лишь интеллектуально финансируют, „теоретизируют",систематизируют общежитие.

Все же выполняется самим народом.

Развитие техники есть сведение человеческого непосредственного труда к нулю, к минимуму, к самому ничтожному количеству.

Развитие политики есть сведение труда, работы высшего класса, типа, к нулю, к самому крайнему минимуму.

Хорошая политика должна быть построена вся и исключительно на принципе самодеятельности.

Этот автизм безконечен и поэтому нельзя указать последнего пункта развития, так как оно безконечно. Путь безконечен, как и развитие техники, так и развитие экономики и политики.

Нельзя указать последнего пункта, а можно и следует указать ближайший пункт, ближайший этап.

Мы уже несколько раз указали на метафизичность и наивность марксизма, думающего начать историю человечества, предполагающего по своей простоте, решить проблемы, которых, во-первых, решить нельзя, во-вторых, решать не следует, так как эти проблемы вовсе не являются проблемами, а представляют собой всхи, стоящие по пути человеческого развития.

Социализм означает рост. Рост и только. Никаких противоречий, никакой диалектики. Как автомобиль не есть телега, перешедшая в свое противоречие, так социализм не есть либерализм, капитализм, перешедший в свое противоречие.

Социализм ближе к самодеятельности, что касается формы, и шире, что касается об'ема. Социализм есть шаг вперед.

Организаторский класс выступает здесь в роли наблюдателя, имеющего общее наблюдение за общим ходом дела, дающего ему общие направления.

Когда социализм пройдет все свои стадии развития, когда он проведет и осуществит принцип национального хозяйства, когда он создаст национальные предприятия, и его носителю, типу организаторов, останется лишь работа по регулировке, планировке, нормировке производства и общения, тогда общежитие сделает еще один шаг вперед, тогда выступит чистый вид теоретика.

Что касается об'ема, то совершится переход от национального хозяйства к интернациональному и от интернациональной политики к мировой. Что касается формы, что касается внутренних взаимоотношений, то произойдет под'ем вверх „верхов" и преодоление организации, доведение ее до автоорганизации, так что организатор освободится от этой хлопотливой, кропотливой работы и предоставит всю эту сравнительно черную, сравнительно простую работу „низам", а сам он станет теоретиком, учителем.

И этот переход еще будет революционным, напряженным, но, разумеется, что он произойдет гораздо мирней, гораздо культурней, чем все предыдущие, благодаря тому, что за это время наростет сумма сознания и умения социального строительства, и всем ясней станет истинная сущность всех этих переходов и изменений. С освобождением от метафизики в социологии, мы освободимся от догматизма социального и от его спутника варварства, дикости, кровопролитных, жестоких переходов, восторжествует самый настоящий революционный реализм.

Все же революция будет. Так как тип организаторов не окажется достаточно гибким, достаточно податливым, чтобы он мог без серьезной встряски перейти от организаторства, от социализма к анархизму, от руководства к поучительству. Он просто не будет в силах этого выполнить, ибо он недостаточно развит, чтобы он мог владеть „низами", владеть массой, не прибегая к давлению, оказываемому организацией.

За собственником пойдет организатор. За организатором пойдет учитель, теоретик, тип теоретиков, группа их составит высший класс, руководящий всем, и хозяйством, и общением, и идеологией.

С организатором кончается период антропомеханики и начинается эра антропоэдукации, антропосхолии. Долой руководство! Да здравствует учительство!

Этот период есть анархический, есть анархо-универсалистический период.

Мировое общение, мировое хозяйство. Разве высший класс мог бы справляться с своей задачей, не прибегая к „помощи" „низов"? Для того, чтобы руководить таким общением, требуются колоссальнейшие силы, колоссальнейшие интеллектуальные силы. С этим могут справляться лишь специалисты.

Интеллектуалисты. Для того, чтобы они могли исключительно специализироваться, они должны сбросить с себя всякие другие задачи и задания. Они должны быть свободными, свободными от всякой другой деятельности, они должны быть виртуозами своего творческого колоссального дела.

В социалистическом организаторе живет уже, зародился уже давно учитель. Организатор есть уже теоретик, но он несовершенен. При анархо-универсализме он станет совершенным, выдержанным, цельным.

На этой стадии не может быть и речи о том, чтобы верх, чтобы руководящий класс творил насилие над низшим. И в предыдущие эпохи он этого не делает непосредственно, а посредственно „через народ". Он не чинит насилия, он лишь руководит этим актом, он его направляет. И в буржуазном обществе все функции насилия выполняют „низы", но лишь под непосредственным наблюдением „верхов".

При социализме отход верхов от этой грязной работы еще усиливается. Они лишь организовывают насилие, но сами его не творят.

При анархо-универсализме они совершенно отходят от этого дела. Они заняты учением, теоретизированием, созданием схем, концепций, доктрин. Вся же работа по держанию общежития выполняется самим народом непосредственно, участвуя в нем сам. И законодательство, и исполнение, и суд—все находится в руках самого народа.

„Верх" лишь создает планизацию, теоретизацию, по которой все направляется.

Наивное мышление в этом отказе видит рост „низов", в то время, когда на деле это рост верхов и осложнение их подхода к социальным материям.

Мы уже несколько раз пользовались этой аналогией, мы и сейчас прибегнем к ней.

Вместо социоса поставим теос и выясним отношение человека к этой идее, являющейся олицетворением и мира, и общества, и всего.

Многие думают, что богослужение, преклонение перед Богом есть первоначальный вид, есть основной элемент всякой религии.

На самом деле мы ничего подобного не находим в древнейших верованиях.

Первейшая стадия—это теофагия, когда человек потребляет своего Бога, вот единственная польза, которую он ему приносит.

Затем идет теомехания. Бог служит, „на побегушках" у человека.

Библия повторяет много раз положение о том, что следует бояться Бога, что следует его любить.

Некоторым это покажется странным, о чем разговаривать, ясно, что Бога надо любить, что Бога надо бояться, раз он существует. Все дело в том, существует ли он или вовсе нет его. Древние религии этим вопросом совершенно не заняты. Само собой разумеется, что Бог существует, что он есть, это не требует у них доказательства, главное, что они им помыкали, а тут предписывается богобоязнь и боголюбовь, чего до сих пор не было. Главная цель библии внушать страх и ужас перед Богом. Ибо древние его не боялись.

Священные, божественные растения они потребляли, ели или пили. Божественные животные они употребляли в пищу. Мир стоял под знаком мироедства и Бог стоял под тем же знаком. Если же он прогрессировал, то он стал орудием, он стал на правах раба, инструмента. Нужен дождь — заклинают, т.-е. повелевают Богу, чтоб он давал. Если он не дает, то его наказывают, секут.

Нуждаются в победе над врагом — посылают Бога и его обязанность дать победу во что бы то ни стало.

Нужно лечение, избавление от болезни, заклинают Бога, т.-е. приказывают Богу лечить, врачевать.

Поздней приказ, заклинание перешло в мольбу, в просьбу, не помыкают Богом, который был на правах работника, а просят его, умоляют, стоят на коленях и вымаливают, выклянчивают у него одоления.

Остатки этого древнего обращения с Богом, как со слугой, остались в древнейших книгах в виде некоторых изречений, как праведники берут „все силой", а не мольбой и просьбой, они приказывают Богу, предписывают ему, и он их слушается.

Затем идет теосхолия, теология. Познание Бога, изучение неисповедимых путей его, углубление в его мудрость, его созерцание.

Берите, читайте Моисея и читайте пророков. Моисей его воспевает, верней, он его благодарит, но Бог у него работник, он все делает, во все суется, все совершает, идет впереди народа, ведет его. Здесь теомехания. Теологии никакой. Может ее самый зачаточный зародыш, первый проблеск ее.

Моисей не теолог, а теомеханик, теотехник, Бог у него работает, трудится шесть дней при сотворении мира, дает дожди, дает ведро, рассекает море, воюет и возится с фараонством, и прочее. Чуть что, он обращается к Богу, и тот выполняет все его просьбы. Единственный прогресс—это то, что Богом он не помыкает, он обращается с ним вежливо. Всему этому придается видимость того, что человек ему, Богу, служит, на самом же деле—Бог служит человеку.

У пророков ничего подобного, Бог ничего не делает, его не видать, никто не пользуется его услугами. Если он что-нибудь делает, то он имеет к своим услугам ангелов. Зачатки этого мы находим и у Моисея.

У пророков мы стоим на пороге теологии, теосхолии

Человек изучает Бога.

Бог возрос в силе, в могуществе—скажет наивное мышление, возрос до того, что он стал символом всего доброго и великого, и вечного, и красивого.

Человек вырос—ответит критическое мышление. Иначе непонятно падение, низвержение Бога.

Откуда взялся атеизм, раз Бог все рос да рос вверх?

Но в том-то дело, что человек рос. И свой рост, свое могущество он приписал Богу и в Боге он поклонялся самому себе, своему общежитию, своему общению. В том то и дело, что вместо Бога надо поставить всюду человека. Бог создан был по образу и подобию человека. Пока в нем и в Боге был лишь мир, то человек им помыкал, как он помыкал миром. Помыкал и очень мало добился.

Ведь свободный человек больше стоит, чем раб. Ведь свободный труд более производителен, нежели подневольный труд.

И свободный Бог, свободный, вольный мир больше выгод представляет, нежели мир закабаленный, мир рабства и принуждения.

Свободный Бог лучше несвободного, ибо свободный Бог говорит о росте человека, что он умел создать себе свободного Бога и все же умел управлять им.

Рост человека, его самосознание доходит до того, что он бросает всякое оказание давления на Бога, на мир, что он переходит от религии к науке, от идеи Бога к идее натуры, природы, естества.

Он отходит от заклинаний и от просьб, являющихся их дальнейшим развитием. Он влияет на мир лишь через мир, сама природа влияет на природу. Человек тут, как бы не при чем.

Если вместо антропо—слово, которым мы пользовались, поставим социо, последнее точнее, ибо отношение человека к человеку ведь принимало вид социальных отношений и взаимоотношений, то получится в начале социофагия, затем социомеханя, затем социосхолия, т. е. социология, или индивидология, что еще точней выразит нашу мысль, не индивидофагия, индивидомеханя, а индивидосхолия, индивидология—вот та стадия, которая последует за социализмом.

Теология кончила тем, что перешла к натурологии, к науке. Последняя ближе, мягче подходит к миру, к вселенной, ко всем явлениям окружающей жизни.

Ведь этот рост Бога, рост мира есть на деле рост человека, рост индивида, этого „высшего класса“ по отношению к миру.

Как теология означает последний этап веры, так и социология есть последний этап всего социального.

Социосхолия или просто социология, индивидология или индивидосхолия начинает собой новую фазу развития, эту фазу мы называем „анархией“, отходом от социологии и переходом к „психологии“—так как этот этап означает первый этап, первую ступень в психофагии, или верней к психомехании. От теологии мы не перешли к натурологии, а к натуромехании.

Мы будем стоять, когда минуем фазу универсализма, когда осуществим переход высшего типа через Рубикон организации, и вступление в полосу психиализма, в области одних психологических вопросов.

Тогда выдвинется промблема теоретика и теоретизируемого.

И в этой помблеме разгорятся также страсти, как и в проблеме труда и капитала, как и в проблеме труда и организации.

И там построятся системы по наивизму и по критицизму.

Этой же проблеме мы посвятили наш труд под названием „Адидактизм, или интериндивидуализм в культуре.“

Если сейчас есть полоса социализма, упорядочения социальных отношений, если мы с помощью интериндивидуализма-универсализма хотим решить проблему политических столкновений и политических несуразностей, то тогда будет полоса психиализма.

Тогда встанут во весь рост вопросы психического и логического воздействия.

Как сейчас мы заняты приведением в порядок наших социальных учреждений, т. е. мы присутствуем при росте нашей социологии, когда все внимание человеческого гения обращено на проблемы социального свойства, когда верхи сосредоточили всю свою мощь в этой области, отходят от сферы физического преобладания, от воинственности, от простой грубой силы к вопросам организации, когда „верхи“ двигаются вверх по

лестнице социальности, отходят от отживших форм, как собственности, и переходят к высшим формам, как господство, как власть. И потом они пойдут дальше от власти к чистой организационной деятельности, все меньше, все реже прибегая к насилию, к механическим методам воздействия, а переходя к автомехании. Так в полосе „психиализма“ будем стоять перед наростанием сил теоретизирующего „класса“, который пойдет от дидактики к автодидактике, от учительства, к самообучению. И в этой полосе, как в предыдущих, отметим бесспорно целый ряд легких или боле резких переходов.

Анархизм означает конец всякого социализма, так как он решает проблему надсоциальную, проблему политики, главным образом, он и означает начало „психиализма,“ так как при нем высший класс, одолевая социоолгию, одолевая организаторство, переносит свой центр деятельности в сферу психики, преимущественно.

И раньше прибегали к помощи обработки психики, к помощи распространеняи учений. Но различия психического свойства были сравнительно невелики, опираясь на них одних нельзя было руководить общежитием.

Эта стадия вступит в свои права при анархизме, когда место организаторства займет дидакторство.

Дидакторство не тем лучше организаторства, как утверждает, думает филистерство и напвизм, что оно вольнее, представляет больше вольностей и меньше запретов, а как раз наоборот. Дидакторство будет больше предписывать, больше регулировать, больше указывать, больше нормировать, нежели организаторство. Организаторство тем и плохо, что в виду его содержания раздела между организуемым и организующим, оно не в силах овладеть, как следует организацией, планомерностью. Так как указания организатора, в виду его отделенности от организуемого, толкуются зло, криво, вызывают возмущения, дают будто место для злоупотреблений организаторскому классу, тем ослабляют его влиятельность, его воздействие

Класс организаторов именно из-за того, что он занимает особое положение, то он не в силах в достаточной мере оказывать давление на организуемых и упорядочить жизнь общежития.

В виду этого организаторство должно будет уйти. Оно не может устоять против центробежных сил, против упадочных элементов, против демагогических приемов оппозиции. А, главное, будучи отделенным, оно, просто, не сможет исторически выполнить, как следует, функции налажения организации.

Наемничество уходит, т.-е. оно преодолевается, буржуазное общество, способ правления и производства рушится именно по вине неумения наладить, координировать те общественные силы, которые оно вызвало к жизни. Буржуазный мир рухнет из-за его вольностей, из-за отсутствия запретов, из-за отсутствия планомерности, упорядоченности.

Буржуазия, высший класс, руководящий класс не в силах был овладеть рабочими, „низами“. Не в силах был по вине и частной собственности, которая является отсталым институтом, негодным, неподходящим, не дающим возможности выявить всю социальную важность, всю социальную ценность функции, выполняемой высшим классом, и тем кладя ему по пути выполнения им его задач непреодолимые затруднения. Частная собственность придает общественной функции буржуазии частный характер, тем она маскирует и губит ее.

Буржуазия не в силах была заставлять рабочих работать, так как их работа, не смотря на то, что по внутренней сущности она была определенно общественной, но по своим внешним проявлениям, по форме она имела вид чего-то частного, регулирующегося с помощью гражданского кодекса, с помощью частного договора, и вследствие этого казалось, что рабочий работает не на благо общежития, т.-е. в конечном счете на себя, а на частного владельца, на частного заказчика, на частного хозяина, а это губило все производство.

Конечно, глубже вникая, видно было, что и при буржуазном порядке работа идет на благо общежития, т.-е. работа идет на самого себя, на поднятие благосостояния, на общее хозяйство. Так как частное внутри, в глубине, было общественным.

Но в этом же самом и лежит основной дефект буржуазного хозяйства, что оно общественное трактует и оформляет, как частное.

Труд, являясь, по существу, социальной, т.-е. ин теридивдидуиально функцией, буржуазный недоразвитый мир рассматривает как дело индивидуальное.

И этим мешает общежитию, в лице его лучших представителей, в лице его нарождающегося высшего класса, упорядочить хозяйство, не давая ему придавать труду надлежащий вид общественной работы, общественной повинности, обязанности, раз навсегда выяснив, что труд не может быть совершаем при предыдущих отсталых формах и приемах, что он, труд по хозяйству, не может быть рассматриваем, как частное, личное дело.

Из-за негодной, одолевшей формы пришлось и придется ликвидировать буржуазный порядок, т.-е. частно-владельческий способ трактовки общественных функций.

Наемничество должно уступить свое место товариществу, собственничество—организаторству.

Бесспорно, что организаторство содержит в себе более предписаний, норм, указаний, запретов, законов, чем собственничество.

Наемничество тем и не годилось, что оно не могло, по вине его неподходящей формы, налечь всей силой на трудящегося, внушить ему мысль о важности его дела, его работы и тем подтягивать его, поднять его, указать ему, что не только частная собственность есть кража, но и отсталый труд есть кража. Труд должен быть нормирован.

Рай дикарю рисовался в виде сада без запретов, и то он сохранил один запрет.

Культурная жизнь изобилует предписаниями, нормами. Человек культурный, организованный, интеллектуально развитый, более упорядочен, его день распределен, его порядок дня установлен, чуть ли не незыблемо. Он полон запретов и предписаний, он кругом себя имеет целые кодексы технического свойства. Если хочешь достигнуть, таких и таких результатов, то поступай так и так. Результаты определены и действия, приемы, дела, шаги, предпринимаемые определены, зафиксированы, заранее указаны.

Рост запретов, рост норм есть рост культуры. Борьбу надо вести и вели ее всегда против определенных запретов, устаревших, одряхлевших, потерявших всякий смысл, но не против запретов, против предписаний, против распоряжений вообще, как думало филистерство и наивное мышление. На деле борьба велась в противоположной плоскости, против малочисленности запретов и против того, что они, старые предписания, не отвечали новым условиям, не умели их регулировать по вине своей ветхости, отсталости, устарения.

Религия потому ушла, уступила свое место науке, что она не умела дать ответа на запросы жизни, не имела достаточно ясных, определенных указаний, как поступать, как действовать. Целые отрасли отходили от нее, пока ее, вообще, не вытеснили, оттеснили, пока она не сузилась до самоотрицания.

Медицина была в руках науки. Религия отказалась лечить. Купля-продажа, хозяйственный оборот в руках науки. Гигиена в руках науки. Следовательно, религия оказалась не при чем. И тогда подняли вопль о ее деспотизме, о ее тирании, когда следовало кричать о ее „анархии“.

Но рок наивности тяготеет над всем мышлением.

Религия ушла, потому что она мало запрещала, т.-е. мало, недостаточно регулировала жизнь.

И так везде и всюду.

Феодальный мир был преодолен буржуазным. Буржуазный мир окрестил себя свободным порядком, говорил много о свободе.

На самом деле феодальный мир, мир отдельных сеньорий, мелких ничтожных единиц политических, раздробленного общежития уступил свое место более организованному, более сплоченному, более упорядоченному миру буржуазных отношений, являющихся в политике олицетворением национального начала.

Феодальный мир держал политику в клетке частных отношений, в этой ужасно узкой, до затхлости узкой, сфере. Не было понятия о господстве, а царствовали беспредельно понятия частно-владельческие, патримониальные. Феодальный мир ушел, ибо он не умел организовать как следует, отвечая нашим запросам, общежития.

Феодальный мир имел частную политику.

Буржуазия подняла политику на ступень национального дела, национального предприятия, создала господство вместо царствовавшей, пронизывающей все житейские отношения собственности.

Буржуазный мир тем и лучше феодального, что он отошел от собственности, от свободных договоров в области политики и поднялся до высоты господства.

Господство выше, лучше собственности частной, так как с его помощью легче было регулировать взаимоотношения людей, можно было ввести больше планомерности, больше урегулированности, больше строгостей и меньше самостоятельностей, самостийностей, сепаратизмов, федерализмов и проч. варварств, с его помощью был создан единый кодекс, одно право, а не каждая деревня с ее обычаем и каждый город с его поровом.

Был создан единый язык, одна орфография, одна грамматика, одна национальная культура вместо безконечного множества провинциализмов и самостоятельных наречий.

Господство было „строже", было сильней принципа частного владения и поэтому оно восторжествовало, оно победило разрозненный, раз'едаемый областничеством, мелкотой старый феодальный мир.

И буржуазный мир, наемничество будет одолено социализмом, потому что он строже, он тверже, он сильней, он могущественней. Потому что он отошел от частной собственности даже в сфере хозяйства, он создал следующий шаг за либерализмом. Он поднял хозяйство, он поднимает его на высоту национального дела.

Наемничество слишком расхлябано, слишком вольно, слишком частно. Социализм победит своей строгостью.

Что дает ему возможность проводить такие строгости, которые буржуазный мир не был в силах проводить? Свою силу он черпает в росте высшего класса, в переходе от собственности к организаторству, от наемничества к товариществу, в том, что он предоставляет низшие функции выполнять самим низам, увеличивая самодеятельность, показывая воочию низам, что дело, которое совершается, есть общественное дело, а не частное.

Выдвигая общественный характер хозяйства, выявляя это его основное свойство, социализм предпринимает надлежащие шаги и меры к осуществлению и отправлению всех функций хозяйственных.

Таких возможностей не было у буржуазного мира, так как общественность не была достаточно выявлена. Социализм есть рост общественности, рост высшего класса, являющегося сплошь общественником.

Трудно было, мы уже раньше сказали, разглядеть в частном предпринимателе— общественное лицо, выполняющее общественно-необходимую функцию. Нужно было быть глубоким мыслителем, чтобы, во-первых, в стае грызущихся между собой собак, пусть простят мне это вульгарное выражение, видеть целый класс, охваченный единством сознания, воли и действа, класс имеющий определенные интересы, представляющие собой социально-экономическое единство, во-вторых, чтобы разглядеть, что эти отдельные субъекты, рыщущие, ищущие наживу, прибыль, на самом деле, может вопреки их собственному самосознанию, вращающемуся лишь в пределах личных выгод, на самом деле выполняют глубоко важную по своим результатам функцию общественного накопления богатств и руководства промышленностью страны.

Социализм, подымая высший класс, руководящий производством, на ступень организаторства, снял с него грязное рубище, одежду частного интереса, и облачил его в светлое облачение альтруизма и общественности.

Вместо частных лиц мы получаем определенный класс, сплоченный, спаянный сознанием важности, выполняемой им общественно-необходимой работы.

Этот класс, этот тип, как мы его называем, получает больше авторитета, начинает сейчас же пользоваться большим влиянием, и в силах создать, реорганизовать хозяйство, упорядочить труд, ибо он трудящимся лучше владеет, чем предыдущий класс, корпорация частных хозяев. Он им лучше владеет, во первых, потому, что он вырос, возрос в силе и могуществе духовно-социальном, во-вторых, и благодаря тому, что он больше пользуется услугами низов. И это умение пользоваться их услугами является следствием духовно-социального роста высшего класса, его превосхождения себя.

Организаторство уступит свое место дидакторству, т.-е. государство уступит свое место анархии без ковычек, означающей высший порядок, высшую планомерность, высчитанность действий, основанной сплошь и исключительно на самодеятельности не только в низшем исполнении, но даже в высшем руководстве, в направлении, в организации. Организаторство уступит свое место дидакторству, т.-е. автоорганизаторству, потому что организаторство, государство, даже самый высший вид его, как социали-

стическое, недостаточно сильно, чтобы овладеть, чтобы руководить, как следует общежитием и людьми его составляющими.

Государство строит все на праве, на внешних действиях. Внутренний мир, мир сознания, мир психический для него недоступная твердыня.

А внешне руководить немыслимо. Эта проблема донельзя разработана педагогами. И все ими сказанное применимо и к государству. Внешнее давление обладает огромной силой, но не достаточной, так как гражданин воздерживающийся от известного поступка только потому, что этот поступок считается предосудительным с точки зрения государства, а не с его точки зрения, воздерживается от него лишь потому, что он боится последующей за поступком кары, отместки. И потому его воздержание сейчас же улетучивается, как только он убеждается, что его не постигнет карающая рука закона.

Такой метод управления, согласитесь сами, не совершенен. И государство косвенно плодит на каждом шагу преступления. Государственность вызывает, как свое отражение, подкупность, взятничество. Так как поступки, действия противозаконные не совершаются гражданами не потому, что их считают реакционными, противосоциальными, негодными, вредными общежитию и в конечном счете и себе самому, верней всему коллективу, а лишь потому, что это запрещается законом, что за этим следует реакция внешняя, но настолько внешняя, что ее связь с внутренним смыслом запрета преступленного теряется.

А кто является в конец настоящим реагирующим? Какой-то чиновник. Поэтому само собой напрашивается мысль о подкупе данного чиновника и злоупотребление и преступление совершается.

Государство должно уступить свое место анархии, т.-е. организаторство уступит свое место дидакторству, т.-е. социомеханика, последней фазой которой является чистый вид организаторства, когда все функции низшего порядка выполняются как в высшей механике самостно, автически, за исключением общего управления, должна быть преодолена социо-дидактикой, которая провозгласит автоорганизацию, где и высшие функции исполняются „низами“..

Социализм, организаторство, я сказал, стоит под знаком социомеханики, но он представляет ее последнюю фазу, можно сказать, что социализм стоит под знаком социокультуры. Социализм собственно и означает социокультуру, он культивирует социологию.

За ним идет анархизм, который следует понимать как универсализм и интериндивидуализм, который не культивирует, а дидактирует, обучает, апостольствует социально.

От дидактики мы перейдем к автодидактике. Как переход от собственничества к организаторству совершается во имя упорядочения общежития, лучшего урегулирования его, так и переход от организаторства к дидакторству, от дидакторства к автодидакторству, полоса лежащая за анархизмом социальным, полоса означающая адидактизм, анархизм в психологии, в культуре, совершится, во имя лучшего регулирования наших взаимоотношений и под напором роста высшего класса, высшего типа „верхов“, становящихся все сильней и сильней, под напором наростания дифференциаций, становящихся все могущественней и авторитетней, так что они захватывают не только верхний этаж социальных отношений, но и низший подвал, психику, т.-е. владеющих, глубже, основательней, фундаментальней общежитием и массами.

Государство уйдет за его неумение владеть человеком, за его неумение регулировать его отношения, его неумение выявить интериндивидуальность, лежащую во всякой социальности. Эту истину надо выкопать.

Одна социальность не в силах, как и одна индивидуальность, справляться со всеми заданиями, стоящими перед нами в области упорядочения нашего общения.

Индивидуальность сглушевывает социальную сторону дела и потому сводит все дело на нет, изображая его мелким, ничтожным, ограниченным личной сферой действий и интересов.

Социальность выдвигает другую сторону, но затушевывает индивидуальный характер дела, скрывает частную заинтересованность, и тем создает почву для безконечных злоупотреблений, так как частное тянет в свою сторону, уклоняется от социального, от публичного; тут требуется синтез в виде интериндивидуализма.

Иначе силы воздействия на частное лицо будут слабы, вызовут возмущение, не будут достаточны, чтобы в окончательном виде, в совершенной форме регулировать отношения людские.

Как буржуазный мир не мог воздействовать на массы, так как все его действия были затушеваны, скрыты флером частного, личной инициативы и трудно было разглядеть в них их важную социальную значимость, что не дало возможности пред'являть больше требований к исполняющему свою работу, свое личное дело, так как ему всегда казалось, что это его личное дело.

Тем же дефектом, но с другой стороны, страдает социализм, требуется быть теоретиком, мыслителем, чтобы сорвать с него грубую, верхнюю форму и разглядеть его глубокое интериндивидуальное нутро. Этот дефект будет мешать на каждом шагу, так как он создает иллюзию у многих, что они являются жертвами общего интереса, и класс организаторов будет трактоваться, как тип общественников, пекущихся лишь об общественных делах, являющихся их делом, так как они общественны по существу.

Все это будет окончательно выявлено при интериндивидуализме. Тут ясно будет, что общества нет, что общество есть фикция, что есть интериндивидуал, имеющий об'ем универсала, что здесь везде и повсюду действуют междуличные интересы и междуличные силы. И поэтому высший класс, класс „диктаторов", класс теоретиков сможет пред'являть гораздо больше требований, сможет требовать больше послушания, больше внимания, более серьезного отношения к исполнению своих обязанностей, сможет строже, лучше, более охватывающе, универсальней регулировать, нормировать отношения человека к человеку, так как в этой регулировке, в этой нормировке никто не усмотрит чужого вмешательства, узурпации чьих-то прав, так как здесь все выполняется и предпринимается интериндивидуально, что касается общежительных интересов и задач, и дел.

10.

АНАРХИЯ.

Анархия победит государство, победит социализм, потому что она будет тверже, строже, пунктуальней, аккуратней, взыскательней, требовательней, она будет настолько требовательна, насколько добросовестный человек требователен к самому себе.

Анархия означает самый высший вид, самый цельный твердый, гранитный вид организации, самый дисциплинированный вид организации—самоорганизация.

Анархия означает возвышение анархии, преодоление „анархии" в ковычках создание из действительности, и хаоса, из беспорядочности, неурегулированности, царствующей в нашей жизни, в государстве, в междугосударственных отношениях одну единую систему, одну цельность, одно единство.

Между государством и государством в порах человеческого организма или механизма царит хаос, дикость, варварство, неупорядоченность отношений, войны решают все споры, а не организованный раз навсегда суд. Войны это междугосударственные самосуды.

Государство представляет собой организованность, планомерность, отказ от самоправства, от грубой, дикой самозащиты только извнутри, вовне, во внешних отношениях оно оставило все нетронутым, в прежнем виде безобразия и хаоса. Государство есть „анархия", есть хаос внешних отношений при более или менее сносном упорядочении внутренних отношений.

Внутренние отношения не могут быть упорядочены, так как внешние не упорядочены. Война вот бич народов и государств.

Этому положит конец мировая анархия, универсализм, анархизм, понятый как порядок, устанавливающийся самим народом под дидактическим надзором и руководством высшего класса или типа.

Анархия есть борьба с „анархией", царящей во всех сферах нашей жизни, которую наивное мышление и филистерство называют порядком и преклоняются пред ним как пред совершенной формой.

Дидакторство победит, потому что оно создает самую сильную организацию, автоорганизацию, которая, благодаря тому, что она будет фундаментирована на автике и интериндивидуализме, выявленном окончательно, будет в силах, сможет быть универсальной и в смысле об'ема, в смысле шири, в смысле охвата всего человечества и всего социального поведения до мельчайшей подробности, до мельчайшего акта все

будет нормировано, все будет регулировано, предписано, расчитано, упорядочено, подальше от случайности, подальше от каприза, от сбродства.

И если мы вместо эгалитаризма провозглашаем анэгалитаризм, дифференцитаризм, ибо эгалитаризм создала буржуазия, класс промышленников, т.-е. не развитой, наивный класс, полувысший класс, класс отживший свой век, чья культура и обществопонимание должно тоже отжить и отойти, то мы вместо либерализма, должны провозгласить дедедентаризм.

Либертаризм означает своевольничание, есть сын либерализма. И со всеми этими предрассудками надо покончить. Так как время не стоит, и мышление должно двигаться, должно уйти, вникнуть глубже в суть общежительных отношений и взаимоотношений.

Вместо этих обманных словечек ставим определенные слова, выражающие определенное содержание,—универсализм, интериндивидуализм.

Мировое общение, мировое хозяйство, единство плана, единство действа, нормированность жизни, нормированность, регламентированность общежития, один, единственный, универсальный кодекс, одни весы, одни меры, один мировой язык. Одно общение, одно хозяйство, одна культура.

И сильная организация, охватывающая все поведение без исключения, автоорганизация, одолевающая всякого рода сепаратизмы, областнические, краевые, национальные и индивидуальные. Место государства, не организованного общежития, не планомерного общения займет интериндивидуал-универсал.

И когда глубоким, вооруженным творчеством предвидения взором прорезываем завесы туманов, застилающих перед нами наше далекое грядущее, то видим еще целый ряд трансформаций. Но все эти трансформации являются не ослаблением дифференциаций, существующих в нашем общежитии, а наоборот они являются следствием роста и углубления, их восхождения.

И прогресс человечества есть восхождение „верхов“ до невероятности, до небывалой высоты. Рост культуры дает возможность роста. Не выживание наиспособнейших, а преуспеяние, расцветание пышным цветом наиспособнейших при выживании всех, всех, даже самых неспособных.

Низы идут вверх, сам верх подымается все выше и выше, до необозримых высот.

Дифференция становится все глубже и основательней, из области чистой социологии она переходит, отраженным способом, в психологию, из психохологии в область физиологии, настолько глубокой она может стать.

Но в этом периоде лежит несколько тысяч лет. И неужели имеем право заглядывать так глубоко, засматривать так высоко!

Социофагия, Социомехания. Социо-культура. Социодидактика.

Социодидактика означает психофагию. Затем пойдет психомехания (психокультура) психодидактика (одно философское руководство).

А затем начнется тот же цикл, захватывая физиологию. Ибо разделение труда в'ется в самую плоть. И пойдет новый цикл.

Но я уже захватил слишком далекий период времени. Это более, чем лишне. Достаточно нам указать первый этап, первую ступень. А там видно будет.

VII.

Либертаризм или дедендентаризм.

Свобода! Это слово фигурировало и фигурирует почти во всех программах. Это слово красовалось и красуется чуть ли не на всех знаменах. Кто не обещал свободы? Все ее обещали народу, массам при всяком и каждом историческом случае. Кто ее дал народу, народным массам? Никто.

Все обещали, никто не исполнил своего обещания и никто не исполнит. Ибо подобные обещания это посулы на ветер. Это социальное фокусничество.

Употребление этих словечек, как орудий социальной борьбы, говорит лишь о низком уровне сознания масс, если таким оружием еще можно пользоваться, если таким оружием приходится пользоваться.

Что пустые слова без содержания! К этим пустым, золоченым орехам принадлежит и слово свобода. Свобода. Народная свобода. Как это гордо звучит! Но только звучит.

Социальное, политическое пустозвонство! И если поныне старо-анархисты размахивают этим тряпьем, как знаменем, как хоругвью, то это доказывает, что эти люди не знают, что Богиня свободы давно умерла и давно похоронена на кладбище предрассудков со всеми метафизическими понятиями.

Это слово путало головы, пьянило сердца, навевало сны—но в реальной, трезвой жизни оно себе места никогда не могло отыскать.

Беспощадная реальность разрушала эту иллюзию.

Лишь вечно наивные, вечно утопические, вечные дети, как старо-анархисты, могут еще продолжать шептать ей молитвы, ей, давно умершей, давно истлевшей.

1.

Свобода частная и национальная.

Слово „свобода", как еще целый ряд слов и словечек, созданных в XVIII-м веке, или ставших боевыми лозунгами этого века, является плодом незрелой метафизической, точнее метасоциологической мысли.

Свободы нет, не было и никогда не будет. И свобода есть пустое слово, и реакционное, дикое, варварское понятие.

Каждый раз, когда теоретики пытались это слово расшифровать, то они в него вложили содержание диаметрально противоположное тому, которое обыкновенно вкладывалось в него, так сказать, инстинктом, подсознательным.

Свобода подсказана нам инстинктом, атавизмом, нашим первобытным человеком, сидящим глубоко в нас.

Теоретики то и делали, что чистили это понятие. Они чистили, чистили, пока осталось одно пустое слово, одна шелуха, которую мы с легким сердцем выбрасываем.

Древний сознательный мир понимал под свободой *участие*, соучастие. В древнем мире существовала прямая, непосредственная демократия, с одной стороны, и рабство, с другой стороны.

Быть свободным означало участвовать непосредственно в решении всех вопросов, касающихся планомерного функционирования данного общежития.

Разве это содержание не противоречит поверхностному пониманию свободы, трактующему инстинктивно свободу, как своеволие, как „моему здраву не препятствуй".

Новое понимание свободы, буржуазное толкование этого слова: невмешательство. И было создано даже слово, как либерализм. К чему же все это свелось? Тут на самом деле толкование свободы подходит близко к инстинктивному пониманию, к варварскому пониманию и толкованию этого слова.

Близко подходит, но не совсем. Так как невмешательство есть отрицательное определение, инстинктивное подсознательное толкование вкладывает здесь положительное содержание: я могу делать все, что хочу, то-есть могу и вмешиваться.

Либерализм. А содержание: Манчестерство. Экономический партикуляризм.

Не есть ли это простой самообман. Здесь самостоятельность, партикуляризм в области хозяйственных отношений.

Что означает самостоятельность? Указание предела государственному вмешательству.

Есть ли тут полный отказ от государственного вмешательства? Нисколько. В противном случае все хозяйственные отношения, все собственнические отношения регулировались бы совершенно самостоятельно. И нарушение собственности, кража и прочие преступления не должны были подвергнуться авторитету государства.

Но ничуть не бывало. Лишь область законных действий и законных поступков лежала как бы вне государственного контроля. Пока действия были з а к о н н ы, до тех пор государство не вмешивалось.

Тут несуразность, непродуманность, какое то тупоумие и бессмыслица. И поэтому эта „свобода" была самым беспощадным образом развенчена.

Либерализм никогда не был выдержан, да он и не мог быть выдержанным, оставляя государство в области политики, как последнюю инстанцию, к которой апеллируют в случае нужды.

Резок и меток был социализм, нападая на эту самую слабую сторону буржуазного мировоззрения.

Либерализм не выдерживает никакой критики. И он не может выдержать, так как он базируется на метафизическом понятии свободы. Невмешательство. Если довести эту идею до конца, то вместо невмешательства мы получим несоприкасательство, т.-е. полнейшее разложение общежития.

Но либерализм был эклектичен. Он не хотел выйти из заколдованного круга хозяйственных законных сделок, феодализм отменен законом, в эти отношения государство вмешивается, рабство отменено законом, но одно наемничество, считающееся допустимым, не подвергается регламентации...

Непоследовательность была сейчас же обнаружена, и началась эра вмешательства, появилось так называемое рабочее законодательство и инспекция труда.

Особенно распространяться на эту тему не стоит, благо солнце либерализма можем считать закатившимся.

Невмешательство было фиктивное, невмешательство касалось очень ограниченной сферы деятельности, которая была кругом огорожена запретами, скажем, воровать нельзя, грабить нельзя, растаскать всю фабрику нельзя, взять с собой фабрицированный продукт нельзя—тут поневоле пришлось согласиться на заработную плату, на „добровольный договор".

И, на самом деле, определить свободу, как невмешательство никак нельзя. Так как уже сказано, невмешательство, чтобы быть выдержанным, должно дойти до несоприкасательства, до полнейшего партикуляризма, до полного развала общежития.

Буржуазия же планировала партикуляризм в области хозяйства. Партикуляризм же ее был построен на полуобщественном труде.

Хорош партикуляризм крестьянина, ведущего замкнутую, полузамкнутую хозяйственную жизнь. Но буржуазия, строившая все на совместном труде, на скоплении тысячи тружеников в одном месте—какой цены мог быть ее партикуляризм! Он был лишь анахронизмом, остатком феодального порядка. И буржуазные мыслители сейчас же отказались от своей пресловутой теории, отказывались, сдавая позиции по частям. Либерализм совершенно не выдержан, сшит белыми нитками. Нельзя же говорить о невмешательстве, там, где отношения переплетены, где есть общежитие. Основа общежития это вмешательство И либерализм, в известном смысле, антисоциален.

Надо отдать справедливость социализму, что он пытался покончить с этой метафизической иллюзией, что он пытался высвободиться окончательно из-под обаяния этого социального божка, этого идола непродуманности, недоразвитости социальных хозяйственных отношений. Социализм нанес ему сокрушительные удары. Но к сожалению не смел окончательно его уничтожить, и на его знаменах в угоду толпе суеверов, поддакивая диким инстинктам масс, вы находите рядом со словом равенство и слово с в о б о д а. Дань буржуазному миру.

Социализм еще достаточно метафизичен, чтобы относиться с некоторым респектом к такому метефизическому понятию. Буржуазный либерализм держался на двух началах: на индивидуализме и на национализме. И тут и там, как в области индивидуального, так и в области национального, она декларировала либерализм, т.-е. невмешательство, и тут и там она проповедывала свободу, личную свободу в области хозяйственных отношений, народную свободу в области политических отношений. И тут и там ее либерализм был невыдержан, эклектичен и лицемерен.

В области внутренних хозяйственных отношений он был не выдержан, во-первых, уж по одному тому, что в области политических отношений над отдельным, над партикуляристом доминировала нация, целое, государство; во-вторых, потому, что невмешательство не может быть выдержанным принципом ни теоритически, ни практически.

В области национально-политических отношений это учение было невыдержанным и лицемерным, так как практика его опровергала на каждом шагу.

Чтобы обосновать невмешательство надо было создать учение о н а ц и о н а л и з м е, о суверенитете.

Эти два учения персональный индивидуализм и национальный индивидуализм, названный национализмом, вечно сталкивались, так как, бесспорно, что один противоречит другому. Если нация суверенна, то индивид должен уступить свою суверенность нации. Если же индивид суверенен, то нет нации.

Эклектизму это возражение, напрашивающееся само собой, не мешало. И буржуазное мировоззрение держалось на этих двух основах, в области хозяйства выступает партикулярист, отдельное лицо, в области политики опять отдельное лицо, но не простое, а сложное, в виде нации, государства. Внутренний партикуляризм был никчемен, так как фактически не было в буржуазном капиталистическом хозяйстве партикулярных, замкнутых экономических единиц, если таковые и были, то они существовали где то по темным углам хозяйственной деятельности, спрятавшись за паутиной прошлого и пройденного, это были какие-то жалкие анахронизмы, дождавшиеся метлы, золотой метлы, могущей основательно, золотого буржуазного века.

Высший, национальный партикуляризм, базирующийся на суверенитете нации был никчемен и есть никчемен, так как нет фактически самодовлеющих, самостоятельных, автоархических политических единиц. Везде и повсюду дает себя чувствовать международный оборот, международное право, международные союзы, коалиции и прочие об'единения.

И как характерно, что как экономический индивидуализм, так и национальный индивидуализм, государственный, быт создан тогда, когда он должен был уступить свое место новым формам жизни, он был создан тогда, когда он доканчивал свой цикл развития.

Экономический партикуляризм имел базу тогда, когда господствовал единичный труд и собственность была трудовой в полном смысле этого слова. Но такая собственность не нуждалась в особой защите, она была настолько естественна, что на нее никто и не покушался бы. Собственность, являющаяся суверинитетом экономическим по отношению к отдельному лицу, стала нуждаться в регламентарной защите именно тогда, когда она отошла от труда, когда она перешла от труда физического к труду социальному. Этот переход совершила буржуазия, от физического труда она отошла, к социальному не окончательно перешла, таким образом образовалось переходное состояние, старые производственные отношения, отношения собственности сохранялись там, где уже должны были дать себя чувствовать отношения господства. Но нехватило творческой силы, чтобы образовать эти новые отношения. И остались старые формы, облегающие новое содержание.

Собственность есть там, где собственник вступает в непосредственные отношения с вещью, над которой распространяется его власть, его господство, его право.

Капиталистический мир в смысле хозяйственном есть отход от собственности, в этом его величайшая заслуга. Он уничтожает старые отжившие формы, но он зачаточен и не всилах создать новые формы. Эти формы попытается создать социализм. Это те формы, которые существуют в политике.

Во время такого кризиса, переживаемого понятием собственности, приходилось особенно подчеркивать право собственности, тут требовался особый фанатизм, особая цепкость, липкость, привязанность к старым формам, чтобы сохранять собственность при этих новых, совершенно по новому сложившихся, обстоятельствах и формах.

Поэтому он так демонстративно декларировал право собственности, неприкосновенность собственности. Для удержания собственности там, где ей нет уж никокого места, так как уже появились, народились новые отношения, отношения господства в области хозяйства, — требовалось у с и л и е. Это усилие совершает декларация прав гражданина.

То же самое с тем же правом следует сказать по отношению к самоопределению наций, к суверенитету.

Когда была действительная, замкнутая жизнь народов, государства, тогда не было создано никакого учения о суверенитете. Тогда была настоящая „автархия", самодовление. Всякий чужой трактовался как варвар. Никакие отношения, никакие сношения. Государственная жизнь была замкнутая.

Древний мир имел и замкнутое хозяйство чисто индивидуалистическое, древний мир имел замкнутое общение, замкнутое государство. И он не нуждался в создании учения о суверенитете.

Основу учения о суверенитете положил Гуго Гроций, разработал его Боден.

И получило это учение широкое распространение и признание тогда, когда оно было лишено фактического базиса. Иеллинек бьется над этим учением и никак не может подогнать под это понятие все существующие государства. И он создает учение

о фрагментарных государствах. Дело в том, что с этим учением случилось то, что с учением о собственности. Его стали особенно выдвигать тогда, когда настал перелом в политической жизни, в общительных отношениях.

Мы стоим перед новым содержанием международных отношений, которое потребует новых форм. Новое содержание распирает старые формы, не отвечающие ему, стесняющие его, и делается последняя попытка удержания старых форм, старых понятий. Какая речь может быть о самостоятельности нации и государства, когда нет ни одного явления жизни одного государства, которое не вызвало бы контр-явления. Государства, нации живут бок о бок. Соседство ко многому обязывает. Существует колоссальный оборот. Политика, носящая форму национально-государственную, на самом деле, по существу глубоко универсальна, человечественна, во всяком случае ее интернациональный характер достаточно ярко уже сказывается.

И как частная собственность была анахронизмом там, где нет трудовой собственности. а есть социальный собственник в виде капиталиста, так и национальное государство, суверенитет есть анахронизм там, где государство является маленьким интернационалом, но непризнанным, как таковой, интернационалом, который вкладывают в старые формы государственного суверенитета.

И именно перед отмиранием этой формы, суверенитета, верховенства нации, являющегося синонимом народной свободы, представляющей собой такую же пустую метафизическую категорию, как частная свобода, носившая характер и название частной собственности—появляется ее насильственное теоретическое утверждение.

Социализм, который не церемонился с иллюзией частной свободы, не должен церемониться с ее сестрой, иллюзией национальной свободы, которая тоже сводится лишь к невмешательству. Но вообще социализм очень робко подходит как к развенчиванию частной свободы, так и к развенчиванию национальной свободы. Универсализм сокрушительным, смертельным ударом покончит с обоими божками, метафизическими идолами, которым не может быть места в реальной, трезвой, экономической и политической науке. Нация не имеет никаких прав, никаких свобод, никакой самостоятельности.

Социализм еще не выявил себя. Но когда он выявит себя, он отбросит эту игру, в "самоопределение нации", как буржуазия откинула феодальный мир с его политическими самостоятельными вольными городами и поместиями.

Тут перед нами вольные страны, занимающие место прежних вольных городов.

Социализм робок, труслив, что об'ясняется недостатком организаторских сил для выполнения такой колоссальной важности задачи. Но в лице своих наиболее левых представителей он пытался поднять святотатственную руку на принцип „самоопределения нации".

Не может быть речи о суверенитете, о свободе, которая означает самостоятельность, невмешательство, там, где нации, государства связаны между собой, связаны как и экономически, так и политически.

Лицемерно говорить о свободе, о невмешательстве, о суверенитете там, где свирепствует война.

Что за ценность имеет „свобода" там, где свирепствует конкуренция, там свобода сводится фактически к свободе конкуренции и свободе найма, то, что социалисты называли свобода эксплоатации. Такая свобода есть свое отрицание, так как она есть несвобода для неимущего, для другого человека, для другого члена общежития. Такая свобода не выдержана, так как в конце она вынуждена оставить государственный принудительный аппарат, вмешивающийся в междуличные отношения.

Что за ценность имеет свобода там, где существуют войны. Там поневоле свобода сведется к свободе конкуренции и к свободе договора, заключенного между сильным государством, сильной, могучей вооруженной нацией, с одной стороны, и слабой, потерпевшей поражение, с другой. Тут тот же самый „наем", но в другом виде. И если захотим употреблять социалистическую терминологию, которую считаем невыдерживающей философской критики, то здесь свобода эксплоатации одной нации другой.

Всякая война есть вмешательство, да еще какое вмешательство, во внутреннюю жизнь другого государства, другой нации. И бесспорно, что уже пора забросить эту глупую терминологию, унаследованную нами от националистов.

При социализме место национализма займет интернационализм, вместо государства отдельного, суверенного государства займет союз государств, который начнет с федерации, но окончит единством, слитностью отдельных государственных единиц.

При универсализме место нации и место интернационала, сохранившего еще принцип нации, займет универсал, который будет совершенно свободен от мертвого наследства метафизического политического мышления, от идеи свободы как национальной,— ставя вместо нации, вместо государства, человечество, вместо территории, страны—вселенную, создав совершенно новые формы урегулирования отношений, так и от индивидуальной, ставя вместо свободы, взаимную зависимость, интериндивидуальные отношения, охватывающие мир и все человечество.

2.

Либерализм.

Либерализм возрос с необычайной силой, он возродился в либертаризме, в классическом анархизме, который делал все надлежащие выводы из либеральной доктрины, не останавливаясь на полупути, не боясь довести свою мысль до логического предела.

Либерализм, как мы выяснили, состоял из двух противоречивых элементов, в этом причина его эклектического характера. В политике он стоял на национальном принципе, говорил о самоопределении, о суверенитете нации, в хозяйстве же он проповедовал идею невмешательства, неприкосновенности собственника. В хозяйстве принцип „личности", то-есть частного лица, в политике принцип коллективного лица.

Но как в одном, так и в другом он был невыдержан. Он часто переступал свои теоретические границы. Он нарушал и неприкосновенность личности, опираясь на нацию, на государство, которое верно ведало лишь политические дела, но последние никак не были отделимы от экономических дел и поневоле происходило вечное вмешательство.

Он, практический либерализм, попирал ногами и национализм, подменяя его патриотизмом, признавая право на название нации лишь за теми народностями, которые обладали национальным имуществом, в виде отечества, территории и государства, таким образом, вместо национализма в теории получился штатизм, этатизм, государственность.

И в этом эклектизме, в этой невыдержанности есть своего рода выдержанность, последовательность в непоследовательности.

Место индивида в хозяйстве занял собственник, место персонализма а п р о п р о и з м. Место нации в политике занял империалист, место национализма империализм— патриотизм. Собственность и власть заслонили собой индивидуальность персональную и коллективную-национальную.

Демократизм старался выравнить эти ломанности линии, отменяя имущественный ценз, создавая чуть ли не чистый политический суб'ект, отказываясь от собственности в гражданстве и провозглашая принцип автономизма в международной политике (Дубнов, Шпрингер, Отто Бауер), тем выдвигая нацию, как личность, как сложную единицу, как культурную и политическую категорию.

Но эклектизм, половинчатость остались. Ни уничтожение ценза и провозглашение всеобщего избирательного права, ни признание автономиии и сеймов не решает окончательно проблемы, ибо остаются лица с имуществом и лица без имущества, и остаются нации с имуществом, с отечеством, государством и лишенные таковых, довольствующиеся лишь суррогатами в виде автономии и сеймов.

Но выйти за эти пределы и остаться в кругу либерального образа мышления никак нельзя было.

Тут вступает классический анархизм, доводящий зачатки, заложенные в либерализме, до последней черты.

Невмешательство в дела хозяйственные он возводит в принцип абсолютного невмешательства. Он выдвигает крайний индивидуализм, об'являя войну государству и буржуазному институту собственности, усматривая в нем нечистый вид индивидуальной собственности.

А что касается нации и края, то он провозглашает крайний ф е д е р а л и з м, самостоятельность краев и городов, областей, провинций, дробя и кроша государство с его лживым отечеством, состоящим на самом деле из разных лоскутков. Нельзя отказать этому левому течению анархизма, индивидуализма в выдержанности.

Но одной выдержанности и логичной цельности недостаточно.

Дело в том, что этот путь ведет к разложению всего общежития, к раздроблению его.

И это не решение проблемы, а уничтожение проблемы.

Государство разложим на составные элементы, на края, на города.

Общежитие на атомы. Тут полнейший атомизм.

С помощью свободы решил анархизм (классический) все проблемы социальные. Он провозгласил свободу, как абсолют, в чем же его ошибка? Его ошибка в том, что он идет обратно, к исходящей точке.

Если от государства пойдем обратно к вольным городам и краям, то вернемся к прелестям средних веков, к тем кошмарным вечно нескончаемым раздорам, междуусобиям.

И такая свобода немного стоит.

Это не прогресс, а полнейший регресс. Если же общежитие свести на атомы, то это уже означает полнейшую смерть общежития, и вместе с тем и отдельного человека. Так как нигде не находим изолированного человека, разве в спекулятивном рассуждении.

Оставить человека изолированным никто не решился, пришлось создать, конструировать нового вида об'единение, как, скажем, „союз эгоистов".

Как только образовался союз, то он уже лишает отдельных членов его их „свободы".

Что же касается федерализма, то, во-первых, надо его довести до отдельного селения или до отдельного дома—коммуны, но и тогда он будет неудовлетворителен, пока не доведешь его до отдельного человека. А тогда он лишен, ибо индивидуализм и без федерализма достаточен.

Либерализм шел по об,ективным признакам личности, отдельного лица, как частного, так и коллективного, отказываясь от суб'екта: вместо личности—собственность, вместо нации—отечество, империя.

Федералистический анархизм держался того же направления, требуя для каждого лица известной суммы имущества, собственности не для отдельного человека, а для каждого коллектива: частной территории, отечества, возведя федерализм в верховный принцип.

Более монистичен так называемый анархизм индивидуализм. Но оба попали в тупик социологический по вине либерализма.

Либерализм не тем дефективен, что он половинчат, не консеквентен, а тем, что он метафизичен. Он плод метасоцики, непродуманности общежительной сложной проблемы.

И выдержанный либералузм несуразнее невыдержанного, так как в первом больше элементов метафизики, чем в последнем.

Для решения общежительных проблем надо исходить всегда из принципа депендентаризма, зависимости, а не из начала свободы.

Свобода—есть чистейшая метафизика, это какое-то допотопное понятие.

Кто не освободится от этого предрассудка в социологии, тот окажется беспомощным. Универсализм, интериндивидуализм стоит на обратной точке зрения, вместо свободы он постулирует зависимость. Дело в том, чтобы правильно, планомерно, целесообразно организовать эту зависимость. Должна быть создана правильная выдержанная насколько возможно взаимная зависимость. Интериндивидуализм можно было назвать интердепендентарнзм.

Либертаризм ошибочен потому, что он либерализм, но крайний, радикальный. Вместо невмешательства надо поставить полнейшее вмешательство, которое должно принять форму взаимного равного вмешательства. Вместо свободы надо декларировать зависимость, долженствующую облечься в форму взаимной зависимости.

Мы не либералы, мы не либертаристы, а интерденденты, мы зависимцы, но зависимость наша должна быть взаимной, это во первых, а во вторых, она должна быть колоссальнейшей.

И для того, чтобы покончить с тиранией метрополии не надо прибегнуть к помощи федерализма, областного партикуляризма, а наоборот, к унитаризму, к полнейшему преодолению федерализма, ибо и патриотизм, охват целого ряда отдельных краев в виде одного государства есть лишь более широкий федерализм. Надо покончить

с идеей верховенства нации, суверенитета государства, его права на отечество, на территорию, доведя отечество до предела вселенной, мира. Унитарный универсализм положит конец патриотизму, земельному централизму, но никоим образом не федерализм, дробящий отечество, представляющий каждому мелкому коллективу, каждому племени свою настоящую родину.

Переход от отечества к родине есть возврат к пройденным ступеням, есть уменьшение, сужение зависимости, то-есть уменьшение солидарности, связуемости краев, стран, областей—это реакционно.

Метафизическое понятие не может не быть реакционным.

Метафизическое понятие свободы реакционно насквозь. Оно силится задерживать развитие. В сущности, что за ценность, что за смысл имеет федерализм в значении свободы областей, когда с каждым днем пространство и растояние, благодаря новым усовершенствованным средствам сообщения и, главное, благодаря завоеваниям в области воздухоплавания, суживается, укорачивается, уменьшается, и края и области все более и более срастаются, сближаются. Мы все утопаем в одном воздушном море, мы все дети одной воздушной стихии и нет преград, нет ни гор ни пропастей, отделяющих край от края, география сдает последние свои позиции. Ни моря, ни реки, ни пустыни, ни горы нас не отделяют. Одна прямая дорога, одно море, в котором мы, как рыба живем со всеми нашими городами и странами.

Решение национального вопроса политически не надо искать по реакционному пути, в роздроблении государства, в выдвигании на авансцену провинции, отсталого края, в предоставлении разных лицемерных самоопределений, в прикраивании каждой нации особой берлоги, названной родиной. Решение проблемы лежит в обратном направлении, в синтезе, в слиянии отечеств, в отрицании и отечества, не то, что родины.

Заслуга патриотизма в том, что он положил конец провинциализму, идее родины, областничеству, что он подкопался под принцип самостоятельности краев. Верно, он это делал жестоко—дико, варварски, кровопролитно. Но это пройденная ступень. Он оторвал нацию, племя от его местожительства, приобщая ее к огромному пространству, ставшему второй родиной, политической родиной.

Оторвал, вывел из тесных рамок самостоятельности и ввел в широкий круг интересов и отношений.

За отечеством должен пойти новый, более широкий вид родины, доведя нас до охвата всей вселенной. И когда доходим до этой точки, то мы вновь возвращаемся к идее родины, но родину мы понимаем так, как следует цивилизованному человеку это понимать, наша родина—вся вселенная, мы родились на земле, под солнцем, под небом. Всюду восходит над нашими головами утром солнце, всюду ластится под ногами твердая земля, всюду нас окружает наш отец—океан, это вечно прозрачное, вечно катящее свои волны и волнушки море воздушное.

Проблема национализма и культурно должна таким же способом решиться. Пока существуют десятки национальных культур, нет культуры; несчастные, мелкие народности гонятся за великими и не могут их догнать. Какое жалкое впечатление производят все эти ничтожные литературы этих несчастных, крошечных народиков, силящихся раздуться в волов. Национальный язык, национальная культура. Но разве они могут добиться того, чтобы у них была своя серьезная литература, содержащая общечеловеческие ценности. Этого добиться они не могут. Слишком велика конкуренция. Им не устоять. Лучшие их силы их оставляют и уходят работать на другие поприща, ибо там простор, ширь.

Мне эти „культуры“, эти литературы напоминают кустарничество, соперничающее с крупным машинным производством, влачащее жалкое существование, обрекающее своих тружеников на полуголодное, духовное существование, и в конце-концов, вырождающееся.

Решить эту проблему надо созданием универсальной литературы, сначала интернациональной, затем слиянием интернациональных культур, литератур в одну мировую.

И сколько бы человечество от этого выиграло. Конец настал бы этому вечному литературному обмену, этой вечной несчастной торговле ценностями, с ее бесконечным количеством торговцев, посредников, переводчиков.

Какая орава, какая пропасть людей, тратящих свои силы напрасно, зря.

И большинство ценностей остается недоступным большинству народов, большинству человечества.

Нечему удивляться нашей духовной нищете, раз все силы уходят у нас на переводы, раз нас разедает такой проклятый партикуляризм, такая обособленность.

И некоторые недалекие радетели народных масс пускаются на то, чтоб возродить давно заглохшие народные наречия.

Тут мы встречаем своего рода духовный, культурный федерализм, верней, областничество, местничество, враг всякой здоровой культуры. Культура возростает от сотрудничества, от совместной деятельности тысяч и миллионов деятелей, творцов, тружеников на этих поприщах.

Воскрешение наречий, провинциализмов есть дробление культуры, литературы, есть реакционное явление.

Надо уйти к универсализации культуры, литературы, художества и прочих ценностей. Духовное хозяйство должно итти и пойдет по тому пути, по которому пойдет политическое хозяйство, то-есть общение и экономическое хозяйство, то-есть хозяйство в собственном смысле этого слова.

Раздробленность хозяйства губит наши богатства. Раздробленность общений губит наши политические достижения, понижает производительность социально-политического труда, низведя благоустроенность общежития чуть ли не на нет, так и раздробленность культуры, множественность языков доводит нас до нищенского состояния, мы тратим неимоверное количество сил и энергии на изучение языков, мы пишем, творим, и наши творения остаются недоступными большинству человечества.

Всему этому положит конец интериндивидуализм, универсализм, который создаст мировые ценности в мировой общечеловеческой форме.

Что касается решения проблемы отдельного человека, то здесь и путь к решению, к пресечению всех гордиевых узлов, решение проблемы лежит не в свободе, являющейся всегда обманной, лживой, никчемной, пустой, а в зависимости, и в расширении об'ема зависимости, и в претворении ее в взаимную зависимость.

Сколько бы ни говорили о самостоятельности отдельного человека, ничего из этих говорений не выйдет, так как изолированно жить нельзя. И союз эгоистов есть союз, есть об'единение, есть общение. Довести мысль о самостоятельности, о невмешательстве до конца, значит отречься от общежития, от общения, значит на самом деле перестать быть человеком. Договориться до этого, не робея, никто не смел. Никто не пошел в своих построениях до этой черты.

Решение вопроса лежит в обратном направлении, в отказе от самостоятельности, в отказе от замкнутости.

Замкнутость есть неотделимый признак всякого дикого и полудикого состояния.

Свобода, как самостоятельность, как замкнутость, есть варварство.

Моя свобода в свободе другого,—пробовали афоризировать некоторые авторы.

Но где граница? Где предел? Где рубеж? Где кончается моя свобода и где начинается его? Мне можно делать все, если не затронуты интересы другого, если не выйду из круга моих личных интересов. Кто начертит этот круг? Кто укажет, где он соприкасается со смежным кругом? Не пересекаются ли наши круги, не концетричны ли они?

Понятие свободы мешает, путает, забивает голову социолога метафизическим хламом, оказывающим в лучшем случае реформатору или революционеру медвежью услугу.

Эту зависимость надо провести как и в политике, так и в хозяйстве, так и в культуре. Нечего заниматься химерой наделения каждого отдельного собственностью, имуществом.

Рост производства—это рост зависимой собственности, это отказ от собственности, это утверждение взаимной зависимости в труде и, следовательно, во владении.

Собственность частная—есть остаток замкнутости, самостоятельности хозяйства и труда.

Труд принимает все более и более характер интериндивидуальный, то-есть взаимнозависимый, он перестает быть „свободным", самостоятельным. И не может быть речи о свободном владении, о свободном имуществе.

Рост культуры, рост цивилизации—это рост зависимости, а не рост свободы и самостоятельности, замкнутости, изоляции.

То же самое в политике. Число членов коллектива, целого возрастает с каждой стадией цивилизации социальной. И с тем вместе возрастает число агентов и контрагентов зависимости, творенной общежитием.

Сущность всякого общения—это взаимозависимость. Там, где нет зависимости, там нет общения, там есть изоляция, там есть замкнутость.

Дружба, и та обязывает, создает зависимость. Любовь тем более, не даром поэты, как Гейне, рисуют влюбленного, как связанного по рукам и ногам, но он связан цветами, а не оковами.

Общение есть связь, и связанность есть, как мы сказали, зависимость.

Но как связуемость любви достигает своего совершенства во взаимности, в обоюдности, так и общежительная зависимость правильна, нормальна, когда она взаимна. Благоустроить общежитие значит решить правильно проблему з а в и с и м о с т и, значит отказаться совершенно от метафизических мечтаний о свободе.

Зависимость должна расти, доходя до предела, охватывая своим об'емом все человечество, не оставляя вне ее сферы ни одного человека.

Мизерность, гибель культуры—это мелкота об'ема зависимости.

В первобытном состоянии предел зависимости—это предел семьи патриархальной, затем клана, народа, наконец, группы народностей, соединенных в одном государстве. Все это мелко. Предел зависимости должен расти до охвата всех живущих на земле, выходя за пределы государства, ширясь до Универсала, до Интериндивидуала.

То же самое относительно зависимости краев, областей. Всякая самостийность говорит о скудости культуры. Ибо в противном случае края были связаны воедино, срослись бы, слились бы, сроднились бы, во всяком случае.

Стремление к автономии вызывается, как реакция против насильственных, диких, варварских присоединений, происходящих насильственно. Но сам процесс автономизации, то-есть дробление, самостоятельность, есть реакционное явление, оно имеет свое оправдание в грубом проведении централизма, губящего своей формой здоровое содержание.

Рост зависимости, рост связи есть рост культуры.

Культура есть зависимость, взаимная зависимость. От односторонней зависимости, мы переходим к двухсторонней, а не к самостоятельности, к независимости.

В этом пункте узел всех социальных ошибочных учений, они, констатируя одностороннюю зависимость, разумев, что это положение ненормально, делают вывод о желательности с в о б о д ы, о разрыве связи, о самостоятельности, что совершенно ошибочно и недопустимо, так как разрыв связей есть распад, развал, а не рост, не улучшение, а ухудшение, не квалификация, а примитивизация.

Прогресс идет от односторонней связи к двухсторонней, к обоюдной, к взаимной связи.

И рост зависимости означает взаимность, переход к взаимной зависимости.

Периферия зависима от центра, от метрополии, положение, заслуживающее исследования и требующее исправления, но никоим образом не в сторону о т л о ж е н и я, отхода, разрыва сношений, а, наоборот, более тесной связи, переходящей к двухсторонности, к взаимной зависимости, к взаимодействию между центром и периферией, к слиянию их воедино, к созданию из них одно единое целое.

Наивная мысль, поверхностное суждение ищет спасения от зависимости, от связанности в с в о б о д е. Глубокое проникновение в социальные процессы находит решение и устранение дефектов, недостатков, несуразностей, связанных с зависимостью в единении, в унитаризации, в слиянии, во взаимности.

От централизма не надо итти к мнимой свободе, к децентрализации, означающей независимость краев, самостоятельность провинции, а, наоборот, к унитаризации, к слиянию центра и периферии в одно целое, в одну целую дисциплину, к преодолению недостатков централизма, являющихся следствием ненормальности положения провинции, находящейся в зависимости от центров.

Телефон, телеграф, тем более радио увеличивают зависимость, заинтересованность, так как они сокращают, уменьшают расстояния и препятствия, стоящие на пути к об'единению людей и краев.

Соседство есть отец зависимости, смежность содействует слиянности. Соседство возрастает с средствами передвижения.

Чем затрудненнее передвижение, тем больше свободы, тем больше самостоятельности. Какое дело крестьянину, домоседу, не выходящему за пределы своего уезда или даже волости, до того, что происходит за тридевять земель, где то вдалеке, в столице или за рубежем. Ему никакого дела до этого, так как он и не подозревает о происшедшем там важном событии.

Культурный же человек, которому все человечественное не чуждо, связан и, следовательно, зависим от всего, что происходит в среде человечества. Первейшая отдаленная связь это просто знание, „умножающий знание умножает горе“ (Экклезиаст) следует понимать, как увеличение об'ема, круга зависимостей, забот, интересов, потребностей.

Если не предрассудок, являющийся и поныне, несмотря на то, что социализм попытался было его пошатнуть, господствующим в умах и суждениях об устройстве общежития, коренной и основной предрассудок XVIII—XIX и XX-го века о свободе, о жажде к свободе, о личной свободе, о народной свободе, о свободе везде и повсюду, даже в любви—где уж во всяком случае надо было говорить не о свободе любви, а о насилии любви при сожительстве и о взаимности влечений, но этот предрассудок настолько овладел умами, что его всюду протаскивают и суют—не стоило бы так долго останавливаться на таком азбучном положении. как рост зависимости.

Урожай в Америке вызывает падение цен в самом глухом уголке хлебородной Росси и обратно.

Наш век есть торжество зависимости. И это шаг вперед. Но, к сожалению, эта зависимость стихийна, не планомерна, она не оседлана, общежитие ею не овладело, она владеет им. Далее, она не всегда, далеко не всегда взаимна, и там даже, где она взаимна, то не в одинаковой степени.

Рост зависимости, рост интересов, рост отношений и взаимоотношений это истинная культура. От мелкого, замкнутого хозяйства, от замкнутого родового или семейного общения до мирового общения, до мирового, планомерного, единого хозяйства есть линия восходящая от самостоятельности, от так называемой „свободы“ к зависимости, которая должна стать взаимозависимостью.

3.

Рабство и свобода.

Рабство, принужденное, подневольное, механическое соединение создает естественно, как противодействие, желание—стремление к раз'единению. Чувство возмущения от насильственного сотрудничества устремляет человеческую мысль в одном направлении, в выискивании средств и способов к самостоятельной, изолированной, обособленной деятельности.

Рабство создало тягу к свободе. И на самом деле это идеал, устремление рабов, подневольников взбунтовавшихся.

Таким образом неупорядоченная социальная жизнь вызывает смутное желание уединиться, уйти пустынствовать.

Это стремление, эту сумму чаяний, стремящихся к противоположности, мы находим у всех тех, которые резко осуждают социальную жизнь из-за религиозных, нравственных ли мотивов или, из-за социальных, экономических или политических мотивов, из-за дурных сторон явления не видят его положительных, идет увлечение противоположным, хотя то противоположное будет содержать не меньше дефектов, чем предыдущая противоположность. Или оно, вообще, невозможно, немыслимо.

От подавления, совершенного подавления отдельного, создалось учение о полнейшей свободе, о своеволии. Но обе противоположности не годны.

Свобода выливает ребенка с грязной водой, вместо с элементами рабства, элементами механической, грубой зависимости, она хочет выбросить самое зависимость, само сотрудничество.

Эта противоположность, скачек из царства необходимости и вынужденности в царство свободы желала человеческая мысль, и по отношению к отдельному лицу и по отношению к коллективу.

От рабства народов перешли к свободе народов, к учению о самостоятельности народов. Разве может быть самостоятельность народов, когда они кругом связаны и политически и экономически. Об этом не заботились особенно. Главное, спастись из давящих, щемящих об'ятий рабства и угнетения, от душащего империализма.

Не об их самостоятельности надо заботиться, а все внимание должно быть уделено их сотрудничеству, их слиянию.

И если империализм, как форма слияния, был негоден, давил, щемил, угнетал и тем достигал в известном смысле обратных результатов, восстаний, бунтов, отложения и вечные стремления отложиться, отойти, то надо создать новые формы, новый вид слияния, но нельзя никоим образом по дикости дать себя увлечь противоположным потоком чувств и настроений, создавая теорию и практику раз'единения, раздробления, размельчания государств.

Падение церкви как международного, междугосударственного института надо рассматривать, как временное, исторически преходящее явление. Папство, как политический институт, представляло собой огромной важности шаг вперед, это единственный утес слияния, единения, солидаризации и интернационализации, который стоял гордо средь бунтующих волн моря раздробления, мелких интересов, местничества, феодализма и с его нескончаемыми, мелкими дрязгами, раздорами.

И если институт был сравнен с землей, или почти сравнен, так это потому, что религия, как мировоззрение, оставляющее принцип божества, принцип персоны, отделенной от мира, принцип творца, стоящего над творением, над вселенной, принцип организатора над организуемым, управляемым, была слишком аристократична, слишком поверхностна и не могла поэтому овладеть миром, тем более она не могла справиться с задачами, возникшими перед ней в обществе. Нет эллина, и нет иудея, величайшее изречение, не могло получить полнейшего осуществления из-за неумения окончательно демократизироваться, онародиться, орабочиться, „онизиться“, так как религия в самой себе, в своем верховном принципе носит идею аристократизма, не здравого нормального необходимого, полезного, а того, поверхностного, который не в силах сладить с крайним демократизмом. Едино стадо и единый пастырь. Пастырей оказалось огромное количество и поэтому получилось не меньшее число стад, которые по наущению пастырей кололись и кололись, враждовали и воевали и как следствие этого оставалось не тронутым деление на разных эллинов и разных иудеев. Для того, чтобы достигнуть единства стада, надо как предварительное условие, как предпосылку уничтожить коренной разрез между пастырством и стадом, уничтожить это, разумеется, в пределах социальных, а не абсолютно, что представляет собой невозможность.

Папство, по существу, этого достигнуть не могло. И соединение, которое получилось благодаря международному характеру церкви, было слишком верхучешным, оно не мешало, не было в силах помешать вечным раздорам, вечным войнам, свирепствовавшим в пределах христианского мира.

И как сама религия вынуждена была капитулировать во многих областях перед наукой, главным образом, в сфере политических отношений, так и этот политический международный институт вынужден был пойти на нет.

Как я уже выяснил, он не об'единял вокруг себя народов, и об единение-то его было слишком непрочным, слишком тонким, которое сплошь да рядом рвалось в сфере обыкновенных верховных отношений между сеньером и сеньером, между краем и краем.

Этот институт был уничтожен и инстинкт раздробления, страсть центробежная дала себе одно время волю во-всю, и казалось, будто конец наступает всякому соединению, народы, государства об'являют себя независимыми, верховными и проч. Но это лишь казалось.

За религией идет наука, которая лучше вникает, глубже берет и крепче связывает человека с миром, с природой, чем религия его связывала с Богом. Природа понятие более демократическое, более соприкасающееся с миром. И институты политические, выросшие на этой идеологической почве, на светском мировоззрении, будут не в пример сильней. Идея национализма расшевелила нации, разрыхляла почву национальную, выдвигая на поверхность весьма отсталые, темные слои.

Затем пошла идея класса, которая еще глубже забирает своим плугом, несравненно глубже вспахивает ниву общежительных отношений; она опускается глубже, зато под-

нимается выше, неся идею интернационала. Первый, второй и третий интернационал вот семена, которые разбросаны в рыхлой почве национализма и классизма.

За ними идет заключительная идея, суммирующая предыдущие и сводящая все это в систему, в законченную, совершенную дисциплину, стремление—идеал к созданию мирового общения, не интернационал, где составные элементы еще сохраняются, как самостоятельные, в известном смысле, единицы, а универсал, охват мира, мировое общение в котором нет эллина, нет иудея, общение которое одолело идею, сознание и лице национальные, не связь народов, а человечество, как компактное целое. Как идея нации поглотила все отдельные племена и колена и семьи, поглотила, ассимилировала до неузнаваемости, так идея человечества, воплощенная в политическом институте универсала, должна одолеть, осилить, уничтожить самостоятельное существование отдельных наций.

Нация, народ, народности есть варварство, есть минимая дикая свобода. Создайте зависимость, слиянность, связь об'единения, взаимную зависимость, взаимную связуемость!

Мы идем от раздробленности, от разрозненности, от обособленности к единству, и если мы присутствуем или видим в истории великие падения великих колоссальных об'единений, то это потому, что они были слишком нефундаментально, слишком непрочно основаны, их единство было кажущееся, но не потому они рушатся, что они вообще, представляют собой единства. И после их падения, и после их разрушения мы вновь и вновь, с новой силой, с новой верой и уверенностью приступаем к построению этих политических и экономических гигантов, небоскребов, этих колоссов, свидетельствующих о нашей мощи, о нашем величии, о наших великих задачах и о нашем вечно бьющем фонтаном горячего гейзера источнике любви и бесконечной солидарности. Это верно как по отношению к связи международной, долженствующей стать универсальной и мировой и из международной, превратиться в междуличную, так и по отношению к связи внутринародной, внутригосударственной.

Государство будет подточено с двух сторон, со стороны своего рабства и со стороны неизбежно вытекающей из рабства свободы, своевольничания.

Рабство рождает свободу. Государство родит свое отрицание, как антисоциальные стремления, чаяния.

Будущие формы будут интериндивидуальными и универсальными, будущие формы не будут ни рабскими, ни вольными, ни закабаленными, ни свободными, а будут взаимно зависимыми.

Всякое общение должно быть основано и не может быть не основано на зависимости, долженствующей быть взаимной.

Человек в своей зависимости, в своей связи не пойдет по пути уменьшающейся прогрессии, отойдя от государства и возвращаясь обратно к краю, к области, к провинции, к своему родному углу, к своему селению, а наоборот, от отечества он пойдет вверх к слиянию и расширению границ отечества, к интернациональному соединению, так что его зависимость возрастет, он свяжется с миллионами, десятками миллионов людей, а затем со всем человечеством, со всей суммой наличных людей.

Свобода есть там, где есть полнейшее безразличие, полнейшее равнодушие, как хочешь поступай, ибо никому никакого дела нет до тебя и тебе никакого дела нет ни к кому.

Свобода есть там, где царствует полнейший примитив, полнейшая простота. Всякая сложность множит зависимость, увеличивает определенность. Свобода есть же полнейшая аморфность, полнейшая неограниченность, отсутствие рубежей, пределов, указаний, норм. Телега более свободна, чем вагон, входящий как составная часть в поезд.

Телега частная, садись и поезжай, путь свободен, направление свободно.

Железная дорога более определенна. Направление указано. Часы отхода указаны, расписаны, предписаны. Часы прибытия определены, нормированы.

Сложный аппарат более зависим, чем простой, и сложность аппарата, степень совершенствования мерится его определенностью, отсутствием свободы.

Обращение с сложным аппаратом предопределено, предписано, нормировано, а не свободно. Обращение с топором более свободно, чем обращение с карманными часами. Обращение с камнем еще более свободно, чем обращение с топором, которое в известном смы-

сле, уже нормировано, зависимо. определено, надо его непременно взять за рукоятку, бережно обращаться с лезвием и проч. Обращение с камнем вас совершенно не связывает, бей, кидай как хочешь, одним концом, другим концом, тут чуть ли не совершеннейшее безразличие. Определенность в смысле социальном есть зависимость, связуемость, нормированность.

Примитивный труд сельчанина совершенно почти свободен Конечно и он не свободен, так как раз он расчитывает на рынок, на сбыт его продуктов, то в выборе средств и приемов, в выборе семян и проч. он находится в зависимости от состояния рынков. Скажем, картошка совершенно никому не нужна, ее нигде не продашь, а чувствуется потребность, скажем, в овсе, то он будет сеять овес в превышающем норму его домашнего потребления количестве, а картошку только для собственного потребления.

Труд ремесленника еще более зависим, труд пролетария еще более.

Недостаток пролетарского труда не в том, что в нем отсутствует элемент свободы, а в том, что он не в достаточной степени зависим. Он должен был быть связан. со всем общежитием, частью которого он состоит, он должен был бы быть координирован в мировом масштабе, а он не упорядочен даже в пределах страны, в пределах одного национального государственного организма. Он лишь зависим, связан, расчитан, определен извнутри, в пределах данного предприятия. Отсутствие зависимости вот недостаток, губящий его труд, ставящий его так часто лицом к лицу с их величествами царем Голодом и царицей Безработницей. Зависимость здесь недостаточно развита, и, как следствие, нет почти никакой взаимности. Степень взаимности находится в прямой пропорции с об'емом, с ростом, с охватом зависимости.

Максимальную взаимность зависимость достигнет тогда, когда она дойдет до последней черты зависимости и связуемости. Когда отдельный будет зависим от всего человечества, от всей суммы наличных людей, тогда он достигнет полнейшей социальной взаимности.

Обмен в хозяйстве, оборот в общении, вот свидетели зависимости и взаимности. Но здесь зависимость зачаточная и взаимность недоразвитая.

Земля, как материальная база, язык как духовная база для воздвигания замка зависимости и взаимности.

Взаимность, исходя из нуля, идет к бесконечной величине, стремится к расширению до безрубежности.

Рабство—зависимость односторонняя. Эта зависимость создает учение—стремление о свободе, о разрыве связей.

Рождается взаимность. И при рабстве она существует, так как полнейшего пассива вообще то нет. Отраженная взаимность не прямая, а косвенная, всегда на лицо. Взаимность возрастает, из пассивной она становится обоюдной, активной.

Рост социальной культуры это рост об'ема зависимости и роста взаимности. Одна зависимость расти, развиваться не может, не переходя из односторонней связи к двухсторонней. Пока она односторонняя, то еще нет настоящей зависимости, лишь зависимость для одной стороны, это не зависимость, а кабала. Это не культура социальная.

Связи учащаются, уплотняются, выростают в об'еме, в обхвате огромного количества членов. И неизбежно появляется взаимность, являющаяся второй ступенью зависимости.

Но зависимость не останавливается, она растет, ширится и возвышается. И всегда остается область, она всегда находит область, где она односторонняя. Последняя точка устремления в социологии, это создание, достижение полнейшей взаимности в пределах социологии, образование интериндивидологии. Но тогда зависимость подымется выше, ворвется в область психологии, и зависимость примет тонкую утонченную форму зависимости ученика от учителя, разумеется, тут зависимость лишь духовная.

Но взаимность не остановится на пороге храма психики, знания, она и туда проникнет. И тогда зависимость подымется еще на одну ступень выше, забаррикадируясь, допустим в высшей философии, где получится духовная односторонняя зависимость теоретика—ученого от выводов деланных философами, где зависимость выводов от высших основоположенных постулатов будет воплощена реально в зависимости ученого от философа, от философов.

И так до бесконечности..

Рост культуры не есть уничтожение зависимости, создание партикуляризма, обособленности, так называемой свободы—свободы ли социальной или духовной, а рост зависимости, усложнение ее, возвышение ее, перенесение ее в самые недосягаемые сферы.

Интериндивидуализм, универсализм в социологии ставит своей задачей транспортирование зависимости, изгнание ее из пределов социологии и водворение ее в высшие сферы, в надсоциальные области.

Интериндивидуализм в культуре сделает следующий шаг, займется изгнанием, вернее, преодолением односторонней зависимости, вселением взаимности в сферы духа и учения, тем заставляя зависимость двигаться все вперед, все утончаясь, все усложняясь, все углубляясь, действуя более гуманно и более плодотворно, более благодетельно, уходя все дальше и дальше вверх и маня за собой взаимность, идущую по ее пятам.

Наш девиз не свобода, а взаимная зависимость.

И борьба должна вестись не в духе „взбунтовавшегося раба", остающегося всегда рабом и в своем бунте, а в духе сознательного зависимца. Борьба должна быть направлена не против зависимости вообще, а против низкой зависимости, против того, что зависимость лежит в слишком низких сферах, слишком проста, примитивна, и как следствие слишком безрезультатна, слишком недостойна, недоброкачественна.

Борьба должна вестись за высшую зависимость. Борьба должна быть направлена по линии взаимности. Взаимность, вот что надо пускать в ход.

Наивное мышление и здесь поймет этот процесс обратно. Критическое мышление понимает этот процесс как переход от меньшой зависимости к большой, к более сложной, к более квалифицированной, ибо все низшие сферы займет з а в и с и м о с т ь, взаимность, которая вынуждает, гонит вверх по лестнице бесконечного совершенствования зависимость низшего от высшего.

Путь бесконечен. Мы не можем проглядеть сквозь серые туманы его конечную точку.

Высь необразима, зависимость с каждым шагом вверх получает свое новое оправдание, свое новое крещение, играет свою полезнейшую роль в смысле облагораживания человека и его институтов.

Одно варварство говорило и говорит о свободе, варварство, догматизм и демагогия распространяются на эту тему, желая тем льстить и обманывать себя и других.

Культурный, воспитанный человек не волен, а действует по мотивам, по нормам, предписанным высшим Я низшим.

Личность не однородна, вообще не одна. Я эту тему развил в интериндивидуализме в культуре.

Личность, взята как целое в политике, как голосователь, в экономике, как производитель, в психологии же она множественность, „Я целый народ, я целое племя"... как я пишу в стихотворении озаглавленном „Я". Личность это целая деградация Я-ев и меж Я-ев. Это высшее единство, составленное из отдельных единиц психологических. Душа не субстанция, а сумма, сложнейшая сумма, это великий микро-универсал, великий внутренний интериндивидуал.

И рост человека, рост его внутренней культуры это рост его Я-ев, и рост зависимости низших от высших Я-ев.

Не свобода, а зависимость внутренняя, не делать, что хочется, а делать, что нужно, что считаю необходимым.

Кто считает? Высшее Я.

Взаимность и здесь гонится за зависимостью, одолевая низшие сферы, предоставляя и вылавливая в процесе борьбы новые высшие области, которые возникают, воздвигаются в период завоевания взаимностью низших областей.

„Свободный" человек, действующий по наущению своих страстей, своих низменных инстиктов это человек самый низкий, самый ничтожный, самый недоброкачественный, низкой породы.

Так называемый свободный это раб своих страстей, своих инстинктов, своих низших Я-ев.

Культурный человек это зависимый, связанный со всем его прожитым и еще не прожитым, а предстоящим ему пережить.

Настоящая личность отдает себе отчет в каждом своем поступке, который внутренне нормирован, обсужден, определен, а не волен, он связан мотивами и мотивы

связаны высшими соображениями, не соображениями минуты преходящей, а далекими, далскими перспективами, рисующимися перед его духовным взором, предвкушающим отдаленнейшие достижения, завоевания, возвышеннейшие под'емы духа и личности.

Одна низменность рвется к пошлой свободе, высшая личность вся как бы закована в тяжелые доспехи внутреннего сознания и познания, защищающие его от ударов, наносимых ему в борьбе со своей внутренней сволочью, своими внутренними „врагами", падшими недостойными Я-ями.

И как извнутри, так и извне идеал человека и человечества это высшая зависимость, высшая взаимность. И как наивная „свобода", то-есть отказ и восстание против своего высшего я в угоду низшему есть на деле самого худшего вида „рабство", благо это отход от высшего и подпадение, закабаление себя низшим, страстью. И эта мнимая, „свобода" есть действительное фактическое рабство, кабала страстей, инстинктов, подсознательного, низших сфер духа.

Так и мнимая свобода социальная есть на деле фактическое рабство, кабала, есть отказ от высших форм в угоду низшим. Отход от общежития и приход в тиски природы физической, географической.

Освобождение от ига социальной природы ознаменуется в таких случаях, при нежелании регулировать, организовывать, плановать свою зависимость, закрепощением физической географической природой,

Это шаг назад, а не вперед.

Эта кажущаяся свобода всегда переходит в свое противоречие, в рабство низшей пробы.

4.

От свободы к зависимости.

История человечества есть отход от свободы и безконечное приближение к все большей зависимости, к все высшей зависимости.

Наивное мышленее констатирует обратное. И поэтому оно формулирует как свой идеал свободу. Критическое мышление видит всюду и везде противоположное. И поэтому оно формулирует своим идеалом: Зависимость. Рост зависимости.

И везде, где наивизм видит вольность, свободу, критицизм, глубже вдумываясь, глубже вникая и прозорливее и пристальнее рассматривая явления социальные, видит наблюдает и нащупывает элементы все возростающей зависимости.

Наивизм, наивно, поверхностно рассуждая, видит в упадке некоторых систем, как идеологических и социологических, отличавшихся, по наивному их оценивая, особой строгостью, дисциплинарностью, торжество либерализма или либертаризма, идеи вольности и раскрепощения

Критицизм, философски рассматривая историю идеологии и социальных укладов, видит в этом торжество все растущей, все возвышающейся, все усложняющейся зависимости.

Религия вытеснена наукой. Религиозная медицина—научной, религиозная гигиена научной.

Верно, в периоде борьбы, в периоде схватки этих двух мировых систем, этих об'яснительных и предписывающих, нормирующих поведение дисциплин, пускалась в ход **демагогия**, были использованы низшие инстинкты, шла речь о восстановления прав плоти, о взбудоражении духовных „низов", низших страстей и наущение, натравление их на высшие сферы духа, проповедывалось разрушение всех или многих этических ценностей, навыков, привычек, вошедших в обиход поведения многих и многих, во время схватки громили воздержание и прочие благие достижения и духовные богатства, проповедывали разнузданность, дикость, диктатуру похотей и тела над высшими началами духа.

Но это был лишь период борьбы, эра вандализма. И эта проповедь велась лишь с целью лучшего нормирования человеческого поведения, лучшего руководства его страстями, его поведением.

Это была борьба не против духа, а за дух, за высшее более сложное мышление, за высшее, более утонченное, более выдержанное миропонимание, и за более чистое, более совершенное поведение; но эта цель, возвышенная, нравственная скрывалась за трескучим, грубым, вульгарным словом и иногда и безнравственным разнузданным поступком.

Эта маскировка была настолько удачна, что очень многие из проповедников и из руководителей боев сами не подозревали об истинных целях предпринятого боя. Главным образом это осталось тайной за семью печатями для тех, кто руководили **движением**, а не учением. Те настолько вошли в роль раскрепостителей, разнуздников, что сами поддавались этому грязному потоку и стали его жертвами. Но это жертвы, которые губили свои души ради спасения души народных, миллионных масс. Они сами стали распущенными, тем обеспечивая торжество той дисциплины, призванной создать высшего вида воздержание и нормировку человеческого и человечественного поведения во всех сферах жизни, действа и мысли.

Религия уступила свое место за то, что она не в силах охватить должной, нужной, необходимой, достаточной густоты сетью норм, предписаний, правил, запретов наше поведение.

Наука, если казалось многим наивным, что она несет **свободу**, то это только потому, что они по своей ограниченности и недальновидности следили за ней лишь в первый период ее появления, когда она чувствовала себя, как вандалы, ворвавшиеся в цивилизованную страну, в культурный мир.

Освоившись, укрепившись, минуя период перехода, занятого отменой старых предписаний и запретов не за тем, чтобы оставить жизнь ненормированной, а за тем, чтобы написать новые нормы, новые повеления,—она занялась серьезным регламентированием поведения, мышления и действования.

И ее регламентация более педантная, более аккуратная, более всеохватывающая, более всепроникающая, чем регламентация религий.

Все периоды перехода богаты **осложнениями** и преткновениями для выяснения истинной сущности последующей эры и настоящей причины упадка, развала предыдущей.

И с виду, наивно рассматривая явления, кажется, что религия была отменена за ее жестокость, за ее придирчивость, за ее вмешательство, назойливое влезание во все поры организма поведения.

На самом деле как раз наоборот.

Наука стала ее вытеснять мало по малу. Сначала она заняла новые позиции, завоевала новые области, которые были религии совершенно чужды или от которых, чувствуя свою слабость, она сама заранее отказалась и по пятам первой вошла в эвакуированные области вторая.

Не важно, что входит в рот, а важно, что выходит. Отказ от гигиены питания. Не судите, не будите судимы, отказ от правосудия. И еще целый ряд отказов по вине собственного сознания своей слабости, некомпетентности.

Эти области заняла соперница, полная сил и молодости и свежести. Из этих областей, захваченных ею, почти без боя она повела наступление на оставшиеся края, в которых укрепилась религия.

Возьмем мышление. От психологического мышления к логическому. Психологическое мышление охватывает всякое суждение, всякую рассудительную деятельность, даже бред. Это ненормированное мышление.

Логическое мышление это нормированное мышление, это мышление полное запретов, границ, предписаний, чрез которые преступить нельзя.

Примитивное мышление, психологическое мышление, это **вольное, свободное** мышление. Да, оно вольно, но зато оно полно ошибок, полно дефектов, несуразностей. Оно вольно от логики, от логических законов, зато оно закабалено худшими **дисциплинами**, недисциплинами, засорено атавизмами, психологизмами, алогичностями, являющимися продуктами давно заглохших мыслительных систем.

Новое мышление, если оно бунтует против логики, то потому, что современная логика многих мыслителей не удовлетворяет. И кризис, переживаемый этой дисциплиной, говорит о том, что пора ее реорганизовать, лучше исследовать наше мышление, лучше его нормировать, создать для него лучшее законодательство, выработать более строгую, более предвидящую разные случайности, методологию. Ибо в старой логике, как индуктивной, так и дедуктивной слишком много психологических, иррациональных элементов. В мышлении простолюдина больше вольности, чем в мышлении ученого вышколенного. В мышлении ученого больше вольности, чем в мышлении философа, где каждая мысль и крупица мысли на месте, на ей, предписанном, указанном месте.

И если идет бой по всему фронту за новые формы, за новыэ приемы выражения, и если последние ведутся во имя вольности и свободы, то это видимость.

Когда ломается старая форма, старый стиль, исследованный, изученный, ошколенный, то создается иллюзня о повом, „вольном“ творчестве. Так как новый стиль, новая форма не успела еще окончательно об'ективироваться и превратиться в школу, в систему, в дисциплину.

На самом деле новая вольная форма уже по одному тому, что она более позднего происхождения, что она сложнее, что она содержит в себе преодоление предидущих форм и стилей и школ, содержит больше законов, предписаний, чем старая. Но эти законы еще не выявлены, не отделены от самих творений, или они еще не открыты, еще не успели обнаружиться.

Всякое начало трудно. Хотя мы идем всегда от легкого к трудному. Но легкое вначале нам кажется трудным, неудобоваримым. И создается иллюзия, что мы переходим от трудного к легкому, так как чем дальше, тем все больше и больше мы свыкаемся с предметом.

Так и относительно зависимости и свободы. Мы идем от менее зависимого к более зависимому, но при этом нас не оставляет иллюзорная мысль, что мы двигаемся обратно. Так как начало, всякое начало эпохи нам кажется крайне „зависимой“, строгой, жестокой, а последующая нам всегда кажется легкой, мягкой, вольной.

Наивное мышление считает ростом свободы то явление, которое мы наблюдаем при каждом переходе, отмена прежних запретов, существовавших доныне.

Неподозревает наивное мышление, что эта отмена означает преодоление этих запретов, то-есть переход их из нормы в фактическую жизнь и вследствие этого переставшими стать нормами, а ставшими реальной жизнью, ставшими фактами.

Тем более, что каждая эпоха, означающая создание нового уклада ознаменовалась всегда несметным изобилием изданных законов или декретов.

Этой гипертрофией, декретирования отличалась Великая Французская Революция. Что день, то новый декрет, новое распоряжение. И иначе быть не может. Повый порядок означает рост сложности „общественных“ форм и вместе с тем и увеличение количества распоряжений, норм и предписаний. Иллюзия вольности, наступившей при каждом перевороте, при переходе от старого к новому режиму питает, как сказано, отмена старых обветшалых, отживших, ставших совершенно негодными, норм, создает момент перехода, момент разрушения, за которым, верно, сейчас же следует не отставая положительный, так называемый, Огюстом Контом, органический период, громоздящий обыкновенно декрет на декрет, предписание на предписание. Это во первых. В этом, собственно говоря, самое несущественное, что в факторах вызывающих иллюзию о вольности.

Основное, что поддерживает эту иллюзию и делает ее чуть ли не приемлемой, и заставляет напрягать сильно мышление к ее вскрытию и опровержению это факт внедрения, вкоренения зависимости до того, что она становится, так сказать, органической, имменаентной, внутренней.

Наивное мышление видит зависимость лишь там, где для ее охраны учреждается особый институт, где для ее охраны издаются особые правила, предписываются особые законы, где показывается кулак карающей руки, лишь в таких грубых актах и формах наивность усматривает зависимость. Там же, где это делается утонченное, там, где все это происходит на более цивилизованной лад и толк, наивность не замечает зависимости, и трубит о торжестве с в о б о д ы.

На самом деле это как раз обратно. Там, где свистит кнут, где зажимается кулак, где опускается бич на непокорную спину во имя утверждения и во славу какой-нибудь зависимости, ограничения, лишения, там ее нет, там она лишь искусственно усиленно, с большим напряжением насаждается. Там существует лишь переход, там переживает кризис тяжелый, болезненный введение в жизнь известной формы зависимости.

Там же, где она восторжествовала, там, где она давно победила всякое сопротивленне и строптивость, там она сидит на тропе и все много лет назад, может быть даже веков, бунтовавшие, восстававшие с оружием в руках протнв нее, теперь стоят с обнаженными головами и коленопреклоненными, посылая ей молитвы кротости и безграничной преданности.

И именно здесь зависимость достигает своей высшей точки, своего зенита, когда она начинает выдавать себя за волю частную, личную или народную, за народный дух, за народную мудрость, освященную веками гнета и насилия и кровопролитий.

Так освещаются все старые институты, считавшиеся сначала введенными насилием, борьбой, наказанием, предписанием, с помощью жестокой расправы.

И как наивно слушать жалобы тех, которые во имя старых насилий, старых зависимостей, ставших для многих наивных вольностями по давности и по незнанию источников и методов их водворения,—отвергают, восстают против новых зависимостей. Как будто старые зависимости, ограничения не были введены огнем и мечем и как будто в старых зависимостях больше воли, чем в новых. В то время, когда на деле как раз обратно. В старых зависимостях, выдающих себя и принимаемых народом за вольности, за собственные творения, за добровольные самопроизвольные творения, произведения, сидит, сквозит дух грубого примитивного рабства, и были эти, так называемые, вольности даны народу еще большим насилком, большими кровопролитиями, чем-то, с помощью которых его их лишают.

Для критического социального мышления здесь огромнейшее поле для исследования и для вскрытия бесконечного числа ошибок.

Частная собственность рассматривается многими теоретиками, как естественное право, и порядок, базирующийся на частной собственности трактуется ограниченными умами, как самый нормальный, глубокий перелом в быте и в сознании, получится в результате жестоких схваток с целыми полчищами ее защитников.

А введение частной собственности, а охрана ее, этой священной особы, этого священного порядка разве стоило меньше жертв, меньше усилий, меньше напряжений, меньше борьбы с ее врагами. Когда на заре наших нынешних порядков она, частная собственность, трактовалась как самая неестественная, самая ненормальная, самая безнравственная форма, которая навязалась народу с большим насилием, чем она ныне отменяется.

Бывают эпохи, главным образом, у отсталых народов, где два сознания сталкиваются и тогда это обнаруживается.

Разорение общины, водворение новых капиталистических порядков с точки зрения буржуазной экономической науки считалось прогрессивным явлением, неизбежным, неминуемым фактором прогресса и обогащения народа.

Но этот переход переживался народом довольно болезненно, он означал для многих и многих ввержение в бездну нищеты и несчастной пролетаризации, найма.

Новое, подоспевшее сознание, окрашенное в коммунистические тона, рассматривало и оценивало это явление совершенно по иному. Оно стояло за общинное владение. Социализм в умах первых народников в России рисовался наподобие общинного владения, но усовершенствованного, технизированного и проч.

Оно поэтому было против разорения общины и воплотило эти вопли и ужасы перехода к капиталистическому образу владения в трудах, в статьях. То же самое делал Маркс, хотя с более глубоким и менее жалостливым подходом к этим материалам и явлениям, в его Капитале, в главе „Первоначальное накопление“.

И так насаждались всякие порядки, не только капиталистические. Но каждый из них после того, как он давно уж был насажден, и старый уклад окончательно безжалостно разрушен, разорен, уничтожен, трактовался как добровольный, как вольный строй.

Почему?

Да потому, что наивное мышление видит и вопиет о зависимости, о кабале там, где идет полоса террора для охраны или установления зависимости, нового вида зависимости.

Терроризм не говорит никогда о силе той стороны, применяющей его, а как раз обратно, о слабости.

Терроризм говорит, что новая форма, за которую борятся или которую проводят, или которая уже зачаточно введена, требует для своей поддержки и сохранения применения героических методов, сверхестественных средств.

И каждая историческая полоса делится обыкновенно на две половинки, на две следующих друг за другом периода, полупериода. Первый ознаменовывается жестокостью, грубостью, насилием, выпуклой, всем бьющей в глаза, зависимостью, вызывающей

своими ограничениями всеобщее недовольство, и утверждение которой производится огнем и мечом.

Второй период гуманитарен, мягок. Наивность его провозглашает периодом свободы, торжества вольности.

На самом деле второй период, второй полупериод есть самый з а в и с и м ы й. При нем зависимость, новые ограничения, новый уклад настолько утвердился, что он чувствует себя господином положения, что для его существования и нормального функционирования не требуется защиты со стороны насилия, со стороны террора. Она, зависимость, стала уже второй социальной натурой, она вошла в плоть и кровь общежительной жизни, общежительного организма, она срослась о р г а н и ч е с к и.. И эти эпохи называет Огюст Конт о р г а н и ч е с к и м и, да, они о р г а н и ч е с к и е, ибо к р и т и ч е с к о е, р е в о л ю ц и о н н о е что в них настолько уже привилось, что его можно выдать и принимать за органическое, за естественное, за к о н с е р в а т и в н о е.

Эти периоды это переход от возмущения к примиренности с новым положением, новым укладом, новыми формами, новыми зависимостями, ставшими за долгий период времени, законными и естественными, тем более, что уже вырисовывается остов нового уклада, новой формы, новой высшей зависимости, которая в свою очередь станет и революционной, насильственной и мирной, консервативной, о р г а н и ч е с к о й.

Капитализм в эпоху либерализма и радикализма—демократизма достиг апогея своей фундаментировки, своей мощи и силы. Он настолько окреп, то-есть единства нации и единого начала управления настолько уничтожила предыдущий уклад, базирующийся на разрозненности, на самостоятельности племен, народностей, провинций, что ему не нужны стали все предыдущие жестокие законы и регламентации и он провозгласил с в о б о д у, которую наивное мышление проповедует и поныне, не разбирая в чем дело.

И социализм бесспорно будет иметь такую же эпоху Но эта эпоха будет верхом укрепления социализма, верхом сгущения сети новых зависимостей, создавшихся вследствие осложнения форм жизни и уклада, отличающихся большей определенностью, и большей нормированностью, и большим сужением произвольных, никчемных вольностей, являющихся плодом и остатком некультурной жизни.

Культура наперекор наивному мышлению и наивным прогрессистам, идущим, но не знающим, куда они идут, есть ход от свободы, то-есть меньшей зависимости к большей, от низшей зависимости к высшей, к более глубокой, более основательной, более утонченной и более успешной.

Не вольничание, капризничание, а з а в и с и м о с т ь, нормированность будет идеалом нового культурного, не развращенного человека.

5.

Универсальная зависимость.

Когда хозяйство существует как бы отдельно от общения, образуя вопиющий разрез, тогда общение для своего более или менее сносного отправления функций вынуждено прибегнуть, как выше было выяснено, к террористическим методам, к застращиванию, запугиванию. Этими негодными мерами оно насилу поддерживало свое прозябающее существование. Эти методы борьбы за свое существование, которые пускало в ход общение, говорит о его критическом положении, говорит о том, что оно еле перебивается.

Репрессивные меры, так часто применяемые, нам говорят во всеуслышание—невнятен их голос лишь глухим по наивности и болтливым по глупости социологам-либералам или либертарам,—что наше общение еле перебивается, влачит жалкое существование, что оно не в силах совладать с задачами, выдвинувшимися перед ним во весь рост, что оно не в силах обуздать, овладевать с отдельными страстями, отдельными эгоизмами и проч.

Когда оно, общение, сольется с производством, с хозяйством, тогда оно окрепнет настолько, что оно отойдет от периода авторитарного и перейдет в либертарный период, то-есть для своего функционирования, для регулирования отношений междуличных ему

незачем будет прибегать к таким крутым мерам, как „административным“ взысканиям, к механическому принуждению.

Оно, слившись, подкрепившись хозяйством, перестает нуждаться для поддержки своего существования в таких принудительно механических средствах. Более того тогда оно не то, что отказывается от юридической власти, но оно отходит, то-есть откидывает как лишнее, как ненужное, и организационную, социологическую власть, имеющую отношение и воздействие лишь на внешние действия, так как оно черпает соки, оно питается внутренним сознанием, воздействием на психику, оно имеет дело с обучающим и обучаемым, оно устанавливает внутреннюю, психическую связь и зависимость.

Общение растет, зависимость становится глубже и шире. Она охватывает мир, вселенную, все селения, все края, в которых ютится человек.

Она тогда откидывает все юридические путы, регулирующие вступление и выступление. Из мира, из общения междуличного не выступишь. Когда существовали отдельные, самостоятельные единицы политические и экономические, тогда перед общением, имевшим к тому времени вид государственного об единения, стоял остро вопрос о выступлении, о регулировке эмиграции. Оно всегда боялось, что отдельные, не желая участвовать в тяготах, желая пользоваться только правами, а не носить никаких обязанностей, вытекающих из этих прав, спасутся, избавятся от них тем, что они переедут из края в край, будут эмигрировать. Скажем здесь стряслось несчастье, социального или иного свойства. Зачем ему делить горе со всеми согражданами, он уезжает, а горе оставшимся. Или более конкретно. Он пользовался все время „порядком“, спокойствием, охраной, дарованной ему данным существующим строем. Но вот пришлось защитить этот строй с оружием в руках. Что же он делает? Он эмигрирует. Он бросает тех, с которыми он жил годами вместе, деля с ними радости, но не желает делить ужасы защиты, обороны той базы, давшей, ему возможность пользоваться благами благоустроенной цивилизованной жизни.

Против этого старому общению, ограниченному в пространстве, приходилось принимать меры в виде ограничения прав выступления, прав передвижения.

Ничего подобного не будет при мировом общении. Некуда уезжать, не откуда выступать, и разумеется, что не будут ограничительные в этом отношении правила.

Далее, само общение станет упорядоченнее, легче, культурнее, оно потребует меньше затрат для своего функционирования.

Из этого следует, что на долю каждого выпадет меньшая сумма обязанностей, повинностей, меньше тяжестей. И опять-таки незачем будет особенно привязывать и связывать отдельного.

Наивность скажет—воцарится царство свободы, перед ее мутными взорами запестрит, зарябит священная, но глупейшая надпись „скачек из царства необходимости в царство свободы“.

Критическая мысль же скажет, что здесь как раз наоборот. Общение потребует меньше, потому что ему больше дадут, не просивши. Рост общения есть рост знаянности, есть рост и увеличение зависимости. Упорядочение общения есть квалификация зависимости. Универсальная зависимость есть высшая точка устремления.

И одоление мира идет тем же порядком, мы одолеваем его не посредством разрыва, расхождения, а путем теснейшего контакта, путем теснейшей зависимости, путем все большей, все интенсивнейшей п р и с п о с о б л я е м о с т и. Что такое приспособление, если не связь, контакт и зависимость.

Мы освободились от физических, географических условий не с помощью игнорирования этих условий, а с помощью создания теснейшей зависимости от них.

Но эту зависимость мы перенесли в высшие сферы, мы ее квалифицировали.

Первобытному, некультурному, что ему за дело до изменений происходящих в окружающей физической среде. Он их игнорирует, он их даже не замечает, он на них не реагирует, он поступает, действует, ведет себя, не принимая их во внимание, не ставя себя от них в зависимость, не предупреждая, не пресекая.

Разумеется, что в конечном счете он за эти свои вольности, за его высокомерное тщеславное, неестественное вольничание платится и здоровьем, а иногда и жизнью. Степень зависимости дикаря, осознанной зависимости, скудна, мизерна. Завтрашний день

его совершенно не беспокоит, он вне его зависимости. Культурный предвидит то, что будет через десятки и сотни лет.

Жажда предвидения есть естественный рост зависимости во времени. Как зависимость растет в пространстве, так она и растет во времени.

Культурное человечество реагирует на будущее, которое оно предвидит, у культурного человечества, как мы уже раз выяснили, следствия, благодаря тому, что их дается предвидеть, становятся причинами. Тогда, собственно, получается целесообразное действие—тогда, собственно, получается зависимость не только от причин, от прецедентов, но и от постцедентов, от предвиденных постцедентов, принимаемых нами за прецедентов, мы зависимы от будущих последствий, имеющих вытекать из наших действий и поступков.

Конечно, эта зависимость есть благо для человека и человечества. И горе тем диким, строптивым, толстокожим натурам, не умеющим чувствовать грядущее, не слышащих его поступи, раздающейся на высоких горах в предутренние часы.

Что такое машинная обработка, как подымается производительность труда, разве не с помощью уплотнения зависимости между орудиями труда, методами труда и желанными, ожидаемыми результатами и материалом! Здесь рост, установление определенной зависимости, определенного соответствия между результатом и материалом, здесь зависимость между приемом работы и материалом, между результатом и орудием и приемом. Рост зависимости, соответствия дает рост производительности путем успешности, результатности. Меньше силы, энергии, издержек, времени тратится на производство известного количества продуктов. Чем это достигается? Это достигается интенсификацией зависимости, существующей, устанавливаемой нами между членами данного процесса, данного акта.

То же самое и в общении, где каждому члену приходится попеременно то быть продуктом, материалом, то орудием. Большая производительность, т.-е. большая общительность, большая солидарность и создание человечественных ценностей создается тогда, когда наиболее интенсифицирована зависимость.

Освобождение от географических условий есть утверждение, есть формулировка, выраженная в наивном духе. На самом деле есть большая зависимость: изучение, исследование этих условий, реагирование на них, возведенное в систему, обработанное.

Рост мощи, силы, благ человека, есть рост его зависимости, есть квалификация его зависимости от мира физического и социального. Ибо одна зависимость дает благо и одоление мира, и физического, и социального.

Идеал нового человека не вольность, не своевольничание и достижение плачевных вследствие этого результатов, как в смысле пользования мира и пользования общения, а зависимость.

Одна зависимость с помощью взаимности несет нам счастье, и благо, и мощь, и могущество.

Это идеал не только социальный, но и физический. Тупость, непонятливость, грубость и дикость грозит и выставляет как свой „идеал“ своеволие. Не хочу держать топор так, как следует, как предписано, а так, как мне вздумается, как взбредет на ум. Это неровностость, сидящая, к сожалению, еще в некоторых субъектах, но их число уменьшается с каждым днем. Это вымирающие породы, это достойные потомки диких обезьян. Не хочу жить по писанному, по предписанному, по предусмотренному, а как вздумается. А результаты? Результаты создадут совершенно не то, что „хочу“, а то, что последует. Результаты—категория необходимости.

Напьюсь допьяна. Что будет, то будет. А после? — ослепление или катастрофическая смерть. Тут явления простые, не социального, а физиологического, биологического характера. Но многие, очень многие проповедуют такой метод поведения в общежитии. Делать не то, что нужно, что следует, что долг велит, что настоящая реальная выгода своя, сегодняшняя и завтрашняя велит, повелевает, а то, что взбредет в мою бесшабашную голову, что подскажет дикий атавистический инстинкт. Это реакция, это варварство. Такая проповедь губит общежитие и, разумеется, и отдельного. Такое поведение смертоносно.

Но есть же поведение, нарушающее предписание и все же не носящее с собой смерть, а новую жизнь.

Есть. Это творческое поведение. Но такое поведение, такие поступки не нарушают предписания, установления, нормировки, не нарушают зависимости, необходимости, а, наоборот, открывают новую, более глубокую, более тесную, более квалифицированную зависимость. Такое поведение носит свое право в самом себе, оно становится максимой, оно становится законом, оно становится высшей нормой, отменяющей предыдущие из-за негодности, из-за их неприспособленности, из-за негодности, неадэкватности с действительностью.

Такое поведение не вытекает из своевольничания, из разврата души и поведения, а, наоборот, из более глубокого сознания, из более возвышенных мотивов, содержащих в себе больше зависимостей, большего процента необходимости, неизбежности, неминуемости, неотвратимости, чем предыдущее поведение. Только такое нарушение зависимости допустимо, поощряемо, творчески созидательно.

И это новое поведение еще более сложно, еще более связующе, еще более нормировано, еще более определенно, чем предыдущее, которое оно правильно третирует, как бесформенность, как аморфность, как простоту, долженствующую уступить свое место высшей сложности, высшей квалификации, высшей координации, высшей связуемости, высшей необходимости, высшей зависимости.

От простоты к сложности, от неопределенного к определенному, от ненормированного, не установленного к нормированному, к установленному, от вольного к зависимому, от царства свободы к царству необходимости.

Если то новое поведение не содержит в себе новой нормы, являющейся нормой лучшего качества содержащей больше связующей, регламентирующей, определяющей сущности, то оно не заменит собой старого поведения, то не вытеснит его, ибо оно тогда не творческое поведение, а „преступное", низкопробное, нарушающее норму, разрушающее норму и не восстанавливающее вместо нее другую.

То же самое верно относительно учения, вероучений, доктрин. Идущие на смену старым олицетворяют собой большую сложность, большую нормированность, большую твердость и утонченность. Иначе их не примут, они не в силах будут заменить предыдущие.

Верно, они эту свою сущность скрывают, льстя народным массам, пуская им золотую пыль в глаза вроде Суббота для Человека, а не человек для субботы. Но все эти посулы разбиваются сейчас же при их переходе к самоосуществлению.

Христианство заменило собой еврейство, ибо первое было требовательней, изысканней, нравственней второго. Христианство требовательнее. Евангелие само признается: я не пришел убавить, а прибавить, не мир несу я вам, а меч.

Не будь за ним этого качества, оно никогда не вытеснило бы ни иудейства, ни язычества.

Смена систем, вероучений есть переход от менее требовательных к более взыскующим к более требовательным к более пунктуальным, к более аккуратным.

От вольных систем к более дисциплинированным.

Если наука вытесняет религию, то опять тем качеством определенности строгости, выдержанности.

Бог прощал, стоило помолиться, он утер слезы. Религия слабовольна, слезлива. Наука гораздо строже. Она, на самом деле, мстительна.

Вкусивший яда—умрет, и никакие молитвы ему не помогут, разве только противоядие.

Порядок установленный научным пониманием более устойчив. Чудеса не совершаются. Нет нарушений установленного мирового порядка.

Совсем другая картина представляется нам в религиозном мироосвещении. Солнце останавливается по желанию. Море расступается, и прочие чудеса отклонения от нормы.

Наука не признает никаких исключений из ее правил твердых и неумолимых, как утес, как скала на берегу моря Рока и неизбежности.

Научный миропорядок более организованный, более зависимый более связанный и тем, как следствие, и более связывающий своих приверженцев. Сказанное верно и относительно систем внутри одной миропонимательной дисциплины. Система, сменяющая предыдущую, отличается всегда большей каузальностью, большей зависимостью, большей координацией, большим монизмом. Дарвинизм победил старые взгляды, господствовавшие в биологии, признающие произвольное, единичное творение. Почему Дарвинизм

победил? Потому что эта система тверже, связаннее, массивнее. И те системы, которые пойдут и идут за ним, будут еще более выдержаны, иначе им не победить его.

Марксизм вытеснил остальные утопические системы социалистические. Чем он взял? Выдержкой, твердостью, симметричностью, зависимостью, определенностью. Новая астрономия вытеснила старую. Она лучше об'ясняет явления небесных тел. Что значит лучше об яснять? Лучше связать, строже связать, больше зависимости между частями, больше твердости, меньше случайного, произвольного, сведения к одному, к системности.

Дисциплинность, системность вот что считается об'яснением.

Что касается порядков, укладов, следующих один за другим исторически, то то же самое. Каждый последующий должен быть квалифицированнее, сложнее, тверже и утонченнее, строже, должен содержать в себе больше зависимости, координации, централизации, унитаризации, систематизации, выдержанности, чем предыдущий.

Мы идем от расхлябанности к утесистым, к твердым, мраморным формам, выдержанным, определенным во всех своих деталях и частях.

От бесформенности к твердой форме. От свободы, вольности, случайности к необходимости, зависимости и причинности и целесообразности как высшей принципности.

Социализм сменит буржуазный порядок потому, что последний был аморфен, хаотичен, хромал насчет организованности.

Универсализм-политизм, интериндивидуализм сменит социализм, он одолеет остатки дезорганизации, коренящиеся еще в порядке, в укладе жизни.

Универсальная анархия одолеет государство—пусть это не покажется наивному читателю парадоксом, за то что последнее не планомерно не строго, не умеет справляться с преступлением, с вольничанием, что последнее олицетворяет собой дезорганизацию дисгармонию, в то время, как первую мы мыслим как автоорганизацию, как самопорядок, не допускающий своего нарушения.

От вольности к мировой всечеловечественной зависимости.

5 декабря 1920 г.,
Москва.

Библиотека

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I

Стр.

Автоорганизация . . . . . 1—56

II

Насилие . . . . . 59—128
I. Непротивленство 59
II. Анархическое общежитие 64
III. Сила и слабость классическ. анархизма 66
IV. Политическая наука. 76
V. Деморализация 80
VI. Иерархизация труда. 85
VII. Конкуренция и иерархия 94
VIII. Фетишизм права 103
IX. Власть 114
X. Носитель 120
XI. Прибавочный политический труд 121
XII. Преступление и наказание 125

III

Равенство и свобода . . . . . 131—229
I. Дифференциализм 131
II. Агитационный период 135
III. Социальная мифология 140
IV. Социальная метафизика 144
V. Социальный скептицизм 158
VI. Социальный критицизм 162

Стр.

1. Теория изменения общежития 163
2. Классовая борьба 168
3. Прогресс и регресс 171
4. Консерватизм 175
5. Демократизм, аристократизм 177
6. От равенства к неравенству 179
7. Протекционизм 182
8. Обратное развитие 186
9. Фазы развития 191
10. Анархия . . . . . .
VII. Либертаризм или депендентаризм 206
1. Свобода частная и национальная 207
2. Либерализм 211
3. Рабство и свобода 216
4. От свободы к зависимости 221
5. Универсальная зависимость 225